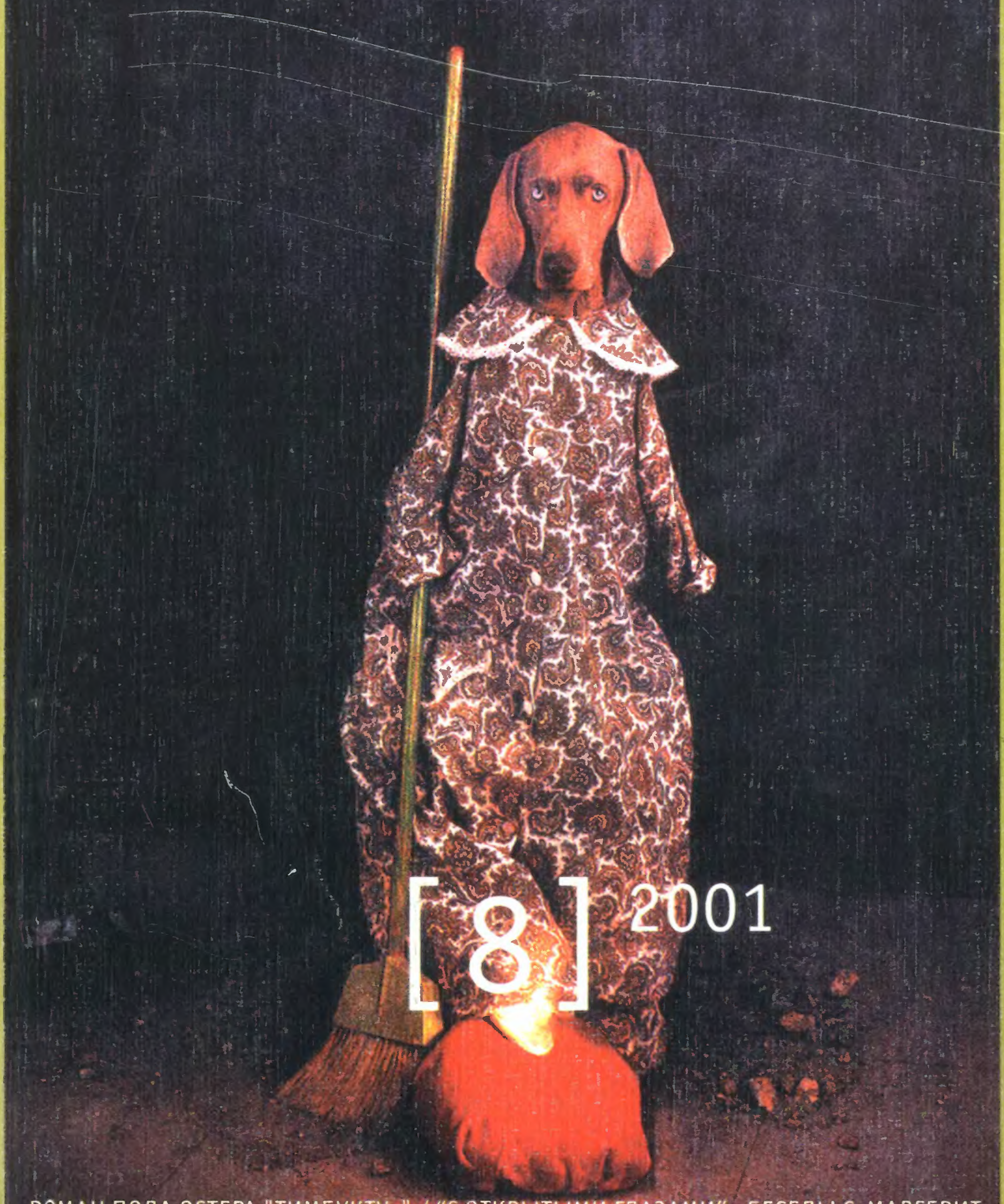
95+83

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[8] 2001

РОМАН ПОЛА ОСТЕРА "ТИМБУКТУ " / "С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ" : БЕСЕДЫ С МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР / СТИХИ ОЛИВЕРА ФРИДЖИЕРИ / СТАТЬЯ ОЛЬГИ ВАЙНШТЕЙН "ГРАММАТИКА АРОМАТОВ" / РАССКАЗЫ ПАУЛЯ НИЗОНА / "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ": ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН

Основан в 1891 году

"ИЛ" В 2002 ГОДУ

"Баудолино" УМБЕРТО ЭКО – новый, сразу ставший интеллектуальным бестселлером историко-фантастический роман знаменитого итальянца.

"Коулун Тонг" американца ПОЛА ТЕРУ – роман, действие которого происходит в неумолимо сгущающейся атмосфере Гонконга накануне возвращения его в состав Китая.

"99 франков" одного из самых язвительных и ироничных французских писателей нового поколения ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА – роман о мире рекламы, одновременно отчаянная исповедь и лихой памфлет.

"Ужас льдов и мрака" австрийца КРИСТОФА РАНСМАЙРА – роман о полярных экспедициях, как подлинных, так и вымышленных.

"Сокращения" англичанина МАЛЬКОЛЬМА БРЭДБЕРИ – остроумная повесть о том, как скромному университетскому преподавателю предлагают написать сценарий грандиозного телесериала.

"Урок непослушания" французского писателя поколения 40-летних Ж.-Ф. АРРУ-ВИНЬО – роман о попытке одаренного неудачника осуществить свои юношеские мечты.

"Железный хлам" англичанина ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА, автора знаменитого "Заводного апельсина", – роман об истории двух семей, переживающих бурные и трагические события первой половины XX века.

"Голубой ангел" американской писательницы ФРАНСИН ПРОУЗ – роман, иронично повествующий о современных нравах в американской университетской среде.

"Первоочередная доставка" молодой датчанки ИСЕЛИН ХЕРМАН – любовный роман в письмах с весьма неожиданной развязкой.

"...вспомни обо мне" ХАВЬЕРА МАРИАСА – остросюжетный роман одного из самых известных писателей современной Испании.

"Все горят в аду" молодого американца ДЖОНА РИДЛИ – роман, все персонажи которого вовлечены в головокружительную детективную интригу, а их несбывшиеся мечты тают под палящим солнцем Лос-Анджелеса.

"Биография Лондона" – город как текст, как миф, как сплетение великого, трогательного и смешного в новой книге постоянного автора "ИЛ" англичанина ПИТЕРА АКРОЙДА.

"Памфлет на самого себя" – мудрые, ироничные и парадоксальные размышления, наблюдения, дневниковые записи польского прозаика и кинорежиссера ТАДЕУША КОНВИЦКОГО.

"Воспоминания Розы" – рассказ жены знаменитого французского писателя, КОНСУЭЛО СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, о прожитых вместе годах.

"Сновидения" АНТОНИО ТАБУККИ – фантазии на тему снов знаменитых писателей и художников.

Автобиографическая проза АРТУРА КЁСТЛЕРА и КИНГСЛИ ЭМИСА.

Литературные гиды, посвященные актуальным проблемам современной мировой культуры.

Постоянные рубрики журнала: "Документальная проза", "Портрет в зеркалах", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "Трибуна переводчика", "Среди книг", "Комментарий", "Курьер ИЛ".

Подписаться на журнал можно в любом отделении связи по каталогам АПР (для регионов России, стран СНГ и Балтии), УФПС (для Московской области) и Моспочтамта (для Москвы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 70394 (на полгода); 72261 (на год).

А надежнее и дешевле подписаться прямо у нас, с получением номеров в редакции. Наш адрес: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41 (метро "Новокузнецкая", "Третьяковская"). Тел. 953–51–47.

[8]

2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Пол Остер. *Тимбукту.* Роман. Перевод с английского Ильи Кормильцева

88 Оливер Фриджиери. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Анны Шульгат

92 Кристоф Хайн. *Вилленброк.* Роман (окончание). Перевод с немецкого М. Рудницкого

177 Пауль Низон. *Рассказы.* Перевод с немецкого и вступление В. Седельника

Вглубь стихотворения

211 Франце Прешерн. *Сонет. Газель.* Переводы со словенского. Вступление Н. Стариковой

Беседы

222 Маргерит Юрсенар. *С открытыми глазами. Беседы с Матьё Гале.* Главы из книги. Перевод с французского Ю. Яхниной

Статьи, эссе

260 Ольга Вайнштейн. *Грамматика ароматов*

Комментарий

274 Алексей Зверев. *Стоцветная лента*

Курьер "ИЛ"

279

Авторы номера

286

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Редакция:

В. А. Ашкенази
О. Г. Басинская
Е. Д. Богатыренко
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Из общего тиража Институт "Открытое общество" ежемесячно выкупает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1 700 экземпляров; Министерство культуры РФ выкупает для библиотек 800 экземпляров; финансовую поддержку журналу оказывает также Министерство печати РФ.

Пол Остер

Тимбукту

Роман

Перевод с английского Ильи Кормильцева

Посвящается Роберту Макраму

1

МИСТЕР Зельц знал, что Вилли не жилец на этом свете. Вилли кашлял уже шесть месяцев кряду, и Мистеру Зельцу было чертовски ясно, что на улучшение нечего и надеяться. Медленно, но неуклонно, не сдавая своих позиций, кашель рос и крепчал. Третьего февраля (именно тогда кашель проявил себя в первый раз) он еще притворялся тихим мокротным побулькиванием в легких, но теперь, в разгар лета, развернулся уже в полную силу. Вилли корчился от неудержимых приступов надсадного, визгливого кашля, сопровождавшегося извержением брызг слюны и сгустков слизи. Мало этого: в последние дни в хриплой музыке бронхов зазвучала новая, тревожная нота — колючая, сухая, твердая, после чего приступы стали почти постоянными. Когда Вилли заходился кашлем, Мистеру Зельцу казалось, что его грудная клетка вот-вот разорвется, не выдержав внутреннего давления. Мистер Зельц догадывался, что скоро появится кровь, и когда роковой миг настал (а было это субботним днем), он словно услышал вопль, исторгнутый ангельскими хорами в небесах. Мистер Зельц видел, как это случилось, своими собственными глазами, стоя на обочине шоссе где-то между Вашингтоном и Балтимором. Вилли отхаркнул несколько ярко-алых сгустков в носовой платок, и с этого момента Мистеру Зельцу ста-

© Paul Auster, 1999
© И. Кормильцев. Перевод, 2001

ло понятно, что последняя надежда растаяла в воздухе. От Вилли Г. Сочельника веяло смертью, это было ясно как божий день. Конца оставалось ждать недолго.

Что было делать бедному псу? Мистер Зельц жил у Вилли с самого щенячества и просто не мог представить мир, в котором он останется один, без хозяина... Каждая его мысль, каждое воспоминание, каждая крупица земли и воздуха носили на себе следы присутствия Вилли. Привычка — вторая натура, и есть доля истины в поговорке о старом псе, который не учит новых трюков. Но дело было не только в любви и привязанности: страх, мучивший Мистера Зельца, имел онтологическую природу. Ему казалось, что если Вилли исчезнет из этого мира, то и сам мир, с большой вероятностью, исчезнет вместе с ним.

В подобных мучительных раздумьях встречал Мистер Зельц воскресное августовское утро, плетясь по улицам Балтимора вслед за своим изможденным хозяином. Пес без хозяина — считай, мертвый пес. Как только Вилли испустит последний вздох, у Мистера Зельца в перспективе не останется ничего, кроме собственной неминуемой кончины. Уже на протяжении многих дней Вилли предупреждал Мистера Зельца о грозящих тому опасностях. Мистер Зельц тщательно запоминал наставления хозяина о том, как скрываться от живодеров, констеблей и лицемеров из так называемых "обществ за гуманное обращение с животными", которые подкрадываются к тебе в фургонах без окон и опознавательных знаков. Какими бы сладкими речами они ни завлекали тебя, но от приюта для бродячих животных добра не жди. Сначала ловчие сети и пневматические ружья, заряженные ампулами с транквилизатором, затем кошмар клеток, залитых светом флуоресцентных ламп, а в конце тебя ждет смертельная инъекция или газовая камера. Если бы Мистер Зельц принадлежал к какой-нибудь породе, у него еще оставался бы шанс, что кто-нибудь заберет его из приюта. Но верный спутник Вилли был продуктом чудовищного кровосмешения. В нем просматривались колли, лабрадор, спаниель и еще пара-другая пород, не поддававшихся точному определению. В довершение всех бед неухоженная шкура его была кое-где украшена репьями, из пасти дурно пахло, а в испещренных красными жилками глазах застыла вековая печаль. Такому никто не протянет руку помощи. Как любил выражаться бездомный бард: исход игры предрешен. Короче говоря, если Мистер Зельц не позаботится о том, чтобы живехонько подыскать себе нового хозяина, то ему суждено кануть в Лету со скоростью падающего камня.

— А если живодеры тебя не поймают, — рассуждал Вилли тем туманным утром в Балтиморе, прислонившись к фонарному столбу, чтобы не упасть, — то могут приключиться тысячи других бед. Попомни, kemo sabe[1], или ты пристроишься на службу, или твои дни сочтены. Только погляди на это жуткое местечко — что ни дом, то китайский ресторан. А если ты полагаешь, что китайцы не пускают слюнки, когда ты проходишь мимо, то ты ничего не понимаешь в восточной кухне. Они без ума от собачатины, дружище. В обязанности каждого шеф-повара входит отлов бездомных собак, которых он потом забивает на задворках ресторана. Им нужно десять, двадцать, тридцать псов в неделю. В меню можно написать все что угодно — "утка", "свинина", — но гурманов-то не обманешь, завсегдатаи, они знают, что к чему. Так что если не хочешь очу-

1. Верный друг (на языке индейцев котоватами). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

титься на тарелке с каким-нибудь "му-чу-чай-пань", не смей вилять хвостом у входа в кабак, где собираются китаезы. Ну что, уловил намек, Мистер Зельц? Познай своего врага — и держись от него в сторонке.

Мистер Зельц понимал. Он понимал каждое слово, сказанное Вилли. Сколько он себя помнил, у него не было проблем с английским. Ну, по крайней мере, не больше, чем у любого иммигранта, прожившего в Америке столько же, сколько прожил в ней Мистер Зельц — семь лет. Конечно же, мамаша учила Мистера Зельца в первую очередь родному языку, так что английский был для него вторым, поэтому произношение его нельзя было назвать идеальным, но грамматикой и синтаксисом он владел в совершенстве. Впрочем, для животного, обладавшего таким интеллектом, как Мистер Зельц, в этом не было ничего удивительного. Большинство собак неплохо понимают речь двуногих, в случае же Мистера Зельца обучение шло особенно быстро, потому что хозяин всегда говорил с ним как с равным. С самого начала между Вилли и собакой установились панибратские отношения, а если учесть при этом, что Мистер Зельц был не просто другом Вилли, но его единственным другом и что Вилли до такой степени был влюблен в звук собственного голоса, что, как и положено заправскому болтуну, практически не замолкал с того момента, как продирал глаза рано поутру, и до того момента, пока не валился с ног, пьяный, вечером, уже не вызовет ни малейшего удивления тот факт, что Мистер Зельц досконально разбирался в тончайших оттенках туземной речи. Скорее вызывает удивление то, что сам он толком говорить не научился. Нельзя сказать, чтобы он совсем не пытался, но сама биология противилась ему, ибо данная собакам от рождения судьбой конфигурация гортани, зубов и языка ограничивала его речевые способности крайне скудным ассортиментом, включавшим в себя тявканье, повизгивание, поскуливание и рычание. Мистер Зельц отлично понимал, что речь его разборчивой не назовешь, но Вилли всегда внимательно выслушивал все его реплики, а что могло быть важнее этого? Мистеру Зельцу никто не препятствовал вставлять время от времени свои краткие комментарии, причем хозяин никогда не перебивал его. А если бы вы посмотрели в этот момент на лицо Вилли, то поклялись бы, что он жадно ловит каждое слово своего друга, отчаянно пытающегося вести себя, как положено представителю рода человеческого.

Но в то угрюмое балтиморское утро Мистер Зельц держал рот на замке. Ему оставались последние дни, возможно даже часы, вместе с хозяином. Неразумно было тратить их на пустую болтовню и долгие речи, которыми они позволяли себе забавляться в прежние дни. Некоторые ситуации требуют немалого такта и выдержки, а в нынешнюю суровую годину было гораздо уместнее держать язык за зубами и вести себя, как положено хорошему, воспитанному псу. Поэтому Мистер Зельц без возражений позволил Вилли взять себя на поводок. Он не скулил, хотя во рту у него уже тридцать шесть часов не было маковой росинки, не обнюхивал воздух в поисках дамских ароматов, не останавливался ежесекундно для того, чтобы поднять ногу у каждого фонарного столба или пожарного гидранта. Он попросту плелся следом за Вилли, принимая посильное участие в поисках того адреса, по которому направлялся хозяин: Калверт-стрит, 316.

Мистер Зельц ничего не имел против Балтимора как такового. Запах у этого города был ничуть не хуже, чем у многих других городов, в которых они перебывали за долгие годы. Но, хотя Мистер Зельц отлич-

но понимал цель их путешествия, его огорчала сама мысль о том, что человек может провести свои последние часы на земле в месте, где он никогда ранее не бывал. Собака ни за что не совершит такого ляпсуса. Она сначала распростится с белым светом, а затем примет все меры для того, чтобы отдать богу душу в родных пенатах. Но, к сожалению, Вилли перед тем, как умереть, предстояло сделать еще два дела, и с присущим ему упрямством он вбил себе в голову, что только один человек на земле может помочь ему в этом. Это была женщина по имени Би Свенсон, и так как по последним сведениям эта самая Би Свенсон проживала в Балтиморе, туда они и отправились ее искать. Все это звучало неплохо, но если какие-нибудь обстоятельства помешают планам Вилли, то Мистер Зельц останется один-одинешенек посреди этого города мраморных лестниц и пирожков с крабовым мясом. И что ему прикажете тогда делать? Один телефонный звонок — и все проблемы были бы решены за полминуты, но Вилли испытывал непреодолимое отвращение подлинного философа к использованию телефона для решения вопросов жизни и смерти. Он лучше будет сбивать ноги в кровь день за днем, чем возьмет эту штуковину и станет говорить в нее с невидимым собеседником. Вот таким-то образом их и забросило за двести миль на улицы Балтимора, по которым они блуждали без карты в поисках адреса, который вполне мог и не существовать.

Что касается тех двух дел, которые Вилли должен был сделать перед тем, как умереть, то ни одно из них не было важнее другого. Оба дела Вилли считал одинаково важными, и, поскольку времени не оставалось, чтобы сделать их по отдельности, Вилли изобрел комбинацию, которую называл не иначе как чесапикским гамбитом. Это был хитроумный замысел, благодаря которому Вилли рассчитывал, как говорится, убить двух зайцев. О первом деле мы уже упоминали выше: косматому приятелю Вилли следовало подыскать новых хозяев. Второе же дело касалось самого Вилли: он должен был передать свои сочинения в надежные руки. В настоящий момент труд всей его жизни покоился в ячейке автоматической камеры хранения на автовокзале на Райетт-стрит, в двух с половиной кварталах к северу от того места, где сейчас находились Вилли и Мистер Зельц. Ключ от ячейки лежал у Вилли в кармане, и если Вилли не удастся вложить этот ключ в надежные руки, то каждое написанное им слово будет безвозвратно утеряно и погибнет, когда невостребованный багаж в соответствии с инструкцией подвергнут уничтожению.

За двадцать три года, прошедших с того дня, когда Вилли взял себе фамилию Сочельник, он успел исписать семьдесят четыре общих тетради от корки до корки. Там были стихотворения, рассказы, эссе, дневниковые записи, эпиграммы, воспоминания и первые тысяча восемьсот строчек незаконченной поэмы "Дни бродяги". Большинство этих опусов Вилли сочинил сидя на кухне бруклинской квартиры своей матери, но после того как четыре года назад мать умерла, он был вынужден творить под открытым небом, часто подвергаясь натиску стихий в общественных парках и пыльных скверах, где он пытался поверить свои думы бумаге. По совести говоря, Вилли не питал насчет себя никаких иллюзий. Он знал, что ущербен и не пригоден для жизни в этом мире, но он также знал, как много талантливых строк содержат исписанные тетрадные листы, и посему считал себя вправе держать голову высоко. Возможно, если бы он педантичнее принимал лекарства, или бы обладал от природы более крепким телосложением, или же не питал такого прист-

растия к хмельному питью, которое подают в шумных барах, то он еще бы одарил мир рядом блистательных творений. Но сейчас было уже слишком поздно сожалеть об ошибках и упущениях. Вилли поставил точку в конце последнего предложения, и ждать конца оставалось совсем недолго. Слова, запертые в ячейке камеры хранения, были единственным, чем он мог оправдать свое существование. Если эти строки исчезнут, все будет так, словно он никогда и не жил.

Вот в связи с чем впервые прозвучало имя Би Свенсон. Вилли знал, что шансы разыскать ее невелики, но если это все же удастся, то, по убеждению Вилли, Би Свенсон сделает все возможное и невозможное, чтобы помочь ему. Когда-то, в незапамятные времена, миссис Свенсон была учительницей Вилли по английскому в старших классах, и, если бы не она, он вряд ли бы набрался смелости, чтобы поверить в свое писательское призвание. В те дни Вилли еще звали Уильям Гуревич, и представлял он собой костлявого шестнадцатилетнего юнца, одержимого страстью к книгам и авангардному джазу. Она взяла его под свое крыло и поощряла первые литературные опыты, восхваляя его талант в таких неумеренных выражениях и настолько преувеличивая достоинства его стиля, что вскоре он начал думать о себе как о следующей великой надежде американской литературы. Дело не в том, права была она или нет как педагог: результаты не столь важны на этом этапе, надежды — важнее. Миссис Свенсон распознала талант Вилли, рассмотрела искру божью в потемках его неоперившейся души — а ведь никому еще ничего в жизни не удавалось добиться, если рядом не было человека, который бы в него верил. Это доказанный факт, и, в то время как остальным ученикам мидвудской средней школы миссис Свенсон казалась приземистой женщиной средних лет с дебелыми руками, складки жира на которых подпрыгивали и колыхались, когда она писала что-нибудь на доске, Вилли в ней видел само совершенство, ангела, сошедшего с небес и принявшего человеческое обличие.

Но после летних каникул, когда занятия снова начались, миссис Свенсон в школе не появилась. Ее мужу предложили новую работу в Балтиморе, и, поскольку она была не только педагогом, но и женой, что ей оставалось, кроме как покинуть Бруклин и последовать за мистером Свенсоном в Балтимор? Для Вилли это был жестокий удар, смягчало который только то обстоятельство, что, хотя его наставница и была далеко, она его все же не забывала. В течение нескольких последующих лет миссис Свенсон поддерживала оживленную переписку со своим юным другом, читала и рецензировала рукописи, которые он присылал ей, дарила Вилли на день рождения пластинки со старыми записями Чарли Паркера и снабжала адресами маленьких литературных журналов, которые могли бы напечатать его работы. Пылкое хвалебное рекомендательное письмо, написанное ею в год окончания школы, помогло Вилли получить стипендию в Колумбийском университете. Миссис Свенсон стала его музой, ангелом-хранителем и счастливым талисманом в одном лице. В тот период жизни Вилли было не о чем мечтать — казалось, он живым попал на небо. Но в 1968 году произошел внезапный срыв, обострение шизофрении, припадок сумасшедшего фанданго, отплясанного на высоковольтных проводах. Вилли поместили в клинику, и после шести месяцев шоковой терапии и психотропных медикаментов он вышел оттуда непоправимо переменившимся. Вилли пополнил ряды душевно увечных. После больницы Вилли уже не писал стихов и рассказов, и те-

перь ему редко удавалось отвечать на письма миссис Свенсон. Причины не столь уж и важны. То ли у него голова не тем была занята, то ли он начал стесняться общения с ней, а может, он просто потерял веру в Федеральную почтовую службу и пришел к убеждению, что почтальоны постоянно заглядывают в доставляемую ими корреспонденцию. Так или иначе, некогда интенсивная переписка с миссис Свенсон свелась к скудному обмену открытками от случая к случаю, в основном — рождественскими поздравлениями с типографским текстом. Так продолжалось лет десять, пока, году в 1976-м, переписка не прекратилась вовсе. С тех пор они не обменялись ни строчкой, ни словом.

Мистер Зельц все это знал и был немало этим обеспокоен. Семнадцать лет миновало с тех пор. Кто тогда был президентом? Джеральд Форд? Даже это с трудом удается вспомнить через десять лет. Кого пытается обмануть Вилли? Себя? Чего только не могло случиться за эти годы! Стоит только подумать о переменах, которые происходят за семнадцать часов или семнадцать минут — что там говорить о семнадцати годах. Начнем хотя бы с того, что миссис Свенсон могла сменить адрес. К тому же старушке уж никак не меньше семидесяти сейчас, и если она не впала в маразм или не живет в трейлере где-нибудь во Флориде, то, скорее всего, уже давно лежит в сырой земле. Вилли и сам допустил такую возможность, когда этим утром они ступили на балтиморскую землю, но, черт побери, сказал он, если у них в стволе остался только этот последний патрон, то почему бы не рискнуть в конце концов? Ведь жизнь — игра, и нужно быть готовым проиграться до последней нитки.

Ох уж этот Вилли! Он знал столько баек, говорил на столько ладов одновременно, шевелил губами так часто, что Мистер Зельц уже не понимал, когда хозяину можно верить. Где правда, где ложь? Сразу и не скажешь, если имеешь дело с таким непредсказуемым и сложным типом, как Вилли Г. Сочельник. Мистер Зельц мог поручиться только за то, что он видел собственными глазами, только за то, что он испытал на собственной шкуре. Он жил вместе с Вилли всего семь лет, поэтому ему приходилось верить на слово Вилли во всем, что касалось предыдущих тридцати восьми. Если бы Мистер Зельц не провел все свое щенячество под одной крышей с матерью Вилли, то биография хозяина оказалась бы скрыта покровом мрака. Но, слушая рассказы миссис Гуревич и сравнивая их с рассказами ее сына, Мистер Зельц умудрился составить себе общее представление о том, как выглядел мир Вилли до тех пор, пока в нем не появился он. Конечно, картина была неполной — многих деталей не хватало, многое приходилось восстанавливать по догадке, но Мистер Зельц обладал изрядной толикой проницательности, чтобы отделить зерна от плевел.

Ясно было, что мир этот был беден и печален и атмосфера его чаще бывала пропитана отчаянием и горечью, чем радостью и весельем. Если принять во внимание, через что прошла семья Гуревичей перед тем, как очутиться в Америке, то казался в первую очередь чудом уже сам факт появления Вилли на свет. Из семи детей, родившихся в семьях дедушек и бабушек Вилли в Варшаве и Лодзи, после войны уцелело только двое: Давид Гуревич и Ида Перльмуттер — будущие отец и мать Вилли. Только у них на запястьях не оказалось вытатуированных лагерных номеров, только им удалось ускользнуть из цепких лап смерти. Это вовсе не означает, что им не пришлось хлебнуть лиха, — Мистер Зельц наслушался таких историй, от которых у него торчком вставала шерсть на загривке.

Так, Давиду и Иде пришлось десять дней скрываться на чердаке одного дома в Варшаве, в такой тесноте, что можно было только лежать и передвигаться ползком. Затем месяц они пробирались из Парижа в свободную зону на юге Франции, ночевали в стогах и воровали у крестьян яйца, чтобы не умереть с голоду. Затем был лагерь для беженцев в Манд, деньги все ушли на взятки, чтобы получить временные паспорта. Четыре месяца бюрократического ада в Марселе, где они ждали испанские транзитные визы. Затем затянувшаяся остановка в Лисабоне, мертворожденный сын, которого принесла Ида в 1944 году. Два года они с надеждой глядели в сторону Атлантики, но война все шла и шла, а сбережения их все таяли и таяли. К тому времени когда родители Вилли в 1946 году наконец очутились в Бруклине, они не столько начинали новую жизнь, сколько вели загробное существование в интервале между двумя смертями. Отец Вилли, в Польше некогда подававший надежды как адвокат, теперь с трудом выпросил место у троюродного брата и следующие тринадцать лет каждое утро отправлялся на подземке с Седьмой авеню на пуговичную фабрику на Двадцать восьмой западной улице. Первый год мать Вилли вносила свою лепту в семейную кассу, давая уроки фортепьяно юным отпрыскам еврейских семейств, но уроки кончились одним прекрасным утром в ноябре 1947 года, когда Вилли высунул свое крошечное личико между ног мамаши и неожиданно отказался умирать.

Вилли вырос американцем, мальчишкой из Бруклина, игравшим в стикбол[1] на улице, читавшим украдкой под одеялом комиксы и слушавшим Бадди Холли и Бига Боппера[2]. Ни мать, ни отец ничего не понимали в этих радостях жизни, но Вилли это мало трогало, поскольку на том этапе развития его важнейшей целью было убедить себя в том, что родители у него ненастоящие. Они казались ему чужими и непонятными с их нелепым польским акцентом и странными угловатыми манерами. Бессознательно он чувствовал, что выживет, только если сумеет противостоять им во всем. Когда отец скоропостижно скончался в сорок девять лет от сердечного приступа, скорбь Вилли помогло перенести тайное чувство облегчения. Еще на пороге отрочества, в двенадцать лет, он уже сформулировал свою жизненную философию: искать повсюду беды себе на голову. Чем больше страданий выпадает на твою долю, тем ближе ты оказываешься к истине, к неприглядной сути существования, а что может быть ужаснее, чем когда твой старик сыграет в ящик всего лишь через шесть недель после того, как тебе исполнилось двенадцать лет? Подобное событие накладывало на тебя трагический отпечаток, снимало с дистанции крысиных бегов навстречу тщетным упованиям и сентиментальным иллюзиям, отбрасывало на твой лик мрачную тень подлинных душевных терзаний. На самом же деле Вилли особенно и не страдал. Отец для него всегда оставался загадочной фигурой; он мог молчать неделями, а затем вдруг разражаться внезапными вспышками гнева. Не раз он награждал Вилли оплеухой по самым пустяковым поводам. Нет, жизнь без этого мешка с взрывчаткой у тебя под боком была не столь уж и тяжела. Честно говоря, привыкнуть к отсутствию отца не составило ни малейшего труда.

1. Стикбол – упрощенная форма бейсбола, уличная игра, в которой используют резиновый мячик и палку или ручку от метлы вместо биты.
2. Бадди Холли и Биг Боппер – исполнители раннего рок-н-ролла 50-х годов.

По крайней мере, к такому выводу пришел наш славный герр доктор Зельц. Хотите, соглашайтесь с его мнением, хотите — нет, но если не верить ему, то кому же верить? Неужели, выслушивая все эти истории на протяжении семи лет, он не заслужил права именоваться ведущим мировым авторитетом в области изучения Вилли?

Итак, Вилли остался один с матерью. Мать Вилли трудно было назвать легким в общежитии существом, но, по крайней мере, она не распускала рук и выказывала по отношению к сыну немало любви и достаточно сердечной теплоты, чтобы компенсировать те периоды, когда она постоянно попрекала Вилли, поучала его и изводила прочими способами. В целом, нельзя сказать, чтобы Вилли не старался быть хорошим сыном. В те редкие моменты, когда он не думал о себе, он даже предпринимал сознательные попытки любить свою мать. Если между ними и существовала какая-то напряженность, то обусловлена она была не столько личными чувствами, сколько противоположными взглядами на жизнь. Из собственного тяжелого опыта миссис Гуревич знала, что мир полон зла и опасностей, и жила в соответствии с этим знанием, пытаясь делать все, что было в ее власти, чтобы не дать миру погубить себя. Вилли тоже считал, что мир настроен к нему враждебно, но, в отличие от матери, полагал, что всякое сопротивление бесполезно. Разница между ними заключалась не в том, что одна была оптимисткой, а другой пессимистом. И мать, и сын были пессимистами, но если пессимизм первой вел к жизни в мире страхов, то пессимизм второго выливался в шумное и напускное презрение ко всему сущему. Там, где мать сжималась в комок, сын шел напролом. Там, где мать осторожно пыталась ни в коем случае не заступать за красную линию, сын бесшабашно пересекал ее. Большую часть времени они пререкались меж собой. Поскольку Вилли знал, как легко завести мать, он не упускал ни единого случая, чтобы вступить с ней в конфликт. Если бы только ей хватило ума относиться к высказываниям сына с бóльшим равнодушием, Вилли не стал бы так яростно отстаивать свои взгляды. Это противостояние вдохновляло его, подталкивало к переходу на все более и более экстремистские позиции, и к тому времени, когда школа осталась позади, а впереди распахнулись двери колледжа, Вилли уже полностью сжился с некогда избранной им ролью: с ролью бунтаря, возмутителя спокойствия, прóклятого поэта, ночующего в канавах обреченного на погибель мира.

Одному богу известно, сколько наркотиков удалось впихнуть в себя этому парню за те два с половиной года, что он провел на Морнингсайд-Хайтс[1]. Назовите любое запрещенное вещество, и окажется, что Вилли курил его, или нюхал, или впрыскивал в вены. Одно дело ходить по коридорам, изображая из себя нового Франсуа Вийона, и совсем другое — ввести в себя столько отравы, что ею можно засыпать всю территорию городской свалки Нью-Йорка в Джерси Мидоулэндз. Такого натиска не выдержит биохимия даже самого стойкого организма. Судя по всему, Вилли рано или поздно так и так должен был сойти с ума, но кто сможет уверенно утверждать, что психоделическая вседозволенность его студенческих дней не ускорила процесс? Когда соседи по общежитию в один прекрасный день застали Вилли распростертым нагишом на полу его комнаты и распевающим наподобие мантры имена из телефонной книги Манхэттена, отправляя при этом ложкой в рот из горшка свои

1. Район, где размещается кампус Колумбийского университета.

собственные экскременты, академической карьере будущего хозяина Мистера Зельца был положен преждевременный и необратимый конец.

Засим последовал дурдом, из которого Вилли вернулся в квартиру матери на Гленвуд-авеню. Это явно было для него не самое лучшее место, но куда еще в мире могло направиться несчастное существо, подобное Вилли? Первые шесть месяцев заметных улучшений не отмечалось. Если не считать того, что Вилли переключился с наркотиков на алкоголь, ничего не изменилось. Прежняя напряженность, прежние конфликты, прежнее взаимонепонимание. И тут ни с того ни с сего накануне сочельника 1969 года у Вилли случилось видение, которое изменило все вокруг, произошла мистическая встреча, которая перевернула все в его сознании и придала всей его жизни совершенно иной ход.

Дело было в половине третьего ночи. Мать Вилли легла в постель уже несколько часов назад, а Вилли расположился на диване в гостиной с пачкой "Лаки Страйк" и бутылкой бурбона. Он краешком глаза следил за экраном телевизора. Телевизор вошел в его жизнь совсем недавно, как побочный продукт долгого пребывания в психушке. Изображения, сменявшиеся на экране, не особенно интересовали Вилли; большее удовольствие доставлял ему гул работающего кинескопа и серо-голубые тени, отбрасываемые им на стены гостиной. Шла программа "Для тех, кто не спит" (что-то насчет гигантских кузнечиков, пожирающих обывателей города Сакраменто, штат Калифорния), но большая часть эфирного времени была посвящена обычному надсадному восхвалению чудесных новшеств: ножей, которые никогда не тупятся, лампочек, что никогда не перегорают, и волшебных лосьонов, навсегда избавляющих потребителя от кошмара плешивости. "Болтай, болтай, — бормотал Вилли следом за диктором, — старые уловки, вечные враки". Но только он собрался встать и выключить телевизор, как на экране начался новый рекламный ролик, в котором Санта-Клаус появился из чего-то, что выглядело как каминная труба в гостиной пригородного дома где-нибудь в Массапекуа, Лонг-Айленд. Дело было перед Рождеством, поэтому реклама с актерами, выряженными Санта-Клаусом, сама по себе не удивляла Вилли. Но этот Санта-Клаус был не таков, как другие: щечки пылают огнем, борода — белизны необыкновенной. Вилли ждал, когда начнется текст, абсолютно уверенный в том, что речь пойдет о средстве для чистки ковров или квартирной сигнализации, но внезапно Санта-Клаус обратился к Вилли со словами, которые полностью переменили его судьбу.

— Уильям Гуревич, — сказал Санта-Клаус. — Да, да, Уильям Гуревич из Бруклина, штат Нью-Йорк, я с тобой говорю!

В ту ночь Вилли выпил только половину бутылки, к тому же прошло уже восемь месяцев с момента, когда он в последний раз страдал полномасштабными галлюцинациями. Поэтому Вилли знал, что на такую чепуху его не купишь. Он осознавал разницу между реальностью и игрой воображения. Если Санта-Клаус обращался к нему с экрана маминого телевизора, это могло означать лишь одно, а именно, что он, Вилли, выпил гораздо больше, чем ему казалось.

— Да пошел ты, мистер! — сказал Вилли и без долгих раздумий выключил ящик.

К несчастью, выдержки у него хватило ненадолго. Потому ли, что он от природы страдал любопытством, потому ли, что хотел увериться в том, что опять не сошел с ума, но Вилли решил, что стоит снова включить телевизор — ну на самую-самую чуточку хотя бы. Ведь это никому не

повредит, разве нет? Лучше узнать горькую правду, чем следующие сорок лет каждое Рождество мучиться сомнениями, что́ же он на самом деле видел.

И что бы вы думали? — Санта-Клаус был тут как тут. Он погрозил пальцем Вилли и покачал неодобрительно головой. В глазах его читалось разочарование. Затем он открыл рот и начал говорить (с того самого места, на котором остановился десять секунд назад). Вилли не знал, что ему делать: то ли расхохотаться во все горло, то ли выпрыгнуть в окно. Но что случилось, то случилось. Это было невероятно, но оно случилось, и Вилли знал, что отныне мир никогда не станет для него таким же, как прежде.

— Это было крайне невежливо с твоей стороны, Уильям, — сказал Санта-Клаус. — Я пришел, чтобы помочь тебе, но мы не сдвинемся с места, если ты не предоставишь мне возможность высказаться. Ты следишь за моими словами, сынок?

На последний вопрос явно надо было бы ответить, но Вилли колебался. Хватит с этого шута горохового и того, что он, Вилли, его слушает. Не хватало еще, чтобы он стал с ним говорить.

— Уильям! — воззвал Санта-Клаус. В голосе его слышались неодобрение и упрек и такой напор, что Вилли почувствовал — этому парню лучше не перечить. Если Вилли хочет выбраться из кошмара, то лучше подыгрывать этому седобородому громиле.

— Слушаю, босс! — промямлил Вилли. — Впитываю каждое ваше слово!

Здоровяк самодовольно улыбнулся. Камера наплывом взяла крупный план его цветущего лица. Следующие несколько секунд Санта-Клаус задумчиво теребил свою бороду, словно раздумывал, с чего начать.

— Ты знаешь, кто я такой? — внезапно спросил он.

— Я знаю, на кого ты похож, — сказал Вилли, — но это еще не означает, что я знаю, кто ты такой. Сначала я думал, что ты какой-нибудь гребаный актеришка. Затем решил, что ты — джинн из бутылки. Теперь я просто теряюсь в догадках.

— Я тот, на кого я похож.

— Ну, если так, старина, тогда я — зять императора Хайле Селассие.

— Я — Санта-Клаус, Уильям. Иначе говоря — Святой Николай. Или, если уж совсем по-простому, Дед Мороз. Единственная добрая сила, оставшаяся в этом мире.

— Санта, ты говоришь? А ну-ка, повтори по буквам "Эс-А-Эн-Тэ-А", верно?

— Ты не ошибся. Мое имя пишется именно так.

— Именно этого я и ожидал. А теперь переставим-ка эти буквы слегка, и что у нас выйдет: С-А-Т-А-Н — Сатана! Ты, дедушка, — сам дьявол во плоти и существуешь только в моем воображении и больше нигде.

Обратите внимание на то, как яростно боролся Вилли с видением, с какой решимостью отвергал соблазн. Он, конечно же, не был одним из тех пустоголовых психопатов, что позволяют призракам и видениям помыкать собой. Вилли противился происходящему, и то отвращение, можно даже сказать, открытая враждебность, которую он испытывал в первые мгновения своей встречи со сверхъестественным, и убедили Мистера Зельца в том, что Вилли действительно пережил видение, а не сочинил сам всю историю от начала до конца. В изложении Вилли все происходившее возмущало его до глубины души. Это был вызов, бро-

шенный его рассудку, и от одного взгляда на эту воплощенную пошлость в красном колпаке кровь вскипала в жилах у Вилли. Пусть кто-нибудь другой верит во всю эту рождественскую чушь, изобретенную исключительно для того, чтобы простаки легче расставались со звонкой монетой и чтобы бойко стрекотали кассовые аппараты. Санта-Клаус был для Вилли Гуревича самой сутью всего этого бесстыдного разгула потребительских страстей, средоточием рождественского надувательства.

Но этот Санта не был ни самозванцем, ни переодетым бесом. Он был самый что ни на есть подлинный Дед Мороз, повелитель эльфов и духов, явившийся с посланием доброты, милосердия и самопожертвования. Эта неправдоподобнейшая из фантазий, эта противоположность всего того, за что Вилли боролся, эта абсурдная фигура, этот прохиндей в красном кафтане и в сапожках, отороченных мехом, — да, да, этот самый Санта-Клаус во всем своем блеске и славе возник из телеэфира, дабы потрясти самое основание скептицизма Вилли и исцелить его разбитую душу. Вот так обстояли дела. Если кто-нибудь здесь и фальшивка, сказал Санта-Клаус, так это сам Вилли, а затем битый час разъяснял испуганному и потрясенному парню, почему это именно так.

Он называл Вилли мошенником, позером и бездарным халтурщиком. Затем он поднял ставки и стал называть его ничтожеством, клистиром, пустоголовым болваном, пока, действуя таким образом, не пробил оборону Вилли и не явил сияние света его глазам. К тому времени Вилли уже лежал на полу — распростертый, рыдающий в голос, умоляющий о пощаде, обещающий исправиться и стать хорошим. Христос действительно рождался на свет, понял Вилли, и не знать ему ни истины, ни счастья, пока он не доверится явившемуся ему доброму духу. Отныне на него возложена тайная миссия: ежедневно нести весть Рождества в сей мир, не прося от него ничего взамен и щедро даря ему свою любовь.

Говоря другими словами, Вилли решил сделаться святым.

Вот так получилось, что Уильям Гуревич завершил свой путь земной и из плоти его родился новый человек, которого звали Вилли Г. Сочельник. В ознаменование этого события Вилли наутро отправился в Манхэттен, где сделал себе на правой руке татуировку с изображением Санта-Клауса. Процесс был болезненным, но Вилли с улыбкой переносил уколы иглы, радуясь тому, что отныне он будет носить на себе зримый знак произошедшего с ним превращения до конца дней своих.

Увы, когда Вилли вернулся домой и гордо продемонстрировал миссис Гуревич украсившее его кожу изображение, та разразилась потоками слез и впала в гневное возмущение, граничившее с бешенством. Вывела ее из себя не столько татуировка сама по себе (хотя и это тоже, учитывая то, что татуировка запрещена законами Моисея, и то, что́ означала для нее татуировка на еврейской коже), сколько ее сюжет. Трехцветный Санта-Клаус на запястье Вилли в глазах миссис Гуревич казался символом предательства и неисцелимого безумия — именно поэтому она так отреагировала на его появление. До этого момента она еще питала надежды на полное выздоровление своего чада. Миссис Гуревич считала, что всему виной наркотики и что, как только их зловредные молекулы покинут организм Вилли и кровь его очистится, он тут же перестанет проводить дни напролет перед телевизором и вернется обратно в колледж. Но теперь все было кончено. Одного взгляда на татуировку было достаточно, чтобы это понять. Тщетные надежды и пустые ожидания упали к ее ногам и разлетелись на мелкие осколки. Санта-Клаус был ла-

зутчиком из лагеря врага; он состоял на службе у пресвитерианцев и католиков, у иисусопоклонников и евреененавистников, у Гитлера и подобных ему. Гои завладели мозгом Вилли, а если в мозг пробрались гои, то пиши пропало. Все начнется тихо-мирно с Рождества, а там и Пасха не за горами, а там, глядишь, на свет божий появятся кресты и пойдут разговоры о том, что жиды Христа продали, а там и оглянуться не успеешь, как штурмовики начнут колотить сапогами в твою дверь. Для миссис Гуревич не было особой разницы в том, что́ ее сын изобразил на запястье — Санта-Клауса или свастику.

Вилли смутился, и смутился искренне. Он никого не хотел обидеть, и уж в последнюю очередь в нынешнем своем состоянии раскаяния и обращения он хотел обидеть свою родную мать. Он пытался что-то объяснить ей, но миссис Гуревич и слушать не желала. Она визжала и называла его нацистом. Когда Вилли попытался объяснить Иде, что Санта-Клаус — это воплощение Будды, святой, несущий миру послание сострадательной любви и милосердия, она пригрозила, что немедленно отправит сына обратно в психиатрическую лечебницу. Это заставило Вилли вспомнить поговорку, которую он слыхивал от одного из товарищей по палате в больнице Святого Луки: "Лучше ходить от магазина до дома, чем от аминазина до комы", и тут же он понял, что́ его ждет, если мать исполнит свою угрозу. Так что, решив не испытывать более ее терпение, он набросил плащ и покинул квартиру, направляя свой путь бог весть куда.

Так продолжалось долгие годы: Вилли покидал дом на несколько месяцев, затем на несколько месяцев возвращался, затем снова уходил. Первый его уход, пожалуй, был самым драматическим; в основном потому, что Вилли еще ничего не знал о бродячей жизни. В первый раз он покинул дом совсем ненадолго, хотя Мистер Зельц так и не смог уяснить для себя, что значит для Вилли "ненадолго" и идет ли речь о неделях или месяцах. Что бы там ни случилось с Вилли за время его первой отлучки, вернулся он, уверенный в том, что обрел свое истинное призвание. "Не говори мне, что дважды два — четыре, — сказал Вилли матери по возвращении в Бруклин. — Откуда мы знаем, что два — это два? Вот в чем вопрос".

На следующий день Вилли сел за стол и снова начал писать. Он взялся за перо в первый раз с тех пор, как его положили в больницу, и слова текли из него свободно, будто вода из лопнувшей трубы. Вилли Г. Сочельник оказался более даровитым и изобретательным поэтом, чем Уильям Гуревич, и если стихам его порой не хватало оригинальности, то они полностью искупали этот недостаток искренним энтузиазмом. Хорошим примером может послужить, в частности, стихотворение под названием "Тридцать три правила жизни". Оно начинается следующим образом:

Брось себя в объятия мира,
И воздух не даст тебе упасть.
Уклонись от них, и мир
Прыгнет тебе на спину.
Отправься нагим по дороге,
Мощенной костями,
Слушая музыку собственных ног,
А если стемнеет —

Не насвистывай, пой!
С открытыми глазами не видно
Дороги. Сними свое платье,
Раздай свои обувь и деньги —
В подарок первому встречному.
Дай. Если спляшешь тарантеллу безумья,
Ничто тебе станет дороже
Всех множеств...

Но литература — одно, а жизнь среди людей — совсем другое. Стихи Вилли изменились, но это не давало ответа на главный вопрос: изменился ли он сам? Действительно ли он стал новым человеком, или же его желание святости оказалось лишь мимолетным порывом? Вознесся ли он одним скачком к недосягаемым высотам, или же перерождение его свелось к татуировке на правом запястье и смехотворному прозвищу, на которое он теперь предпочитал откликаться? Честным ответом было бы и да, и нет, понемногу и того, и другого. Ибо Вилли был слаб, ибо Вилли слишком часто гневался, и Вилли был чересчур забывчив. Расстроенный рассудок нередко подводил его, и когда рулетку в его голове заклинивало или, напротив, разгоняло до немыслимых оборотов, ставить на нее было рискованно. Как мог человек, столь ущербный духом, отважиться примерить на себя покровы святости? Дело было даже не в возрасте Вилли и не в том, что был он прирожденный враль с сильными параноидальными наклонностями. Просто для такой роли он был слишком забавен. Как только Вилли начинал шутить шутки, Санта-Клаус сгорал от стыда и проваливался сквозь землю, а вместе с ним — и вся затея с любовью к ближним, цветами и улыбками.

При всем при том мы скажем неправду, если заявим, что он плохо старался. Стараться-то он как раз старался, и большая часть историй, приключившихся с ним, связана именно с его стараниями. Даже если сам Вилли часто не оправдывал собственных ожиданий, у него перед глазами всегда был пример для подражания. В те редкие моменты, когда Вилли был способен сфокусировать свои мысли и отказаться от питейных излишеств, он демонстрировал чудеса храбрости и великодушия. Так, например, в 1972 году, рискуя жизнью, он спас тонувшую четырехлетнюю девочку. В 1976 году он встал на защиту восьмидесятиоднолетнего старца, которого избивали хулиганы на Сорок третьей западной улице, и за свои старания заработал ножевое ранение в плечо и пулю в лодыжку. Не раз он жертвовал для друга в беде последним долларом, не раз утешал на своей груди несчастных любовников и брошенных любовниц. Ему даже удалось отговорить трех самоубийц (одного мужчину и двух женщин) от их затеи. В душе Вилли имелись светлые пятна, и если вам случалось наткнуться на такое пятно, вы с готовностью прощали ему все остальное. Разумеется, у него не все были дома и он частенько становился совершенно невыносимым, но когда рассудок Вилли прояснялся, то второго такого друга еще надо было поискать, и люди, которым довелось познакомиться с ним в такие мгновения, помнили его до самой смерти.

Рассказывая Мистеру Зельцу о первых годах своих странствий, Вилли чаще поминал хорошее, а о плохом старался забыть. Но кто отважится упрекнуть его в сентиментальности? Мы все страдаем этим, собаки и люди в равной степени. К тому же примите во внимание, что в 1970 го-

ду Вилли находился в самом расцвете своей юности. Физического здоровья ему было не занимать, зубы все целехонькие, плюс к этому — небольшая сумма на счету в банке, которая образовалась из отцовской страховки, так что, когда ему стукнуло двадцать один, он вступил в права наследства. В карманных деньгах он после этого не испытывал недостатка добрых лет десять. Но кроме этих двух сокровищ — юности и денег, — примите во внимание исторический момент, то есть сами те годы, когда Вилли начал бродяжничать. Страна кишела отщепенцами и юными беглецами из дома, патлатыми визионерами, рехнутыми анархистами и удолбанными психопатами. Несмотря на всю свою необычность и исключительность, Вилли не слишком выделялся на их фоне. Еще один типичный американский чудик, не более того — так что куда бы ни заносило Вилли: в Питтсбург или Платтсбург, в Покателло или Бока Ратон, — везде он мог рассчитывать на компанию родственных душ. По крайней мере, так утверждал Вилли, и Мистер Зельц не видел оснований, чтобы не верить ему.

Да и в конце-то концов какая разница? Пес прожил на свете достаточно долго, чтобы знать, что хорошие истории совсем не обязательно правдивые истории. Верить или не верить Вилли — это дело личное, главным же был тот факт, что Вилли жил как жил, а годы шли. Что может быть важнее этого? Да ничего! Годы шли, и молодой человек превращался в человека не очень молодого, а мир между тем стремительно менялся. К тому времени когда Мистер Зельц покинул утробу матери, от юности Вилли остались одни только смутные воспоминания, и зелень его юных дней уже давно прела в компостной куче. Все беглецы вернулись под отчий кров, обкуренные пророки сняли с шеи индейскую бижутерию и нацепили галстуки-бабочки, война кончилась. Но Вилли так и остался Вилли, неукротимым рифмоплетом и самозваным посланником Санта-Клауса, прикрытым грязным рубищем бродяги. Время жестоко обошлось с поэтом, и теперь он — дурно пахнущий и мокрогубый — с трудом вписывался в окружающую среду. Его вид отпугивал людей. Перенесенное ранение и износ организма привели к тому, что он потерял свое былое проворство, благодаря которому в прежние времена с легкостью уворачивался от грозивших ему опасностей. Люди избивали его, когда он спал, сжигали его рукописи, без зазрения совести пользовались его физической и душевной немощью. После одного такого столкновения с обществом Вилли очутился в больнице со сломанной рукой и поврежденным глазом. И тут он понял, что без защитника ему не обойтись. Сначала он хотел обзавестись пистолетом, но оружие вызывало у него непреодолимое отвращение, и тогда Вилли решил завести себе четвероногого друга.

Миссис Гуревич отнеслась без восторга к этой идее, но сын ее уперся и настоял на своем. Вот почему Мистер Зельц был оторван от материнской груди и, навсегда распрощавшись с пятью своими братьями-сестричками, переехал из приюта для бродячих животных в Норт-Шоре на Гленвуд-авеню в Бруклине. Честно говоря, Мистер Зельц детство свое помнил крайне смутно. Людской язык поначалу давался ему с трудом. Чудовищный акцент и путаная речь миссис Гуревич, а также склонность Вилли к пародированию голосов различных персонажей (он изображал то Габби Хейса, то Луиса Армстронга; начав день с голосом Граучо Маркса, он мог закончить его, уже подделываясь под Мориса Шевалье) только осложняли дело. По этой причине у Мистера Зельца ушло несколько

месяцев на овладение основами английской речи. Кроме того, он страдал от проблем, обычных для всех щенков: мочевой пузырь и прямая кишка не хотели слушаться его. Отсюда постоянно расстеленные на полу кухни газеты и стенания, которые миссис Гуревич издавала всегда, когда Мистеру Зельцу в очередной раз случалось помочиться в неположенном месте. Миссис Гуревич была капризной старой дамой, и, если бы не нежные руки Вилли и не его ласковые слова, жизнь в квартире Гуревичей могла стать сущим адом. Наступила зима, улицы покрылись льдом и рассыпанной солью, поэтому девяносто восемь процентов времени приходилось проводить дома. Мистер Зельц или сидел у ног хозяина, в то время как поэт трудился над своим очередным шедевром, или же бродил по квартире, исследуя все ее закутки и закоулки. У Гуревичей было четыре комнаты и кухня, и к началу весны Мистер Зельц уже досконально изучил каждую царапину на мебели, каждое пятно на ковре и каждую трещину на линолеуме. Он отличал запах тапочек миссис Гуревич от запаха трусов Вилли, постиг разницу между звонком в дверь и телефонным звонком, никогда не путал позвякивание ключей на брелке с шорохом пилюль, перекатывающихся в пластмассовом пузырьке. Он был на короткой ноге с каждым тараканом, жившим под раковиной на кухне. Это было скучное, однообразное существование, но откуда Мистер Зельц мог это знать? Откуда мог это ведать маленький щенок с глупеньким умишком, с толстыми неуклюжими лапами, которые запинались о его собственный хвост и то и дело норовили вступить в его собственные какашки? Другой жизни Мистер Зельц тогда еще просто не знал, а посему и не дерзал судить, насколько она наполнена смыслом и радостями, ради которых стоило бы существовать.

Какой же сюрприз поджидал нашего маленького барбоса весной! На улице потеплело, распустились цветы, и Мистер Зельц с удивлением узнал, что Вилли — не только домосед с карандашом в руке, не только профессиональный непризнанный гений. Воистину у его хозяина оказалась собачья душа! Выяснилось, что Вилли еще и бродяга, и отчаянный авантюрист, менявший на ходу правила игры, — короче говоря, незаурядный представитель племени двуногих. Одним прекрасным днем в середине апреля они вышли за дверь и отправились навстречу неведомому, для того чтобы вернуться в Бруклин только накануне Хэллоуина. Какая собака могла мечтать о большем? Мистер Зельц чувствовал себя счастливейшей из тварей земных.

Затем, конечно, им пришлось пережить еще немало периодов зимней спячки и возвращений под кров родного дома, а также сопряженные с ними месяцы отшельнического существования. Долгие месяцы, наполненные бульканьем радиаторов парового отопления, гудением пылесоса и кофемолки, вкусом консервированного корма. Но стоило Мистеру Зельцу втянуться в ритм городской жизни, как он начинал находить ее привлекательной. В конце концов, снаружи было холодно, а в квартире был Вилли, а разве может жизнь казаться плохой, если рядом с тобой — твой хозяин? Даже миссис Гуревич постепенно привыкла к новому жильцу. После того как Мистер Зельц научился соблюдать правила общежития, сердце миссис Гуревич заметно смягчилось, и хотя она продолжала ворчать по поводу шерсти Мистера Зельца, которую тот щедро рассыпал по всей квартире, было ясно, что ворчит она для проформы. Иногда она даже позволяла Мистеру Зельцу примоститься рядом с собой на софе в гостиной, и при этом гладила его по голове одной рукой,

в то время как другой перелистывала журнал. Изредка она даже откровенно делилась с Мистером Зельцем всеми своими тревогами по поводу ее непутевого блудного сына. Она говорила ему, как страдает оттого, что у такого славного мальчика в голове не все в порядке. Но полсына все-таки лучше, чем никакого сына вообще, фарштайст[1]? И что ей остается, кроме как любить его и надеяться на лучшее? Его, конечно, никогда не похоронят на еврейском кладбище — особенно с этой пакостью, что у него на руке, — а разве не горько знать, что твой единственный ребенок не ляжет в землю рядом с матерью и отцом — еще одна печаль, еще одна мука неизбывная, — но жить-то живым в конце концов, и, слава богу, оба они здоровы, — постучи по дереву! — а значит, все не так уж и плохо, что само по себе чудо, за которое стоит быть благодарным, такого за деньги не купишь, верно? — иначе это давно бы рекламировали по телевизору. А так, цветной у тебя аппарат или черно-белый, жизнь-то за деньги не купишь — ведь если перед тобой разверзнутся врата смерти, то закрыть их обратно не смогут даже все китайцы на свете, навались они на них разом.

Вскоре Мистер Зельц обнаружил, что разница между миссис Гуревич и ее сыном гораздо меньше, чем ему казалось вначале. Разумеется, они часто спорили, да и пахли совсем по-разному: Вилли — нечистым телом и мужским потом, а Ида — сложной смесью сиреневого туалетного мыла, крема "Пондз" для лица и мятной зубной пасты. Но как только дело доходило до разговоров, шестидесятивосьмилетняя мама-сан (как ее именовал Вилли) могла дать фору любому. Стоило ей начать один из своих бесконечных монологов, как мигом становилось ясно, почему ее отпрыск вырос таким отъявленным треплом. Темы монологов у Иды и Вилли, конечно, могли быть различными, но стиль совпадал. Безудержный бурный поток свободных ассоциаций с многочисленными лирическими отступлениями, комментариями в скобках и богатым набором звуковых эффектов, включавшим в себя все что угодно, от прищелкивания языком до хихиканья и шумных вздохов. У Вилли Мистер Зельц многому научился из того, что касается юмора, иронии и метафорической образности. У мамы-сан — тому, как трудно жить на этом свете. Она объяснила ему все насчет того, что такое мировая скорбь, как чувствует себя человек, плечи которого придавлены тяжестью вселенной, и — что еще важнее — как порой спасают слезы от всех этих бед.

Труся за хозяином тем жутким воскресеньем в Балтиморе, Мистер Зельц с удивлением думал, к чему это все ему вспомнилось. С чего это миссис Гуревич? — недоумевал он. Зачем вспоминать тоскливые бруклинские зимы, когда память его хранит столько более ярких и значительных эпизодов? Чего стоит один Альбукерк, где они замечательно отдохнули пару лет назад на заброшенной кроватной фабрике. Или Грета, сладострастная сука, с которой Мистер Зельц провел десять пылких ночей на кукурузном поле под Айова-Сити. Или золотой дождь, пролившийся на них в Беркли четыре года назад, когда Вилли продал за один вечер на Телеграф-авеню восемьдесят шесть ксерокопированных экземпляров своего стихотворения по доллару штука. Он с преогромнейшим удовольствием вспоминал сейчас один из этих сюжетов. Да хотя бы те времена, когда хозяин еще не кашлял, — год назад, пусть даже девять или десять месяцев назад, пускай хотя бы тот период, когда Вилли при-

1. Понимаешь? (*идиш*)

мостился под бок к той толстой коротышке... как бишь ее, Ванда или Венди, да какая разница! Девица эта жила в трейлере под Денвером и любила кормить Мистера Зельца крутыми яйцами. Она была законченная алкоголичка, бесформенный комок пропитого сала, и ржала все время не переставая, щекоча Мистеру Зельцу мягкое брюхо. А если у Мистера Зельца внезапно высовывалась мокрая собачья морковка, она просто помирала со смеху, так что лицо у нее становилось лилово-красным. А поскольку история эта повторялась довольно часто, то теперь стоило только Мистеру Зельцу услышать слово "Денвер", как в ушах у него начинал звучать хохот Ванды. Именно это в его понимании и было "Денвером", так же как "Чикаго" для него было автобусом, обкатившим его водой из лужи на Мичиган-авеню, а "Тампа" – солнечными бликами на асфальте жарким августовским днем. "Таксон" же представлялся ему жарким ветром пустыни, пахнущим можжевельником и шалфеем, который внезапно привносит жизнь в бездвижный воздух.

Мало-помалу он начал охотиться за такими воспоминаниями, пытаясь ухватить хоть одно из них на лету, но бесполезно. Вновь и вновь ему вспоминалась бруклинская квартира, тоскливое заточение в четырех стенах, мама-сан, шлепающая в белых пушистых тапочках по комнатам. Оставалось только принять это как должное, решил Мистер Зельц, и, погрузившись в омут тех бесчисленных дней и ночей, он вдруг понял, что возвращается в воспоминаниях на Гленвуд-авеню именно потому, что миссис Гуревич умерла. Она покинула этот мир – как вскоре покинет его и ее сын. Вспоминая первую смерть, Мистер Зельц потихоньку подготавливал себя к неминуемой второй – смерти смертей, которой предстояло перевернуть мир вверх дном, а возможно и вообще уничтожить его.

Зима благоприятствовала поэтическим трудам. Дома Вилли придерживался ночного образа жизни и чаще всего садился за работу сразу после того, как его мать отправлялась в постель. Жизнь в пути не оставляла ни времени, ни сил для сочинительства. Двигаться приходилось быстро, душа не знала покоя, что-нибудь постоянно отвлекало, так что с трудом удавалось набросать пару случайных строк на бумажной салфетке. Но, живя в Бруклине, Вилли обыкновенно проводил три-четыре часа ночью за письменным столом, кропая свои вирши в общих тетрадках формата 8,5x12 дюймов, в которых листы скрепляются пластмассовой спиралью. Если, конечно, не запивал где-нибудь вне дома или не страдал от отсутствия вдохновения. Иногда он бормотал что-то себе под нос, сочиняя, а иногда даже возбуждался до такой степени, что начинал смеяться, или ругаться, или стучать кулаком по столу. Сначала Мистер Зельц думал, что эти звуки адресованы ему, но как только уразумел, что это обычный шум, сопровождающий творческий процесс, стал попросту сворачиваться калачиком под столом у ног хозяина в ожидании того момента, когда Вилли устанет слагать стихи и выведет его на улицу опорожнить мочевой пузырь.

К тому же, надо признать, жизнь в Бруклине не состояла из одних синяков и шишек, бывали в ней и свои пироги и пышки, стоило только Вилли на какое-то время воспарить над писательскими буднями. Отсчитайте тридцать восемь лет по собачьему календарю назад, и вы попадете в эпоху, когда Вилли работал над Симфонией Запахов. В анналах Вилли та зима значилась как единственная в своем роде – за нее Вилли не написал ни единой строчки. Да, сказал сам себе Мистер Зельц, то были

времена — блестящие, безумные времена, от одного воспоминания о которых у него теплело в груди. Если бы он умел улыбаться, он сейчас улыбнулся бы, если бы умел плакать — пролил бы слезу. И разумеется, если бы он умел делать и то и другое, он разразился бы слезами и смехом одновременно, восхваляя и оплакивая своего хозяина, которому предстояло вскоре покинуть этот мир.

Это случилось еще в самом начале их совместной жизни. Они уже дважды покидали Бруклин и возвращались обратно, и за время скитаний Вилли успел привязаться к своему четвероногому другу. Теперь у Вилли всегда был рядом и защитник, и внимательный слушатель, и источник тепла в холодные ночи. Познакомившись с Мистером Зельцем поближе, Вилли пришел к выводу, что пес этот — воплощение земной доброты, и на нем не сыщешь ни единого пятна порока. Он не только поверил в то, что у Мистера Зельца есть душа, но и пришел к выводу, что душа эта намного лучше и чище других душ, и чем больше Вилли присматривался, тем больше утонченности и благородства обнаруживал в ней. Не был ли Мистер Зельц ангелом в образе собаки? Вилли с самого начала допускал это. Но после восемнадцати месяцев плотного общения и пристального наблюдения он пришел к выводу, что предчувствия его не обманули. Достаточно написать слово "DOG" и поднести листок к зеркалу, чтобы понять, в чем тут дело. DOG, прочитанное задом наперед, — это GOD. Собака — это Бог, вот в чем дело. Имя всемогущего творца всего сущего содержится в зашифрованном виде в имени четвероногой твари. Разве такое может быть случайностью? Разве здесь нет намека на то, что Мистер Зельц — воплощение той доброй силы, о которой Санта-Клаус поведал ему декабрьской ночью 1969 года? Кто знает, кто знает. Другой, возможно, и поспорил бы с этим утверждением, но для Вилли все было яснее ясного. Именно поэтому Вилли и был Вилли.

Однако при всем при том внешне Мистер Зельц во всех отношениях являлся собакой. От кончика хвоста до кончика носа он выглядел как типичный представитель Canis familiaris, и какой бы божественный дух ни скрывался под его мохнатой шкурой, всякий видел в нем прежде всего собаку, мистера Гав-Гав, месье Вау-Вау, лорда Морду. Как сказал собутыльник Вилли в одном чикагском баре четыре или пять лет тому назад: "Знаешь, в чем заключается вся собачья философия, приятель? Если ты не можешь ни съесть, ни трахнуть эту вещь, помочись на нее".

Но Вилли не сомневался в своей правоте. Кто постиг все тайны теологии? Никто. Если Бог мог послать своего Сына на землю в человеческом образе, почему бы Ему не послать на землю ангела в образе собаки? Мистер Зельц был собакой, и, сказать по правде, именно за это Вилли и любил его. Он находил бесконечное удовольствие в созерцании собачьих повадок своего собрата — ведь до этого у Вилли никогда не было домашнего животного. В детстве родители отвечали отказом на постоянные просьбы сына и не позволяли ему завести любимца. Он пробовал просить у них котенка, черепашку, морскую свинку, хомячка, золотую рыбку — ответ всегда оставался отрицательным. Квартира слишком маленькая, говорили они, а от животных дурно пахнет, и они дорого стоят, а Вилли они скоро надоедят, и он перестанет за ними ухаживать. Так вот и получилось, что до появления Мистера Зельца Вилли ни разу не представилось возможности наблюдать собачье поведение вблизи, и он мало что знал о собаках. Собаки были для Вилли загадочными существами, находившимися на периферии его вселенной. Он знал, что надо об-

ходить стороной собаку лающую и гладить собаку ластящуюся, и не более того. Но буквально через два месяца после того, как Вилли исполнилось тридцать восемь лет, все внезапно переменилось.

Ему пришлось постичь столько нового, привыкнуть к такому множеству вещей, научиться понимать столько всего, что Вилли поначалу просто растерялся. Что означает виляющий хвост и что — хвост поджатый? Висящие уши и уши торчком? Как понять катание на спине, бег по кругу, вылизывание подхвостья и урчание, скачки в воздух с переворотом и без переворота, оскаленные зубы, наклоненную голову, виляние задом и тысячи других жестов и знаков, каждый из которых выражал какую-то мысль, боль или желание, чувство или намерение? Вилли казалось, будто он овладевает новым языком или изучает затерянное в джунглях племя первобытных людей, пытаясь постичь их нравы и обычаи. После того как Вилли начал понимать основное, он более всего заинтересовался одной головоломкой, которую иногда называл "парадоксом глаза и носа", а иногда "сенсорным цензором". Вилли был человеком и поэтому воспринимал мир в основном при помощи зрения. Мистер Зельц был собакой, то есть существом, практически лишенным зрения. Глазами он воспринимал только общие очертания предметов, определял, кто или что находится перед ним — враг или друг, помеха или полезная вещь. Чтобы понять сложность мира во всех его многочисленных деталях, чтобы составить глубокое представление о реальности, он предпочитал пользоваться носом. Все его желания, чувства, представления формировались на основе информации, полученной от органов обоняния. Вначале Вилли с трудом мог в это поверить. Жадность, с которой собаки впитывают запахи, казалась ему невероятной. Стоило Мистеру Зельцу наткнуться на заинтересовавший его аромат, как он устремлялся по следу с такой решимостью, с таким всепоглощающим энтузиазмом, что все остальное вокруг переставало для него существовать. Ноздри Мистера Зельца превращались в устройство, всасывающее запахи с такой же яростью, с какой труба пылесоса всасывает с ковра осколки разбитого стакана, и иногда Вилли даже казалось, что асфальт на улице лопнет от напряжения, когда Мистер Зельц особенно активно обнюхивал его. Послушный пес внезапно превращался в упрямую, ушедшую в себя тварь, которая забыла о том, что у нее вообще есть хозяин. Если же Вилли случалось потянуть за поводок Мистера Зельца прежде, чем тот успевал обнюхать в должной мере привлекшую его внимание какашку или лужицу мочи, пес упирался всеми лапами в асфальт с такой непоколебимой силой, что Вилли часто спрашивал себя: не скрыта ли в подушечках лап Мистера Зельца какая-нибудь тайная железа, выделяющая особой прочности клей?

Как не удивляться всему этому? У собаки примерно двести двадцать миллионов обонятельных рецепторов, в то время как у человека их едва пять миллионов. При таком неравенстве вполне естественно предположить, что восприятие мира собакой будет заметно отличаться от восприятия мира человеком. Вилли никогда не был силен в логике, но в этом случае им руководила не столько любознательность, сколько любовь, поэтому он занялся вопросом с неприсущей ему дотошностью. Что испытывает Мистер Зельц, обнюхивая предметы? И (что гораздо важнее) почему он испытывает именно это, а не что-то другое?

Тщательные наблюдения привели Вилли к выводу, что интересы Мистера Зельца могут быть сведены к следующим категориям: еда, секс

и информация о других собаках. Человек узнает о том, что поделывают его собратья, из утренней газеты — собака выясняет примерно то же самое, обнюхивая деревья, фонарные столбы и гидранты. Рекс, ротвейлер с острыми клыками, оставил свою отметину на этом кусте, у Молли, хорошенькой спаниельши — течка, дворняга по кличке Роджер сожрала какую-то гадость. Это все было ясно Вилли и не нуждалось в особых обсуждениях. Сложности начинались, если попытаться представить, что́ собака при этом чувствует. Делает ли она это из чистого инстинкта самосохранения, для того, чтобы не оказаться застигнутой врасплох другими собаками, или тут скрывается что-то еще? Идет ли речь только о военной тактике, или дело еще и в получаемом удовольствии? Не испытывает ли собака, засунув голову в мусорный ящик, что-то подобное тому головокружительному чувству, которое испытывает мужчина, прижавшись носом к шее желанной женщины и вдохнув аромат дорогих французских духов?

Трудно было сказать наверняка, как обстоит дело, но Вилли полагал, что дело обстоит именно таким образом. Иначе почему стоило такого труда оттащить Мистера Зельца от определенных пахучих следов? Именно потому, что пес получал наслаждение, — вот почему. Он находился в состоянии опьянения, он грезил в обонятельном раю и не хотел покидать его. А поскольку, по глубочайшему убеждению Вилли, Мистер Зельц обладал душой, то не разумно ли предположить, что столь духовно развитая собака способна иметь возвышенные интересы, не сводящиеся к сиюминутным телесным потребностям? Почему бы подобной собаке не испытывать голод духовный, для насыщения которого необходимо нечто вроде религии или искусства? И если, как справедливо отмечают философы, искусство — это вид человеческой деятельности, использующий органы чувств для воздействия на душу, то нельзя ли применить эту формулировку и к собакам — по крайней мере, к собакам с такой развитой личностью, как Мистер Зельц? Не могут ли и они тоже испытывать эстетические потребности, или, иными словами, воспринимать искусство? Насколько было известно Вилли, никто раньше не задавался этим вопросом. Неужели Вилли был первым, кто додумался до идеи искусства для собак? Впрочем, какая разница. Видимо, просто для нее пришло время. И если собаки вряд ли в состоянии оценить станковую живопись и струнные квартеты, то кто сказал, что у них не найдет понимания искусство, основанное на запахах? Почему бы не заняться обонятельным искусством? Таким искусством, которое говорило бы с собаками на доступном им языке?

С этих размышлений и началась безумная зима 1988 года. Мистер Зельц никогда прежде не видел Вилли таким возбужденным и энергичным. Три с половиной месяца он трудился над своим проектом, позабыв обо всем на свете. Он практически бросил пить и курить, спал только, когда уже валился с ног, перестал писать, читать и выходить на улицу. Он сочинял планы, составлял списки, экспериментировал с запахами, чертил диаграммы, сооружал конструкции из дерева, полотна, картона и пластика. Нужно было произвести кучу вычислений, поставить множество экспериментов, найти ответы на целый ряд вопросов. Какова идеальная последовательность запахов? Какую продолжительность должна иметь обонятельная симфония и сколько отдельных ароматов может содержаться в ней? Какую форму следует придать залу, в котором симфония будет исполняться? Следует ли соорудить его в форме лабиринта,

или же лучше будет последовательность вложенных друг в друга коробок, как более соответствующая собачьей природе? Должна ли собака наслаждаться произведением в одиночку, или же хозяин может сопровождать ее? Следует ли строить каждую симфонию вокруг единственной темы — еды или, допустим, секса, — или же можно смешивать различные компоненты между собой? Время от времени Вилли обсуждал все эти проблемы с Мистером Зельцем, интересовался его мнением, спрашивал у него совета и извинялся перед ним за то, что вынужден использовать друга в качестве морской свинки для многочисленных проб и экспериментов. Немногим собакам доводилось ощущать себя настолько вовлеченными в дела людские. Вилли не только не мог обойтись без помощи Мистера Зельца, но и сама его затея была вдохновлена наблюдениями за псом. Мистер Зельц — скромная, ничем не примечательная дворняга — был вознесен до статуса пса псов, до уровня примера, которому обязан подражать каждый представитель собачьего племени. Стоит ли говорить, что Мистер Зельц был счастлив выполнить любую просьбу своего хозяина. Разве так уж важно при этом, что Мистер Зельц не всегда до конца понимал, чего хочет Вилли. В конце концов, он был всего лишь собакой, не так ли? А если так, то почему бы ему и не обнюхать кучу пропитанных мочой тряпок. Почему бы не протиснуться сквозь узкий люк и не проползти по туннелю, стены которого смазаны подливкой от спагетти с тефтелями? Возможно, смысла это не имело никакого, но доставляло Мистеру Зельцу немало веселья.

Собственно говоря, именно в этом ключе он и вспоминал о той зиме теперь: как им было весело вдвоем с Вилли, как Вилли постоянно находился в состоянии восторженного возбуждения. Он не вспоминал о том, какие саркастические комментарии выдавала мама-сан по поводу их исследований. Он совершенно не помнил уже, что "лаборатория" их располагалась в полуподвальном помещении и все эксперименты проводились между бойлером и трубами парового отопления на грязном холодном полу. Важно было то, что они вместе трудились над важной задачей, преодолевая препятствия во имя научного прогресса. Если что-то и расстраивало иногда Мистера Зельца, так это чрезмерная увлеченность хозяина их проектом. Вилли настолько верил в то, что делал, настолько всего себя с потрохами посвятил своей идее, что все больше и больше терял связь с реальностью. Порой он говорил о своем изобретении так, словно оно обречено было войти в число великих открытий — таких, как лампочка накаливания, аэроплан или микропроцессор. Они будут купаться в деньгах, говорил Вилли, они станут мультимиллионерами, и им никогда больше не придется отказывать себе ни в чем. Но порой Вилли начинал терзаться сомнениями и неуверенностью. Он принимался развивать перед Мистером Зельцем контраргументы, которые были так тщательно обоснованы, что пес начинал волноваться за душевное здоровье хозяина. Не зашли ли они слишком далеко, спросил Вилли как-то вечером, включив в оркестровку симфоний запахи сексуального происхождения? Не вызовут ли такие запахи у собаки похоть, подавив ее эстетическое восприятие и превратив все произведение во что-то вроде порнографии для собак? Сразу же вслед за этим заявлением Вилли принялся сочинять каламбуры, что случалось с ним всегда, когда его мозг работал на предельных скоростях. "Похоть порно перебьет запах попкорна, — бормотал он, расхаживая взад-вперед по грязному полу подвала. — Запах попкорна схватил за пах порно". Как только Мистер Зельц распу-

тал значение каламбура, он понял, что Вилли предпочитал возвышенные чувства сексу, по крайней мере, когда речь шла о сочинении симфоний. Если речь шла об удовлетворении эстетических потребностей собачьего племени, то следовало отдать предпочтение духовным исканиям перед физическими потребностями. Вследствие этого после двух долгих недель обнюхивания полотенец и салфеток, пропитанных запахами сук, Мистеру Зельцу внезапно был предъявлен совсем другой объект: Вилли собственной персоной вместе со всеми своими телесными испарениями. Грязные носки, майки, ботинки, носовые платки, трусы, шарфы, шляпы — самые разные предметы, хранившие в себе запах хозяина. Мистеру Зельцу это понравилось не меньше, чем предыдущее занятие. Ведь Мистер Зельц был как-никак собакой, а собаки с удовольствием обнюхивают все, что им дают обнюхать. Такова их природа, такими они родились на свет, таково их (как однажды справедливо заметил Вилли) жизненное призвание. Единственный раз в жизни Мистер Зельц испытал счастье оттого, что не наделен даром речи. В противном случае ему бы пришлось поведать хозяину горькую правду, которая, несомненно, немало бы того огорчила. А именно ему бы пришлось произнести следующие слова: "Дорогой хозяин, дело в том, что для собак весь мир уже сам по себе является симфонией запахов. Каждый час, каждый миг их существования наполнен как духовными, так и физическими переживаниями, связанными с обонянием. Ибо, поскольку для собак нет различия между внешним и внутренним, для них нет и различия между высоким и низким. Как бы это объяснить получше..."

Но не успел Мистер Зельц произнести про себя эту речь, как звук голоса Вилли отвлек его.

— Черт побери! — сказал хозяин. — Тысяча чертей и еще раз тысяча чертей!

Мистер Зельц завертел головой, пытаясь понять, что стряслось.

Заморосил дождик, такой слабый, что Мистер Зельц даже почти не почувствовал, как эта морось падает на его мохнатую спину. Но в бороде хозяина заблестели капельки, а его черная футболка вся покрылась пятнами влаги. Это было плохо. Только промокнуть и не хватало Вилли для полного счастья, но если такова была воля неба, кто мог ей противостоять? Мистер Зельц окинул взглядом тучи над головой. Если ветер внезапно не переменится, то не пройдет и часа, как морось превратится в полноценный ливень. "Проклятие, — подумал он, — сколько нам еще тащиться до этой Калверт-стрит?" Они бродили по окрестностям уже почти полчаса, а дома Би Свенсон так и не было видно. Если они не найдут его тотчас же, то они не найдут его никогда, потому что у Вилли не хватит сил продолжить путь.

Учитывая сложившееся положение дел, Мистер Зельц менее всего ожидал, что хозяин вдруг разразится смехом. Но именно это он и сделал. Смех сотрясал его всего до основания, нарушая покой воскресного дня. На какое-то мгновение псу показалось, что Вилли просто пытается прочистить горло, но когда за первым "ха" последовало второе, а затем еще одно, когда эти звуки слились в сплошное ха-ха-ха, ему все-таки пришлось поверить ушам своим.

— Глянь-ка сюда, старина! — воскликнул Вилли своим ковбойским голосом. Этот голос Вилли использовал только в особых случаях, к такому акценту он прибегал исключительно тогда, когда намеревался продемонстрировать глубочайшую иронию. Хотя Мистер Зельц и недоумевал,

он все же попытался отнестись с пониманием к этой внезапной перемене в настроении хозяина.

Вилли остановился. Все вокруг разило бедностью и неубранным мусором, и тем не менее они стояли перед самым очаровательным домиком, какой Мистеру Зельцу когда-либо доводилось видеть. Это было игрушечное зданьице из красного кирпича с зелеными ставнями на окнах, зеленым же крыльцом и дверью, выкрашенной яркими белилами. На стене виднелась табличка, и Вилли начал вслух читать надпись на ней, с каждой секундой все более и более убедительно изображая пастуха с техасского ранчо.

— Норт-Эмити-стрит, двести три, — читал он. — В этом доме Эдгар Аллан По жил с 1832 по 1835 год. Открыто для посещения с апреля по декабрь, среда, четверг, пятница, с двенадцати до пятнадцати сорока пяти.

Все это показалось Мистеру Зельцу не слишком интересным, но как он мог осмелиться оспаривать хозяйский восторг? Голос Вилли звучал веселее, чем когда-либо за последние две недели, и хотя, прочитав надпись, он разразился новым приступом кашля (мокрота, хрип, дрожь в ногах — ему даже пришлось вцепиться в водосточную трубу, чтобы не упасть), он очень быстро оправился после приступа.

— Ну и вляпались мы, лапочка! — сказал Вилли, выплевывая последние капли слизи и разложившейся легочной ткани. — Это не дом миссис Би, что верно, то верно, но дай мне полную волю, и все равно я бы из всех мест на земле выбрал бы это, чтобы в нем сдохнуть. Этот старина По был мне завроде дедушки, ибо доводится вроде как пращуром всем янки-бумагомаракам. Без него и меня бы не было, и всех прочих в этом роде. Мы забрели в евонные места, страну По... Польшу, то есть туда, откуда родом и моя упокойная мамаша была сама. Не иначе ангел нас сюда привел, так что я уж тут посижу из почтения к старику. А уж как я и так шагу не могу сделать, то вы составьте мне компанию, Мистер Зельц. Да, да, присаживайтесь рядышком, пока я дам копытам отдохнуть. А что до дождя, так небось не сахарные, не растаем!

Вилли испустил долгий сдавленный стон и опустился на землю. Мистеру Зельцу было тяжело на это смотреть, сердце пса обливалось кровью от жалости к хозяину — ведь Вилли буквально каждое движение давалось с трудом. Мистер Зельц не мог объяснить, откуда он знал это, но он был совершенно уверен, что на ноги хозяин не встанет никогда. Их совместной жизни пришел конец. Часы отсчитывали последние секунды, и сделать было ничего нельзя — оставалось только сидеть и смотреть, как постепенно угасает свет в хозяйских глазах.

И все же путешествие их в определенном смысле удалось. Они искали одно, а нашли другое, и, надо сказать, Мистеру Зельцу то, что они нашли, нравилось гораздо больше. Они очутились в стране По... Польше вместо Балтимора. Каким-то чудом, какой-то игрою случая Вилли умудрился попасть обратно к себе домой. Он вернулся в землю предков и теперь мог умереть спокойно.

Мистер Зельц задрал заднюю лапу и принялся скрести у себя за ухом. Вдалеке он увидел мужчину и маленькую девочку, которые шли в их сторону, но они были ему неинтересны. Они пройдут мимо, и он никогда больше не вспомнит их. Дождь усилился, поднялся ветер, который принялся гонять по улицам конфетные фантики и бумажные кульки. Мистер Зельц обнюхал воздух раз, другой, а затем без всякой особой причи-

ны зевнул. Потом свернулся на земле калачиком рядом с Вилли, глубоко вздохнул и стал ждать, что случится дальше.

2

Но долгое время ничего не случалось. Казалось, что вся округа затаила дыхание. Исчезли пешеходы и машины, никто не выходил на улицу из домов. Дождь, как и предвидел Мистер Зельц, лил как из ведра, но затем вдруг ослаб, вновь превратился в морось, а потом и вообще тихо сошел на нет. За все это время Вилли ни разу даже не шевельнулся. Он лежал прислонившись к кирпичной стене домика, с закрытыми глазами и приоткрытым ртом, и если бы не ржавые, скрипучие звуки, которые ритмично вырывались из его легких, Мистер Зельц мог бы заключить, что хозяин уже отправился на тот свет.

Именно туда после смерти попадали люди. После того как душа отделялась от тела, тело хоронили в земле, а душа отправлялась на тот свет. Вилли непрестанно рассуждал на эту тему несколько последних недель, и к настоящему моменту Мистер Зельц не имел ни малейших сомнений в том, что тот свет — реально существующее место, которое называется Тимбукту. Тимбукту, насколько понял Мистер Зельц, расположен где-то посреди пустыни, вдали от Нью-Йорка и Балтимора, вдали от Польши, вдали от любой точки на земле, где они побывали за время своих странствий. Вилли то описывал это место как "оазис духов", то говорил, что "там, где кончается карта мира, там начинается карта Тимбукту". Для того чтобы добраться туда, сначала необходимо долго пробираться через жаркие пески, через царство вечной пустоты. Мистеру Зельцу подобное путешествие показалось малопривлекательным, но Вилли заверил его, что это не так и что все это огромное расстояние можно преодолеть в мгновение ока. Зато, очутившись в Тимбукту, уже никогда больше не понадобится думать ни о еде, ни о крове над головой, ни даже о том, где теперь опорожнить мочевой пузырь. Ты остаешься там наедине со всей Вселенной, словно крупица антивещества, пробравшаяся в божественное сознание. Мистер Зельц с трудом мог представить себе жизнь в подобном месте, но Вилли говорил о ней с таким восторгом, и в голосе его звучала такая нежность, что пес даже и не стал пытаться. Тим-бук-ту. У Мистера Зельца поднималось настроение от одного звучания этого слова. Определенные сочетания гласных и согласных трогали Мистера Зельца до самой глубины души, так что, когда бы эти три слога ни срывались с губ хозяина, волна восторга пробегала по всему его собачьему существу, как будто само это слово было залогом будущего счастья.

Какая разница, насколько там жарко. Какая разница, будет ли там что есть, пить или обнюхивать. Если Вилли собирался туда, то и он готов отправиться в Тимбукту вместе с ним. Когда для него наступит миг прощания с этим миром, то, с его точки зрения, будет только справедливо, если ему позволят существовать после смерти рядом с тем же хозяином, что был у него при жизни. У диких животных, вне всяких сомнений, есть свой собственный Тимбукту — огромный лес, в котором они живут, не опасаясь двуногих звероловов, но, поскольку львы и тигры совсем не такие, как собаки, нет смысла даже в загробной жизни располагать рядом тварей хищных и тварей кротких. Сильные сожрут слабых и вскоре доберутся и до собак, которым придется еще раз умереть после смерти, — и какой в этом всем тогда будет смысл? Если в мире существу-

ет справедливость и если собачий бог имеет какое-то влияние на то, что происходит с его подопечными, лучший друг человека должен оставаться с человеком после того, как они оба сыграли в ящик. И более того, в Тимбукту все собаки начнут говорить по-человечески и смогут беседовать с хозяином на равных. Именно это подсказывала логика, но кто знает, не играют ли справедливость и логика такую же малую роль на том свете, как и на этом? Вилли как-то забыл сделать разъяснения на этот счет, а поскольку имя Мистера Зельца ни разу не всплыло ни в одной беседе, посвященной Тимбукту, пес по-прежнему оставался в неведении насчет того, куда он отправится после кончины. А что, если Тимбукту окажется одним из этих мест с дорогими коврами и антикварной мебелью, куда собакам вход воспрещен? Это казалось на первый взгляд невозможным, но Мистер Зельц знал, что зачастую самые невозможные вещи случаются одна за другой. Может быть, это именно тот случай, и из-за этого "может быть" Мистера Зельца при одной только мысли о смерти охватывала леденящая жуть.

Но тут, против всех ожиданий, когда пес уже был готов поддаться панике, небо просветлело и дождь прекратился. А когда дождь прекратился, расступились и тяжелые тучи, висевшие над головой; царивших час назад мглы и мрака как не бывало, небо заиграло яркими цветами, и над городом с востока на запад протянулись желтые и розовые полосы окрашенных утренним солнцем облаков.

Мистер Зельц поднял голову. Через какое-то мгновение, словно эти два действия были взаимосвязаны, луч света пронзил облака. Он коснулся земли в паре дюймов от левой лапы Мистера Зельца и вслед за ним, практически в ту же секунду, другой луч упал рядом с правой лапой. Сложная игра света и тени происходила перед ним на тротуаре, и на это зрелище было приятно смотреть. Мистеру Зельцу показалось, что это — маленькая награда за все испытанные им страдания. Он посмотрел на Вилли, и в тот же миг яркий солнечный свет озарил лицо поэта, коснулся век, и спящий открыл глаза против своей воли. Вилли, казавшийся трупом еще минуту назад, вернулся в мир живых, прорвав паутину оцепенения, и попытался проснуться.

Он кашлянул раз и еще раз, пока наконец не зашелся в длительном приступе. Мистер Зельц беспомощно стоял, глядя, как капли мокроты вылетают изо рта хозяина. Некоторые из них упали ему на рубашку, другие — на мостовую, третьи остались на губах и медленно стекали теперь по подбородку, повисая на бороде, как лапша, и сотрясаясь вместе с заходящимся в кашле телом больного в безумном синкопированном танце. Сила приступа испугала Мистера Зельца. Это наверняка конец, думал он, ведь это больше того, что может вытерпеть человек. Но Вилли все еще цеплялся за жизнь. Придя в себя, он утер рот рукавом куртки и удивил Мистера Зельца тем, что лицо его расплылось в широкой блаженной улыбке. С огромным трудом Вилли уселся поудобнее, прислонился спиной к стене дома и вытянул ноги. Увидев, что хозяин пришел в себя, Мистер Зельц уткнулся мордой в его правое бедро. И когда хозяин в ответ на это погладил его по голове, тревога в собачьем сердце несколько унялась. Конечно, только на время и, разумеется, под влиянием иллюзии, но это не означает, что Мистеру Зельцу не полегчало на самом деле.

— Соизвольте выслушать меня, гражданин Зельц, — сказал Вилли. — Процесс пошел. Мир начинает отваливаться от меня по кусочкам, и те-

перь от него остались только странные фрагменты, причем совсем не те, что я ожидал. Какие-то мелочи из далекого прошлого. Но мне почему-то не страшно. Грустно, конечно, уходить из этой жизни так рано, но я не наделал от страха в штаны, а этого-то я боялся больше всего. Так что пакуй вещички, амиго. Мы на пути к городу Асталависта[1], и назад дороги нет. Ты слушаешь, Мистер Зельц? Ты по-прежнему рядом со мной?

Мистер Зельц слушал и по-прежнему был рядом.

— Я хотел бы объяснить тебе это в нескольких доходчивых словах, — продолжал умирающий, — но, боюсь, ничего не выйдет. Бойкие эпиграммы, перлы, мудрые фразы, прощальные реплики, достойные Полония, — на все это я ныне не способен. Не сядешь, не подъедешь, семь раз отмерь, один раз отрежь — и далее в том же духе, рассыпая бисер красноречия. Нет, милый мой Зельц, видно, мозги мои совсем спеклись, так что придется терпеть тебе весь мой убогий бред. Вероятно, я уж так устроен, что путаю все на свете. Даже сейчас, на пороге долины тени смертной, мысли мои по привычке играют друг с дружкой в чехарду. Вот в чем вопрос, мой мопс-синьор, вот в чем вопрос! В голове моей кавардак, там темно и пыльно, с полок прыгают заводные попрыгунчики, из стен высовываются тещины языки. "В голове моей опилки", — как говаривал один медведь небольшого ума. Кстати, хочу поздравить тебя с возвращением бальзама для волос "О'Делл". Этот бальзам исчез из моего поля зрения сорок лет назад и вот в последний день моей бренной жизни прискакал обратно. Я искал откровения, а мне был явлен лишь сей малозначительный фактик, микровспышка на экране памяти. Моя мамаша втирала его мне в волосы, когда я был еще маленьким ангелочком. Его продавали в парикмахерской по соседству в больших стеклянных бутылках примерно с вашу светлость величиной. Бутыль эта была черного цвета, а на этикетке ее скалился какой-то мальчик дебильного вида, но шевелюра у этого дегенерата была идеальной — такой в жизни не сыщешь. Ни вихра, ни проплешинки, ни одной незачесанной пряди не было на тыкве у этого паренька. Мне было лет так пять или шесть, и каждое утро моя мамаша бралась за меня, пытаясь превратить в брата-близнеца этого урода. Я до сих пор помню хлюпающий звук, с которым вязкая хреновина выливалась из бутылки. Она была на просвет белесая и полупрозрачная, а на ощупь — липкая. Что-то вроде разбавленной водой спермы, как мне сейчас сдается, — но что я мог тогда знать об этом? Вероятно, они изготавливали этот бальзам, нанимая подростков-онанистов, чтобы те наполняли спермой емкости. Именно так делаются все большие состояния в нашей великой стране. На цент расходов, на доллар прибыли. И вот моя польская мать принималась втирать бальзам для волос "О'Делл" в мои непокорные кудри — и к тому времени, когда мне было пора отправляться в школу, я уже выглядел как тот самый дебил с этикетки. Они собирались сделать из меня американца, а американцу полагалось иметь именно такие волосы. Прежде чем ты зарыдаешь от жалости, друг мой, позволь мне прибавить к сказанному выше, что бальзам для волос "О'Делл" был дешевой подделкой, полным надувательством. Он не столько выпрямлял волосы, сколько просто склеивал их намертво. В течение первого часа казалось, что он действует как надо, но время шло, бальзам застывал, и мало-помалу кудри мои превращались в пучки проволоки, залитые эпоксидным клеем. Я чувствовал себя

1. Прощай (*исп.*).

так, словно мне на череп натянули шапочку из стальных пружин. На ощупь волосы становились такими странными, что я никак не мог оставить их в покое. Даже когда моя правая рука сжимала карандаш, складывая на бумаге два плюс три и вычитая пять из шести, моя левая рука все ощупывала и ощупывала ставшую чужеродной поверхность моей головы. К полудню "О'Делл" высыхал до такой степени, что каждый пучок слепленных им волос наконец рассыпался на отдельные ломкие нити. Только этого я и ждал, этого сигнала к последнему действию разыгрываемого фарса. Ухватив указательным и большим пальцем каждую прядь у самого корня, я начинал тянуть. Медленно, очень медленно соскабливая ногтями застывший слой бальзама. Я испытывал непередаваемое, безмерное наслаждение. Ах, как красиво разлеталась в стороны белая пыль! Ее было так много, что я ощущал себя центром снежной бури, смерчем, рассыпавшим вокруг белизну. Заверяю тебя, это была нелегкая работенка, но рано или поздно мне удавалось полностью избавиться от следов бальзама "О'Делл", вопреки пословице "сделанного не воротишь". К тому времени когда звенел последний звонок и учитель отпускал нас домой, кожа на моей голове уже наслаждалась полной свободой. Это было наслаждение не хуже секса, mon vieux[1], не хуже всех тех наркотиков и алкоголя, которые я попробовал потом. Я был еще совсем маленьким, но каждый день проходил сквозь эту оргию возвращения к нормальности. Неудивительно, что учился я из рук вон плохо, — я был слишком поглощен борьбой с бальзамом "О'Делл", слишком увлечен ежедневным возвращением себе природного обличья. Но довольно об этом. Довольно нудных воспоминаний о днях моего детства, о днях моего девства. Бальзам для волос — только верхушка айсберга, а если я крепко сяду на мемуарного конька, мы проскачем на нем до завтрашнего утра, а ведь у нас нет столько времени, верно? Хватит, завяжем с рассказами о касторке, твороге, манной каше и лакричных леденцах — со всем этим дреком. Каждый из нас прошел через это, так стоит ли вспоминать теперь, когда мы стали большими. Если жизнь — это дом, то воспоминания в нем — не более чем обои. Пыль духа времени на мебели ума. Я могу припомнить пятьдесят пять тысяч подробностей, но что с того? Мне от этого ничуточки не полегчает. Понимание, вот чего я пытаюсь достичь, корешок ты мой! Я ищу ключ к головоломке: вот уже сорок с хвостиком лет я пытаюсь нащупать в потемках тайную формулу. Но память не дает мне покоя, даже сейчас, когда так близок мой последний вздох. Бесполезные крупицы знания, нежелательные воспоминания, одуванчиковый пух. Все это пыль и тлен, мой мальчик, которые уносит ветер. Жизнь и творчество Ричарда Матта, Элинор Ригби, Мальчик-с-пальчик. Кому это интересно? "Пеп Бойз", "Братья Ритц", Рори Колхаун. Капитан Видео и Четверка Смелых. Сестры Эндрюс, "Лайф" и "Лук", "Боббси Туинз". Боже мой, будет ли этому конец? Генри Джеймс и Джесси Джеймс, Фрэнк Джеймс и Уильям Джеймс. Джеймс Джойс. Джойс Кэри. Кэри Грант. Дайте мне зубочистки "Грант" и чистящую нить для зубов и жевательную резинку "Понч" и пончики с медовой подливкой. Не буду брать Дану Эндрюс и Дикси Дагана, возьму-ка лучше Дэймона Раньона и "ромового демона". Забыть навсегда про "Пэлл-Мэлл" и Пола Мэллоу, про Мильтона Берла и Берла Ивза, про мыло "Айвори" и оладьи "Тетушка Джемима". Зачем мне весь этот ворох имен

1. Старина (*франц.*).

и названий? Там, куда я собрался, они мне вряд ли пригодятся, но я не могу их изгнать из моего мозга — они роятся в нем как далекая родня, явившаяся с визитом. В этом суть Америки, ее ноу-хау — тебе забивают голову всяким мусором, а затем забивают ее новым мусором, чтобы вытеснить старый. Вроде бы невелика хитрость, давно бы пора разгадать, но людям это нравится — они хотят, чтобы так повторялось вечно. Они радуются как дети, размахивают флажками, шагают под звуки духового оркестра. Чудеса, чудеснее прежних чудес, волшебные устройства, превосходящие всякое воображение, но давайте не будем забывать — мы не одни на Земле. Ноу-хау не знает границ — стоит только вспомнить все заморские вещички, как сразу спеси поубавится: знай свое место. Я уж не говорю о таких очевидных вещах, как индейки из Индии или сардины из Сардинии, но ведь есть еще и финки из Финляндии, ангелы из Англии, ранцы из Франции, жир из Алжира, тина из Аргентины. Патриотизм неплох, но в меру. Конечно, мы, янки, дали миру не только "зиппо", зиппер и Зеппо Маркса, но также ку-клукс-клан и хулахуп. В конце концов, одно уравновешивается другим, верно? Попробуй вообрази, что ты супермен, как тебе тут же разъяснят, что ты сукин сын. Это всего лишь метафора, Мистер Зельц, я вовсе не имею в виду тебя. Это только образ, идиома, а ты, мой мальчик, не идиома, ты — живое существо. Но пойми меня правильно, в мире всего так много, что трудно не впасть в искушение, не клюнуть на наживку подробностей, не совратиться от сладости вещи-в-себе. Если с тобой этого никогда не случалось, ты просто слеп. Не знаю, в чем тут дело, но возьми в руки любую вещь, и ты не устоишь перед ее обаянием. К примеру, такая отличная штука, как велосипедное колесо — легкое, по паучьи элегантное, ободья сверкают, спицы блестят как роса. Или звук, который издает крышка канализационного люка, когда грузовик проезжает по ней в три часа утра. Я уж не говорю ничего о синтетическом трикотаже — после того как телеграфные провода закопали в землю, одна только синтетика и способна оживить пейзаж. Я, конечно же, имею в виду синтетику, обтягивающую ягодицы юной девы, вышагивающей по тротуару перед тобой. Надо ли объяснять? Какое сердце не вспыхнет при виде этого зрелища? Ты идешь вслед за ней, прилипнув к ней взглядом, пока все у тебя внутри не растает от удовольствия. Васко да Гама в смешных панталонах. Мундштук Франклина Делано Рузвельта. Напудренный парик Вольтера. Кунигунда! Кунигунда! Думай о том, что происходит, когда ты произносишь слова. Старайся увидеть то, о чем ты подумал и назвал вслух. Картография. Порнография. Стенография. Стенокардический синдром, папские потаскухи, мятное мороженое с малиновым мармеладом. Я признаю, что, как всякий человек, падок на каламбуры, хотя только что и пожал плечами пренебрежительно по поводу причуд пакостной памяти. Я человек и ничто человеческое мне не чуждо, не исключая и лицемерия. Но при всем при том — что за чудо человек! Поневоле преклонишься перед его изобретательностью, когда в голову ему вдруг придет идея, настолько великолепная и простая, что нельзя не подивиться, как мир до сих пор обходился без нее. Ну, например, чемодан на колесиках. Почему мы не придумали его раньше? Тридцать тысяч лет мы несли на себе наше бремя, пыхтя и потея, надрывая спину, растягивая сухожилия и изматывая организм. И при этом колесо-то у нас уже было! Вот что меня удивляет больше всего! Почему пришлось ждать до самого конца двадцатого века, чтобы на свет божий явилось это приспособление? Взять хотя бы роликовые коньки —

они одни могли бы навести нас на эту мысль, но нет! — прошло пятьдесят лет, семьдесят лет, а люди по старинке перли свои пожитки на своем горбу в аэропорт и на вокзал каждый раз, как собирались навестить тетю Риту, живущую где-нибудь в тьмутаракани. Вот что я тебе скажу, дружище: все не так просто, как кажется на первый взгляд. Человеческой натуре порою свойственна редкостная тупость, и тогда мы выглядим не лучше какого-нибудь земляного червя. А на червя-то я никогда походить не хотел; вот почему я прыгал, я скакал, я парил, и сколько бы раз это ни приводило к ударам о землю, я вставал и начинал снова. Даже сейчас, когда тьма готова поглотить меня, рассудок мой отказывается сложить лапки и сдаться. Так, например, ночи две назад я изобрел прозрачный тостер. Он явился ко мне в видении, и с тех пор я все думаю и думаю о нем. Почему мы делаем явное тайным, рассуждал я, ведь гораздо интереснее собственными глазами наблюдать, как хлеб из белого превращается в золотисто-коричневый. Какого черта мы прячем хлеб в уродливую коробку из нержавеющей стали? Представь только себе стеклянный тостер, в котором оранжево тлеют спирали. С его появлением каждая кухня украшается подлинным произведением искусства, светоносной скульптурой, которую мы можем созерцать, трудясь над приготовлением нашего скромного завтрака. Прозрачное огнеупорное стекло, которое можно окрасить в голубой, зеленый, в любой цвет, какой мы пожелаем. В сочетании с оранжевым свечением спиралей это будет давать чудесные световые эффекты. Поджаривание тостов превратится в сверхъестественное событие, в священнодействие, в разновидность молитвы. Господи боже! Как бы я хотел, чтобы у меня были силы приступить к работе прямо сейчас, набросать чертеж, довести идею до ума и попытаться осуществить ее. Это именно то, о чем я всегда мечтал, Мистер Зельц. Сделать мир лучше. Расцветить серость будней, развеять скуку. Добиться этого можно разными способами: изобрести прозрачный тостер, написать стихотворение, протянуть руку дружбы незнакомцу. Не важно, каким образом, — главное, сделать мир немного лучше, чем он был до тебя. О чем большем может мечтать человек? Смейся, если хочешь, над моей наивностью, но уж коли я решил быть откровенным, то я буду откровенным. Не надо стесняться порой раскрывать свое сердце. Если другие будут считать тебя дураком, пусть считают. Но лучше казаться дураком, чем прожить жизнь уныло, лучше поступать так, как нас учит Санта-Клаус, чем обманывать самого себя. Ну да, я знаю, что ты мне скажешь на это. Молчи, я же слышу твои мысли, mein Herr, и я не стану тебя осуждать. "К чему все это трепыхание? — спрашиваешь ты себя. — К чему все эти метания, ползания в пыли, извечное стремление к самоуничтожению?" Правильно, что ты задаешь эти вопросы. Я и сам их себе не раз задавал, но единственный ответ, который у меня есть, и ответом-то назвать нельзя. Потому что я так хочу! Потому что у меня нет выбора. Потому что на такие вопросы ответа не существует. Короче, не стоит извиняться. Я всегда был странной личностью, Мистер Зельц, сплошным клубком противоречий, воплощением непоследовательности, раздираемым взаимоисключающими порывами. С одной стороны — добросердечное создание, верный помощник Санта-Клауса, с другой — болтливый пьянчуга, нигилист, придурковатый шут. Ах да, еще поэт. Последнее само по себе не хорошо и не плохо — что-то среднее между святым отшельником и пьяным резонером. Человек, в голове которого звучат голоса, человек, которому иногда удается подслушать разговоры

камней и деревьев, превратить в слова музыку облаков. Какая тоска, что я больше не смогу быть поэтом. К сожалению, я никогда не был в Тоскане — родине тоски, но тут уж ничего не попишешь. Если нет денег на билет — сиди дома. Увы, ты не знал меня в пору моего расцвета, синьор Салями! Какая жалость, что ты застал только эпоху моего упадка. В те дни все было иначе — пока у меня не загустела смазка и не начались проблемы с карбюратором. Я вовсе не собирался становиться бездомным. Вовсе не о таком будущем для себя я мечтал. В мои планы не входило ни искать пустые бутылки в мусорных баках, ни протирать ветровые стекла автомобилей, ни падать на колени перед церквями и закрывать глаза, как христианский первомученик, пока какой-нибудь сердобольный прохожий не положит мне на ладонь монету. Нет, нет и еще раз нет, синьор Кобелино, вовсе не для этого я явился на Землю. Но не словом единым жив человек. Ему подай еще и хлеба, да не один ломоть, а два. Один в рот и один про запас. Даже чтобы есть капусту и то нужна "капуста" — надеюсь, ты меня понимаешь, — а без второй капусты и первой не будет. Когда мама-сан покинула нас, это оказалось для меня тяжелейшим ударом, барбос, и я не стану отрицать, что усугубил наши беды, выбросив все деньги на ветер. Я никогда и ни перед кем не извиняюсь, но сегодня я хочу поступиться своими принципами и извиниться перед тобой. Я сотворил кучу глупостей, и мы оба с тобой платим за это. Десять тысяч долларов в конце концов не пригоршня кукурузных хлопьев, и тем не менее они просыпались у меня между пальцев, и ветер унес их прочь. Но что самое странное, я об этом ничуть не сожалею. Мне нравится жить на широкую ногу, сыпать деньгами как накокаиненный хлыщ из высшего общества. Мистер Альтруизм, Мистер Аль Труизм — это я, это я — единственный и неповторимый Альберто Вериссимо, человек, который спустил мамину страховку до последнего цента. Сто долларов Бенни Шапиро. Восемьсот долларов Дейзи Брэкет. Четыре тысячи долларов фонду "Чистый воздух". Две тысячи приюту на Генри-стрит. Полторы тысячи долларов программе "Поэты в школе". Деньги тратятся быстро, не правда ли? Неделя, десять дней, и ко времени когда я спохватился, я промотал все свое наследство. Ну что тут сказать? Легкие деньги легко тратятся, как утверждает старая поговорка, и разве мог я оказаться исключением из правила? Это у меня в крови — отвага, решимость, желание поступать не так, как другие. Бабки на ветер: вот как я поступаю с деньгами. За долгие годы мне подвернулся единственный шанс показать, что мои слова не расходятся с делом, так что, едва у меня в кармане очутились бабки, я не стал раздумывать. Бабки на ветер, как я уже сказал. Возможно, держа свое слово, я осложнил себе жизнь, но это не значит, что я сожалею о содеянном. В конце концов, гордость тоже чего-то значит, и, говоря по совести, я горжусь тем, что не сробел. Я перешагнул черту. Я прошел свой путь до конца. Я перепрыгнул через пропасть. Я не испугался левиафана в пучине. "Я знаю, кто я такой", — как говаривал моряк Попай, и первый раз в жизни я ведал, что творю. Жаль, конечно, что тебе пришлось страдать, жаль, что мы опустились на самое дно. Жаль, что мы потеряли наше зимнее убежище и вынуждены были терпеть непривычные для нас лишения. Мы за это дорого заплатили, разве не так? Дрянная жратва, отсутствие крыши над головой, всякие тяготы. Я от этого заболел, и ты вскоре осиротеешь. Прости меня, Мистер Зельц. Я сделал все что мог, но порою и этого недостаточно. Если бы мне только удалось встать на ноги буквально на несколько ми-

нут, я бы чего-нибудь придумал. Пристроил бы тебя, привел в порядок дела. Но что-то обороты у меня совсем упали, движок тарахтит и вот-вот заглохнет. Потерпи, песик, побудь рядом. Я еще воспряну. Как только мы одолеем эту заминку в пути, я еще тряхну стариной. А если не одолеем, то уж тогда я — пас, n'est-ce pas[1]? Мне нужно совсем немного времени. Несколько минут, чтобы перевести дыхание. А там посмотрим. Или не посмотрим. А если не посмотрим, то ничего и не увидим, кроме тьмы. Тьма повсюду, насколько хватает глаз. Даже в глубинах морских, в соленых пучинах небытия, где нет ничего и ничего не будет. Кроме меня. Или уже не меня. И вечности.

Тут Вилли замолчал и рука, которая не уставала гладить по голове Мистера Зельца целых двадцать пять минут, обмякла, а затем и вовсе перестала шевелиться. Мистер Зельц был абсолютно уверен, что наступил конец. Да и как в это не поверить после тех слов, которые последними произнес хозяин? Как не поверить в то, что хозяин умер, после того как рука, которая трепала его холку, внезапно соскользнула с нее и безвольно повисла? Мистер Зельц не решался поднять глаза. Он продолжал лежать прислонившись к бедру Вилли, в надежде, что вопреки всему он ошибся. Ибо вокруг царила не такая тишина, какая приличествовала бы данному случаю. Откуда-то доносились какие-то звуки, и когда Мистер Зельц, развеяв окутавшие его миазмы горя, прислушался внимательнее, он понял, что эти звуки издает его хозяин. Возможно ли это? Не веря своим ушам, пес снова прислушался, дабы укрепить свою уверенность и не дать возвратиться отчаянию. И все же... Да — Вилли дышал. Воздух входил в его легкие и выходил из них, проходил через горло вперед и назад, продолжая от рождения заведенное чередование вдохов и выдохов, и хотя дыхание это было слабее, чем пару дней назад, — не более чем слабое колыхание, неуловимый свист, ограниченный горлом и верхними отделами легких, — это было тем не менее дыхание. А там, где дыхание, там и жизнь. Хозяин не умер. Хозяин уснул.

Не прошло и двух секунд, как, словно для того чтобы подтвердить основательность сделанного Мистером Зельцем вывода, Вилли захрапел.

К этому моменту нервы пса были уже на пределе. Сердце Мистера Зельца столько раз совершало прыжки от надежды к отчаянию и обратно, что, когда он понял, что ему снова дана отсрочка, что грозный час отодвинулся в будущее, Мистер Зельц чуть не упал в обморок от истощения. Для него это было уже слишком. Когда он увидел, как его хозяин сел, прислонившись к стене страны По... Польши, он поклялся, что будет рядом с ним до самого печального конца. Ведь это была его основная собачья обязанность. Теперь, прислушиваясь к храпу Вилли, он с трудом боролся с соблазном самому закрыть глаза — так силен был усыпляющий эффект знакомого звука. Каждую ночь в течение семи лет Мистер Зельц погружался в сон под эту музыку. Для него это был сигнал, возвещающий о том, что в мире все в порядке, а значит, каким бы несчастным и голодным ты ни чувствовал себя, следует отбросить в сторону все заботы и устремиться в край грез. Устроившись поудобнее, Мистер Зельц именно так и поступил. Он положил голову на живот Вилли. Рука Вилли машинально поднялась и улеглась на холку Мистера Зельца, который тут же уснул.

1. Не так ли? (*франц.*)

И во сне ему приснилось, что Вилли умирает. Начался сон с того, что они вдвоем проснулись, открыли глаза и покинули сон, в который только что погрузились, то есть тот сон, которым они спали теперь, сон, в котором Мистер Зельц видел свой сон. Вилли чувствовал себя не только не хуже, чем перед тем, как заснул, — вздремнув, он даже почувствовал себя чуточку лучше. В первый раз за несколько месяцев он не кашлял при каждом движении, не заходился хрипом, бульканьем и кровавой мокротой в устрашающих припадках. Он просто прочистил горло и принялся говорить с того самого слова, на котором остановился перед тем, как уснуть.

Он говорил минут тридцать — сорок, торопливо, обрывая на середине мысли и недоговаривая до конца предложения. Затем он набрал воздуха в грудь так, словно только что вынырнул с морского дна, и начал говорить о своей матери. Он перечислил все добродетели мамы-сан, составил список ее недостатков, а затем начал просить прощения за все страдания, которые он, возможно, ей причинял. Перед тем как перейти к следующему пункту, он вспомнил об ее таланте делать несмешными даже самые смешные шутки, забывая в критический момент ключевую фразу. Затем он принялся перечислять всех женщин, с которыми когда-либо спал (не упуская физиологических подробностей), за чем последовала прочувствованная и пространная филиппика, посвященная опасностям потребительского отношения к жизни. Внезапно Вилли переключился на тему морального преимущества бездомного существования перед оседлым и закончил речь потоком искренних извинений перед Мистером Зельцем за то, что притащил его в Балтимор и вынудил принять участие в оказавшихся безрезультатными скитаниях. Сразу вслед за этим он принялся декламировать новое стихотворение — обращение к незримому демиургу, в руки которого он предавал свою душу. Сочиненное, очевидно, в голове, оно начиналось примерно так:

О Господь зоопарков и газовых камер,
Гильотин, топоров, электрических стульев,
Мрачный Бог пирамид, рудников и галер,
Повелитель песков, деревьев и рыб!
Бедный раб твой уходит в твой темный чертог,
С берегов Балтимора
Он взывает к тебе...

После того как последняя строка оборвалась многоточием, последовала новая серия стенаний и жалоб и новые путаные рассуждения, в которых нашлось место и неудавшейся Симфонии Запахов, Хэппи Фелтону и "Банде из Нотхолла" (это еще кто такая?) и даже тому факту, что японцы съедают больше риса, выращенного в Америке, чем в Японии. От этого Вилли перешел к взлетам и падениям своей литературной карьеры; побарахтавшись несколько минут в трясине покаянных сожалений и болезненной жалости к себе, он слегка воспрял духом и завел разговор о своем соседе по комнате (том самом, который доставил его в лечебницу в 1968-м и которого звали то ли Анстер, то ли Омстер — что-то в этом роде). Впоследствии этот то ли Анстер, то ли Омстер написал целую кучу посредственных книжонок и однажды даже пообещал Вилли найти издателя для его стихов, но Вилли, разумеется, не стал посылать ему рукопись, однако это доказывает, что, если бы Вилли захотел, он

смог бы напечататься. Дело в том, что он просто не хотел, вот и все, да и кому нужна вся эта вонючая слава и известность, в конце концов? Важна не цель, важен процесс, и если уж быть совершенно откровенным, то даже тетради, лежащие в камере хранения автовокзала, гроша ломаного не стоят. Даже если их сожгут или выбросят в мусорный бак, даже если их разорвут на листки для того, чтобы усталые путешественники вытирали ими задницу в вокзальном сортире, Вилли наплевать. Не стоило их даже и переть в Балтимор. Это была минутная слабость, последний каприз самолюбия, играющего в игру, в которой еще никому не удалось выиграть. После этого Вилли немножко помолчал, упиваясь глубиной собственного разочарования, а затем рассмеялся долгим свистящим смехом. Он смеялся и над собой, и над миром, который так любил. Затем он снова перескочил на Омстера, повторив рассказанную тем историю о виденном им в Италии английском сеттере, который мог печатать на специально приспособленной для собак пишущей машинке. После чего по необъяснимой причине Вилли разразился рыданиями, а затем принялся укорять себя за то, что так и не научил Мистера Зельца читать. Как он мог не позаботиться о столь важной вещи? Теперь, когда псу придется пробиваться в жизни самостоятельно, каждое лишнее умение могло бы пойти ему на пользу, а Вилли не сделал ничего для того, чтобы подготовить своего друга к новым обстоятельствам, — не оставил ему ни денег, ни еды, ни навыков, которые пригодились бы перед лицом ожидающих собаку опасностей. К этому времени поэт уже тараторил как заведенный, однако Мистер Зельц, как это бывало всегда, не упускал ни единого слова хозяина. Это-то и было самым странным в увиденном сне. Содержание его не страдало от искажений, помех и внезапного переключения с канала на канал. Все происходило совсем как в жизни, и хотя Мистер Зельц спал и слышал все эти речи во сне, чем дольше продолжался сон, тем больше он напоминал явь.

В разгар разглагольствований Вилли о способностях собак к чтению перед домом По остановился полицейский автомобиль и из него вышли двое крупных мужчин в форме. Один был белым, а другой — черным, и оба обильно потели под августовским солнцем. Парочка широкозадых полицейских на воскресном дежурстве имела при себе пристегнутые к ремням орудия закона — револьверы, наручники, дубинки, кобуры, фонарики и прочую амуницию. Времени рассмотреть все подробно не было, потому что, как только полицейские вышли из машины, один из них обратился к Вилли ("Здесь останавливаться нельзя, приятель. Ты встаешь или как?"), и в тот же миг Вилли наклонился, посмотрел другу прямо в глаза и сказал: "Рви когти, Зельцик, не дай им поймать себя". И тогда Мистер Зельц понял, что наступил тот самый страшный миг; он облизнул лицо хозяина, проскулил что-то на прощанье, дал хозяину потрепать свою мохнатую голову в последний раз, а затем отчалил, устремившись по Норт-Эмити-стрит со всей прытью, на которую был способен.

Он услышал встревоженный голос одного из полицейских, кричавший ему вслед ("Фрэнк, не упусти собаку! Хватай чертову собаку, Фрэнк!"), но он не стал останавливаться, пока не завернул за угол дома футов через восемьдесят или девяносто от того места, где остался хозяин. К этому времени Фрэнк уже отказался от погони; он медленно побрел обратно к Вилли, но тут же перешел на рысь, подгоняемый жестами, которые делал ему склонившийся над Вилли коллега. О собаке

никто не вспоминал. Их больше волновал умирающий, так что некоторое время Мистеру Зельцу ничего не угрожало.

Поэтому он встал на углу и принялся наблюдать, тяжело дыша после бега. Он чувствовал неудержимое желание открыть пасть и испустить печальный вой — ночной подлунный вой, от которого кровь стынет в жилах, — но он подавил импульс, зная, что сейчас не время горевать. Он увидел, как черный полицейский подошел к машине и начал говорить по радиотелефону. Ему ответил сдавленный голос, пробивающийся сквозь разряды статического электричества: звук этого голоса гулко разнесся по пустынной улице. Полицейский сказал что-то снова, опять последовал неразборчивый ответ — еще одна порция треска и бормотания. На другой стороне улицы открылась дверь, и кто-то вышел посмотреть, что происходит. Женщина в желтом домашнем халате и с розовыми бигуди в волосах. Из соседнего дома выскочили двое детей: мальчик лет девяти и шестилетняя девочка, оба в шортах и босиком. Лежавшего на прежнем месте Вилли не было видно; его тело заслонила широкая фигура белого полицейского. Прошла одна минута, другая, затем еще одна минута и другая, и наконец Мистер Зельц услышал отдаленное завывание сирены. К тому времени когда белая машина "скорой помощи" свернула на Норт-Эмити-стрит и остановилась перед домом, там уже собралось с десяток людей, которые стояли засунув руки в карманы или скрестив их на груди. Два санитара выскочили из задней двери "скорой помощи", подкатили носилки к дому и вернулись к машине с телом Вилли. Разглядеть, жив хозяин или нет, не представлялось возможным. Мистер Зельц подумал, не вернуться ли ему назад, но страшно было пойти на такой риск, а когда он все же решился, санитары уже закатили носилки в салон и закрыли двери.

До этого момента сон ничем не отличался от реальности. Каждое слово, каждый жест, каждое событие были такими же, какими они бывают наяву. Но теперь, когда "скорая помощь" уехала, а люди начали медленно расходиться по домам, Мистер Зельц почувствовал, что разрывается надвое. Одна часть его оставалась на углу, тогда как вторая превратилась в муху. Если учесть, как устроены сны, то в этом не было ничего необычного. Мы все превращаемся во сне во что-нибудь, и Мистер Зельц не составлял исключения. Иногда он превращался в лошадь, иногда — в корову, иногда — в свинью, не говоря уж о собаках других пород, но до сего дня ему еще ни разу не доводилось быть двумя существами одновременно.

То, что ему предстояло сделать, было по силам только той половине, которая обернулась мухой. Собачья же половина ждала на углу, пока муха летела вслед за машиной "скорой помощи", отчаянно махая крылышками. Поскольку дело происходило во сне, а мухи во сне летают гораздо быстрее, чем в реальной жизни, Мистер Зельц вскоре нагнал автомобиль. К тому времени когда тот повернул за следующий угол, он уже уселся на ручку задней двери и ехал так до самой больницы, вцепившись всеми шестью ногами в слегка заржавевшую поверхность подветренной стороны ручки, молясь, чтобы ветер не сдул его. Дорога выдалась нелегкой: машина то и дело подскакивала на крышках канализационных люков, накренялась на поворотах, тормозила и срывалась с места. Воздух обдувал Мистера Зельца со всех сторон, но он все же удержался, и когда "скорая помощь" остановилась через восемь-девять минут у дверей приемного покоя, он был жив и целехонек. Спрыгнув с ручки за секунду до

того, как один из санитаров схватился за нее, он принялся неприметной точкой описывать круги над катящимися носилками с Вилли, глядя на лицо хозяина. Сначала он не мог сказать, жив Вилли или мертв, но как только колеса носилок застучали по земле, сын мадам Гуревич открыл глаза. Вернее, приоткрыл их самую малость, чтобы впустить в себя капельку света, но и этого было достаточно, чтобы сердце мухи забилось быстрее от радости.

— Би Свенсон, — пробормотал Вилли, — Калверт-стрит, триста шестнадцать. Позвоните ей. Живо. Я должен отдать ей ключ. Ключ — Би. Вопрос жизни и смерти. Правда.

— Не волнуйся, — сказал один из санитаров. — Мы позаботимся об этом. Но не говори сейчас. Береги силы, Вилли.

Вилли. Это значило, что он успел сказать им свое имя, а если он разговаривал в машине, то был не так уж плох, как казалось. А это, в свою очередь, значило, что при надлежащем уходе и хороших лекарствах он еще мог поправиться. По крайней мере, к такому выводу пришла во сне Мистера Зельца муха, которая, в сущности, и была сам Мистер Зельц. И, поскольку Мистер Зельц был в данном деле заинтересованным свидетелем, мы не будем строго судить его за утешение, которое он нашел в этой мысли тогда, когда уже, казалось, была потеряна всякая надежда. Но что может знать муха и что может знать собака? Да и человек — что он может знать? Все зависело теперь от воли божьей, а она, сказать по правде, уже была предопределена.

И тем не менее за оставшиеся семнадцать часов произошло еще много необычного. Муха следила за этим с потолка над койкой 34-го социального отделения больницы Скорбящей Божьей Матери, и, если бы она не видела все это собственными глазами в тот августовский день 1993 года, она никогда бы не поверила, что такое возможно. Во-первых, нашлась миссис Свенсон. Через три часа после того как Вилли поступил в больницу, старая учительница показалась в больничном коридоре. Сестра Мария Тереза, начальница вечерней дежурной смены подкатила ей кресло, и с этого момента до самой смерти Вилли она просидела у изголовья своего бывшего ученика. Во-вторых, после нескольких часов внутривенных вливаний, лошадиных доз глюкозы, адреналина и антибиотиков сознание Вилли слегка прояснилось, и он провел последнее утро своей жизни в состоянии таком светлом и ясном, что Мистер Зельц не мог и упомнить, когда в последний раз видел хозяина таким. В-третьих, смерть наступила безболезненно. Обошлось без конвульсий, судорог и нестерпимого жжения в груди. Вилли уходил из мира медленно, постепенно, словно испаряющаяся под солнечными лучами капля воды, которая становится все меньше и меньше, пока не исчезает совсем.

Муха так и не заметила, когда ключ перешел из рук в руки. Возможно, именно в этот момент ее внимание что-то отвлекло, но нельзя исключить и того, что Вилли просто забыл отдать ключ. Тогда это казалось не столь уж и важным. Как только Би Свенсон вошла в комнату, сразу же нашлось так много других вещей, о которых стоило позаботиться, так много слов, которые нужно было сказать, и чувств, которые следовало выразить, что муха с трудом могла вспомнить свое собственное имя, не говоря уж о том, чтобы следить, как осуществляется импровизированный план Вилли по спасению его литературного архива.

Би Свенсон поседела, поправилась на тридцать фунтов, но муха узнала ее сразу же, как только увидела. С физической точки зрения она ни-

чем не отличалась от миллионов других женщин того же возраста. На ней были желто-голубые сатиновые шорты, просторная белая блузка и кожаные сандалии; видно было, что она уже давно перестала заботиться о своей внешности. Дебелость ее рук и ног с возрастом стала еще более заметной, а ямочки на толстых коленках, варикозные вены на икрах и жировые складки на предплечьях придавали ей сходство с поклонницей гольфа из поселка пенсионеров, которой нечем больше заняться, кроме как катить к девятой ямке в кресле с электромоторчиком, подумывая о том, поспеет ли она к началу утренней игры для ранних пташек. Но кожу этой женщины не покрывал загар, а на переносицу вместо солнцезащитных очков были водружены строгие очки в тонкой металлической оправе. Более того, стоило вам взглянуть прямо в эти аптекарские очки, как вы сталкивались с небесной голубизны взглядом. Заглянув в эти глаза, вы пропадали навек. Они брали вас в плен своей теплотой и живостью, умом и внимательностью, глубиной скандинавского безмолвия. Именно в эти глаза влюбился юный Вилли, и теперь муха всецело его понимала. Не обращайте внимания на короткую стрижку, толстые ноги и безвкусную одежду. Миссис Свенсон не принадлежала к породе вдовствующих педагогинь. Она была богиней мудрости, и, влюбившись в нее однажды, ты был обречен любить ее до конца дней своих.

Не была она и рохлей, как ожидал Мистер Зельц. Наслушавшись разглагольствований Вилли насчет доброты и щедрости миссис Свенсон, которым тот предавался всю дорогу до Балтимора, он представлял ее мягкосердечной сентиментальной дамой из тех, что подвержены внезапным и яростным порывам энтузиазма, из тех, что умиляются и проливают слезы при малейшей возможности и мчатся на помощь людям, роняя по пути стулья. Но настоящая миссис Свенсон оказалась совершенно иной. То есть миссис Свенсон, которая приснилась Мистеру Зельцу, оказалась совершенно иной. Когда миссис Свенсон приблизилась к постели Вилли и взглянула в лицо своему прежнему ученику в первый раз почти за тридцать лет, муха была потрясена жесткостью и однозначностью ее реакции. Би Свенсон сказала:

— Боже мой, Уильям, ну и довел ты себя до ручки, однако.

— Боюсь, вы правы, — сказал Вилли. — Я, очевидно, чемпион мира среди разгильдяев и король неучей.

— По крайней мере, тебе хватило ума связаться со мной, — сказала миссис Свенсон, усаживаясь в кресло, которое сестра Мария Тереза поставила ей, и беря Вилли за руку. — Не то чтобы ты поторопился это сделать, но лучше поздно, чем никогда, а?

Слезы покатились из глаз Вилли и в первый раз за всю свою жизнь он не смог вымолвить ни слова.

— Тебе всегда все сходило с рук, Уильям, — продолжала миссис Свенсон, — так что не могу сказать, что я сильно удивлена. Я уверена, что ты старался по мере сил. Но речь ведь идет об огнеопасной материи, не так ли? Если ты ходишь по земле с нитроглицерином в черепе, то рано или поздно налетишь лбом на что-нибудь. Когда же это случится, все начинают удивляться, что это не случилось гораздо раньше.

— Я шел сюда пешком от самого Нью-Йорка, — внезапно ни с того ни с сего сказал Вилли. — Слишком длинный путь для того, у кого бак почти пустой. Это почти доконало меня. Но я все же рад, что дошел.

— Ты, наверное, устал?

— Я чувствую себя как дырявая грелка. Но теперь я могу умереть счастливым.

— Не говори так. Тебя подлатают, и ты снова будешь в порядке. Вот увидишь, Уильям, не пройдет и пары недель, и ты станешь как новенький.

— Ну конечно. А на следующий год выдвину свою кандидатуру в президенты.

— Ты не можешь. У тебя уже есть работа.

— Да нет, я теперь что-то вроде безработного. Безнадежного безработного, точнее говоря.

— А как же насчет дел с Санта-Клаусом?

— Ах! Ну да!

— Но ты же не уволился, верно? Когда ты написал мне письмо, я поняла, что это пожизненное служение.

— Да, я все еще состою в штате. Лет уже двадцать как.

— Нелегкая работенка, должно быть?

— Еще бы. Но я не жалуюсь. Никто меня не принуждал. Я нанялся по собственной воле и с тех пор ни разу не пожалел. Работа внеурочная и без выходных, но чего бы вы хотели? Добро делать непросто. Бизнес-то прибыли не приносит, а когда бизнес прибыли не приносит, люди начинают подозревать неладное. Они думают, что ты чего-то скрываешь, хотя ты не скрываешь ничего.

— А у тебя осталась татуировка? Ты писал про нее в письме, но я ее никогда не видела.

— Конечно осталась. Вот, посмотрите, если хотите.

Миссис Свенсон склонилась в кресле, закатала правый рукав больничного халата Вилли и увидела татуировку.

— Очень мило, — сказала она. — Я всегда полагала, что именно так должен выглядеть настоящий Санта-Клаус.

— Пятьдесят зеленых, — сказал Вилли. — Но он этого стоил.

Вот так и началась их беседа. Она продолжалась всю ночь напролет и следующее утро, прерываемая визитами сестер, которые приходили долить раствор в капельницу Вилли, измерить температуру и вынести судно. Иногда силы оставляли Вилли, и тогда он внезапно засыпал посередине фразы и дремал десять — двадцать минут подряд, но всегда возвращался к жизни из глубин забвения, чтобы продолжить беседу с миссис Свенсон. Если бы ее не было, вдруг поняла муха, сомнительно, чтобы Вилли протянул бы так долго, но удовольствие от беседы с ней было таким огромным, что Вилли до последней возможности старался оставаться в сознании. И вовсе не потому, что боролся с неизбежным. Даже когда он начал перечислять все, чего не успел сделать — научиться водить машину и свистеть, слетать на самолете и побывать за границей, — а значит, не успеет уже никогда, то говорил об этом он не столько с сожалением, сколько с неким напускным безразличием, словно пытался доказать, что все это не имеет никакого значения.

— Умереть — это сущие пустяки, — сказал он, имея в виду, что к этому готов и благодарен миссис Свенсон за то, что ему не придется умирать одному среди незнакомых людей.

Как легко можно было предположить, последние слова его были о Мистере Зельце. Вилли вновь вернулся к теме будущего своего пса, которой он уже касался несколько раз прежде, и обратил внимание миссис

Свенсон на то, как важно прочесать город, отыскать Мистера Зельца и сделать все возможное для того, чтобы найти ему новых хозяев.

— Я бросил его, — сказал он. — Я обманул моего барбоса.

Миссис Свенсон, заметив, как ослабел Вилли, попыталась утешить его несколькими ничего не значащими словами.

— Не волнуйся, Вилли, это не так уж и важно, — сказала она, и Вилли, сделав усилие в последний раз, приподнял голову и сказал:

— Нет, это очень важно. — И тут сердце его перестало биться.

Дежурная сестра Маргарет подошла к койке и пощупала пульс. Не найдя его, она достала из кармана зеркальце и поднесла к губам Вилли. Затем она поднесла зеркальце к лицу и посмотрела в него, но не увидела там ничего, кроме самой себя. Тогда она положила зеркальце обратно в карман и правой рукой закрыла Вилли глаза

— Это была прекрасная смерть, — сказала она.

Миссис Свенсон ничего не сказала: она только закрыла лицо руками и заплакала.

Мистер Зельц посмотрел на нее глазами мухи, послушал, как ее горестные рыдания наполняют палату, и задумался: возможно ли увидеть сон еще более странный и причудливый, чем этот? Затем он моргнул, и в тот же миг он был уже не в больнице и не был уже мухой; он снова стоял на углу Норт-Эмити-стрит в своем собачьем облике, наблюдая, как "скорая помощь" исчезает вдалеке. Сон кончился, но он все еще находился внутри его, то есть видел сон во сне — отступление в скобках, в котором присутствовали муха, и больничная палата, и миссис Свенсон, — но теперь, когда хозяин умер, он вновь вернулся в первый, исходный сон. По крайней мере, так ему представлялось, но не успел он до конца осознать эту мысль, как, моргнув еще один раз, он оказался вновь у стены страны По... Польши рядом с прикорнувшим Вилли, который как раз начинал просыпаться. Мистер Зельц к этому времени настолько во всем запутался, что сначала не мог понять, вернулся ли он обратно в реальный мир или же попал еще в один сон.

Но это было не все. Даже после того как Мистер Зельц обнюхал воздух, потерся носом о ногу Вилли и убедился в том, что на этот раз речь идет о жизни во всех отношениях аутентичной, некоторые загадки так и остались нерешенными. Вилли прочистил горло. Мистер Зельц замер в ожидании неизбежного приступа кашля, вспоминая, что во сне Вилли не кашлял и был избавлен от связанных с этим мучений. Но, к его удивлению, кашля не последовало и сейчас. Как только хозяин прочистил горло, он сразу же принялся говорить с того самого места, на котором остановился. Сначала Мистер Зельц посчитал это счастливым совпадением, но Вилли продолжал болтать, порывисто перепрыгивая с одной темы на другую, и, помимо своей воли, собака не могла не заметить сходство между теми словами, которые она слышала сейчас, и теми, что приснились ей во сне. Не то чтобы слова были точь-в-точь теми же — по крайней мере, насколько Мистер Зельц помнил, — но они были почти теми же. Одну за другой Вилли затронул все темы, которые прозвучали во сне, и когда Мистер Зельц осознал, что Вилли перечисляет их в том же самом порядке, он почувствовал, как мороз пробежал у него по коже. Сначала мама-сан и ее неудачные шутки. Затем донжуанский список. Затем филиппики и апологии, поэмы, литературные битвы и прочее в этом роде. Когда же Вилли начал пересказывать историю, которую поведал ему как-то раз товарищ по комнате, про собаку, умевшую печатать,

Мистеру Зельцу почудилось, что он сходит с ума. Неужели он снова видит сон или сон оказался попросту вещим? Мистер Зельц моргнул, надеясь, что это поможет ему проснуться. Он моргнул снова и снова, но ничего не случилось: он не мог проснуться, потому что и так не спал. Это была самая что ни на есть подлинная жизнь, а поскольку живут ее только один раз, он понял, что теперь конец действительно близок и что слова, слетающие с губ хозяина, действительно его последние.

— Сам я этого не видел, — рассказывал бард, — но я ему верю. Сколько мы с ним были знакомы, он ни разу не врал. Это, может быть, его недостаток — как писателя, я имею в виду, — но как друг он был хорош именно своей правдивостью, тем, что всегда резал правду-матку. Странная поговорка, надо сказать; никогда не понимал ее смысла: почему это правда — именно матка, а не сердце или какой-нибудь другой орган. Или речь идет о пчелиной матке? Впрочем, боже мой, куда меня опять занесло! Какого только словесного мусора не навалено у меня в голове! Ну ладно, кажется, я говорил про собак, не так ли? Про собак, а не про пчел. И вовсе не про говорящих собак, если я не ошибаюсь. Не про тех собак из анекдота, когда парень входит в бар и бьется об заклад, что его собака — говорящая, и никто не верит ему, к тому же собака молчит как рыба, и когда парень спрашивает ее после, почему она молчала, та отвечает, что ей нечего было сказать. Нет-нет — я имел в виду не говорящую собаку из этих дурацких анекдотов, а собаку-машинистку, которую мой друг видел в Италии, когда ему было семнадцать лет. Верно, в той самой Италии, где лимоны, апельсины и маслины и так далее. И сандалии. И миндалии. Короче говоря, там, где я никогда не был. Его тетушка переехала в Италию за несколько лет до того по неизвестным причинам, и как-то летом он поехал туда на пару недель навестить ее. Это установленный факт, и история про собаку звучит тем правдоподобнее, что собака — даже не главное во всей истории. Я читал книгу под названем "Волшебная гора", написанную Томасом Манном — не путать с "Томом Маканом, известным всем добрым покупателям производителем обуви". Чертову эту книгу я так никогда и не дочитал до конца, такая она была скучная, но, поскольку я слышал, что этот герр Манн большая шишка среди пишущей братии, я вбил себе в голову, что обязан помучиться с этой книгой. Итак, я читал этот массивный томище на кухне, грыз печенье прямо из банки, и тут входит мой сосед Пол, видит название книги и говорит: "Эту я так до конца и не дочитал. Раза четыре начинал, но так и не пробрался дальше страницы двести семьдесят четыре". "Ясно, — отвечаю я. — А я как раз на странице двести семьдесят один. Похоже, что настало и мое время!" А затем Пол встал у двери и, пуская клубы сигаретного дыма, сообщил мне, что однажды он встретил вдову Томаса Манна. Он не хвастал, просто упомянул как факт. Потом сразу перешел к истории, как отправился в Италию навестить свою тетушку, а та оказалась в дружбе с одной из дочерей Манна. У старика было море детей, а эта дочь удачно выскочила замуж за богатого итальянского парня и жила в большом красивом доме на холме неподалеку от какого-то городка. В один прекрасный день Пола и его тетушку пригласили туда на обед, и мать хозяйки дома тоже явилась: вдова Томаса Манна — пожилая, седая женщина. Она весь вечер сидела в качалке и смотрела в пустоту. Пол поздоровался с ней за руку, обменялся какими-то ничего не значащими фразами, потом сели за стол обедать. То да се, передайте, пожалуйста, соль. Настоящие истории обычно все так и начинаются — с пустого места. Пол

внезапно выяснил, что дочь Манна занимается зоопсихологией. Ты спросишь меня, что это такое — зоопсихология, Мистер Зельц? Не имею ни малейшего представления. После обеда она отвела Пола наверх и продемонстрировала ему английского сеттера по имени Олли — самую заурядную в умственном отношении собаку, как ему сначала показалось, — а также огромную пишущую машинку, наверное, самую большую, когда-либо существовавшую на земле. Ее клавиши имели специальную вогнутую форму для того, чтобы на них было удобно нажимать мордой. Затем она подозвала Олли к пишущей машинке, взяла в руку коробку с печеньем и стала показывать, на что способна ее псина.

Это была мучительно медленная процедура — совсем не то, что ты, наверное, ожидаешь. Предложения, которые предлагались, были типа: "Олли — хорошая собачка", но, вместо того чтобы произносить слова или даже диктовать их по буквам, ученая дама медленно выговаривала каждый звук по отдельности с таким странным акцентом и интонациями, что со стороны казалось, будто глухонемая учится говорить. "О-о-о-о, — начинала она, — о-о-о-о", а собака, нажав букву "О", получала вознаграждение в виде печенья, ласкового словечка и почесывания между ушами. Затем диктовался следующий звук "л-л-л-л-л", произносимый так же тщательно и медленно, как предыдущий, и, когда собака опознавала его, она снова получала печенье и ласку, и так, буква за буквой, вплоть до самого конца предложения.

Мой друг рассказал мне эту историю двадцать пять лет тому назад, и я до сих пор не понимаю ее смысла. Но одно я знаю точно: я — полная бестолочь. Я потратил отпущенное нам время на удовольствия и прихоти, годами блудил и безумствовал, предавался пустым мечтаниям и безудержному буйству. И все вместо того, чтобы образумиться и заняться вашим обучением, сэр, выучить вас хотя бы грамоте, короче говоря, тому, что может пригодиться в жизни. Я виноват. Кругом виноват. Не знаю, что собой представляла эта Олли, но уверен, что ты бы намного ее превзошел, Мистер Зельц. У тебя есть мозги, у тебя есть сила воли, есть усидчивость. Но я не думал, что тебе это будет интересно, и я не спешил. Лень, вот в чем все дело. Праздноумие. Я должен был попытаться, а не отказываться заранее. Только упрямые добиваются великих результатов. А что я делал? Таскал тебя в магазин курьезов дядюшки Эла на Кони-Айленд. Брал тебя в подземку, прикидываясь слепым. Шел, постукивая белой палочкой по ступенькам лестницы, а ты шел рядом со мной в шлейке, собака-поводырь ничем не хуже всех этих овчарок и лабрадоров, которые обучаются своему ремеслу в особой школе. Спасибо тебе за это, амиго. Спасибо тебе за то, что ты, благородная душа, всегда мне подыгрывал, всегда потакал всем моим капризам и импровизациям. А я о тебе не позаботился. Я не дал тебе шанса достичь высот. А это возможно, поверь мне. Мне просто недостало отваги. Но, несомненно, друг мой, что собаки умеют читать. Зачем же иначе на дверях почты вешают таблички: "Вход собакам запрещен, за исключением собак-поводырей"? Ты понимаешь ход моих рассуждений? Человек с собакой-поводырем слеп, а значит — не может прочесть табличку. А если он не может, то кто может? Вот чему они учат собак в этих школах, но держат язык за зубами. Они хранят это в тайне, и это одна из трех или четырех самых важных государственных тайн в Америке. И не случайно. Если слух распространится, только подумай о том, что может произойти. Собаки не глупее человека? Кощунственное утверждение. Начнутся уличные бун-

ты, толпа подожжет Белый дом, воцарится анархия. Не пройдет и трех месяцев, как собаки потребуют независимости. Изберут делегацию, начнутся переговоры, и в конце концов придется отдать собакам Небраску, Южную Дакоту и половину Канзаса. Люди будут выселены, собаки займут их места, и страна разделится на две — на Соединенные Штаты Америки и Независимую Республику Собак. Боже святый, как бы я хотел дожить до этого часа. Я перееду в собачью страну и буду прислуживать тебе, Мистер Зельц. Я буду приносить тебе тапочки и разжигать трубку. Я пропихну тебя в премьер-министры. Все, чего изволите, босс, я не подведу.

На этой фразе Вилли внезапно оборвал свою речь, потому что его отвлек какой-то звук. Повернув голову, Вилли понял, что это за звук, и испустил тихий стон. По улице, направляясь к нему, неторопливо ехал полицейский автомобиль. Мистер Зельц и не глядя понял, в чем тут дело, но на всякий случай все-таки тоже поглядел. Машина притормозила у края тротуара и из нее, на ходу поправляя ремни и кобуры, выбрались двое полицейских: один белый, а другой — черный. Те самые, что ему приснились. Тогда Мистер Зельц посмотрел на Вилли, а Вилли посмотрел на Мистера Зельца, и, когда наконец полицейский нарушил молчание словами: "Здесь нельзя сидеть, приятель. Ты встаешь или как?" — Вилли пристально взглянул собаке в глаза и сказал: "Рви когти, Зельцик! Не дай им поймать себя!" И тогда он облизнул лицо хозяина, дал Вилли последний раз погладить себя по голове, а затем сорвался с места и помчался по улице во всю свою прыть.

3

На этот раз он не стал останавливаться на углу. Не стал ждать, пока появится "скорая помощь". Зачем? Он знал, что она появится, и знал все, что затем случится с хозяином. Сестры и врачи будут делать все, что им положено, миссис Свенсон будет держать руку Вилли и говорить с ним ночь напролет, а на следующее утро, вскоре после того как займется заря, Вилли уже будет на пути к Тимбукту.

Так что Мистер Зельц бежал и бежал, не задаваясь даже вопросом, насколько вещим был увиденный им сон, и к тому времени, когда он завернул за угол и вступил в новый квартал, до него дошло, что конец света так и не наступил. Он почти что огорчился по этому поводу. Хозяин покинул его, но земля при этом не расступилась и не поглотила Мистера Зельца. Город не исчез с лица земли, небо не вспыхнуло огнем. Все оставалось там, где было прежде, и собиралось оставаться там и впредь. Дома стояли вокруг, и ветер дул, как дул, несмотря на близившуюся смерть Вилли. Впрочем, сон именно это и утверждал, а поскольку это был даже и не сон, а видение будущего, для сомнений просто не оставалось места. Судьба Вилли была предрешена. И поэтому, семеня по тротуару и прислушиваясь к звуку сирены приближающейся к только что покинутому им месту "скорой помощи", Мистер Зельц понимал, что и далее события будут разворачиваться в строгом соответствии с его видением. Но все, что произойдет с Вилли в дальнейшем, его больше не касалось. Он никак не мог повлиять на это, и, нравилось ему это или нет, он должен был куда-то идти, хотя идти ему было некуда.

Он подумал о том, что, хотя последние часы хозяина оказались заполнены мешаниной из невнятных мыслей и воспоминаний, Вилли в

одном был, несомненно, прав: если бы Мистер Зельц умел читать, он не оказался бы в том затруднительном положении, в котором оказался сейчас. Если бы он хоть самую чуточку знал грамоту, то смог бы по уличным указателям добраться до Калверт-стрит, 316, а добравшись туда, он сел бы на крыльцо и ждал, пока не появится миссис Свенсон. Она была единственной, кого он знал в Балтиморе. Проведя с ней вместе во сне все это время, он пришел к убеждению, что она будет рада впустить его в дом и взять на себя заботу о нем. Это было очевидно: стоило только посмотреть на нее и послушать, как она говорит. Но как найти дом по адресу, не умея читать? Если Вилли был так убежден в важности грамоты, почему он не позаботился об образовании Мистера Зельца? Вместо того чтобы скорбеть и рассуждать о его невежестве, лучше бы перестал ныть и хотя бы напоследок преподал ему на скорую руку несколько уроков. Мистер Зельц с превеликой охотой выслушал бы его; может, у него ничего бы и не вышло, но как знать заранее, если не попытаться? Пес свернул на другую улицу и остановился попить из лужи, образовавшейся после прошедшего ливня. Едва язык его коснулся серой поверхности воды, в голову ему пришла новая мысль. Стоило только Мистеру Зельцу осознать ее, как он чуть не завыл от огорчения. При чем тут грамотность, думал он, при чем тут рассуждения о собачьем интеллекте? Всю проблему можно было решить легко и элегантно — стоило повесить на шею табличку: "Меня зовут Мистер Зельц. Пожалуйста, доставьте меня в дом Би Свенсон по адресу Калверт-стрит, 316". На обороте таблички Вилли мог бы написать записку для миссис Свенсон, в которой объяснялось бы, что с ним случилось и почему собака нуждается в новом доме. Как только Мистер Зельц очутится на улице, какой-нибудь добросердечный прохожий с большой вероятностью прочитает эту табличку, выполнит просьбу, и не пройдет и пары часов, как Мистер Зельц уже будет лежать, мирно свернувшись калачиком, на коврике в гостиной дома новых хозяев. Закончив с питьем и затрусив прочь от лужи, Мистер Зельц задумался о том, почему подобная мысль пришла в голову ему, простой дворняге, и ни разу не возникла у Вилли, который с такой легкостью совершал головокружительные кульбиты и пируэты в области мышления. Да потому, что Вилли был начисто лишен практичности, потому, что в голове у него была путаница, и потому, что, смертельно больной, он уже с трудом соображал, что к чему. По крайней мере, он поговорил с миссис Свенсон об этом — или попытался поговорить — когда та приехала в больницу. "Прочешите город и найдите его, — намеревался сказать он, а потом описать, как выглядит Мистер Зельц, и, наконец, взяв миссис Свенсон за руку, умолять, чтобы та сделала все возможное. — Собаке нужен дом. Если вы не найдете его, то ему конец". Но Вилли умрет только завтра, и до того, как миссис Свенсон покинет больницу и вернется домой, Мистеру Зельцу придется провести на улице весь день, всю ночь и часть следующего дня. Кроме того, она, вероятно, начнет поиски только на следующий день, а этот Балтимор — большой город, в котором десять тысяч улиц и переулков, и кто знает, что с ним будет тогда? Для того чтобы найти друг друга, им потребуется немалое везение, да что там — чудо. А Мистер Зельц, который больше не верил в чудеса, уже не допускал такой возможности. Разумеется, кругом полно луж, влагой из которых он мог смочить пересохшее горло, но с едой дела обстояли гораздо хуже. Во рту у него уже дня два не было и маковой росинки, и брюхо изрядно подвело. Поэтому потребности тела возобладали над разу-

мом, и, вместо того чтобы продолжать жалостливо скулить над упущенными возможностями, он яростно принялся за поиски харчей. Было позднее утро, а возможно, уже и ранний день, и люди, очнувшиеся от воскресного ступора, начинали постепенно просыпаться и выползать на кухни, чтобы приготовить себе завтрак. Почти из каждого дома, мимо которого трусил Мистер Зельц, доносились ароматы жарящегося бекона, шкворчащих яиц и подрумянивающегося в тостерах хлеба. Как это подло, подумалось ему, как это жестоко, когда он едва держится на ногах от скорби и истощения, но, поборов искушение начать скрестись в двери, он поплелся дальше. Уроки Вилли не прошли даром. Бродячих собак никто не любит, а если Мистер Зельц начнет досаждать злому человеку, тот живо отправит его в собачью кутузку — а оттуда живым еще никто не возвращался.

Если бы Мистер Зельц умел охотиться и добывать пропитание самостоятельно, он не чувствовал бы себя сейчас таким беспомощным. Но он провел слишком много времени рядом с Вилли, он скитался по миру в роли его доверенного лица и chien à tout faire[1], и все его врожденные волчьи инстинкты давно атрофировались. Он вырос мягким и цивилизованным — псом-мыслителем, а не псом-атлетом. Сколько он себя помнил, о его телесных нуждах всегда заботился кто-то другой. Но таковы условия сделки, разве не так? Человек дает тебе пищу и крышу над головой, а взамен ты даешь ему любовь и собачью преданность. Теперь, когда Вилли больше нет, ему придется забыть все, что он умел, и начать сначала. Способен ли он измениться настолько сильно? Мистер Зельц в прошлом натыкался на бездомных собак, но он никогда не чувствовал к ним ничего, кроме жалости и, может быть, легкого презрения. На их одиночество невозможно было глядеть без ужаса, и потому он всегда держался от них в безопасном отдалении, памятуя о том, что в шерсти у них полно клещей и блох. Он боялся приблизиться к ним из опасения, что их недуги и их отчаяние переберутся на него. Может быть, он стал немножечко снобом, но он и раньше всегда был способен распознать любое из этих отверженных созданий с расстояния в сотни ярдов. Они даже ходили совсем не так, как другие собаки. Они двигались хромой походкой попрошаек, поджав хвост между ногами, они неслись по улицам так, словно опаздывали на важную встречу, хотя идти им было на самом деле некуда — они просто носились кругами между одним нигде и другим нигде. Теперь, завернув за угол и перейдя улицу, Мистер Зельц обнаружил, что он начал ходить точь-в-точь как они. Не прошло и получаса, как он расстался с хозяином, но уже стал таким же, как эти несчастные создания.

В таких размышлениях он добрел до транспортного кольца с газоном, разбитым в его центре, посреди которого возвышался какой-то памятник. Рассмотрев памятник издалека, Мистер Зельц пришел к заключению, что это конная статуя, изображающая воина с обнаженным мечом, готового кинуться в бой. Но больший интерес для него представляли голуби, рассевшиеся как на различных частях тела воина, так и на огромном каменном коне. В тени же памятника столпилось множество птиц разных пород — крапивников, воробьев или как их там. Мистер Зельц задумался, не настал ли подходящий момент для того, чтобы про-

1. От франц. "homme à tout faire" — "прислуга за все", где "chien" — собака.

демонстрировать свой талант убийцы. Если люди больше не кормят его, не попробовать ли прокормить себя самому?

К тому времени уличное движение стало интенсивнее, и Мистеру Зельцу пришлось проявить немалую ловкость, чтобы перебраться на другую сторону дороги: он увертывался от машин, замирал, кидался вперед, снова выжидал, в общем, прилагал все усилия для того, чтобы не попасть под колеса. В какой-то миг у него под самым носом пролетел мотоциклист — сполох сверкающего вороненого металла, возникший словно из пустоты, — и Мистеру Зельцу пришлось отпрыгнуть в сторону, дабы избежать столкновения. При этом он чуть было не попал под большой желтый грузовик с решеткой на бампере, похожей на рифленое железо, и, если бы Мистер Зельц не метнулся туда, где был за секунду до этого (на место, освобожденное умчавшимся мотоциклом), ему бы пришел конец. Взвизгнули тормоза, мужчина высунулся из машины и проорал что-то похожее то ли на "хобот в томат", то ли на "обод в кровать", но Мистер Зельц интуитивно почувствовал, что о нем сказали что-то нелестное. Ему было стыдно за себя, стыдно за свою неуклюжесть. Он не мог перебраться на другую сторону, не попав в историю, а если даже такие простые вещи давались ему так трудно, что случится с ним, когда он окажется перед действительно тяжелым испытанием? В конце концов он добрался до своей цели, но к тому времени когда он преодолел все опасности и вступил на газон, он чувствовал такое отвращение к себе, что жалел в первую очередь о том, что вообще решился пересечь мостовую.

К счастью, уличное движение вынудило его избрать долгий путь, так что он очутился на северной стороне газона, то есть со стороны крупа коня и торчащих концов шпор воина. Поскольку большинство голубей сгрудилось перед памятником, у Мистера Зельца оказалось в распоряжении время для того, чтобы перевести дыхание и обдумать следующий шаг. Он никогда прежде не охотился на птиц, но видел, как это делают другие собаки, и он пришел к определенным выводам. Так, он знал, что не стоит бросаться напролом в надежде на везение, не стоит лаять и не стоит слишком рано пускаться вприпрыжку, как велико ни было бы искушение. В конце концов, все затевалось вовсе не ради того, чтобы испугать голубей. Нужно было, чтобы один из них очутился у тебя в пасти, а если ты начнешь атаку слишком рано, голуби просто улетят, и делу конец. Очень важно не забывать, говорил сам себе Мистер Зельц, что голуби могут летать, а собаки — нет. Возможно, что голуби глупее собак, но поскольку бог дал им крылья вместо мозгов, собаке, чтобы одержать победу над крыльями, приходится собрать свою волю в кулак и вспомнить все, чему ее научила жизнь.

Действовать надо тайком. Прокрасться в тыл врага. Мистер Зельц приблизился к западному краю постамента и выглянул из-за угла. Около двадцати голубей все еще прогуливались там, нежась в теплых лучах яркого солнца. Мистер Зельц опустился на землю. Не сводя взгляда с ближайшей к нему птицы, он коснулся брюхом земли и пополз, продвигаясь так медленно и незаметно, как только мог. Когда Мистер Зельц наконец появился на поле боя, несколько воробьев вспорхнули с мостовой и уселись на голове воина, но голуби, казалось, его не заметили. Они продолжали заниматься своими делишками, воркуя и расхаживая с важным видом, как свойственно этим пустоголовым созданиям. Приблизившись к намеченной жертве, Мистер Зельц увидел, что имеет дело с хорошо упи-

танным экземпляром. Это была первосортная добыча. Мистер Зельц нацелился на голубя, готовясь перекусить ему шею сзади своими клыками. Если он прыгнет вовремя, ему, возможно, это удастся. Все зависело от выдержки и еще в большей степени — от опыта. Мистер Зельц помедлил немного, чтобы не вызвать преждевременных подозрений; он старался слиться с окружающей средой и сделаться таким же неподвижным и неодушевленным, как камень, из которого были изваяны конь и воин. Ему следовало подобраться чуть-чуть ближе, буквально на фут-другой, перед тем как совершить последний бросок. Он практически перестал дышать, он замер и затаился, но все же, несмотря на эти предосторожности, на дальнем краю стаи пять-шесть голубей внезапно захлопали крыльями и взлетели, поднимаясь вдоль памятника, словно эскадрилья вертолетов. Это казалось невероятным. Мистер Зельц делал все строго по учебнику, не отступив ни на йоту от избранного плана, и все же голуби заметили его: если он немедленно не предпримет решительных действий, вся затея пойдет насмарку. Вкусная добыча начала уверенными шажками от него удаляться. Еще один голубь поднялся на крыло, вслед за ним другой, а затем еще один. Все шло прахом прямо на глазах у Мистера Зельца, который потерял самообладание и не нашел ничего лучшего, как вскочить и кинуться на жертву. Это был отчаянный, бессмысленный порыв, который тем не менее чуть было не окончился удачей. Мистер Зельц почувствовал, как перья пощекотали ему морду в тот самый миг, когда он открыл пасть, — но этим дело и ограничилось. Его обед улетел, а с ним и все прочие птицы, собравшиеся у памятника, и на поле остался Мистер Зельц, один-одинешенек, который метался по траве в припадке отчаяния, прыгал в воздух и гавкал, гавкал на них на всех, охваченный гневом и горем поражения. Долгое еще время после того, как последняя птица скрылась за колокольней церкви на противоположной стороне улицы, он продолжал гавкать — на себя, на белый свет, на все сразу и на ничто в частности.

Двумя часами позднее он набрел на полурастаявший стаканчик мороженого, лежавший на тротуаре возле Морского музея (вишня и ваниль с вкраплениями карамели в мягкой сладкой гуще). А затем — не прошло и пятнадцати минут — он наткнулся на коробку с остатками обеда из "Кентукки фрайд чикен"[1], которую кто-то оставил на скамейке: красно-белая картонная коробка, в которой лежали три частично объеденных куриных ножки, два нетронутых крылышка, бисквит и комок картофельного пюре, пропитанного коричневой соленой подливкой. Пища отчасти помогла ему вернуть веру в себя, но в меньшей степени, чем можно было бы предположить. Фиаско у памятника потрясло Мистера Зельца до глубины души, и еще долгие часы воспоминания о неудачной охоте терзали его душу. Он презирал себя и, хотя отчаянно пытался поскорее забыть о случившемся, никак не мог избавиться от чувства, что превратился в старую развалину, которую осталось только выбросить на помойку.

Ночь он провел на пустой автомобильной стоянке, под звездным небом, прикрытый лишь негустой порослью сорняков и чертополоха. Он не мог сомкнуть глаза больше чем на пять минут. День был плох, но ночь оказалась еще хуже, поскольку это была первая ночь в его жизни, которую он проводил в одиночестве. Отсутствие Вилли ощущалось почти

1. Фирменное название одной из первых популярных сетей экспресс-кафе.

зримо в окружавшей его атмосфере, так что Мистеру Зельцу ничего не оставалось, кроме как лежать на земле и тосковать по хозяину. Наконец он все же впал в состояние, напоминавшее сон, но случилось это только под самое утро, так что взошедшее через три четверти часа солнце вынудило его снова открыть глаза. Мистер Зельц встал и отряхнулся, и в тот же момент чудовищная тяжесть навалилась на него. Все вокруг потемнело, словно в душе его случилось солнечное затмение, и хотя Мистер Зельц не смог бы объяснить каким образом, но он понял, что именно в это мгновение Вилли покинул мир сей. Все произошло так, как было предсказано во сне. Хозяин его умер; не пройдет и минуты, как сестра Маргарет войдет в палату и поднесет зеркальце к его губам, а затем миссис Свенсон закроет лицо руками и заплачет.

Когда роковой миг настал, лапы Мистера Зельца подкосились, и он рухнул на землю. Он чувствовал себя так, словно его расплющило весом воздушного столба. Несколько минут он пролежал неподвижно среди крышечек от бутылок и пустых пивных жестянок. Ему казалось, что тело его вот-вот рассыплется на кусочки, жизненные соки изольются наружу, он высохнет и превратится в окоченевший труп, который сгниет под солнцем Мэриленда. Но тут неожиданно навалившаяся на него тяжесть куда-то исчезла, и Мистер Зельц вновь ощутил биение жизни в своих внутренностях. Однако ему не хотелось больше жить; он стремился к самоуничтожению. Поэтому он перевернулся на спину и широко растопырил лапы, подставляя небу горло, брюхо и гениталии. В этой позиции он был абсолютно беззащитен. Распластанный, как невинный щенок, он ожидал, что гром небесный поразит его. Он был готов принести себя в жертву на могиле хозяина. Прошло еще несколько минут. Мистер Зельц закрыл глаза в экзальтации, ожидая мощного удара, но Бог не обращал на него ни малейшего внимания — или просто не видел его, — и мало-помалу, по мере того как солнце проре́залось сквозь утренние облака, Мистер Зельц понял, что сегодня ему не суждено умереть. Тогда он снова перекатился и встал на ноги. Затем, запрокинув морду к небу, он наполни́л легкие воздухом и испустил долгий, протяжный вой.

Около десяти часов утра Мистер Зельц повстречался с компанией, состоявшей из шести двенадцатилетних мальчишек. Сначала он решил, что ему крупно повезло, потому что час-другой мальчишки обращались с ним по-царски. Они скормили ему несколько рогаликов, хот-догов и корочек пиццы, а Мистер Зельц в благодарность развлекал их как умел. Он не слишком часто сталкивался с детьми, но он знал о детях достаточно, чтобы ожидать от них самых непредсказуемых поступков. Эти же мальчишки с первого взгляда показались ему какими-то особенно буйными и хвастливыми. Они все время ругались, хамили и выпендривались друг перед другом. Присмотревшись, он также заметил, что они находят какое-то особое удовольствие в том, чтобы исподтишка пихать друг друга под ребра или бить по голове. Компания зашла в парк, и там мальчишки час с лишним играли в футбол, толкаясь с такой яростью, что Мистер Зельц начал беспокоиться, как бы они не покалечили друг друга. Был как раз конец летних каникул. Вскоре вновь начинались занятия, и поэтому мальчишки томились и искали приключений на свою голову. Наигравшись, они отправились к пруду, где стали швырять камешки, соревнуясь, чей камешек больше раз подряд отскочит от поверхности воды. Вскоре разгорелся ожесточенный спор. Мистер Зельц, который неодобрительно относился к любым конфликтам, решил разрядить напря-

женность, бросившись в воду и принеся обратно один из камешков. Он никогда не питал особого пристрастия к подобным развлечениям, поскольку Вилли считал, что примитивные задачи типа "принеси палку" унизительны для интеллекта Мистера Зельца. Однако Мистер Зельц знал, что большинству людей нравится, когда собаки приносят палки и мячи в зубах, так что, поступившись принципами, он с громким плеском плюхнулся в воду. Вода в пруду заходила ходуном. Ловко поймав камень зубами, Мистер Зельц вынырнул и с удивлением услышал, как один из мальчишек выругался. "Чертова собака испортила всю игру, — кричал он, — теперь придется ждать не меньше пяти минут, пока вода успокоится и можно будет начать все сначала". "Это, конечно, так, — думал Мистер Зельц, гребя к берегу, — но как он будет потрясен, когда я положу эту гальку к его ногам. Не всякая собака способна на такое". Но когда он положил камень к ногам сердитого мальчишки, то в награду получил пинок в ребра. "Дурацкая собака! — сказал мальчик. — Какого черта ты мутишь нашу воду?" Мистер Зельц взвизгнул от боли и удивления. Вслед за этим новый спор вспыхнул среди мальчишек. Одни одобряли этот пинок, другие осуждали, и вскоре двое уже катались по земле, сцепившись в драке, воспроизводя в очередной раз вековой поединок правды и силы.

Мистер Зельц отошел на безопасное расстояние в несколько ярдов, отряхнулся и стоял, ожидая, пока кто-нибудь из мальчишек подобрей не позовет его обратно. Но несмотря на все его желание, чтобы топор войны был зарыт, на его мирную инициативу никто не откликнулся. Драка продолжалась, а когда она все же закончилась, один из мальчишек, заметив Мистера Зельца, поднял камень и швырнул в него. Он промахнулся на два-три фута, но Мистер Зельц понял намек. Он повернулся и побежал прочь и, хотя кто-то кричал ему, чтобы он возвращался, не останавливался, пока не добежал до другого конца парка.

Там он провел следующий час, отлеживаясь под кустом боярышника. Пинок не причинил ему особой боли, но настроение было безвозвратно испорчено. Он корил себя за то, что так превратно понял ситуацию. Ему следует стать более осторожным, недоверчивым и начать подозревать людей в самых дурных намерениях до тех пор, пока люди не докажут обратного. Жаль, конечно, что жизнь преподносит ему такие грустные уроки в столь зрелом возрасте, но если он хочет справиться с ожидающими его трудностями, необходимо собраться с силами и усвоить опыт. Нужно определиться с основными принципами и разработать программу поведения в критические моменты. Исходя из происшедшего, не составит особенного труда сформулировать первый пункт: никаких контактов с детьми, а особенно — с мальчишками младше шестнадцати лет. Они лишены жалости, а если двуногое лишено жалости, то оно ничем не лучше бешеной собаки.

Мистер Зельц уже совсем собрался вылезти из-под куста, как увидел в двух шагах от собственного носа белые кроссовки, неотличимые от тех, что не так давно пинали его под ребра. Мистер Зельц в страхе сглотнул слюну. Неужели негодяй вернулся, чтобы продолжить избиение? Пес отпрянул, забившись глубже под нависшие низко ветви, зацепившись по пути за колючки. "Ну вот они и загнали меня в угол, — думалось ему, — да только что поделаешь?" Мистер Зельц затаился, лежа на брюхе и ощущая, как в спину ему вонзилась добрая дюжина шипов. Он не терял надежды, что мучителю вскоре наскучит ждать и он уйдет.

Но в тот день Мистеру Зельцу не везло. Агрессор не уходил с занятых позиций; вместо того чтобы пойти искать жертву где-нибудь в другом месте, он присел на корточки и заглянул под куст. Мистер Зельц зарычал, готовый укусить, если понадобится.

— Не бойся, — сказал мальчик. — Я не ударю тебя.

"Так я тебе и поверил", — подумал Мистер Зельц. Он был так напряжен, что даже не заметил, что это был уже совсем другой голос: мягкий, нежный, принадлежавший совсем другому мальчику.

— Я видел, что они с тобой сделали, — сказал новый мальчик. — Эти парни — форменные уроды. Они в одной школе со мной учатся. Ральф Эрнандес и Пит Бонди. Если с ними водиться, всегда влипнешь в какую-нибудь историю.

К этому времени говорящий просунул голову под куст уже достаточно далеко, чтобы Мистер Зельц смог различить его черты и осознать, что имеет дело не со своим мучителем: лицо принадлежало мальчику-китайцу десяти или двенадцати лет, и в то первое неизгладимое мгновение Мистер Зельц почувствовал, что это — одно из прекраснейших человеческих лиц, какое он когда-либо видел. И тут же все только что выработанные принципы и программы полетели ко всем чертям: этот ребенок не мог причинить ему никакого вреда, и если Мистер Зельц ошибся и на сей раз, то ему остается только вывернуть шкуру наизнанку и провести остаток дней своих дикобразом.

— Меня зовут Генри, — сказал мальчик. — Генри Чоу. А тебя как звать?

"Ха, — подумал Мистер Зельц. — Умный маленький мальчик, каким, интересно, образом я должен дать тебе ответ на этот вопрос?"

Однако, поскольку от исхода этого разговора зависело очень многое, он решил все же попытаться. По-прежнему лежа брюхом на подстилке из веток и опавших листьев, он поднял голову и тявкнул отрывисто три раза: ав! ав! ав! Ему удалось идеально передать анапест собственного имени, придав каждому слогу верную длительность, силу и ударение; он извлек из слов "Мистер Зельц" их фонетическую сущность, выраженную музыкальной фразой.

— Хороший песик! — сказал юный Генри, дружелюбно протягивая к нему правую руку. — Сообразительный.

Мистер Зельц тявкнул еще раз в знак согласия, а затем принялся лизать ладонь Генри. Постепенно мальчик выманил его наружу из укрытия и, как только Мистер Зельц полностью выполз из-под куста, уселся рядом с ним и принялся гладить его и целовать в морду, выбирая из шкуры сухие листья и репьи.

Так началась достойная подражания дружба между мальчиком и собакой. Между ними было всего три с половиной года разницы, но мальчик был юн, а пес — стар, и именно в силу этой разницы каждый мог дать другому то, чего сам был лишен. Мистер Зельц узнал от Генри, что любовь не исчезает бесследно. Любовь всегда где-то есть, и если ты потерял одну, это вовсе не значит, что нельзя найти другую. Для Генри — единственного ребенка в семье, родители которого все время были заняты работой и постоянно отказывали ему в просьбах завести домашнее животное, — Мистер Зельц был послан небом в ответ на его молитвы.

Но при всем при этом союз их с самого начала оказался под угрозой. Как только Генри заговорил об отце, Мистер Зельц понял, что ставка на мальчика не столь однозначно выигрышная, как думалось сперва. Они медленно брели по улице к дому, где жила семья Чоу, и Генри описывал

по дороге трудности, с которыми им предстояло столкнуться. По мере этого рассказа Мистер Зельц почувствовал сначала легкое беспокойство, затем страх и, наконец, откровенный ужас. Уже то, что отец Генри не любит собак и в дом Мистеру Зельцу путь будет заказан, было неприятно само по себе, но еще хуже было то, что существование Мистера Зельца придется держать в секрете... Если отец Генри почует собачий дух в своем доме, он накажет сына так, что тот пожалеет, что родился на свет. Вдобавок Мистер Чоу-старший жил и работал в одном и том же здании, и было, по меньшей мере, самонадеянным предполагать, что рано или поздно он не обнаружит собаку. Семья жила на втором этаже, а семейное предприятие располагалось на первом, так что отец Генри все время вертелся где-нибудь поблизости с утра и до ночи.

— Я знаю, что это выглядит не очень привлекательно, — сказал Генри. — Но давай все же попробуем.

Ну что ж, по крайней мере, паренек — не из робкого десятка. И чудо что за голос, добавил Мистер Зельц, стараясь глядеть на вещи с хорошей стороны. Но он в тот момент не знал еще самого худшего. Он думал, что хуже уже ничего нельзя придумать, но тут Генри начал говорить о том, где поселит Мистера Зельца, и весь ужас ситуации дошел до пса полностью.

— Есть один закуток... — говорил Генри.

Если Мистер Зельц согласен жить в картонной коробке и не шуметь, то его можно поселить там. Это один вариант. Другой вариант — задний двор. Он не очень велик, пятачок, заросший травой, сказать по правде, заваленный ржавыми холодильниками и стеллажами, но официанты выходят туда покурить, да и отец любит побродить ночью по дворику в хорошую погоду после того, как закроет ресторан. Он называет это "пить звездный свет", и, по словам Генри, отец всегда лучше спит, если погуляет немного под открытым небом перед тем, как отправиться в кровать.

Генри продолжал рассказывать что-то о спальных привычках своего отца, но Мистер Зельц больше не слушал. Роковое слово слетело с губ мальчика, и, как только Мистер Зельц осознал, что *ресторан*, о котором шла речь, это не лавочка, торгующая хот-догами, а *китайский ресторан*, он готов был сорваться с места и убежать. Сколько раз Вилли предупреждал его об опасности, связанной с этими заведениями! Не далее как вчера утром он выслушал пятнадцатиминутную лекцию по этому поводу, и как же мог Мистер Зельц сейчас пренебречь его советом и тем самым предать память своего возлюбленного хозяина? Конечно, этот Генри славный малый, но если слова Вилли содержали хотя бы крошечную крупицу правды, тогда идти дальше вслед за этим мальчиком равносильно тому, чтобы подписать самому себе смертный приговор.

И все же он не мог заставить себя убежать. Он провел с Генри всего лишь сорок минут, но уже привязался к мальчику так сильно, что не мог покинуть его не попрощавшись. Разрываясь между страхом и любовью, он выбрал средний путь, единственно возможный при данных обстоятельствах. Он просто остановился — замер как вкопанный на тротуаре, — лег на землю и принялся скулить. Генри, который мало знал собак, не понимал, что делать в таком непредусмотренном случае. Он сел на корточки рядом с Мистером Зельцем и начал гладить того по голове. Несмотря на все терзания и сомнения, пес не мог не заметить, какие ласковые у мальчика руки.

— Бедняжка! — сказал Генри. — Я тут болтаю, а ты устал и голоден — и я даже не позаботился о том, чтобы накормить тебя!

За этими словами последовал биг-мак с пакетом жареной картошки. После того как Мистер Зельц поглотил эти лакомства, сердце его уже безраздельно принадлежало мальчику. "Если я убегу от него, — сказал он себе, — я умру на улице. Если я пойду с ним, я тоже умру. Но, по крайней мере, я умру рядом с Генри, а если смерти все равно не миновать, то уж лучше так".

Вот как случилось, что Мистер Зельц пренебрег наставлениями хозяина и рискнул поселиться у самых врат ада.

Новый дом его представлял собой картонную коробку, которая некогда содержала в себе здоровенный кондиционер фирмы "Феддер". Осторожный Генри пристроил ее между решетчатым ограждением вентилятора и старым холодильником на заднем дворе. В коробке Мистер Зельц спал по ночам, свернувшись калачиком в темноте, пока мальчик не приходил за ним утром. Генри был парень смышленый — он проделал дыру в изгороди, и через нее Мистер Зельц мог выползать в следующий двор, минуя, таким образом, как переднюю, так и заднюю дверь ресторана и встречаясь с юным хозяином на другом конце квартала, откуда они пускались в свои дневные странствия.

Не надо думать, что пес ничего не боялся, и не стоит думать, что он не осознавал окружавших его опасностей. Но в то же время он ни разу не пожалел о своем решении довериться Генри. Ресторан поставлял ему неиссякаемый поток утонченных деликатесов, и впервые со смерти мамы-сан четыре года тому назад Мистер Зельц не нуждался в еде. Свиные ребрышки и пельмени, кунжутная лапша и жареный рис, соевый творог в коричневом соусе, утка по-пекински и воздушные пампушки — выбор был богатым, и как только он познакомился с сокровищницей китайской кулинарии, то понял, что все время живет ожиданием, чего новенького принесет ему Генри. Его желудок никогда не чувствовал себя лучше, и хотя пищеварение иногда расстраивалось от чересчур пряного соуса или приправы, эти временные кишечные проблемы казались ничтожной ценой за наслаждение, доставленное едой. Если что и тревожило его всерьез, так это то, что иногда он сталкивался с совершенно неведомым ему вкусом, и тогда предрассудки, высказанные некогда Вилли, оживали у него в мозгу. Пережевывая пищу, он не мог удержаться от мысли, что, возможно, поглощает мясо своего сородича. Тогда, охваченный угрызениями совести, он внезапно переставал жевать, но было уже слишком поздно: пищеварительные соки переполняли желудок, слюна текла ручьем, вкусовые сосочки требовали еще и еще этой божественной амброзии, и Мистер Зельц капитулировал. После короткой паузы язык его вновь тянулся к миске, и, прежде чем он успевал осознать, что совершает грех, миска уже оказывалась вылизанной начисто. За этим, разумеется, следовало неизбежное раскаяние, но Мистер Зельц утешал свою повинную совесть мыслью о том, что на месте собрата мог оказаться он сам, а значит, надеяться следует только на то, что и сам он на вкус ничуть не хуже.

Генри купил несколько пакетиков с семенами редиски и посеял эти семена прямо в грязь, окружавшую картонную коробку. Этого требовала конспирация: когда родители спрашивали Генри, почему он проводит так много времени на заднем дворе, он рассказывал про редиску, и тогда они одобрительно кивали и оставляли Генри в покое. "Странно заво-

дить огород в самом конце лета", — иногда говорил отец, но у Генри был готов ответ и на это. "Редиска вызревает за восемнадцать дней, — говорил он, — она успеет вырасти до заморозков". Генри был умный мальчик. Он всегда находил, что сказать в затруднительных ситуациях. Кроме того, он ловко извлекал мелочь и забытые долларовые бумажки из материнской сумочки, а по ночам незаметно выносил с кухни остатки еды, так что мог обеспечить безбедную жизнь себе и своему новому другу. Не его вина, что отец несколько раз перепугал Мистера Зельца до полусмерти, явившись в сад посреди ночи для того, чтобы посмотреть, как растет редиска. Каждый раз, когда луч карманного фонарика падал на картонную коробку Мистера Зельца, пес начинал дрожать, уверенный, что ему пришел конец. Пару раз запах страха, исходивший от тела Мистера Зельца, оказывался таким сильным, что Чоу-старший и впрямь принюхивался, словно почувствовав что-то неладное. Но поскольку он не знал, чего, собственно говоря, ищет, то, проведя пару минут в озадаченности, он бормотал себе под нос непонятные китайские слова, а затем возвращался в дом.

Однако как ни были ужасны эти ночи, Мистер Зельц забывал все, стоило ему поутру взглянуть в глаза Генри. Дни их начинались на месте их тайных встреч: между мусорным баком и автоматом для продажи газет, и в течение следующих восьми или десяти часов ресторан и картонная коробка казались не более чем кошмарным воспоминанием. Мальчик и собака гуляли вместе по городу без всякой цели, и бесцельность эта чем-то напоминала псу счастливые деньки, проведенные вместе с Вилли. Короче говоря, Мистеру Зельцу не приходилось долго задумываться над тем, чего от него ждут.

Генри Чоу был одиноким ребенком, привыкшим к одиночеству и жизни в мире фантазий. Теперь, когда он обзавелся приятелем, он говорил без умолку, пересказывая ему даже самые ничтожные и мимолетные мысли, посещавшие его одиннадцатилетний мозг. Мистер Зельц любил его слушать, любил поток слов, сопровождавший их прогулки. Монологи эти до такой степени напоминали псу его покойного хозяина, что он не раз задумывался, не является ли Генри Чоу законным и подлинным наследником Вилли Г. Сочельника или даже его новым воплощением.

Это вовсе не означает, что Мистер Зельц всегда понимал, о чем говорит новый хозяин. Интересы Генри радикально отличались от интересов Вилли, и собака терялась, когда Генри садился на своего любимого конька. Откуда мог Мистер Зельц знать, сколько хоум-ранов за матч зарабатывал в среднем питчер "Иволог" и на сколько кругов они отставали в чемпионате? За все годы, проведенные с Вилли, он ни разу не слышал, чтобы поэт говорил о бейсболе. И вдруг бейсбол стал вопросом жизни и смерти. Каждое утро после встречи с Мистером Зельцем на углу первым делом Генри покупал газету. Он доставал из кармана несколько монет, вкладывал их в щель автомата и получал номер "Балтимор сан". Затем направлялся к скамейке на другой стороне улицы, садился и, развернув спортивные страницы, начинал читать отчет о вчерашней игре Мистеру Зельцу. Если "Иволги" выигрывали, голос его был полон радости и возбуждения. Если же "Иволги" проигрывали, голос Генри становился печальным и мрачным, а иногда даже гневным. Мистер Зельц радовался вместе с ним победам и печалился поражениям, но так никогда до конца и не понял, что имел в виду Генри, когда говорил о команде. Иволга — это птица, а команда — это людской коллектив, и если желтое

создание, изображенное на бейсболке Генри, было, несомненно, птицей, то какое она имеет отношение к такому сложному и многотрудному занятию, как бейсбол? Новый мир, в который вошел Мистер Зельц, был полон тайн. Иволги в нем сражались с тиграми, сойки — с ангелами, медвежата — с гигантами, и понять все это было весьма непросто. Бейсболист был, разумеется, человеком, но, становясь частью команды, он превращался в животное, в мутанта, в духа, который обитал на небесах одесную Бога.

Если верить Генри, то в балтиморской стае одна птичка намного превосходила всех остальных. Ее звали Кэл, и, хотя она всего-навсего была иволгой, играющей в бейсбол, ей удавалось совмещать в себе качества и ряда других животных: выносливость коня, смелость льва и силу буйвола. Все это было трудно понять, но когда Генри решил, что отныне Мистера Зельца тоже будут звать Кэл — а полностью Кэл Рипкен-младший Второй, — в голове у пса все окончательно смешалось. Не то чтобы он имел какие-то принципиальные возражения. В любом случае он не мог сообщить Генри свое настоящее имя, а раз уж мальчик должен был как-то называть его, имя "Кэл" было ничем не хуже других. Проблема заключалась в том, что оно рифмовалось с "Эл", и первые несколько раз, когда Генри назвал его так, Мистер Зельц автоматически вспомнил про старого друга Вилли Эла Саперштейна, который владел той самой лавкой курьезов на Серф-авеню, Кони-Айленд, которую они с хозяином частенько посещали. Он внезапно снова представил себе дядю Эла, в ярко-желтой бабочке и клетчатом спортивном пиджаке, и вновь очутился в магазине, гуляя по проходам вместе с Вилли, рассматривая ручные жужжалки, подушки-пердушки и взрывающиеся сигары. Мистеру Зельцу не понравилась эта встреча; прежний хозяин, воскресший из царства теней, в сочетании с беспрестанной болтовней Генри о Кэле-иволге плюс тот факт, что в половине случаев Генри, говоря "Кэл", имел в виду Мистера Зельца, — неудивительно, что пес не вполне понимал, кто он сам такой и кем его считают.

Но какая разница? Он ведь только что явился в мир Генри, и должно пройти некоторое время, прежде чем он станет там совсем своим. Проведя с мальчиком неделю, он уже начал кое-что понимать, и, если бы не подлая выходка календаря, неизвестно еще, как бы далеко они продвинулись. Но существуют и другие сезоны, кроме лета, так что близилось время Генри возвращаться в школу. Спокойные деньки совместных прогулок, болтовни и запуска воздушных змеев в парке внезапно кончились. В последнюю ночь перед началом шестого класса Генри лежал в кровати с открытыми глазами, дожидаясь, пока родители крепко заснут. Сразу после полуночи, как только в доме все затихло, он спустился по лестнице, вышел во двор и забрался в картонную коробку к Мистеру Зельцу. Обняв пса, он объяснил ему, что отныне их жизнь сильно переменится. "Когда утром взойдет солнце, — объяснял Генри, — каникулы официально закончатся. Какой я все-таки идиот, Кэл. Я должен был найти для тебя место получше, чем эта гнилая коробка на грязном дворе, а я этого не сделал. Я пытался, но никто мне не помог, а теперь у нас больше нет времени. Не стоило тебе доверяться мне, Кэл. Я — полная бездарность. Я — тупой кусок дерьма, я все испортил. Я никогда другим не стану. Вот до чего доводит трусость. Я не решился сказать отцу о тебе, а если я у него за спиной поговорю с мамой, то будет только еще хуже. Ты — мой лучший друг, а я так тебя подставил!"

Мистер Зельц с трудом понимал, о чем это говорит Генри. Мальчик рыдал так горько, что слова были едва понятны, но, поскольку поток обрывочных слов и путаных фраз не прекращался, нетрудно было заключить, что речь идет не о минутном капризе. Что-то было не так, но Мистеру Зельцу не удавалось представить, что именно. Горе Генри стало постепенно воздействовать на него и по прошествии нескольких минут он начал горевать сам. Так уж устроены собаки. Они не всегда способны понять все оттенки мысли хозяев, но они чувствуют их настроение, и в нашем случае не было сомнений, что юный Генри Чоу был в плохой форме. Прошло десять минут, затем двадцать, затем тридцать, а они все сидели и сидели обнявшись, рядом — мальчик и собака — внутри темной картонной коробки. Обхватив шею пса, мальчик плакал навзрыд, и Мистер Зельц повизгивал вместе с ним, время от времени поднимая морду для того, чтобы слизнуть слезы с лица мальчика.

Постепенно и тот и другой заснули. Сначала Генри, затем Мистер Зельц, и, несмотря на кромешную тьму, тесноту коробки и спертую атмосферу, в которой трудно было не задохнуться, Мистер Зельц черпал отвагу из самого факта присутствия рядом с ним друга, радуясь, что ему не придется провести еще одну полную ужаса ночь в одиночестве. В первый раз со дня смерти Вилли Мистер Зельц спал крепко и глубоко, не тревожимый окружавшими его со всех сторон опасностями.

Занялась заря. Розоватый свет просочился сквозь щель в картоне, и Мистер Зельц завертелся, пытаясь освободиться от объятий Генри и потянуться. Ему пришлось извиваться и выворачиваться несколько минут, но даже когда он вывернулся, ударившись с размаху о стенку ящика, мальчик продолжал спать, ничего не замечая. "Удивительно, как крепко спят дети", — подумал Мистер Зельц, которому наконец удалось размять окоченевшие мышцы. Было еще очень рано — не более шести часов утра, — и, учитывая то, как горько рыдал Генри ночью, не было ничего удивительного в том, что он спал как убитый. Пес осмотрел лицо мальчика в мерцающей полутьме — такое круглое и гладкое в сравнении с поношенной бородатой мордой Вилли — и заметил, как маленькие капельки слюны стекают по языку и собираются в уголках слегка приоткрытого рта. Сердце Мистера Зельца защемило от нежности. Пока Генри рядом с ним — понял он, — он готов жить в картонной коробке хоть целую вечность.

Десять секунд спустя Мистера Зельца пробудил от грез глухой удар. Звук этот, похожий больше на взрыв, исходил откуда-то снаружи, и прежде, чем Мистер Зельц понял, что его производит нога человека, пинающего коробку, Генри открыл глаза и снова заплакал. Затем вся коробка целиком оторвалась от земли. Поток утреннего света залил Мистера Зельца и ослепил его на пару мгновений. Он услышал голос, который кричал что-то по-китайски, а затем коробка полетела в сторону редисочной грядки. Перед друзьями стоял мистер Чоу-старший собственной персоной, одетый в майку без рукавов и голубые трусы. Он продолжал выкрикивать непонятные слова с такой яростью, что у него вздулись на шее вены. Он грозил пальцем Мистеру Зельцу, а тот в ответ лаял, перепуганный силой обращенного на него гнева, Генри завывал, и вся сцена в целом сильно походила на коллективную истерику. Чоу-старший кинулся на Мистера Зельца, но тот отпрянул на безопасное расстояние. Затем отец метнулся к сыну, который уже пытался выползти через дыру в изгороди, и, то ли потому, что мальчик оказался недостаточно прово-

рен, то ли потому, что обратился в бегство слишком поздно, быстро ухватил его, поставил на ноги и влепил затрещину. К этому времени миссис Чоу тоже появилась во дворе, выскочив из дома прямо во фланелевой ночной рубашке. Мистер Чоу продолжал кричать на Генри, Генри пронзительно визжал. Миссис Чоу внесла свой вклад в общую шумиху, излив свое неудовольствие как на мужа, так и на сына. Мистер Зельц отступил на противоположный конец двора. К этому моменту он уже знал, что все пропало. Эта битва не могла кончиться ничем хорошим, по крайней мере для него. Ему было жалко Генри, а еще больше жаль себя. У него не оставалось никакого другого выхода, кроме как рвать отсюда когти.

Он дождался момента, когда мать и отец поволокли сына к дому. Когда они уже приближались к задней двери, Мистер Зельц метнулся через двор и прополз через дыру в изгороди. Он подождал, пока Генри исчезнет в дверях. Но уже на пороге мальчик вырвался из рук родителей, повернулся к Мистеру Зельцу и закричал срывающимся, высоким голосом: "Кэл, не покидай меня! Останься, Кэл!" Мистер Чоу отреагировал на это по-своему: он подобрал с земли камень и швырнул его в сторону Мистера Зельца. Пес инстинктивно отпрыгнул и тут же устыдился собственной трусости. Он проследил взглядом, как камень, не причинив ему никакого вреда, лязгнул о металлическую решетку изгороди. Затем три раза пролаял на прощание, надеясь, что мальчик поймет смысл его лая. Мистер Чоу открыл дверь, миссис Чоу запихнула Генри внутрь, а Мистер Зельц побежал.

Он не имел ни малейшего представления о том, куда бежит, но знал, что останавливаться нельзя, что он должен бежать, пока его несут ноги, пока сердце не лопнет у него в груди. Если он хотел прожить на свете больше чем несколько дней, да что там, хотя бы больше чем несколько часов, он должен был немедленно смыться из Балтимора. Это был не город, а средоточие зла, царство смерти и отчаяния, вертеп собаконенавистников и китайских поваров. Только каким-то чудом Мистер Зельц не превратился здесь в таинственную холодную закуску в белой коробочке на вынос. Мальчика, конечно, жаль, но, принимая во внимание, как быстро Мистер Зельц привязался к молодому хозяину, было даже странно, насколько мало сожалений он чувствовал, покидая его.

Очевидно, немаловажную роль тут сыграла картонная коробка. Ночи, проведенные в ней, были почти невыносимыми, а что толку от дома, если ты не чувствуешь себя в безопасности под его крышей, если с тобой обращаются как с изгоем в том самом месте, которое ты считаешь своим прибежищем? Запирать живую душу в темной коробке было большой ошибкой. Это то, что с тобой делают после смерти, но, пока ты жив, пока в тебе что-то шевелится, во имя твоего достоинства и всего святого в этом мире ты не имеешь права подвергаться таким унижениям. Быть живым означает дышать, а для дыхания необходим свежий воздух, а свежий воздух и Балтимор, штат Мэриленд, — понятия несовместимые.

4

Он бежал три дня подряд и все это время почти не спал и не ел. Когда Мистер Зельц наконец остановился, он был уже где-то в северной Виргинии, посреди большого луга в девяноста милях к западу от дома се-

мейства Чоу. В двухстах ярдах перед ним солнце заходило за дубовую рощу. Полдюжины ласточек резвились у него над головой, задевая крыльями траву в погоне за москитами, а в темных кронах певчие птицы допевали последние песни перед тем, как отойти ко сну. Мистер Зельц лежал в высокой траве, тяжело дыша и свесив на сторону язык, и думал, что произойдет, если он закроет глаза. В частности — откроет ли он их на следующее утро. Он так устал, так хотел есть, многочасовой марафон измотал его. Если он уснет, то, вполне возможно, уже никогда не проснется вновь.

В надвигающихся сумерках он наблюдал за тем, как солнце опускается за деревья, и боролся с дремотой. Не прошло двух-трех минут, как голову Мистера Зельца начали заполнять мысли о Вилли, зыбкие воспоминания — картинки прошедших дней, пропитанных дымными кольцами и запахом "Лаки Страйк", невероятными похождениями, в которых они принимали участие в том канувшем в прошлое мире. В первый раз после смерти хозяина подобные воспоминания не вызвали в нем чувства острой печали, в первый раз он понял, что память — это просто место, такое же, как и любое другое, которое можно навещать, и что встречи с мертвыми необязательно опасны — они могут быть и источником утешения и радости. Затем он уснул, но Вилли оставался с ним и во сне, совсем как живой, во всем своем блеске и великолепии. Он снова притворялся слепым, а Мистер Зельц вел его по ступенькам лестницы, спускавшейся на станцию подземки. Это был тот ветреный день в марте четыре с половиной года назад, понял Мистер Зельц, тот самый день больших надежд и не оправдавшихся ожиданий, когда они вместе отправились на Кони-Айленд, чтобы продемонстрировать Симфонию Запахов дяде Элу. Вилли надел в честь этого события шапку Санта-Клауса, и, с большим пластиковым мешком для мусора, содержащим в себе материалы для Симфонии, на плече — таким тяжелым, что Вилли шел согнувшись, — он показался бы любому встречному карикатурой на самого Санта-Клауса. Сказать по правде, когда они добрались до места, все пошло совсем не так, как хотелось, в частности, потому, что дядя Эл оказался в плохом настроении. Он, конечно же, не был настоящим дядей Вилли — просто хороший друг семьи, который помогал родителям Вилли, когда те приехали из Польши, и только из-за хороших отношений с мамой-сан и ее мужем он позволял Вилли и Мистеру Зельцу отираться у него в магазине. Сказать по правде, бизнес у дяди Эла шел не особенно хорошо: в лавку курьезов приходило все меньше и меньше покупателей, так что некоторые товары на полках лежали уже по десять, двенадцать и даже двадцать лет. В последнее время лавка служила прикрытием для других занятий дяди Эла, по большей части противозаконных, хотя и не всегда, и, если бы тощий и болтливый Эл не зарабатывал деньги на фейерверках, букмекерстве и торговле краденными сигаретами, он бы давно уже прикрыл навеки это пыльное заведение. Кто знает, какая муха укусила его в тот ветреный мартовский день, но когда Вилли ввалился со своей Симфонией Запахов и начал обрабатывать дядю Эла на предмет того, что это произведение превратит их в миллионеров, собственник магазина "Страна приколов США" не проникся энтузиазмом своего лжеплемянника... "Ты умом тронулся, Вилли, — сказал дядя Эл, — сообщаю тебе, если ты не в курсе, что ты — полный кретин". А затем быстрехонько выставил его на улицу вместе с грузом запахов, ароматов и складных картонных лабиринтов. Отнюдь не обескураженный этим проявлением

скептицизма, Вилли с энтузиазмом приступил к сооружению симфонии прямо на тротуаре, полный решимости доказать дяде Элу, что он и впрямь изобрел новое чудо света. Но день был, как мы уже говорили, ветреным, и как только Вилли достал из мешка различные элементы Симфонии № 7 (полотенца, губки, свитера, калоши, ящики для инструментов, перчатки), порыв воздуха подхватил их и понес, разметав по улице в самых разных направлениях. Вилли начал ловить их, отпустив при этом мешок, который тоже улетел, а дядя Эл, несмотря на свою прославленную любовь к семье Гуревичей, стоял в дверях и смеялся.

Вот что произошло четыре с половиной года назад, но во сне, который приснился Мистеру Зельцу на лугу, они с Вилли так никогда и не вышли из подземки. Было ясно, что едут они на Кони-Айленд (на это указывал бело-красный колпак Санта-Клауса, битком набитый мешок для мусора и шлейка собаки-поводыря, надетая на Мистера Зельца), но, если в день реальной поездки вагон был полон, во сне в нем не было никого, кроме Мистера Зельца и Вилли, только они вдвоем ехали до конечной станции. Как только Мистер Зельц обнаружил это различие, Вилли повернулся к нему и сказал:

— Не беспокойся, Мистер Зельц. Это не тогда. Это сейчас.

— И что это означает? — спросил пес, и слова его прозвучали так естественно, и так ясно было, что они — плод самоочевидной способности к речи, — что даже сам Мистер Зельц был потрясен произошедшим чудом.

— Это означает, что ты делаешь все не так, — сказал Вилли. — Убежал из Балтимора, шляешься по каким-то дурацким лугам, моришь себя голодом без всякой на то причины. Ты на ложном пути, дружище. Или ты найдешь себе другого хозяина, или с тебя снимут шкуру.

— Но я ведь нашел Генри, — сказал Мистер Зельц.

— Хорошенький мальчонка, просто пальчики оближешь, но все же не то, что надо. С малышами беда. Они хотят быть хорошими, да не хватает силенок. Надо искать в других местах, Мистер Зельц. Выясни, кто здесь главный, кто принимает решения, и иди к нему. Другого пути нет. Тебе нужен новый расклад, но найдешь ты его, только если будешь действовать с умом.

— Я испугался. Откуда мне было знать, что его отец — такая дрянь?

— А я же тебя предупреждал насчет китайцев, разве нет? Тебе надо было дать деру, как только ты увидел, куда попал.

— Но я все-таки убежал. И когда я проснусь завтра утром, то побегу дальше. Такая у меня жизнь сейчас, Вилли. Я бегу и буду бежать, пока не свалюсь.

— Не теряй веру в людей, Зельцик. У тебя будет немало разочарований, но ты должен крепиться и снова и снова пытаться в них верить.

— Людям верить нельзя. Теперь я знаю это.

— Но мне-то ты веришь?

— Ты единственный в своем роде Вилли. Ты — не такой, как другие люди, а теперь ты умер, и нигде на земле я не чувствую себя в безопасности. Например, вчера меня чуть не пристрелили. Я решил срезать дорогу через поле, и какой-то мужик погнался за мной на красном пикапе. Он ржал как безумный, а затем достал ружье и выстрелил. К счастью, промазал. Но кто знает, что будет в следующий раз?

— Он всего лишь один из людей. На каждого такого, как он, приходится один такой, как Генри.

— У тебя неверные сведения, хозяин. Дураки со слабостью к собакам, конечно, встречаются, но большинство людей передергивают затвор не задумываясь, как только четвероногая тварь заходит на их землю. Мне страшно, Вилли. Я боюсь идти на запад, я боюсь идти на восток. Дела обстоят так, что я, пожалуй, лучше умру от голода, чем полезу под пули. Они могут убить тебя просто за то, что ты дышишь одним с ними воздухом, а против такой ненависти не попрешь.

— Ну что ж, если хочешь сложить лапки, поступай как знаешь. Чья бы корова мычала — я ведь лгу, когда уверяю тебя, что все будет в порядке. Я не знаю: может, будет, а может — нет. Я не предсказатель будущего; я знаю только, что, к сожалению, далеко не все истории имеют счастливый конец.

— Именно это я и пытался тебе сказать.

— Да понятно. Не мне с тобой спорить.

До этого момента поезд мчался по туннелю с постоянной скоростью, проносясь мимо пустых станционных платформ без остановки. Но тут внезапно Мистер Зельц услышал скрежет тормозов, и поезд начал замедлять ход.

— Что случилось? — спросил он. — Почему мы тормозим?

— Мне надо выходить, — сказал Вилли.

— Так скоро?

Вилли кивнул.

— Я схожу, — сказал он, — но перед этим я хочу напомнить тебе о том, что ты, возможно, забыл.

К этому времени Вилли уже стоял у дверей, ожидая, когда они откроются.

— Ты помнишь маму-сан, Мистер Зельц?

— Конечно помню. За кого ты меня принимаешь?

— Ее ведь тоже пытались убить. На нее охотились как на собаку, и ей приходилось спасаться бегством. С людьми тоже часто обращаются как с собаками, дружище, и иногда им приходится спать в сараях и на полях, потому что больше негде. Перед тем как начать жалеть себя, вспомни, что ты — не первая собака в этом мире, оставшаяся без хозяина.

Через шестнадцать часов Мистер Зельц уже находился в десяти милях к югу от того места, где ему приснился сон. Он вышел из небольшой рощи и увидел прямо перед собой группу новеньких, с иголочки, двухэтажных коттеджей. Он больше не испытывал страха. Он был очень голоден и устал больше, чем обычно, но страх, живший в нем на протяжении последних нескольких дней, в основном прошел. Он не знал, почему так произошло, но факт был фактом: он никогда еще не чувствовал себя так хорошо после смерти Вилли. Он знал, что Вилли на самом деле не был вместе с ним в подземке, и он знал, что по-прежнему не умеет говорить, но в свете этого сна о вещах прекрасных и невозможных ему показалось, что Вилли и сейчас рядом и, хотя его не видно, он следит за каждым его шагом. Даже если он смотрел изнутри Мистера Зельца, то и это, в сущности, не имело никакого значения, потому что благодаря этому он не был одинок. Мистер Зельц не очень разбирался в тонких различиях между мечтами, видениями и другими умственными явлениями, но он твердо знал, что Вилли — в Тимбукту, и раз во сне оказался рядом с Вилли, то и он, наверное, посетил Тимбукту. Этим объяснялось, в частности, почему он внезапно научился говорить после стольких лет неудачных попыток. А если он однажды побывал в Тимбук-

ту, почему бы ему не попасть туда снова — просто закрыв глаза и настроившись на нужный сон? Кто знает. Эта мысль утешала, так же как утешала мысль о том, что он снова повидал старого друга, пускай и не взаправду и пускай даже это больше никогда не повторится.

Было три часа дня, и воздух звенел от стрекота газонокосилок, поливальных устройств и птиц. Вдалеке на севере, словно улей, гудел проезжающий по невидимому шоссе транспорт. Где-то включили радио, запела женщина. Совсем по соседству кто-то громко рассмеялся. Это был явно детский смех, и тут лес, по которому Мистер Зельц блуждал последние полчаса, внезапно кончился. Мистер Зельц высунул морду из кустов и увидел, что он не ошибся, — головастый мальчуган лет так двух-трех сидел на земле в десяти шагах от него, выдирал из земли пучки травы и подбрасывал их в воздух. Каждый раз, как травинки падали ему на голову, он разражался новым взрывом смеха, хлопал в ладоши и подпрыгивал так, словно придумал самую замечательную игру на свете. В десяти метрах от мальчика девочка в очках гуляла с куклой на руках, тихо напевая колыбельную воображаемому младенцу, которого она укладывала спать. Было трудно сказать, сколько ей лет. Где-то между семью и девятью, подумал Мистер Зельц, но она могла оказаться также шести- и десятилетней, и даже пяти- или одиннадцатилетней. Слева от девочки женщина в белых шортах и белом лифчике склонилась над клумбой с красными и желтыми цветами и осторожно пропалывала их тяпкой. Она стояла спиной к Мистеру Зельцу, и, поскольку на голове у нее была соломенная шляпа с необычно широкими полями, лица совсем не было видно. Пришлось ограничиться созерцанием линии ее спины, веснушек на тонких руках, молочно-белого колена, но даже из этих немногих деталей Мистер Зельц заключил, что женщина эта не старая — ей не больше чем двадцать семь или двадцать восемь, а значит, она, возможно, мать этих двоих детей. Мистер Зельц решил не продвигаться далее, а остаться на том месте, где он стоял, наблюдая сцену из своего убежища в лесу. Он не имел ни малейшего представления, каких убеждений придерживается эта семья — пособачьих или антисобачьих, — и поэтому не знал, прогонят они его со своей земли или нет. Одно было несомненно: за лужайкой очень тщательно ухаживали. Он стоял, разглядывая расстилавшийся перед ним тщательно расчесанный зеленый бархат, и понимал, что не требуется большого воображения, чтобы представить, как приятно будет кататься по этой траве и вдыхать ее запах.

Прежде чем он решил, что делать дальше, решение приняли за него. Мальчик швырнул еще пару пригоршней травы в воздух, но, вместо того чтобы упасть, как и раньше, ему на голову, травинки полетели в сторону леса. Мальчик повернул голову, чтобы проследить за полетом зеленых травинок, и тут выражение холодного научного интереса на его лице сменилось восторгом. Мальчик заметил пса. Он встал на ноги и направился к нему, повизгивая от счастья. Пока он неуклюже ковылял в разбухшем памперсе, Мистер Зельц оценил перспективы и внезапно понял, что этого момента он и ждал. Он не только не попятился в лес и не убежал, но, стараясь казаться спокойным и уверенным в себе, неторопливо пошел навстречу мальчику и позволил тому обнять себя за шею.

— Собачка! — закричал маленький человек, обнимая Мистера Зельца изо всех своих силенок. — Хорошая собачка. Большая славная хорошая собачка.

Тут девочка заметила, что происходит, и побежала через лужайку с куклой на руках, крича на ходу:

— Смотри, мама! Смотри, что нашел Тигра!

Несмотря на то что мальчик по-прежнему обнимал его, Мистер Зельц почувствовал легкое беспокойство. Что это за тигр, о котором она говорит, и откуда взялись тигры в такой близости от людского жилья? Вилли однажды взял Мистера Зельца в зоопарк, и там он узнал все об этих больших диких полосатых кошках. Они даже больше, чем львы, и если ты ненароком напорешься на одну из этих клыкастых крошек, то можешь проститься с надеждой увидеть завтрашний день. Тигр разорвет тебя на клочки за двенадцать секунд, а то, что не съест он сам, доедят за него стервятники и черви.

И все же Мистер Зельц не обратился в бегство. Он терпел не по летам мощную хватку молокососа, решив, что просто ослышался и девочка сказала что-то совсем не то. Съехавший набок памперс был тяжелым от мочи; кроме резкого аммиачного запаха, Мистеру Зельцу удалось уловить ароматы молока, моркови, бананов. Тут девочка склонилась над ним, посмотрела своими голубыми, увеличенными линзами очков, глазами прямо в глаза Мистеру Зельцу, и загадка внезапно разрешилась.

— Тигра! — сказала она мальчику, — отпусти его. Ты задушишь его до смерти.

— Это мой дружок, — сказал Тигра, еще сильнее сжимая Мистера Зельца в объятиях и, хотя тот, к огромному своему удовольствию, уже понял, что речь идет вовсе не о диком звере, тем не менее забился в панике, потому что начал задыхаться.

Мальчик, конечно, не был тигром в полном смысле слова, однако от этого не становился менее опасным. В каком-то смысле он был животным в большей степени, чем Мистер Зельц.

К счастью, женщина подошла как раз вовремя и оттащила мальчугана от Мистера Зельца прежде, чем тот успел причинить собаке существенный вред.

— Осторожно, Тигра! — сказала она. — Мы еще не знаем, воспитанный это песик или нет.

— Воспитанный, воспитанный, — сказала девочка, нежно поглаживая Мистера Зельца по голове. — Ты только посмотри ему в глаза, мама. Он очень воспитанный. По-моему, это самый воспитанный песик, который мне попадался.

Это заявление девочки обрадовало Мистера Зельца; он решил тут же продемонстрировать степень своего дружелюбия и незлобивости тем, что восторженно и шумно принялся облизывать лицо Тигры. Малыш зашелся смехом, и, хотя напор собачьего языка заставил его потерять равновесие, Тигре все равно казалось, что ничего смешнее с ним в жизни не приключалось, даже когда он приземлился со всего размаху на мокрую задницу

— Ну что ж, по крайней мере, настроен он мирно, — сказала женщина своей дочери, словно уступая ей. — Но какой у него ужасный вид! В жизни не встречала более грязной, потрепанной и неприглядной твари!

— Вымыть его с мылом — и делу конец, — сказала девочка. — Ты только посмотри на него, мама: он не просто воспитанный, он еще и умный.

Женщина засмеялась:

— Откуда тебе это известно, Алиса? Он ничего такого не сделал — разве что облизал твоему брату лицо.

Алиса уселась на корточки перед Мистером Зельцем и взяла в руки его морду.

— Покажи нам, на что ты способен, старина! — сказала она. — Может, ты какие-нибудь трюки знаешь. Ну, там, кататься на спине или вставать на задние лапы. Докажи маме, что я не ошиблась.

Собаке с талантами Мистера Зельца выполнить такую просьбу было все равно что раз плюнуть, и он живо принялся демонстрировать все, на что был способен. Для начала перекатился через спину — да не один, а три раза, а затем прогнулся дугой и, подняв в воздух передние лапы, встал на задние. Уже немало лет прошло с тех пор, как он в последний раз это делал, и, хотя суставы у него болели и качало его из стороны в сторону гораздо больше, чем следовало, он все же продержался в этой позиции три или четыре секунды.

— Видишь, мама? Что я тебе говорила? — сказала Алиса. — Умнее собаки в жизни не видела.

Женщина в первый раз за все это время посмотрела Мистеру Зельцу в глаза. Хотя на ней были солнцезащитные очки и соломенная шляпа, Мистер Зельц все же заметил, что она очень хороша собой — полные чувственные губы, белокурые локоны, выбившиеся из-под полей. Когда она обратилась к нему, от ее медлительного южного выговора у Мистера Зельца внутри потеплело, а когда она погладила его по голове, сердце его чуть не выскочило из груди.

— Ты понимаешь, что мы о тебе говорим, верно? — сказала она. — Ты ведь не такой, как все, правда? Ты устал, ты измучен, и у тебя подвело брюхо. Именно так обстоят дела, старик, разве нет? Ты потерялся, ты одинок, и у тебя не осталось сил ни в одной клеточке тела.

Существовала ли на земле дворняжка счастливее, чем Мистер Зельц в тот день? Ему не понадобилось долго уговаривать новых знакомых, очаровывать их и демонстрировать им широту своей души: не прошло и пяти минут, как усталого пса уже провели через двор и ввели в дом. Там, в сияющей белизной кухне, окруженный свежевыкрашенными шкафчиками и сверкающей металлической посудой, — короче говоря, среди такого изобилия, что он и не подозревал, будто нечто подобное может существовать на земле, — Мистер Зельц наполнил свое брюхо недоеденными ломтиками ростбифа, кастрюлей макарон с сыром, двумя банками консервированного тунца и тремя сырыми сосисками, не говоря уже о двух-трех мисках воды, которыми он запил трапезу. Он пытался сдерживать себя, чтобы все увидели, что он непрожорлив и неприхотлив, но как только перед ним поставили еду, голод взял верх, и Мистер Зельц позабыл о своих благих намерениях.

Хозяевам дома, впрочем, было все равно. Люди они были добросердечные и понимали, что такое голодный пес. А раз уж Мистер Зельц относился к этой категории, они рады были кормить его столько, сколько потребуется. Он ел, впав от удовольствия в транс, и не обращал внимания ни на что, кроме пищи, которая попадала к нему в рот и скользила по пищеводу. Когда еда закончилась, Мистер Зельц поднял взгляд и увидел, что женщина сняла очки и шляпу. И когда она наклонилась, чтобы собрать миски, он поймал взгляд ее серо-голубых глаз и понял, что она настоящая красавица. Когда такие женщины входят в комнату, у мужчин перехватывает дыхание.

— Ну что, старина, — сказала она, снова проводя ладонью по его голове, — полегчало?

Мистер Зельц благодарно рыгнул и облизал ее пальцы. Тут Тигра, о котором он к тому времени совсем уже забыл, со всех ног кинулся к нему. Звук отрыжки привлек его внимание; наклонившись к Мистеру Зельцу, он повторил этот звук, отчего пришел в полный восторг. Но прежде чем вся эта ситуация вылилась в очередные объятия двух пьяниц в баре, мать схватила Тигру и взяла его на руки. Она посмотрела на Алису, которая, прислонившись к разделочному столику, изучала Мистера Зельца серьезным, внимательным взглядом.

— Ну и что мы будем делать, дочка? — спросила женщина.

— Оставим его у нас, — ответила Алиса.

— Мы не можем. А если у него есть хозяин? Тогда получится, что мы его украли.

— А мне кажется, он один-одинешенек на свете. Ты посмотри на него! Он, пожалуй, отмахал не меньше тысячи миль. Если мы его не оставим, он умрет. Ты хочешь взять такой грех на душу, мама?

Девочка определенно была неглупа. Она знала, что сказать и когда сказать. Слушая, как Алиса беседует с мамой, Мистер Зельц размышлял о том, что его прежний хозяин, пожалуй, недооценивал детей. По крайней мере, некоторых. Возможно, Алиса и не была главной в доме, и не она принимала решения, но говорила она с такой прямотой, что не прислушаться к ней было просто невозможно.

— Осмотри его ошейник, дорогая! — сказала женщина. — Может быть, там есть адрес, или имя, или что-нибудь в этом роде.

Мистер Зельц прекрасно знал, что ничего там нет, поскольку Вилли никогда не придавал значения таким формальностям, как регистрация, лицензия или металлический жетон с выгравированным именем. Алиса встала на колени и принялась осматривать ошейник в поисках следов происхождения Мистера Зельца, но, поскольку последний уже заранее знал о том, что поиски эти не увенчаются успехом, он просто спокойно стоял и наслаждался теплотой девочкиного дыхания, согревавшего его правое ухо

— Нет, мама, — сказала наконец Алиса. — Это просто старый вонючий ошейник.

В первый раз за короткое время знакомства с хозяйкой дома Мистер Зельц увидел ее в нерешительности — смятение и легкая печаль промелькнули в ее глазах.

— Я не против, Алиса, — сказала она, — но я не могу дать добро, пока не переговорю с твоим отцом. Ты знаешь, как он не любит сюрпризы. Мы дождемся его возвращения, а затем вместе все обсудим. Идет?

— Идет, — сказала Алиса, слегка приунывшая от этой перспективы. — Но нас будет трое против одного, даже если он скажет "нет". Это по-честному, правда? Мы должны оставить его, мама. Я встану на колени и буду молить Иисуса весь день, чтобы он надоумил папу сказать "да".

— Не стоит, — сказала женщина. — Если ты действительно хочешь помочь, открой дверь и выпусти пса, чтобы он мог сделать свои дела. А затем попробуем почистить его немножко. Иначе плохо наше дело: он должен с первого взгляда произвести на отца хорошее впечатление.

Дверь отворилась как раз вовремя. После трехдневной голодовки, когда Мистер Зельц перебивался случайными объедками и отбросами, достигшими опасной степени разложения, сытная пища, которую он только что поглотил, ударила по желудку так, что пищеварительным сокам пришлось выделяться с двойной или даже тройной силой, чтобы

справиться со своей задачей. Еще мгновение — и он нагадил бы прямо на кухонный пол, обрекая себя тем самым на позорное изгнание. Итак, он протрусил за кустик, стараясь по возможности не привлекать ничьего внимания, но Алиса последовала за ним и, к бесконечному стыду и смущению Мистера Зельца, стала свидетельницей омерзительного извержения струи жидкого кала из его задницы. Капли жижи обрызгали зеленую траву лужайки. Когда это произошло, девочка издала короткий крик отвращения, и от одной мысли, что он расстроил ее, Мистер Зельц готов был умереть на месте. Но Алиса была девочка необычная, и, хотя Мистер Зельц успел уже это заметить, он все равно был потрясен, когда услышал то, что она сказала.

— Бедная псина, — прошептала она ласковым голосом, исполненным жалости. — Ты сильно болеешь, верно?

Больше она ничего не сказала, но как только Мистер Зельц услышал эти ее слова, он осознал, что Вилли Г. Сочельник был не единственным двуногим, которому можно довериться. Выяснилось, что есть и другие, причем не только среди взрослых.

Остаток дня пролетел в вихре удовольствий. Мистера Зельца окатили водой из садового шланга, втерли в его шерсть душистую белую пену и в шесть рук принялись оттирать от грязи его спину, грудь и голову. Он вспомнил, как начинался этот день, и удивился тому, что он так кончается. Затем пену смыли, Мистер Зельц отряхнулся и побегал несколько минут по двору кругами, помочившись на все кусты и деревья по периметру владения, после чего женщина уселась рядом с ним и выбрала у него из шерсти всех клещей. Она объяснила Алисе, что отец научил ее этому, когда она была еще маленькой девочкой и жила в Северной Каролине: этих тварей надо выковыривать кончиками ногтей — другого метода нет. Клеща нельзя ни выбросить просто так, ни растоптать — его нужно обязательно сжечь и, хотя она против того, чтобы дети играли со спичками, не будет ли все же Алиса столь любезна, чтобы сходить на кухню и принести коробку "Огайо блю типс", которая лежит в верхнем ящике справа от плиты? Алиса выполнила эту просьбу, а затем некоторое время мать и дочь перебирали мех Мистера Зельца, извлекая оттуда одного за другим раздувшихся от крови клещей, а затем испепеляя их тельца в ярком фосфорном пламени спичек. Как не быть благодарным за все это? Как не возрадоваться оттого, что все эти источники зуда и раздражения удалены с твоего тела? Мистер Зельц чувствовал такое блаженство, что даже пропустил мимо ушей следующую реплику Алисы, не выказав абсолютно никакого протеста. Он знал, что нанесенное ему оскорбление не было преднамеренным и что его вовсе не хотели обидеть.

— Я не хочу зря тебя обнадеживать, — сказала Алисе мама, — но мне кажется, лучше дать собаке кличку до того, как отец вернется домой. Тогда она будет вроде как член нашей семьи, а это придает делу совсем другой психологический оборот. Ты понимаешь, что я имею в виду, солнышко?

— А я уже придумала ему кличку, — сказала Алиса. — Я придумала ее в тот самый момент, как его увидела. — Девочка помолчала минуту, собираясь с мыслями. — Помнишь книгу, которую ты читала мне, когда я была маленькая? Красную книгу с картинками и рассказами про животных? Там была еще собака, точь-в-точь как эта. Она спасла ребенка из горящего дома и умела считать до десяти. Помнишь, мама? Мне очень нрави-

лась эта собака. Когда я увидела, как Тигра тискает точно такую же возле кустов, я поняла, что моя мечта сбылась.

– И как же звали того пса?

– Пусик. Его звали Пусик!

– Ну и отлично. Пусть этого тоже зовут Пусик.

Когда Мистер Зельц услышал, что и женщина согласна с этим нелепым выбором, у него кольнуло в сердце. Не так-то легко было привыкнуть к тому, что тебя зовут Кэл, но вот это уже чересчур. Он выстрадал слишком много, чтобы теперь нести на себе бремя этой щенячьей, сюсюкающей клички, этого жеманного прозвища, извлеченного из книжки для малышей. Он знал: даже если ему суждено прожить на земле столько же, сколько он уже прожил, пес с его меланхолическим темпераментом никогда не привыкнет к этой кличке и будет ежиться, заслышав ее, до скончания своих дней.

Но еще до того как Мистер Зельц успел окончательно впасть в отчаяние, на другом конце двора приключилась беда. В течение последних десяти минут, пока Алиса и ее мама вычищали паразитов из шкуры Мистера Зельца, тот внимательно следил за тем, как Тигра гоняет большой пляжный мяч по лужайке. После каждого удара малыш кидался за мячом во всю прыть, напоминая горе-футболиста, преследующего мяч в два раза больше его самого. Мальчик, казалось, не ведал усталости, но это не означало, что он не мог оступиться и подвернуть палец на ноге. Когда неизбежное наконец произошло, Тигра испустил крик боли, достаточно сильный для того, чтобы сорвать солнце с небес и обрушить небо на землю. Женщина прервала свое сосредоточенное занятие и оказала малышу первую помощь: сунув под мышку, она понесла его в дом. Алиса сказала, обращаясь к Мистеру Зельцу:

– Ох уж этот Тигра. Если он не смеется, то плачет, а если сидит тихо, то будь уверен – сейчас что-нибудь стрясется. Ты к этому привыкнешь, Пусик. Ему всего только два годика с половиной, а все маленькие мальчики просто ужасны. Его настоящее имя Терри, но мы зовем его Тигра, потому что он такой неугомонный. А меня зовут Алиса. Алиса Элизабет Джонс. Мне почти девять лет, и я только что пошла в четвертый класс. Я родилась с дырочками в сердце и чуть не умерла пару раз, когда была маленькой – меньше даже, чем Тигра сейчас. Я этого не помню, но мама сказала, что я выжила, потому что в меня вселился ангел, и она говорит, что этот ангел будет хранить меня всегда. Маму зовут Полли Джонс. Когда-то ее звали Полли Данфорт, но потом она вышла замуж за папочку и сменила свою фамилию на Джонс. Моего отца по-настоящему звать Ричард Джонс, но все зовут его Диком и говорят, что я на него похожа больше, чем на маму. Он – пилот на пассажирском самолете. Он летает в Калифорнию, и в Техас, и в Нью-Йорк, повсюду. Однажды, еще до того как родился Тигра, я и мама летали с ним в Чикаго. Теперь мы живем в большом доме. Мы переехали несколько месяцев назад, так что тебе повезло, Пусик, что ты появился именно сейчас. У нас много места, мы поселились здесь надолго, и если папочка разрешит тебе остаться, все будет просто прекрасно.

Алиса пыталась успокоить Мистера Зельца этим рассказом о своей семье, но эффект оказался прямо противоположным – Мистер Зельц запаниковал и его чуть не вывернуло от страха наизнанку. Его будущее находилось в руках человека, которого он никогда не видел, но все, что ему удалось узнать об этом мужчине, заставило сомневаться в том, что

он примет решение в его пользу. Мистер Зельц так разволновался, что ему пришлось снова отправиться в кусты, и во второй раз за день кишечник подвел его. Неудержимая дрожь колотила его, пока он извергал из себя жидкие экскременты, и он молил собачьего бога, чтобы тот сжалился над его бедным, измученным телом. Ибо Мистер Зельц вступил в землю обетованную, явился в мир зеленых лужаек, добрых женщин и обильной еды, но, если ему суждено быть изгнанным из этого рая, он молил небо только о том, чтобы оно положило конец его страданиям.

К тому времени когда "вольво" Дика появилось на дорожке, ведущей к дому, Полли уже накормила детей ужином — гамбургеры, вареная картошка с зеленым горошком (кое-что перепало и Мистеру Зельцу), — и все четверо вышли во двор, чтобы полить сад. Поздний день сменился ранним вечером, и на небо легла первая тень близящихся сумерек. Мистер Зельц услышал, как Полли сказала Алисе, что рейс из Нового Орлеана прибывает в аэропорт Даллес в четыре сорок пять, и если самолет не опоздает и на шоссе не будет пробок, то отец окажется дома к семи часам. Примерно в это время он и приехал. Дика Джонса не было дома три дня, и, когда дети услышали шум его приближающегося автомобиля, оба с визгом побежали за угол дома встречать отца. Полли не тронулась с места. Она спокойно продолжала поливать цветы и овощи, а Мистер Зельц не отставал от нее ни на шаг. Он знал, что надеяться, в общем, не на что, но если хоть кто-то мог спасти его от неминуемого, то разве только Полли.

Через несколько минут глава семьи вошел во двор с Тигрой в одной руке и Алисой, державшейся за другую, и, поскольку одет он был в летную форму (темно-синие брюки и светло-голубая рубашка с эполетами и нашивками), Мистер Зельц принял его за полицейского. Тут сработал инстинкт, поскольку за последние годы страх перед полицейскими вошел у него в привычку. Он попятился при приближении Дика, хотя видел собственными глазами, что мужчина в форме смеется от радости и обнимает детей. Прежде чем Мистер Зельц успел разобраться в путанице сомнений и противоречивых впечатлений, волна событий захватила его, а затем все стало происходить практически одновременно. Алиса начала рассказывать отцу про собаку с того самого мига, как он вышел из автомобиля, и не умолкала, когда он вошел во двор и поздоровался с женой (беглый поцелуй в щеку). Чем больше она изводила его рассказами о том, какое чудесное создание посетило их дом, тем в большее возбуждение приходил ее младший братишка. Выкрикивая во всю глотку "Пусик!", Тигра вывернулся из отцовских объятий, подбежал к Мистеру Зельцу и прижал его к своей груди. Стараясь не отставать от младшего брата, Алиса принялась демонстрировать с мастерством прирожденной актрисы, как она любит собачку. Она покрывала пса мелодраматическими поцелуями и то и дело заключала его в объятия. Уши Мистера Зельца, заткнутые ладонями, лицами и телами детей, не слышали почти ничего из того, что говорили взрослые. Ему удалось ясно расслышать только первую реплику Дика: "Так вот это и есть ваша знаменитая собака? На мой вкус, выглядит она не очень".

Что говорилось после этого, Мистер Зельц мог только догадываться. Он увидел, как Полли перегнула шланг, отчего вода из него перестала течь, а затем что-то сказала Дику. Слов почти не было слышно — Мистеру Зельцу удалось только уловить, что она просит за него: "забежал на двор сегодня днем", "сообразительный", "дети думают, что..." , а затем,

после того как Дик что-то сказал, Полли Джонс ответила: "Не имею ни малейшего представления. Может быть, сбежал из цирка?" Это звучало обнадеживающе, но как только ему удалось освободить свое левое ухо от хватки Тигры, Полли швырнула шланг на землю и пошла вместе с Диком прочь в направлении дома. Они остановились в нескольких футах от задней двери и продолжили беседу там. Мистер Зельц не сомневался, что именно в этот самый момент принималось судьбоносное решение, но он не умел читать по губам, а слов не было слышно.

Он видел, однако, что Дик не сводит с него глаз и время от времени машет в его сторону рукой, продолжая обсуждать что-то с Полли. Мистер Зельц, которому к тому времени уже слегка надоели шумные проявления любви со стороны Тигры и Алисы, подумал, не стоит ли взять инициативу в свои руки и сделать что-нибудь, дабы склонить чашу весов на свою сторону. Вместо того чтобы стоять и глядеть, как решают твое будущее, не лучше ли попытаться произвести на Дика впечатление какой-нибудь доблестной выходкой, каким-нибудь лихим собачьим фокусом? Конечно, Мистер Зельц порядком устал, брюхо у него по-прежнему побаливало, а ноги подгибались, но все это не могло помешать ему со всех ног кинуться на другую сторону двора. Визжа от восторга, Тигра и Алиса вприпрыжку помчались за Мистером Зельцем, но как только им удалось нагнать его, он сделал новый рывок, резко сменив направление бега на противоположное. И снова дети погнались за псом, и снова он дал им догнать себя, а потом увернулся. Так он не носился целую вечность, и, хотя Мистер Зельц знал, что ему впоследствии придется расплачиваться за это безрассудство, он рад был принести себя в жертву ради такого благородного дела. После трех или четырех пробежек по лужайке Мистер Зельц остановился посреди двора и начал играть с ними в собачьи салки, или ляпки, и, хотя он уже еле дышал от усталости, все же держался, пока дети не сдались первыми и не упали перед ним на землю.

Между тем солнце начало клониться к горизонту. Через небо протянулись полосы розоватых облаков, и в воздухе похолодало. Теперь, когда беготня завершилась, стало понятно, что Дик и Полли вот-вот произнесут свой вердикт. Лежа на траве и тяжело дыша, Мистер Зельц и дети увидели, что взрослые возвращаются от дома обратно во двор, и, хотя ему еще так и не было ясно, возымела ли действие его эскапада, удовлетворенная улыбка, игравшая на губах Полли, обнадежила его.

— Папочка говорит, что Пусик может остаться, — сказала она, и Алиса вскочила и бросилась обнимать отца, а Полли наклонилась и взяла полусонного Тигру на руки, и в жизни Мистера Зельца началась новая глава.

Но прежде чем брызнуло шампанское, Дик, однако, внес в ситуацию несколько уточнений — окончательных поправок, так сказать. Не то чтобы он хотел испортить всем настроение, объяснил Дик, но следует понимать, что Мистера Зельца берут с "испытательным сроком" и если определенные условия не будут выполняться — и тут он строго посмотрел на Алису, — то сделка расторгается. Пункт первый: ни при каких обстоятельствах собака не должна входить в дом. Пункт второй: Мистеру Зельцу следует пройти полное обследование у ветеринара. Если у него выявятся проблемы со здоровьем, то придется с ним расстаться. И наконец, пункт третий: при первой возможности пес должен посетить собачьего парикмахера, чтобы сделать стрижку, чистку шерсти и маникюр, а

также вывести блох, вшей и клещей. В-четвертых: Мистера Зельца следует охолостить. И, наконец, на Алису возлагается обязанность кормить Мистера Зельца и менять ему воду — без дополнительной оплаты данных услуг.

Мистер Зельц не имел ни малейшего представления о том, что такое "охолостить", но все остальное он понял, и звучало это вполне приемлемо, исключая, пожалуй, первый пункт — касательно запрета входить в дом, поскольку Мистер Зельц не понимал, как собака может стать членом семьи, если она не имеет права входить в дом. Алиса, должно быть, подумала то же самое, потому что, как только отец закончил свою речь, она спросила:

— А что он будет делать зимой? — спросила она. — Неужели мы его оставим на морозе, папа?

— Разумеется, нет, — сказал Дик. — Мы поселим его в гараже, а если и там будет слишком холодно, оборудуем ему место в подвале. Я просто не хочу собирать его шерсть с мебели, вот и все. Но мы все ему устроим по первому разряду, не волнуйся. Купим самую лучшую конуру, и я протяну проволоку между двумя деревьями, чтобы он бегал между них на цепи. У него будет полно места, чтобы резвиться, и когда он попривыкнет, то будет чувствовать себя как рыба в воде. Не стоит так переживать за него, Алиса. Он же не человек — всего лишь собака, а собаки не задают вопросов. Они довольны тем, что имеют.

Сделав это последнее замечание, Дик протянул руку и грубо, по-мужски потрепал Мистера Зельца по голове, чтобы показать, что он, в конце концов, не такой уж и придирчивый.

— Разве не так, приятель? — сказал он. — Ты же не будешь жаловаться? Ты же знаешь, как тебе повезло, так что не в твоих интересах раскачивать лодку.

С ним вполне можно было иметь дело, с этим Диком. На следующий день ни ветеринар, ни парикмахер не работали, потому что было воскресенье, но Дик встал рано, взял фургон Полли и поехал на склад пиломатериалов, после чего потратил целый день на сборку собачьей конуры (модель высшего класса, инструкции по сборке прилагаются) и натягивание проволоки для цепи. Он совершенно очевидно принадлежал к тому классу мужчин, которым сподручнее возиться с молотками, гвоздями и лестницами, чем общаться с женой и детьми. Дик относился к категории людей действия, он был бойцом на войне с праздностью. Мистер Зельц смотрел, как Дик трудится и как пот струится по его лицу, и не мог не испытывать к нему симпатию. Он чувствовал, что все эти вчерашние разговоры об "испытательном сроке" не более чем блеф. Дик выбросил на Мистера Зельца уже пару сотен долларов. Он жарился на солнцепеке добрую половину дня — вряд ли он делал бы это, не будь у него в отношении Мистера Зельца серьезных планов. Дик уже увяз в этом деле по уши, и обратной дороги не было.

На следующее утро все семейство разъехалось кто куда. В семь сорок пять школьный автобус остановился перед домом и забрал Алису. Через сорок минут после этого Дик надел летную форму и отправился в аэропорт, а затем Полли посадила Тигру в детское креслице в фургоне, пристегнула ремнями и повезла в утреннюю игровую группу. Мистер Зельц с трудом верил собственным глазам. "Неужели так здесь заведено? — думал Мистер Зельц. — Неужели они каждый день будут оставлять его одного утром, и живи как знаешь?" Это смахивало на грязную шутку. Мис-

тер Зельц любил общество, любил жить на виду у людей, он нуждался в том, чтобы с ним говорили и чтобы его гладили, он хотел жить в мире, в котором, кроме него, были бы и другие живые существа. Неужели он обошел полсвета и нашел это благословенное местечко только для того, чтобы пригревшие его люди отнеслись к нему с таким пренебрежением? Они лишили его свободы, они приковали его к этой жуткой проволоке, к металлическому орудию пыток, которое постоянно скрежещет и лязгает, причем звуки эти бегут за ним следом, куда бы он ни пошел, словно для того, чтобы напомнить ему, что он более не свободен, что он продал свое первородство за миску чечевичной похлебки и за уродливую конуру фабричного производства.

В тот самый миг, когда он уже совсем было собрался сделать в отместку какую-нибудь пакость — например, разрыть цветочную клумбу в саду или ободрать кору с молоденькой вишни, — на дороге внезапно появился фургон Полли. Мир снова наполнился яркими красками. Она не только подошла к нему и спустила с цепи и не только впустила его в дом и отвела в свою спальню, но, причесываясь, переодеваясь и накрашивая лицо, сообщила Мистеру Зельцу, что в доме будут два различных свода правил: ее и Дика. Когда Дик дома, Мистер Зельц должен жить на улице, но, когда Дик в отъезде, хозяйка — она, а это значит, что собакам позволено входить в дом.

— Он вовсе не злой, — сказала Полли, — но иногда он ужасно упрямый, и если вобьет себе что-нибудь в голову, то разубеждать его совершенно бесполезно — все равно что со стеной разговаривать. Таковы Джонсы, Пусик, и с этим я ничего поделать не могу. Прошу тебя только — никому ни слова о нашем разговоре. Пусть это будет нашей маленькой тайной. Даже дети не должны знать всего. Ты слышишь меня, старина? Все должно оставаться между нами.

Но это было еще не все. Вдобавок ко всем этим проявлениям дружбы и любви Мистера Зельца прокатили на автомобиле — в первый раз за два года. Не на полу между сиденьями, куда его обычно помещали ранее, а прямо на переднем пассажирском кресле, с ветерком, с открытым окном, в которое врывался ароматный воздух штата Виргиния. Это было компенсацией за все вынесенные страдания: великолепная Полли за рулем "плимута вояджер", мышцы приятно пружинят при каждом толчке, обоняние упивается каждым запахом, встретившимся по дороге. Когда до него наконец дошло, что такие прогулки будут теперь постоянными, он оторопел перед открывшимися перед ним перспективами. С Вилли ему жилось неплохо, но здесь, возможно, будет еще лучше. Ибо горькая истина заключается в том, что поэты обычно не водители, а пешеходы, к тому же такие пешеходы, которые сами не знают толком, куда идут.

Визит к парикмахеру был сущей пыткой, но он выдержал все эти мойки и стрижки не моргнув глазом. Ему не хотелось бы показаться неблагодарным после всей проявленной к нему доброты. Когда через полтора часа парикмахер завершил свои труды, глазам предстала совершенно иная собака. Мех более не висел клочьями, бакенбарды лоснились, брови были расчесаны. Мистер Зельц уже не выглядел как подозрительный бродяга — он стал денди, зажиточным собачьим буржуа, и если от такого превращения он начал слегка упиваться собой — кто возьмется судить его строго?

— Ого! — воскликнула Полли, когда Мистера Зельца вывели к ней. — Однако они над тобой поработали. Ты так, Пус, скоро призы на собачьих выставках получать начнешь!

Двадцать четыре часа спустя они отправились к ветеринару. Мистер Зельц, с одной стороны, радовался возможности снова прокатиться в автомобиле, но с другой — ему и раньше приходилось сталкиваться с людьми в белых халатах, и он знал довольно об их иголках, термометрах и резиновых перчатках, чтобы бояться предстоящего визита. В прошлом за осмотры всегда отвечала миссис Гуревич, но после того как она умерла, Мистера Зельца освободили от необходимости контактировать с представителями медицины. У Вилли не было то денег, то времени, а поскольку пес, не посетив врача ни разу за четыре года, оставался живехонек, поэт пришел к выводу, что от всех этих осмотров никакой пользы нет. Если ты болеешь смертельно, врач все равно не поможет, а если ты не болен, то к чему позволять им ковыряться и копаться в твоем организме только для того, чтобы услыхать, что ты здоров.

Если бы Полли не была рядом все время, не гладила Мистера Зельца и не говорила нежностей, поход к ветеринару показался бы Мистеру Зельцу сплошным кошмаром. Но даже рядом с ней он дрожал от страха все время и трижды спрыгивал со стола и бежал к двери. Доктора звали Бернсайд, Уолтер А. Бернсайд, и он отчаянно изображал симпатию к Мистеру Зельцу, но Мистер Зельц видел, как лекарь смотрит на Полли, чуял запах возбуждения, исходивший от кожи молодого врача, и понимал, что дело здесь вовсе не в нем. Доктору Бернсайду нравилась Полли, а собака была всего лишь поводом для того, чтобы продемонстрировать свою доброту и профессиональное мастерство. Он мог сколько угодно называть Мистера Зельца умным песиком, гладить его по голове и смеяться над его попытками сбежать — все это делалось исключительно для того, чтобы подобраться поближе к Полли, даже потереться об ее тело при возможности, а Полли, все внимание которой принадлежало Мистеру Зельцу, даже и не замечала хитрых маневров негодяя.

— Неплохо, неплохо, — изрек наконец доктор. — Особенно если учесть, через что ему пришлось пройти.

— Он стойкий старый боец, — сказала Полли и поцеловала Мистера Зельца в лоб. — Но желудок он все же испортил. Страшно подумать, какую только гадость ему не приходилось жрать.

— Все войдет в норму при правильном питании, и не забывайте давать ему глистогонное. Через неделю-другую наступит резкое улучшение.

Полли поблагодарила доктора. Когда руки их сошлись в прощальном рукопожатии, Мистер Зельц не смог не обратить внимание на то, что Сеньор Красавчик держал руку Полли в своей несколько дольше, чем того требовали приличия. Когда же на вежливое Поллино "До свидания!" Уолтер Бернсайд ответил "Заходите еще!", Мистер Зельц с трудом сдержался, чтобы не укусить доктора за ногу. Полли направилась к двери. Когда она уже взялась за ручку, доктор добавил:

— И поговорите в регистратуре с Джун. Она скажет, когда вам явиться на операцию.

— Это не я придумала, — сказала Полли. — Мой муж требует.

— Он абсолютно прав, — сказал Бернсайд. — Это упростит жизнь и вам, и Пусику в конечном итоге.

Дик вернулся домой в четверг вечером; иначе говоря, утро пятницы оказалось не в пример скучнее, чем предыдущее. Никаких тебе шикарных развлечений в доме, никаких бесед с Полли в ванной комнате, пока та моется, никакой яичницы на завтрак и молока со сладкими кукурузными хлопьями. Обычно разочарования такого размаха повергали его в горе, но в ту пятницу он ощутил не более чем легкую печаль. Мистер Зельц жил надеждой: он знал, что, как только Дик покинет дом в воскресенье вечером, двери снова будут широко распахнуты для него. Эта мысль утешала его, и, хотя в тот день моросило, а в воздухе похолодало и в первый раз пахнуло осенью, он чувствовал себя недурно в конуре с резиновой косточкой, которую Полли купила ему у парикмахера, и грыз ее, покуда семейство Джонсов завтракало в доме. Он услышал, как приехал и уехал автобус, как отправилась в путь Полли в фургоне. Прежде чем Полли успела вернуться, Дик наведался во двор, чтобы поприветствовать Мистера Зельца, но даже этот визит не поколебал спокойствия пса. Пилот в то утро был в неплохом настроении: он похвалил стрижку Мистера Зельца и спросил его, как идут дела. Великодушие собаки тут же взяло верх над подозрительностью, и Мистер Зельц с достоинством лизнул руку хозяина. Пес пришел к выводу, что не имеет ничего против Дика, а скорее жалеет того за неумение радоваться жизни. Мир был полон чудес, а этот человек проводил время в заботах о какой-то ерунде.

Мистер Зельц предвкушал прекрасное развлечение и готовился к нему, стараясь по возможности побыстрее скоротать время до возвращения детей. Он дремал, грыз косточку, бегал по двору, когда стихал дождь, — в общем, пребывал в праздности, но Дик все время повторял, что сегодня великий день, что, дескать, "наконец настал момент истины", и через какое-то время Мистер Зельц начал недоумевать, не пропустил ли он чего. Он совершенно не понимал, о чем говорит Дик, но после всех этих таинственных заявлений нимало не был удивлен, что, когда Полли отвезла Тигру и вернулась, его попросили прыгнуть в фургон и прокатиться. Разумеется, в обществе Дика поездка протекала совершенно иначе, но вправе ли он пенять на небольшие изменения в протоколе? Дик был за рулем, Полли сидела рядом, Мистер Зельц лежал сзади на старом темном полотенце, которое Дик положил для того, чтобы уберечь сиденье от собачьей шерсти. Заднее окно не опускалось, что существенно снижало удовольствие от поездки, но все равно движение само по себе радовало Мистера Зельца, и ему больше нравилось проводить время в машине, чем в конуре.

Он чувствовал, однако, что между Джонсами не все ладно. Видно было, что Полли чем-то подавлена — она глядела в окно, вместо того чтобы глядеть на Дика, и молчание ее в свою очередь действовало на Дика угнетающе.

— Послушай, Полли, — сказал он. — Мне жаль, но ему же так будет лучше.

— Не хочу даже говорить об этом, — отвечала Полли. — Ты решил, а значит — делу конец. Ты знаешь мое мнение, так о чем тут еще говорить?

— Не я же это придумал, — сказал Дик. — Так все поступают.

— Ах вот как! А если бы кто-нибудь так поступил с тобой?

Дик то ли хрюкнул, то ли засмеялся:

— Ну что ты несешь, дорогая! Он же собака. Он даже не поймет, что с ним случилось.

— Умоляю тебя, Дик, я не хочу об этом говорить!

— Но почему? Если тебя это так расстраивает...

— Нет, только не при нем. Это дурно.

Дик снова рассмеялся, но на этот раз в смехе его сквозило удивление.

— Ты что, шутишь? — сказал он. — Боже мой, Полли, речь ведь идет о собаке.

— Можешь думать что хочешь, но я больше ничего не скажу, пока мы в машине.

Так она и сделала. Но сказано было уже достаточно для того, чтобы Мистер Зельц начал беспокоиться, и, когда машина наконец затормозила перед тем самым зданием, которое они с Полли посещали утром во вторник, перед тем самым зданием, в котором располагался кабинет ветеринарного врача Уолтера А. Бернсайда, Мистер Зельц понял, что сейчас с ним случится что-то ужасное.

Так и вышло, но — удивительное дело — Дик оказался не столь уж далек от истины. Мистер Зельц не понял, что с ним произошло. Ему сделали укол, произвели операцию и отвели обратно в фургон. Очнувшись от наркоза, он не соображал ни где он, ни кто он, ни даже существует ли он. Только позже, когда действие анестезирующего средства полностью прошло, он почувствовал боль, но так и остался в недоумении, что же ему ее причинило. Он знал, где у него болит, но это совсем не то же, что знать, почему болит, и хотя у него возникло желание обследовать источник боли, он был еще слишком слаб, чтобы дотянуться до него. Очутившись в конуре, он сонно растянулся на левом боку, а Полли встала на колени возле отверстия, гладила Мистера Зельца и скармливала ему из рук кусочки говяжьей вырезки. Мясо было потрясающе вкусным, но, сказать по правде, у Мистера Зельца совсем не было аппетита, и ел он исключительно для того, чтобы порадовать Полли. Дождь к тому времени перестал, Дик гулял с Тигрой, а Алиса еще не вернулась из школы, но ему никто не был нужен, кроме Полли, которая все гладила и гладила его и говорила, что все пройдет. Он не понимал, что такое с ним приключилось и почему ему так плохо.

Оправившись, он осмотрел поврежденное место и увидел, чего там недостает, но, будучи собакой, а не биологом или профессором анатомии, не мог уразуметь, что же с ним произошло. Он, конечно, заметил опустевшие мешочки и исчезновение знакомых шариков, но что все это значило? Ему всегда, сколько он себя помнил, нравилось вылизывать это место, но, кроме двух чувствительных шариков, все остальное было при нем. Откуда ему было знать, что именно благодаря этим исчезнувшим органам он многократно становился отцом? Если не считать десятидневной интрижки с Гретой, лайкой из Айова-Сити, все его любовные приключения были недолгими — страстное совокупление, час-другой, проведенные в прыжках и играх, недолгое валяние вместе в стоге сена. Щенков, зачатых от него, ему не доводилось видеть никогда. А если бы даже и довелось, смог бы он связать воедино два факта? Дик Джонс сделал его евнухом, но это не мешало Мистеру Зельцу по-прежнему считать себя принцем любви, собачьим Ромео и флиртовать с суками до последнего своего вздоха. Он не заметил трагедии, случившейся в его жизни. Волновала его только физическая боль, а когда она прошла, он быстро позабыл об операции.

Пролетело еще несколько дней. Мистер Зельц включился в распорядок жизни Джонсов, привык к приездам и отъездам членов семьи, начал

понимать разницу между выходными и буднями, между звуками, производимыми школьным автобусом и почтовым фургоном, стал разбираться в запахах животных, живших в прилегавшем ко двору лесу: белок, енотов, бурундуков, кроликов, различных птиц. Теперь он уже знал, что за птицами гоняться не стоит, но если на двор забредало бескрылое создание, он считал своей святой обязанностью изгнать нахала за пределы участка, накинувшись на зверька с рычанием и лаем. Со временем многие звери сообразили, что Мистер Зельц привязан к этой чертовой проволоке, но они были уже настолько запуганы, что играть с ними было просто неинтересно. За исключением котов, разумеется, но с котами всегда проблемы. Черный соседский кот быстро вычислил, какова длина цепи, на которой бегает Мистер Зельц, что позволило ему определить зону, досягаемую для пса, и располагаться непременно в той точке, где он приводил пса в наибольшее бешенство, — а именно в нескольких дюймах от того места, до которого Мистер Зельц еще мог дотянуться. С этим Мистер Зельц ничего не мог поделать: он лаял так, что у самого в ушах звенело, а кот шипел и махал когтями у него перед мордой. Иногда Мистер Зельц удалялся в конуру и делал вид, что ему нет дела до кота, хотя к тому времени сукин сын уже наглел до такой степени, что вспрыгивал на крышу конуры и принимался драть когтями кедровые планки, которыми та была крыта. Выбор был небогатый: или познакомиться с кошачьими когтями, или признать свое поражение. С другой стороны, из той же самой конуры, особенно по ночам, ему случалось видеть чудесные вещи — например, серебристую лису, которая промчалась через лужайку в три часа ночи и исчезла, прежде чем Мистер Зельц успел даже дернуться, запечатлев в его мозгу воспоминание, которое было таким ярким и кристально четким в своем совершенстве, что ему долго не удавалось позабыть его, — видение невесомое и скорое, полное нетронутого дикого изящества. А потом, в одну из ночей в конце сентября, из леса вышел олень, изящно походил по траве в течение двадцати или тридцати секунд, но шум проезжавшего вдали автомобиля испугал его, и он снова скрылся в темноте, оставив на лужайке отметины в дерне, которые были видны еще целую неделю.

Мистер Зельц все больше и больше влюблялся в лужайку — в ее упругую, податливую зелень, в кузнечиков, скакавших среди стеблей травы, в запах, исходивший от земли в любом ее месте, — и вскоре он понял: если у него с Диком и было что-то общее, так это глубокая, нерассуждающая любовь к этой лужайке. Лужайка их связывала, но в то же время обнажала и глубокие философские расхождения между ними. Для Мистера Зельца красота лужайки была даром божьим, и он относился к ней почти как к святыне. Дик тоже замечал ее красоту, но он знал, что она создана человеческим трудом и поддержание этой красоты требует непрестанных человеческих усилий и прилежного ухода. До середины ноября не было недели, в которую Дик не посвящал хотя бы один день целиком стрижке своей законной четверти акра травы. Он владел собственной газонокосилкой: выкрашенная в белый и оранжевый цвета, она казалась чем-то средним между тележкой для гольфа и карликовым трактором. Каждый раз, когда Дик заводил двигатель, Мистер Зельц готов был умереть на месте. Он ненавидел треск, производимый этим устройством, ненавидел грохот выхлопов и бензиновую вонь, которыми газонокосилка заполняла атмосферу вокруг себя. Когда Дик выезжал верхом на ней во двор, Мистер Зельц забивался в конуру и прятал голову под

подстилку в тщетной надежде спасти свои уши. В эти минуты он готов был даже убежать со двора, если бы только мог. Но Дик был непреклонен: Мистер Зельц должен сидеть на цепи, а до страданий его летчику не было никакого дела. Шли недели, но атаки на уши Мистера Зельца не прекращались, так что он начал обижаться на Дика за то, что тот никак не хотел принимать его чувства во внимание.

Нечего и спрашивать — когда Дик отсутствовал, жить было намного легче. Факты — упрямая вещь, и Мистер Зельц смирился с существованием Дика, так же как в свое время он смирился с существованием миссис Гуревич. В начале она относилась к нему крайне враждебно, и первый год в Бруклине запомнился ему болезненными шлепками по носу, устными выговорами от старой зануды и различными проявлениями взаимной неприязни. Но затем все переменилось, не так ли? Он одержал верх в конце концов, и — кто знает? — не случится ли то же самое и с Диком? Между тем он решил не придавать этому особого значения. Он теперь мог любить сразу троих, что после целой жизни, прожитой с одним хозяином, было для него более чем достаточно. Даже Тигра начинал подавать некоторые надежды, и, если только вовремя уворачиваться от его цепких пальчиков, с ним вполне можно было играть — в маленьких дозах. С Алисой, однако, маленькой казалась любая доза. Он хотел, чтобы она проводила с ним больше времени, но она уходила в свою треклятую школу на целый день, а после нее по вторникам она еще брала уроки танца, а по четвергам — музыки, не говоря уже о том, что каждый вечер она делала домашние задания, так что в будни все общение с Алисой сводилось к коротким беседам по утрам, когда она поправляла его подстилку и наполняла миски водой и едой. Возвращаясь же домой, она заглядывала к Мистеру Зельцу спросить, как он себя чувствует, и рассказать, как прошел день. Это он и любил больше всего в Алисе: то, как она разговаривает с ним, спокойно и последовательно обсуждая каждый пункт и не упуская ничего, будто для нее само собой разумелось, что Мистер Зельц понимает каждое ее слово. Большую часть жизни Алиса провела в мире, населенном выдуманными созданиями, и она ввела Мистера Зельца в этот мир как равного, как одного из участников игры, как своего рыцаря-спутника. Субботы и воскресенья были полностью посвящены этим безумным импровизациям. Они посещали чаепития в замке баронессы де Данвитти — красивой, но опасной дамы с талантами Макиавелли, готовящей захват королевства Флориании. Они попали в землетрясение в Мехико, в ураган на Гибралтарской скале и в кораблекрушение, после которого их выбросило на берег острова Немо, где было нечего есть, кроме сухих шишек и желудевых скорлупок, но если тебе удавалось поймать таинственную ночную рептилию, которая живет под землей, и проглотить ее целиком, то ты приобретал способность летать. (Мистер Зельц проглотил червя, которого девочка дала ему, после чего она забралась к псу на спину, и тот взлетел и унес ее с заколдованного острова.)

С Тигрой хорошо бегалось и прыгалось, с Алисой же он погружался в мир мыслей и слов. У девочки в юном теле обитала старая и мудрая душа — именно Алисе Мистер Зельц был обязан тем, что его оставили в доме, но теперь, пожив здесь некоторое время, он пришел к заключению, что на самом деле больше всех в нем нуждалась Полли. Проведя с ней не одно утро вместе, следуя за ней по пятам, наблюдая за всем, что она делала, и слушая все, что она говорила, Мистер Зельц понял, что она была

в не меньшей степени, чем он, жертвой обстоятельств. Когда Полли встретила Дика, ей только-только исполнилось восемнадцать. Она окончила среднюю школу и устроилась на лето официанткой в рыбный ресторан в Александрии, штат Виргиния, для того чтобы заработать немного денег перед началом занятий в колледже в Северной Каролине. Дик зашел в ресторан, заметил ее и сразу же назначил свидание. Он был старше Полли на девять лет и показался ей таким красивым и надежным, что она позволила роману зайти несколько дальше, чем следовало бы. Встречи продолжались три или четыре недели, а затем она вернулась в Северную Каролину, в колледж. Она собиралась закончить его и стать учительницей, но через месяц обнаружила, что беременна. Когда она сообщила об этом родителям, те пришли в бешенство. Они сказали дочери, что она шлюха, что своим распутством она опозорила всю семью, и отказали ей в помощи. Разлад в семье так и не удалось преодолеть впоследствии, несмотря на девять лет извинений и попыток с обеих сторон. Полли вовсе не собиралась замуж за Дика, но, после того как собственный отец отвернулся от нее, что ей еще оставалось? Дик говорил, что любит ее. Он повторял ей, что она самая хорошенькая, самая замечательная девочка на свете, и, проведя пару месяцев в колебаниях и самых отчаянных проектах (сделать аборт, отдать ребенка в бездетную семью, попытаться воспитать его в одиночку), она сломалась и ушла из колледжа, чтобы стать женой Дика. Она собиралась вернуться к учебе, когда ребенок немного подрастет, но Алиса родилась больной, с пестрым набором медицинских проблем, и в течение следующих четырех лет жизнь Полли состояла из сплошных докторов, больниц и клиник экспериментальной хирургии, бесконечных процедур и консультаций — все для того, чтобы ее девочка выжила. Это был ее самый большой жизненный подвиг, сказала она Мистеру Зельцу как-то утром, — то, что она не сводила глаз с Алисы и выходила ее. Но, хотя она сама была тогда молодой и здоровой, ей до сих пор кажется, что этот подвиг вытянул из нее все силы. Как только Алиса выздоровела настолько, что смогла посещать школу, Полли начала подумывать о том, чтобы вернуться за парту самой, но тут она забеременела Тигрой, и ей снова пришлось отложить учебу. А теперь уже слишком поздно. Дик начал зарабатывать хорошие деньги, и если сложить его жалованье с доходами от некоторых сделанных им вложений, то получается, что живут они совсем неплохо. Дик не хочет, чтобы она работала, и, когда она просит его все же отпустить ее поработать, он всегда отвечает отказом. Она и так уже работает женой и матерью, говорит он, и для женщины это более чем достаточно, так зачем же менять что-то, если он в состоянии прокормить всех? А однажды, желая показать ей, как он ее ценит и любит, Дик купил этот большой, прекрасный дом.

Полли любила этот дом, но она не любила Дика. Это было предельно ясно Мистеру Зельцу, и хотя Полли еще сама не знала об этом, не пройдет много времени, как правда обрушится на нее всей своей тяжестью. Вот почему она так нуждалась в Мистере Зельце, который любил ее больше чем кто-либо другой на свете и рад был стать ее наперсником и исповедником. Никто другой не смог бы выступить в этой роли, и хотя Мистер Зельц был всего лишь собакой и потому не мог ни дать ей совета, ни ответить на вопросы, одного его присутствия было достаточно для того, чтобы придать Полли решимости сделать то, чего она иначе никогда бы не сделала. Установить свои собственные правила в доме бы-

ло сущей мелочью, но этим она бросала своеобразный вызов Дику, совершала микроскопическое предательство, которое со временем могло привести к другим предательствам, гораздо более серьезным. Мистер Зельц и Полли отлично знали, что сказал бы по этому поводу Дик Джонс, но от этого визиты собаки в дом становились еще более приятными, приобретая оттенок чего-то запретного и противозаконного, как будто Мистер Зельц с Полли участвовали в дворцовом заговоре. Мистера Зельца вовлекли в психологическую войну, и с каждым днем степень его вовлеченности возрастала. Вместо того чтобы спорить друг с другом о своих делах, Полли и Дик спорили о собаке, используя Мистера Зельца как предлог для того, чтобы обозначить свои разногласия, и хотя Мистер Зельц ни разу не присутствовал при этих баталиях, из нескольких услышанных им телефонных разговоров Полли с ее сестрой он понял, что таковые баталии частенько имели место. Из-за волоска на ковре, например. Полли всегда тщательно устраняла следы присутствия Мистера Зельца в доме перед возвращением Дика, прилежно пылесося все места, где побывал пес, вставая при этом даже на четвереньки, если требовалось, и используя клейкую ленту, чтобы подобрать упущенные пылесосом волоски. Однажды, однако, когда Полли поработала не так усердно, как обычно, Дик обнаружил несколько шерстинок Мистера Зельца на ковре в гостиной. Из рассказа Полли своей сестре Пег, проживающей в Дареме, следовало, что волоски эти послужили темой продолжительного и непростого разговора. "Дик спросил, откуда взялись эти волоски, — рассказывала Полли, сидя на стуле в кухне и куря сигарету, что по утрам с ней случалось не часто, — а я сказала ему, что не знаю, может, кто-нибудь из детей притащил. Тогда он поднялся наверх и нашел еще один волосок на полу возле ночного столика. Вернулся, сжимая находку в пальцах, и сказал: "И откуда этот взялся, ты тоже не знаешь?" Я сказала, что не знаю и откуда мне знать. Может, со щетки Пусика упал. "Со щетки? — спросил Дик. — А что ты делала с собачьей щеткой в спальне?" "Чистила ее, — сказала я со всем возможным спокойствием. — Да тебе-то какая разница?" Но Дик уже не мог остановиться. Он хотел докопаться до истины любой ценой. "Почему ты не почистила ее во дворе?" — спросил он. "Дождь шел", — сказала я, соврав примерно уже четырнадцатый раз за разговор. "Почему не в гараже?" — спросил Дик. "Не хотелось, — сказала я. — Там темно". "Значит, — сказал он, уже начиная злиться, — ты взяла собачью щетку и пошла чистить ее на постели". "Да, так оно и было, — говорю я, — я чистила ее на постели, потому что мне так нравится!" А он говорит: "Почему ты сделала такую гадость, Полли? Ты же знаешь, что я ненавижу собачью шерсть!" И начал разоряться, скажу я тебе, Пег, по этому поводу и разорялся минут десять, если не больше. Меня просто тошнит порой от всех этих его нотаций. Я не хочу ему лгать, но что еще мне остается? Он такой упрямец. У него доброе сердце, да только он часто забывает про него. Если я ему скажу, что пускала собаку в дом, он запросто возьмет и подаст на развод. Или просто сложит чемодан и уедет".

Вот в какие семейные неурядицы ввязался Мистер Зельц. Рано или поздно кто-нибудь сдастся, но прежде чем Полли очнется и решится выставить этого тирана за дверь, Мистеру Зельцу придется жить в атмосфере интриг, закулисных заговоров, скрытой враждебности и подозрительности, типичной для дома, в котором умирает любóвь. Мистер Зельц изо всех сил старался приспособиться к сложившимся обстоя-

тельствам. Однако для него здесь было так много нового, столько вещей еще предстояло понять и осмыслить, что проблемы Поллиного супружества занимали лишь маленький уголок его сознания. Джонсы познакомили его с миром, который сильно отличался от того мира, где он жил во времена Вилли, и не проходило и дня, чтобы он не вспоминал с удивлением или печалью о своей прошлой жизни. Дело не сводилось только к ежедневным поездкам на машине и хорошей обильной пище или к отсутствию клещей и блох в его шерсти. Ведь были еще и барбекю на заднем дворике, косточки от отбивных "Портерхауз", которые ему отдавали, выезды на уик-энд на водохранилище Уаначиби, где он плескался вместе с Алисой в ледяной воде, да и просто общее ощущение уюта и благосостояния, которое он постоянно испытывал. Мистер Зельц очутился в Америке гаражей на две машины и строительных займов, в Америке супермаркетов в духе неоренессанса — и, надо сказать, не имел ничего против такой Америки. У Вилли все это всегда вызывало бессильный и комично-нелепый гнев, но Вилли смотрел со стороны, а Мистер Зельц теперь находился внутри и сильно недоумевал, почему старый хозяин так ошибался и зачем он положил всю свою жизнь на то, чтобы держаться в стороне от этой роскоши. Конечно, везде имеются свои недостатки, но ведь есть и много хорошего, и если поймешь это, то постепенно смиришься и с тем, что день-деньской бегаешь на цепи вдоль проволоки. А через два с половиной месяца начнешь привыкать и к кличке Пусик.

5

Мистер Зельц никогда раньше не подозревал, что существует такое понятие, как "семейный отпуск". В своем бруклинском щенячестве он не раз слышал от миссис Гуревич слово "отпуск", но оно никогда не сопровождалось прилагательным "семейный". Иногда, бросив внезапно неоконченную домашнюю работу на середине, мама-сан шлепалась с размаху на софу, закидывала ноги на кофейный столик, испускала глубокий вздох и говорила: "Все, с меня хватит. Я в отпуске". Исходя из этого, можно было заключить, что "отпуск" — не более чем синоним "софы", а вся фраза — просто элегантное выражение со смыслом "присесть отдохнуть". В любом случае все это не имело никакого отношения ни к семье, ни к путешествиям. С Вилли они путешествовали все время, но он не мог упомнить, чтобы за годы странствий с губ хозяина хоть раз сорвалось слово "отпуск". Возможно, дело обстояло бы иначе, поступи Вилли на службу, но за исключением каких-то случайных приработков в пути (поломойщик в баре в Чикаго, курьер в экспресс-службе в Филадельфии) Вилли всегда был сам себе голова. И посему раньше время текло для них равномерно, не разбитое календарем на периоды отдыха и труда, на будни и национальные торжества, годовщины или религиозные праздники. Они не тратили время на то, чтобы считать минуты и смотреть на часы, то есть заниматься тем, на что люди обычно убивают всю свою жизнь. Только Рождество отличалось от остальных дней в году, но Рождество никак нельзя было назвать отпуском, — в этот день приходилось работать больше всего. Наставало двадцать шестое декабря, и Вилли, каким бы усталым или похмельным он ни был, облачался в костюм Санта-Клауса и проводил весь день на улицах города, даря людям улыбки и хорошее настроение. Таким образом, говорил Вилли, он почитал

своего духовного отца и исполнял данные им обеты чистоты помыслов и самопожертвования. Мистер Зельц неизменно находил все эти рассуждения хозяина о мире и братстве несколько сомнительными, к тому же он всегда расстраивался, когда отложенные на еду деньги переходили в руки какого-нибудь бедолаги, которому не повезло еще больше, чем им, но он не мог отрицать, что в безумии Вилли есть логика. Добро порождает добро, зло порождает зло — и если даже на твое добро отвечают злом, тебе не остается ничего иного, как продолжить творить добро. Иначе, так говорил Вилли, зачем жить вообще?

Алиса одной из первых произнесла при нем слова "семейный отпуск". Это случилось в первую субботу после Дня благодарения: Алиса вышла из дома, неся в руках прозрачные полиэтиленовые мешочки с объедками фаршированной индейки — очередное кулинарное чудо, сотворенное Полли на белой кухне. Перед тем как вывалить пищу в миску Мистера Зельца, Алиса присела на корточки и сказала:

— Все решено, Пусик. Мы отправляемся в семейный отпуск. Как только кончатся занятия в школе, папочка повезет нас в Диснейленд.

Девочка сообщила это с таким восторгом, что он даже и не сообразил поначалу, что его не включили ни в "мы", ни в "нас", — его в тот момент гораздо больше волновали принесенные лакомства, чем новое, незнакомое слово. Только после того как за тридцать секунд Мистер Зельц умял индейку, выпив при этом полмиски холодной воды, он растянулся на траве и стал слушать Алису уже внимательнее. Тигре очень хочется увидеть Микки-Мауса и Дональда-Дака, сказала Алиса, и хотя она сама уже выросла из детства, она еще помнит, как любила их, когда была маленькой. Мистер Зельц знал, кто такой этот Микки-Маус, и посему не разделял восторгов детей. Что еще это за мышь такая, которая позволяет себе держать дома собаку? Это просто смехотворно, это против законов природы, это отдает дурным вкусом. Даже дебил знает, что в действительности все обстоит совсем наоборот. Большие твари повелевают малыми, и он пока что еще не выжил из ума до такой степени, чтобы поверить, будто мыши могут быть больше собак. Поэтому он слегка недоумевал, слушая, с каким восторгом Алиса рассказывает о предстоящем путешествии. Он не мог взять в голову, как это люди едут куда-то за сотни миль только для того, чтобы посмотреть на какую-то наглую мышь. Возможно, жизнь с Вилли была не лишена недостатков, но никто не смог бы утверждать, что они мало путешествовали. Мистер Зельц везде побывал и все посмотрел. Он не мог этого объяснить, разумеется, но если бы Джонсы спросили, где можно интересно провести время, он назвал бы сотни мест получше Диснейленда.

Ничего больше не было сказано на эту тему за весь остаток уик-энда. В понедельник же утром Мистер Зельц услышал разговор Полли с сестрой по телефону и осознал все свое невежество. Для того чтобы посмотреть мышь, недостаточно было сесть в фургон и прокатиться туда и обратно. Речь шла о двух неделях беспрерывной суеты и перемещений. Гостиницы, самолеты, машины из проката, снаряжение для подводного плавания, резервирование мест в ресторанах и семейные скидки. Причем планировалось посетить не только Флориду, но и Северную Каролину, и, когда Мистер Зельц услышал, как Полли обсуждает с Пег встречу Рождества в Дареме, до него наконец дошло, что, в чем бы этот "семейный отпуск" ни состоял, его участие в нем исключается.

— Надо немного отвлечься, — говорила Полли, — сдается, что это поможет. Черт побери, Пег, пора наконец разобраться в чувствах. К тому же у меня задержка уже десять дней, и если это то, что я думаю, решать надо быстро.

Затем после короткой паузы:

— Нет. Я ему еще ничего не говорила. Но эту поездку придумал он, и я пытаюсь увидеть в этом добрый знак.

Последовала еще одна пауза, а затем Мистер Зельц услышал фразу, из которой он наконец понял, что такое "семейный отпуск".

— Мы поместим его в собачью гостиницу. Говорят, что здесь, милях в десяти, есть одна очень славная. Спасибо, что напомнила, Пег. Я, пожалуй, прямо сейчас этим и займусь. Там бывает трудно найти свободное место под Рождество.

Мистер Зельц стоял и ждал, пока она закончит фразу, уставившись на нее одним из тех печальных и стоических взглядов, которыми собаки смотрят на людей вот уже сорок тысяч лет.

— Не переживай, Пусик-Пампусик, — сказала Полли, вешая трубку. — Это же всего две недели. Ты не успеешь по нас и соскучиться, как мы вернемся.

Затем, наклонившись и обняв его, она сказала:

— Все равно я буду скучать по тебе больше, чем ты по мне. Я тебя обожаю, старина, и просто жить без тебя не могу.

Ну ладно, если они вернутся, все не так уж плохо. Это, разумеется, не означало, что он не предпочел бы поехать вместе с ними. Не то чтобы он мечтал сидеть в клетке в гостиничной комнате во Флориде или путешествовать в багажном отсеке самолета — для него это было делом принципа. Может быть, Мистер Зельц был слегка избалован вниманием, но ему всегда казалось, что собачье счастье не только в том, что тебя любят. Оно в том, что без тебя не могут обойтись.

Печально, конечно, но в то же самое время мир на этом не кончался. Мистер Зельц понимал, что, как только он оправится от первого разочарования, он смирится с неизбежным и отбудет свой тюремный срок покорно и с достоинством. Ему случалось оказываться в худших переделках, но не прошло и трех дней после этого известия, как он впервые почувствовал болезненные судороги в кишечнике. Через две с половиной недели болезнь захватила все его туловище и конечности и проникла даже в горло. Злые духи терзали его изнутри; Мистер Зельц был уверен, что это вина доктора Бернсайда. Лекарь слишком увлеченно глазел на ноги Полли, чтобы обследовать его тщательно. Очевидно, он упустил что-то важное, не посмотрел его кровь под правильным микроскопом или что-нибудь в этом роде. Симптомы были слишком невнятными, чтобы сделать определенные выводы, — внешние проявления (рвота, понос, паралич и прочее в этом роде) отсутствовали, но Мистер Зельц чувствовал себя все хуже и хуже, и, вместо того чтобы относиться к этой истории с семейным отпуском наплевательски, он все больше и больше переживал и тревожился, строил тысячи предположений, и то, что поначалу казалось не более чем маленьким камешком на дороге, быстро превратилось в огромную гору.

Дело не в том, что собачья гостиница представлялась ему таким уж плохим местом: Мистер Зельц прекрасно понимал, что это вовсе не так, и когда Алиса и Дик отвезли его туда утром семнадцатого декабря, он вынужден был признать, что Полли хорошо справилась со своим домаш-

ним заданием. "Собачья гавань" ничем не напоминала Синг-Синг, или Чертов остров, или какой-нибудь другой концентрационный лагерь для брошенных и несчастных животных. Расположенный в сельской местности на участке площадью двадцать четыре акра, который некогда являлся частью большой табачной плантации, этот четырехзвездочный собачий отель был способен удовлетворить прихоти и капризы самых избалованных домашних любимцев. Спальные вольеры располагались вдоль восточной и западной стены просторного амбара из красного кирпича. Их было шестьдесят — уютных, по одной для каждого постояльца (надо сказать, вольеры эти были гораздо просторнее, чем конура Мистера Зельца). Их не только чистили каждый день: каждая вольера была снабжена мягкой, свежевыстиранной подстилкой и резиновой игрушкой для жевания в форме косточки, кошки, мышки — в зависимости от вкусов клиента. Сразу же за задней дверью амбара находился огороженный круг площадью два акра, который служил для дневных прогулок. По желанию предоставлялось диетическое питание, купание раз в неделю — бесплатно.

Но все это не имело никакого значения, по крайней мере для Мистера Зельца. Окружавшая его роскошь не производила на него впечатления, ничего не вызывало у него ни малейшего интереса, и даже после того, как его представили владельцу, жене владельца и служащим (все как один — заядлые собачники), у него так и не возникло желание остаться. Это, разумеется, не остановило Дика и Алису: они все равно уехали, и, хотя Мистеру Зельцу хотелось выть оттого, как подло они поступили, он видел в глазах Алисы, когда та прощалась с ним, слезы любви и горя. На свой грубоватый лад даже Дик грустил, оставляя Мистера Зельца. Наконец Джонсы забрались в фургон и уехали. Провожая взглядом фургон, промчавшийся по грязному проселку и скрывшийся за главным зданием, Мистер Зельц впервые начал понимать, в какую историю он попал. Дело было не в том, что у него на душе кошки скребли, и не в том, что ему было страшно. Что-то было сильно не в порядке с ним самим, что-то зрело внутри, и это что-то было готово вот-вот прорваться и лопнуть. Голова болела, желудок пылал, и слабость охватила колени, так что стоять было почти невозможно. Ему дали еду, но его тошнило от одной мысли о еде. Ему предложили кость, но он отвернулся. Он хотел только пить, но когда принесли воду, он остановился, сделав два глотка.

Клетка его располагалась между скулящим десятилетним бульдогом и приторной золотистой лабрадоршей. Обыкновенно такая крупная сука немедленно провоцировала у него ожесточенный нюхательный рефлекс, но в тот вечер он только мельком отметил ее присутствие перед тем, как, рухнув на подстилку, впал в беспамятство. Находясь в бессознательном состоянии, он видел во сне Вилли, что случалось с ним и раньше, но если раньше хозяин являлся с отеческим поучением или ободряющими словами на устах, то теперь Мистер Зельц увидел, что представляет собой Вилли в гневе. Возможно, дело было в лихорадке, сжигавшей его внутренности, а может быть, что-то случилось с хозяином в Тимбукту, и теперь ему явился не тот Вилли, которого он знал живым и мертвым последние без мала восемь лет, а другой — мстительный и саркастический, Вилли-демон, Вилли, начисто лишенный доброты и сострадания. Бедный Мистер Зельц так перепугался, что не удержался и сходил под себя в первый раз за всю свою взрослую жизнь.

Хуже всего было то, что фальшивый Вилли выглядел точь-в-точь как настоящий, и одет он был в тот же самый поношенный наряд Санта-Клауса, который Мистер Зельц видел на хозяине каждое Рождество вот уже семь лет. Но еще хуже было то, что действие во сне происходило не в одной из знакомых по прошлому декораций — например, в вагоне подземки, — но прямо здесь и сейчас, в той самой клетке, где находился Мистер Зельц. Пес закрыл глаза, а как только он открыл их, Вилли сидел перед ним в углу, прислонившись спиной к прутьям.

— Я повторять не собираюсь, — начал он, — поэтому сиди и не щелкай зубами. Ты сделал из себя посмешище, отвратительное посмешище, и отныне я запрещаю тебе даже думать обо мне. Запомни, шавка, прибей эти слова гвоздями к дверям и не смей вспоминать мое имя — ни всуе, ни в молитве, ни под каким видом. Я умер, и я хочу, чтобы меня оставили в покое. Все твои стоны, все твои сетования — думаешь, я их не слышу? Да я от них устал, шавка, и больше я тебе уже никогда не приснюсь. Ты понял, дебил? Оставь меня в покое. У меня теперь есть новые друзья, и я не нуждаюсь в твоих услугах. Усек? Не смей ко мне больше носа показывать — между нами все кончено!

К утру лихорадка стала такой сильной, что у Мистера Зельца начало двоиться в глазах. Желудок его превратился в поле боя между армиями микробов, и стоило Мистеру Зельцу только пошевелиться, только переместить свое тело на пару дюймов, как начинался новый приступ. Ощущение было такое, словно в кишках взрывались глубинные бомбы, словно ядовитые газы разъедали его внутренние органы. Он просыпался несколько раз за ночь и прочищал желудок, пока боль не унималась, но унималась она ненадолго, и когда наконец взошло солнце и свет проник в амбар между стропилами, Мистер Зельц увидел, что окружен лужицами рвоты, состоявшей из смеси высохшей слизи, полупереваренного мяса, сгустков свернувшейся крови и какой-то безымянной желтой жижи.

К этому времени вокруг уже царило оживление, но Мистер Зельц чувствовал себя так плохо, что ничего не замечал. Другие собаки тоже проснулись и лаяли, приветствуя настающий день, а он мог только лежать в оцепенении и смотреть на устроенное им свинство. Он знал, что болен, но не имел ни малейшего представления, чем и насколько сильно. Собака может оправиться от такой болезни за пару дней, а может и сыграть в ящик. Если бы выбор был за ним, он предпочел бы первое. Несмотря на кошмарное сновидение прошедшей ночи, он хотел жить. Неожиданная жестокость Вилли удивила его, он почувствовал себя несчастным и ужасно одиноким, но это не означало, что Мистер Зельц не был готов простить хозяину все. Со старым другом нельзя рвать из-за одной-единственной размолвки. Особенно в таких критических обстоятельствах. Вилли был мертв, а мертвецы — кто их знает? Возможно, через какое-то время они становятся злыми и обидчивыми? К тому же, может, это был вовсе и не Вилли. Это вполне мог быть самозванец, демон, принявший вид Вилли, которого подослали из Тимбукту для того, чтобы одурачить Мистера Зельца и настроить его против бывшего хозяина. Но даже если это был Вилли и даже если все, что он сказал, было бессмысленно жестоким и злобным, Мистер Зельц, положа лапу на сердце, вынужден был признать, что в сказанном имелось зерно истины. Он слишком много жалел себя в последнее время, потратил слишком много драгоценных часов, брюзжа по поводу мелких обид и неприятностей, а

такое поведение для неглупой собаки являлось однозначно постыдным. Ему следовало радоваться жизни и быть благодарным за то, что он имеет. Мистер Зельц отлично помнил, что Вилли просил никогда больше не вспоминать о нем, но не мог ничего с собой поделать. Он находился в полубреду, вызванном лихорадкой, и мог контролировать свои видения не в большей степени, чем встать на задние лапы и отпереть запор на клетке. Если в его мыслях возникал Вилли, то он был в этом не виноват. Хозяину оставалось только заткнуть уши и ждать, когда он перестанет о нем думать. Но по крайней мере, Мистер Зельц наконец-то больше ни на что не жаловался. Наконец он старался вести себя хорошо.

Меньше чем через минуту после того, как Мистер Зельц подумал про дверной запор, пришла молодая женщина и открыла клетку. Ее звали Бет, и на ней была надета голубая нейлоновая зимняя куртка. Полные бедра, лицо неправильно круглое и кукольная прическа. Мистер Зельц запомнил ее еще с предыдущего дня — это была та девушка, которая пыталась накормить и напоить его вчера, та, которая гладила его по голове и говорила, что утром ему станет лучше. Добрая, но в болезнях ничего не понимает. Увидев рвоту, Бет встревожилась: пригнувшись, она вошла в клетку, чтобы осмотреть все повнимательнее.

— Видно, лихо тебе пришлось ночью, Пусик, — сказала она. — Пожалуй, стоит показать тебя отцу.

Отца он тоже запомнил с вечера — это был тот мужчина, который водил их по территории. Грузный дядька с черными кустистыми бровями и лысый как колено. Звали его Пэт, то ли Пэт Сполдинг, то ли Пэт Спролинг — Мистер Зельц не запомнил точно. Он был женат; жена сопровождала их во время первой половины обхода. Ах да, вспомнилось ему, вот забавно, жену-то зовут тоже Пэт! Еще Мистер Зельц вспомнил, что и Алиса нашла это забавным, она даже рассмеялась, когда услышала, а Дик оттащил ее в сторону и сказал, что она ведет себя как невоспитанная девочка. Патрик и Патриция. Пэт и Пэт, для краткости. Это было довольно глупо и очень сбивало с толку.

В конце концов Бет заставила его встать и пойти вместе с ней в главное здание. По дороге его еще раз стошнило, но на улице веяло прохладой, которая слегка умерила жар. Извергнув из организма отраву, он стал чувствовать себя немного лучше. Приободрившись, он последовал за Бет в дом, где с благодарностью принял предложение полежать пока на коврике в гостиной. Бет пошла за отцом, а Мистер Зельц, свернувшись поудобнее на коврике перед камином, стал прислушиваться к звукам, вылетавшим из огромных дедовских часов с боем. Он отсчитал десять ударов, затем двадцать, а затем веки его сомкнулись. Прежде чем совсем уснуть, он успел услышать приближающиеся шаги и мужской голос, который сказал:

— Не будем его пока трогать. Займемся им, когда проснется.

Мистер Зельц проспал все утро и большую часть дня. А когда он проснулся, то почувствовал, что худшее осталось позади. Нельзя было сказать, что он находится в отменной форме, но, по крайней мере, он начал хоть что-то соображать, да и температура упала на пару градусов, и он мог шевелить мышцами, не чувствуя при этом, что тело слушается его не больше, чем груда кирпичей. Ему даже удалось выпить немного воды, а когда Бет снова пошла звать отца, чтобы тот оценил состояние собаки, Мистер Зельц почувствовал такую жажду, что принялся вновь лакать воду, пока не выпил ее всю без остатка. Это был опрометчивый

поступок. Здоровье Мистера Зельца еще не позволяло таких излишеств, и, когда Пэт №1 вошел в комнату, Мистер Зельц встретил его тем, что вновь изрыгнул все содержимое желудка на ковер гостиной.

— Какого черта нам подсовывают больных собак! — воскликнул мужчина. — Не хватало только, чтобы он сдох и нас потащили в суд.

— Может быть, позвонить доктору Бернсайду? — спросила Бет.

— Да. Скажи ему, что я уже выезжаю. — Он направился к двери, но на полпути остановился и повернулся к Бет снова. — Нет, пожалуй, лучше пусть твоя мать этим займется. У меня сегодня здесь дел полно.

Возникшая заминка была выгодна Мистеру Зельцу. Пока искали Пэт № 2 и организовывали путешествие, он разработал собственный план. Без плана в голове ему никогда не удалось бы сделать то, что он сделал. Ему было наплевать, болен он или здоров, выживет или умрет. Он хватался за последнюю соломинку — живым они ни за что не доставят его к этому чертову ветеринару. Вот почему ему был так нужен план. Не прошло и нескольких секунд, как он уже видел в мыслях все так ясно, словно оно случилось на самом деле. Теперь он точно знал, что делать и когда.

Пэт №2 выглядела как состарившаяся Бет. Пошире фигура, красная зимняя куртка вместо голубой, но то же выражение почти мужской уверенности в себе и неизменно хорошего расположения духа. Мистеру Зельцу обе женщины нравились больше, чем Пэт №1, и ему было слегка стыдно, что он собирается обмануть их, особенно после того, как они проявили такую заботу о нем, но выбирать не приходилось — как и терять время на пустые сантименты. Женщина повела Мистера Зельца к машине на поводке. Она открыла переднюю правую дверцу и пустила его вперед, не спуская с поводка до самого последнего мгновения. Как только дверь захлопнулась, Мистер Зельц перебрался на водительское место. В этом и состояла его стратегия, успех же ее зависел от того, зацепится или нет поводок за рулевое колесо или за какой-нибудь рычаг (он не зацепился), и от того, не заметит ли Пэт его маневр раньше, чем откроет дверцу со стороны водителя (не заметила). Как он все это продумал в своей голове, так оно и вышло в реальности. Пэт №2 открыла дверцу со стороны водителя, и Мистер Зельц выпрыгнул. Как только его лапы коснулись земли, он припустил изо всех сил, и, прежде чем женщина успела схватить его за хвост или наступить на поводок, он был уже далеко.

Мистер Зельц держал курс на лес, начинавшийся к северу от главного здания, стараясь держаться как можно дальше от дороги. Он слышал, как звала его вернуться Пэт №2, а чуть позже к ее призывам подключились Бет и Пэт №1. Вскоре после этого он услышал, как заводится двигатель автомобиля и колеса пробуксовывают по грязи. Но к тому времени он уже углубился в лес и знал, что им не удастся догнать его. В это время года темнеет рано, и не пройдет и часа, как ничего не будет видно.

Он продолжал бежать на север, пробираясь через заиндевевший подлесок в густых зимних сумерках. Из-под лап у него вспархивали птицы и прятались в густые ветви сосен, и белки разбегались в стороны при его приближении. Мистер Зельц знал, куда он бежит, и, хотя не знал дороги, всецело доверял своему чутью. До дома Джонсов было не больше десяти миль, и он был уверен, что доберется туда на следующий день или через день самое позднее. Его не беспокоило ни то обстоятельство,

что Джонсы вернутся только через две недели, ни то, что еда его заперта в гараже, куда ему не пробраться. В конце концов, Мистер Зельц был всего лишь собакой и не мог загадывать все так далеко вперед. Сейчас значение имело одно: как добраться до места. А уж потом все само собой образуется.

По крайней мере, так он полагал, но печальная правда заключалась в том, что Мистер Зельц ошибся. Если бы он был здоров, он, несомненно, достиг бы своей цели, но тело его было не в состоянии справиться с возложенной на него задачей, и вскоре ему пришлось платить за всю беготню и прыжки прошедшего дня. Десять миль — не бог весть какое расстояние, особенно в сравнении с эпохальными переходами, которые Мистер Зельц совершал еще каких-то три с половиной месяца назад, но теперь он путешествовал с пустым баком, а собака не может долго бежать на одной только силе воли. Удивительно, что в столь ослабленном состоянии ему все же удалось пробежать почти две мили. Он бежал, пока ноги несли его, а затем прямо на ходу он внезапно рухнул и, упав на землю, немедленно заснул.

Во второй раз за две ночи ему приснился Вилли, и опять сон был не похож на все виденное до того. На этот раз они сидели на пляже в Ла-Джолле, штат Калифорния, где они побывали во время своего первого путешествия, когда Мистер Зельц был еще почти щенком. То есть много-много лет назад, в те дни, когда еще все кругом было новым и незнакомым для Мистера Зельца, когда все происходившее происходило впервые. Во сне он увидел ярко сиявшее полуденное солнце. Дул легкий ветерок, Мистер Зельц лежал, разместив голову на коленях у Вилли, наслаждаясь тем, как хозяин чешет у него за ушами. Случилось ли все это на самом деле? Он не мог сказать точно, но картина была такой живой, что это, в общем, не имело никакого значения. Красивые девушки в купальниках, обертки от мороженого и тюбики из-под крема для загара, красные тарелочки "фрисби", снующие в воздухе. Вот что увидел Мистер Зельц, когда открыл глаза во сне, и ощутил при этом странность и особую красоту всего вокруг, словно разум его уже покинул царство будничной реальности. Сперва стояло молчание — молчание, но не тишина, потому что воздух наполнял шум волн, разбивающихся о берег, и хлопающих на ветру флагов и пляжных зонтиков. Потом где-то заиграло радио, и женщина запела какую-то эстрадную песню со словами "будь моим милым, будь моим милым, будь моим милым". Песня была красивая и глупая, и Мистер Зельц так заслушался, что не заметил, как Вилли заговорил. К тому времени когда он начал слушать хозяина, он уже упустил несколько первых фраз, а может, и больше — фраз, несомненно, важных, потому что теперь ему понадобилось сделать недюжинное усилие, чтобы понять, о чем говорит Вилли.

"Внеси поправки", — услышал он сначала, а затем: "извини старина" и "проверка". Затем он расслышал слова "мерзкая история" и "полная загадка" — и тут начал понимать, о чем идет речь. Демон-Вилли был ловушкой, при его помощи кто-то пытался ожесточить сердце Мистера Зельца против покойного хозяина. Испытание оказалось настоящей пыткой, но другого способа убедиться в верности собаки не существует. Насмешник пытался сломить дух Мистера Зельца и хотя перепугал того до полусмерти, однако, проснувшись утром, Мистер Зельц сразу же простил хозяина и не стал держать на него зла за все выслушанные упреки и несправедливые обвинения. Именно поэтому Мистер Зельц, сам того

не зная, справился с испытанием. И наградой стал этот сон, этот визит в мир томного, бесконечного лета, эта возможность погреться в лучах ласкового солнца посреди зимней ночи. Но каким бы приятным и правдоподобным ни выглядел этот сон, он оказался только прелюдией к еще более важным событиям.

Мистер Зельц услышал, как кто-то сказал:

— Что это такое? — и тут же понял, что это сказал он сам, что он внезапно научился говорить так же внятно и связно на человеческом языке, как любой из племени двуногих.

— Так, ничего особенного, — ответил Вилли.

— Что "ничего особенного"? — переспросил Мистер Зельц, окончательно потеряв голову от происходящего.

— То, что ты сейчас делаешь.

— А я ровным счетом ничего не делаю. Я просто лежу с тобой рядом на песке.

— Но ты же говоришь со мной, верно?

— Вроде бы да. Такое ощущение, что я научился говорить. Но ведь это же не означает, что я научился говорить на самом деле.

— А если я скажу тебе, что ты и вправду научился говорить?

— Не знаю. Тогда я вскочу и начну плясать от радости.

— Ну так пляши, Мистер Зельц. Когда пробьет твой час, у тебя будет меньше проблем.

— О чем ты говоришь, Вилли? Какой такой мой час?

— Твой час отправляться в Тимбукту.

— Ты хочешь сказать, что собак туда пускают?

— Не всех. Некоторых. В каждом случае принимается особое решение.

— И меня пустили?

— Да.

— Не смейся надо мной, хозяин. Если ты просто пошутил, я этого не вынесу.

— Поверь мне, барбос, что это так. Решение уже принято.

— А когда я отправлюсь в Тимбукту?

— Когда придет твое время. А пока надо терпеть.

— Ах да, сперва я должен сыграть в ящик...

— Верно. А покуда этого не случилось, ты должен вести себя хорошо. Вернись в "Собачью гавань" и дай себя вылечить. Когда Джонсы приедут за тобой, не забывай, как тебе у них нравилось. Ты не можешь требовать большего от Полли и Алисы. Эти двое — очень славные человечки, ты уж попомни мои слова. И вот что еще: не обращай внимания на то, какую тебе дали кличку. Для меня ты всегда будешь Мистером Зельцем. Но если тебе станет совсем невмоготу, переведи свою кличку на латынь, и тебе будет намного легче. Послушай, как это великолепно звучит: Пуссиус! Пуссиус Пес. О Пуссиус Пес, обладатель прославленнейшего хвоста во всем Риме!

Это и вправду звучало неплохо, очень даже неплохо, и, когда Мистер Зельц проснулся на восходе солнца, звук этого гордого имени все еще звучал у него в голове. За время, которое прошло между тем, как он открыл и закрыл глаза, случилось столько всего, что сначала он даже не заметил снега, выпавшего ночью. А то, что он принял за звуки имени "Пуссиус", было просто шорохом снежных комьев, падающих с ветвей на землю. Мистеру Зельцу не хотелось покидать сон. С большой неохо-

той он отметил про себя, что кругом сильно похолодало, а еще с большей – обратил внимание на жар внутри своего тела. Что-то жгло его изнутри. Снаружи было холодно, внутри – жарко, потому что снаружи его засыпало снегом, а внутри вновь ожила лихорадка, такая же жестокая и изматывающая, как и накануне. Мистер Зельц попытался встать на лапы и стряхнуть с себя снег, но ноги подгибались как ватные, и ему пришлось отказаться от своего намерения. "Может быть, попозже, – сказал он сам себе, – может быть, попозже, когда взойдет солнце и прогреет воздух". А пока он лежал на земле и рассматривал снег. Его выпало не больше двух сантиметров, но и этого было достаточно для того, чтобы мир переменился до неузнаваемости. В белизне свежего снега Мистеру Зельцу чудилось что-то неземное и прекрасное, и, глядя на двух синичек и двух воробышков, которые прыгали по земле, ища чего-нибудь съестного, пес почувствовал прилив симпатии к ним. Да, да, к ним, к этим бестолковым комочкам перьев! Он не мог ничего с собой поделать. Снег выпал и свел всех их вместе. Первый раз в жизни он увидел в них не мерзких маленьких тварей, а сородичей, братьев по крови, связанных с ним тайными узами. Глядя на птичек, он вспомнил, что Вилли велел ему вернуться обратно в "Собачью гавань". Совет был хорош, но как его исполнить, если тело не повинуется тебе? Он слишком ослабел, чтобы проделать весь путь до конца, а если так, то лучше было оставаться на месте. От нечего делать он съел немного снега и попытался снова вспомнить свой сон.

Солнце взошло, и вскоре до него начали доноситься звуки машин и грузовиков, выехавших поутру на шоссе. Мистер Зельц смотрел на снег, падавший с деревьев и таявший под солнечными лучами, и думал, на самом ли деле шоссе так близко, как кажется на слух. Звук иногда играет странные шутки; не раз в своей жизни Мистер Зельц попадал впросак, принимая за близкие те звуки, источники которых на самом деле находились далеко. Он не хотел тратить свои силы попусту, но если шоссе действительно так близко, как ему казалось, то попытаться стоило. Движение все усиливалось – он явственно различал звуки различных видов транспорта, шуршащих шинами по мокрому бетону. Большие машины, маленькие, грузовики и фургоны, междугородные автобусы. За рулем каждого автомобиля сидел человек, и если хотя бы один из этих людей остановится и поможет Мистеру Зельцу, то он будет спасен. Итак, ему предстоит взобраться на этот холм впереди, а затем спуститься вниз по откосу. Путь трудный, но рискнуть стоило. Дорога была недалеко, и ее следовало найти. Беда была в том, что ее нужно было найти с первого раза. Если выбрать неправильный маршрут, сил на то, чтобы вновь подняться на холм и начать все сначала, уже не останется.

Но дорога оказалась именно там, откуда доносился шум. Мистер Зельц увидел ее после того, как сорок минут ему пришлось продираться сквозь кустарник и колючки, перелезать через торчащие из земли корни, которые преграждали ему дорогу. Несколько раз он упал, покатился по грязным бетонным плитам и вымочил шкуру в талой воде. Но теперь грязному и измученному болезнью псу до спасения было рукой подать. Дорога была бескрайней и ревущей рекой, все шесть ее скоростных полос заполонял поток летящих в обе стороны автомашин. Черную ее поверхность покрывала тонкая пленка талой воды, и вода эта, так же как и металлические трубы ограждения и ветви деревьев, которыми была обсажена шедшая с севера на юг автострада, ярко искрилась в лучах зимне-

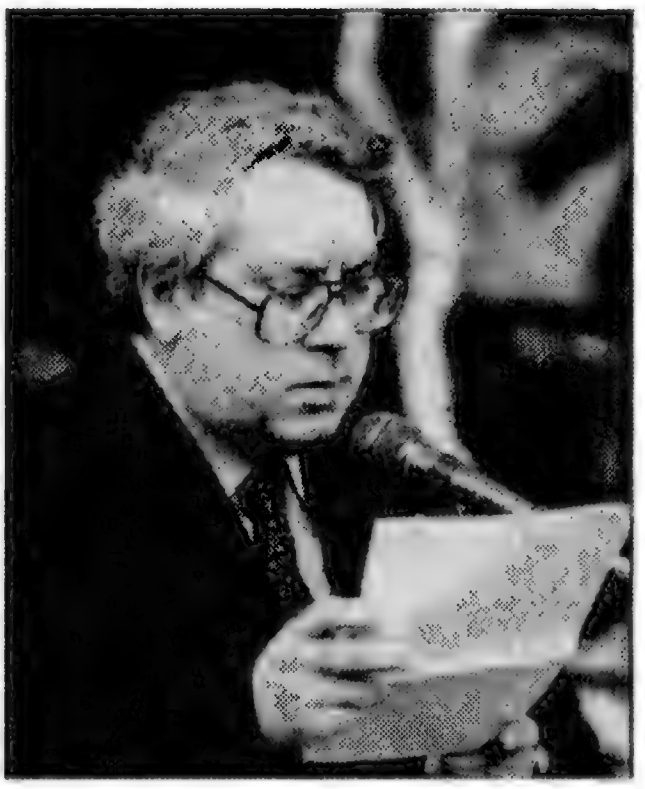
го солнца, ослепляя Мистера Зельца своим сиянием. Именно это он и надеялся увидеть. Он знал, что пришедшая ему в голову идея была единственно правильной и стоила сорока минут мучений. Машины могли увезти его из этого места, но они же могли расплющить его в лепешку и размазать по асфальту. Стоило только глубже задуматься об этом, и все становилось ясным. Ему незачем ждать, когда наступит время, время уже пришло. Все, что нужно сделать, — это выйти на дорогу, и он очутится в Тимбукту. Он очутится в краю волшебных слов и прозрачных тостеров, в стране велосипедных колес и раскаленных пустынь, в стране, где собаки на равных беседуют с людьми. Вилли сначала, конечно, будет ругаться, но это только потому, что он решит, будто Мистер Зельц сам лишил себя жизни. Но Мистер Зельц вовсе не собирался совершать такой пошлый поступок, как самоубийство. Он просто хотел поиграть в игру — в ту игру, в которую играют старые и больные собаки, а кем он был теперь, как не старым и больным, полоумным псом?

Игра эта называется "выскочи из-под колес". Это почтенный, освященный временем вид спорта, который позволяет каждому старому псу вспомнить радости своих юных дней. Забава эта укрепляет дух и требует от участника хорошей атлетической подготовки. Игра проста — ты выскакиваешь на дорогу и уворачиваешься от машин. Чем дольше продержишься — тем большая тебе честь и слава. Рано или поздно, конечно, удача изменит тебе, и мало кому из собак удавалось выиграть в эту игру, но в том-то и заключается ее прелесть. Ты выигрываешь именно в тот момент, когда ты проиграл.

Вот почему в это ясное зимнее утро в Виргинии Мистер Зельц, известный также как Пуссиус Пес, верный спутник покойного поэта Вилли Г. Сочельника, решил вступить в борьбу за звание чемпиона мира среди собак. Сойдя с травы, покрывавшей восточный откос, он дождался разрыва в потоке машин и нырнул в него. Хотя он очень ослабел, но какие-то силы все еще оставались у него в ногах, и, едва выбежав на дорогу, он почувствовал себя таким счастливым и сильным, каким не чувствовал себя уже много лет. Он бежал на шум, на свет, на блеск металла и на рев моторов, которые мчались к нему со всех сторон.

Если ему повезет, то не пройдет и дня, как он встретится с Вилли.

Оливер Фриджиери



Стихи

Перевод с английского и вступление Анны Шульгат

Как гласит мальтийская пословица, слово мальтийца тверже клятвы короля. Мы ни поспорить, ни согласиться с этим не можем, ибо многим из нас Мальта известна лишь как резиденция христианских орденов, приют для некоторых русских эмигрантов первой волны и место, где хранятся богатства древних аристократических домов Европы. Между тем на Мальте существует уникальная культура, во всей полноте отражающая историю архипелага. Расположенная на пересечении важных европейских путей, Мальта притягивала финикийцев и римлян, арабов и норманнов, подвижников католической церкви и Наполеона. На Мальте непостижимым образом уживаются христианская религия (по легенде, обратил местных жителей сам св. Павел, чей корабль потерпел крушение у берегов архипелага в 60 г. нашей эры) и язык, являющийся единственным в мире диалектом арабского, получившим статус самостоятельного литературного языка. Помимо мальтийского на архипелаге распространены английский (до 1964 г. Мальта находилась под протекторатом Великобритании) и итальянский языки.

Путь Оливера Фриджиери характерен для мальтийской культуры. Он учился в духовной семинарии, но затем отказался от религиозного сана в пользу мирской карьеры — научной и литературной.

Поэт, прозаик, переводчик, драматург, критик Оливер Фриджиери — лауреат ряда престижных премий, в том числе Международной премии стран Средиземноморья (1988 г.). Его книги переведены на разные языки и публиковались во многих странах мира.

Стихотворения, представленные в русском переводе, существуют на английском и мальтийском языках, поскольку Фриджиери — автор двуязычный. И хотя поэт выбрал традиционную для европейской поэзии XX века форму верлибра, он часто ощущает себя "романтиком, рожденным, чтобы вздыхать о веке чужом". В

© O. Friggieri, 1996
© А. Шульгат. Перевод, вступление, 2001

его стихах можно расслышать и отголоски средневековых испанских романсеро, и мотивы восточной лирики. Как и его родина, Фриджиери волею судьбы оказался на перекрестке времен и культур, которые он и пытается синтезировать в своем творчестве.

Ах, возможно

Ах, возможно, я романтик, рожденный,
чтобы вздыхать о веке чужом.
Ах, возможно, я просто еще одна тварь,
у которой кровь и вода струятся под кожей.
Ах, возможно, я студент-неудачник,
последний пассажир переполненного самолета,
остаток от общей суммы,
возможно, ошибка, возможно, заблуждение,
возможно, лампада, мерцающая
посреди опустевшей церкви,
где никто не молится глухому Богу.
Ах, возможно, это не мой мир –
я здесь никого не знаю, и никто не знает меня.
Я свернул не туда и должен начать сначала.

Ода человеку

Вот он, шедевр человека – война.
Человек размножается стрелами
всякий раз, когда прорывает границу рассудка.
Война – гигантский сосуд его мудрости,
человек его создал в начале жизни и пополняет
каждый день, покуда не минет срок. Здесь он хранит
крепкое вино себялюбия,
здесь клубятся хмельные пары кровной мести.
Нет человеку равных на целой планете,
в могущественном банке гнева он хранит свои деньги
и обменивает жизнь на смерть по выгодному курсу.
Всякое чувство во вселенной пребывает в смятенье,
и все прочие существа в смущенье склоняются
к ногам этого первобытного монстра истории,
кичливого кладбищенского проходимца,
палача, что заглядывает под могильные плиты,
утром переступает через трупы,
ночью ложится и спит среди них –
человек, упырь ненасытный.
Нет человеку равных, его враг – слеза,
которая может разбить его сердце. Вот почему
он боится достичь высшей ступени эволюции,
и его ненависть сменяется апатией.

Сквозь облака, вместе со стонами прочих существ,
слышна и долгая жалоба Бога:
Господь обманулся в своих мечтах,
в поисках утешенья Он спускается с неба и внемлет
песне птицы, обнимает цветок и вдыхает его аромат.
И птица, и цветок огорченно спрашивают, что гнетет Его,
но из любви к обоим Он хранит молчанье.
Апокалипсис наступит в тот день, когда цветок перестанет
благоухать,
а птица — петь. И тогда придет время Господу
склониться к ногам первобытного монстра истории.

Цюрих. Аэропорт

Лица, однажды мелькнувшие, пробежавшая тень,
перелетные пташки, капли воды
на неподвижном лике моря — вы приходите, чтобы уйти,
ничего не оставив. Пилигримы
ниоткуда, следующие в никуда,
призраки воспоминания
о том, что, возможно, только сон вас разбудит.
На кладбище рассудка они толпятся
в нескончаемой очереди и один за другим
исчезают в бездонной могиле.
Плачущие лица, улыбающиеся лица,
лица, озаренные сбывшейся мечтой,
замершие лица, чего-то ждущие,
лица, устремленные в беспредельную высь,
поблекшие лица, уставившиеся в землю, —
собранье картин, написанных историей,
абстрактных полотен, потускневших от времени,
но вечно влажных от свежей краски.
Каждый пассажир находит судьбу в своем билете,
когда он глядит с высоты
вниз, туда, откуда летит и куда прилетает.
Закон притяженья возвращает на землю
всякого, кто покидает ее.
Земля — единственный дом пассажиров.
В полете времени летчик мечтает
унести человечество вдаль,
к тем пространствам, что только душа
отмечает на карте своей. Летчик,
отключи пропеллеры желаний и посади самолет
в том аэропорту, который нам дан от века,
в точке трепета и надежды, —
только там можем мы заключить нашу главную сделку.
Лица, лица, бесцветный спектакль
без конца, без начала, —
каждый держит свой паспорт, дабы отправиться к цели,
скрытой за облаками желанья, столь властного,

что могло бы само по себе управлять самолетом.
Лица, однажды мелькнувшие, пробежавшая тень,
гости прекрасной страны, к сожаленью не нашей,
гости страны, которая нас приютит
ненадолго, а после изгонит.
Лица, лица, дешевые сувениры на память о жизни,
открытки, которые быстро поблекнут.
На аукционе у букиниста
наш альбом кто-то купит из любопытства...
Лица, однажды мелькнувшие...

Я вхожу в твое молчание

Нежно открываются окна твоего молчания,
и босым я вхожу, чтобы начать путешествие,
волнуясь, словно ребенок, не знающий жизни.
Слова срываются с губ моих, точно камни,
и успевают рухнуть на землю раньше, чем ты их подхватишь.
Я вглядываюсь в твое бесцветное молчание,
в монастырскую беспокойную тьму,
где бессонная душа встает и бродит бесцельно.
Сомнения шелестят, словно ковер травяной,
приминаемый каждым шагом, покуда вопрос
не родится в недрах страждущего рассудка.
Так природой заведено: есть родовые муки
и есть Голгофа любви.
Я исследую уголки твоего молчания,
точно отшельник, который приветствует только звезды
и отпирает тюрьму своего сердца одной лишь луне навстречу.

Последнее слово

Каждая прямая, что я чертил на бумаге, выходила кривой,
каждое действие, что я пытался выполнить, содержало ошибку,
каждый круг, каждый пятиугольник был искаженным,
каждая небылица, что я сочинял, становилась правдой,
каждая шутка, что я произнес, вызывала слезы,
каждый стих, что я записал чернилами, оборачивался кровью.
И вот я стою, пораженный,
и руки вверх поднимаю: сдаюсь.

Кристоф Хайн

Вилленброк

Роман

Перевод с немецкого М. Рудницкого

12

Вскоре после полудня они уже были в городе. Дом их стоял цел и невредим, никаких следов взлома или попытки такового не было видно. Вместе с женой Вилленброк обошел все комнаты, но ничто не указывало на визит незваных гостей.

Вилленброк собрался тут же поехать к себе на авторынок, но Сюзанна не захотела оставаться в доме одна. Так что пришлось ему вынести из машины, которую он не стал ставить в гараж, сумки и корзину, после чего он сел в кресло и стал ждать, пока Сюзанна распакуется. Внезапно на него навалилась страшная усталость. "Что-то разрушено, — думал он, — и никогда уже не будет, как прежде. Что-то безвозвратно кануло в прошлое". Он обвел взглядом гостиную, словно надеясь где-то здесь обнаружить эту свою безвозвратную пропажу. Потом взял из письменного стола связку запасных ключей и вышел во двор, решив дожидаться Сюзанну там.

Перед оградой авторынка они остановились и в наступающих сумерках долго изучали автомобили и бытовку во дворе. Наконец Вилленброк отпер ворота и направился к своей конторе. Прежде чем взойти по лестнице, вставить ключ в замок и нажать на дверную ручку, он заглянул в бытовку через окно. В конторе все как будто было в порядке. Вместе с женой они дождались прихода Пазевальда с собакой. Вилленброк рассказал ему только, что у него пропали ключи, и попросил на ночь запереть ворота на дополнительный замок с цепью, а завтра он, на всякий пожарный случай, вызовет мастеров и все замки сменит. Пазевальд, однако, спросил: он просто потерял ключи или у него их выкрали? Вилленброк задумался.

— Не знаю точно. Вообще-то их у меня украли, но, по-моему, воры не знают, от чего они. Вероятно, я напрасно беспокоюсь, но береженого Бог бережет. Так что сегодня ночью будь начеку.

Он покосился на жену и увидел, что та смотрит на него с удивлением. В машине он извинился перед ней за вранье и объяснил, почему ничего не рассказал Пазевальду о нападении.

— Не хочу зря его волновать, — сказал он. — Может, все это только наши фантазии. Зато ты наконец посмотрела мою стройку. Надеюсь, тебе понравилось. Я знаю, тебя это не интересует, иначе давно бы тебе все показал.

— Сегодня для этого не слишком удачный день, — подтвердила она. — Но в другой раз я все осмотрю с удовольствием.

Окончание. Начало см. "ИЛ" № 7, 2001 г.

Уже трогаясь, они увидели Пазевальда, вышедшего к воротам с тяжеленной цепью в руках. Пока он набрасывал ее на решетку ворот, пес азартно резвился у него под ногами.

Дома они уже вскоре легли, поскольку прошлой ночью почти не спали, но хотя оба были утомлены и измотаны до крайности, заснуть долго не удавалось. Вилленброк поймал себя на том, что прислушивается к малейшему шороху в доме.

Среди ночи он внезапно проснулся. Боясь пошелохнуться, он с напряжением ловил каждый звук. Заметив, что Сюзанна тоже не спит, включил свет. Посмотрел на часы, было двенадцать минут третьего.

— Все в порядке, — сказал он как можно спокойнее и погладил жену по лбу. — Это просто то же время, что и вчера ночью. По-моему, с точностью до минуты. Именно в это время я вчера проснулся, и началась вся это свистопляска.

Сюзанна попросила его обойти вместе с ней весь дом, иначе она не заснет. Они отправились в ванную, надели свои кимоно, проверили входную дверь, потом обошли все комнаты, повсюду зажигая свет. Вилленброк включил наружное освещение и несколько секунд изучал в окно двор и ворота гаража.

Когда они снова легли, Сюзанна сказала, что дачу нужно продать, она больше там ни минуты спокойно пробыть не сможет, она не сможет там спать, а уж тем более оставаться одна на ночь, после вчерашнего ей там всегда будет страшно. Вилленброк возразил: после пережитого нападения ей в любом доме уже не будет так же спокойно, как было прежде. В конце концов они порешили, что полгода подождут и тогда уж решат, что делать с дачей.

— Во мне разрушили что-то неприкосновенное, — сказала жена. — Мой защитный слой, что-то укромное и самое заветное. Теперь не будет такого дома, не будет такой квартиры, где я смогу чувствовать себя в полной безопасности. И вот этого я никогда не смогу простить грабителям. Никогда не прощу. Меня как будто раздели, понимаешь...

— Да, — задумчиво проронил Вилленброк в темноту спальни, — что-то стало по-другому. — И после паузы добавил: — Но, может, мы когда-нибудь сумеем об этом забыть. Может, когда-нибудь все снова станет как прежде.

Жена ничего не ответила, только молча посапывала, думая о своем.

В последующие дни они больше не говорили о ночном нападении. Вообще ни словом не упоминали. Казалось, они намеренно избегают коснуться этой темы даже намеком, а по мере приближения выходных оба, не сговариваясь, решили на дачу не ездить и остаться в городе. Из ночи в ночь они просыпались, каждый раз около двух. Когда Вилленброк понимал, что жена тоже не спит, он нащупывал в темноте ее руку и безмолвно гладил. Если ей нужно было в туалет, она просила его ее проводить. Он шел первым, включал в комнатах свет и ждал ее. Сюзанне было неудобно, она то и дело извинялась. Потом они еще примерно час лежали бок о бок без сна, пытаясь побороть в себе тревогу и снова заснуть.

Два раза во время этих ночных бдений он, обуреваемый внезапным страхом за своего сторожа и авторынок, звонил Пазевальду. В первый раз тот отозвался только после многократных гудков. Он был слегка удивлен звонком и сказал, что все в порядке.

О втором звонке Вилленброк пожалел еще до того, как Пазевальд снял трубку, и в первое мгновенье даже чуть было не дал отбой. Но по-

том все-таки сообразил спросить сторожа про свою красную папку, которую он якобы забыл на столе, и извинился за напрасное беспокойство.

В среду начался дождь и зарядил на всю неделю. В пятницу, ближе к обеду, со стройки уехал подъемный кран, с помощью которого рабочие монтировали опоры и связующие элементы под крышу. Зато появился инженер строительной фирмы — проверить, как идут работы. Вилленброк сопровождал его во время обхода и молча слушал, как он беседует со строителями, настойчиво требуя как можно лучше укрывать свежий бетон с вмонтированными в него опорами, чтобы защитить его от затяжного дождя.

— Это будет чудо, а не зал, — заявил ему инженер, укладывая в портфель прозрачные папки с документацией, — просто танцевальный дворец. Здесь бы не подержанные машины ставить, а длинноногих красоток по подиуму пускать. Мы, во всяком случае, все сделаем в лучшем виде.

После чего он дал рабочим адрес и приказал уже после обеда приступать к работе там.

— Но почему вы снимаете людей? И кран убрали? Почему приостановили работы? — недоумевал Вилленброк.

— Опоры стоят. На следующей неделе начнем монтировать каркас крыши. Кран для этого не нужен, это даже лучше делать вручную. Да и вам дешевле обойдется. Со следующей среды начнем монтировать крышу, потом потолок.

Они смотрели на рабочих, которые погрузили инструменты по машинам и не прощаясь уехали.

— Но почему только со среды?

Инженер с досадой взглянул на небо.

— При такой погоде, поверьте мне, лучше сделать небольшой перерыв. За это время и бетон как следует схватится, да и элементы крыши все равно только на следующую неделю заказаны. А кроме того, у нас трудности с объектом на Потсдамской площади, там мы в цейтноте и подменщики нужны постоянно. Но вы не беспокойтесь, мы свои сроки выдержим.

Он спросил Вилленброка, нельзя ли им пройти к нему в контору, ему нужна от него подпись на документах, а под таким дождем это вряд ли получится. Вилленброк пошел первым, открыл дверь бытовки и пропустил его вперед. Внутри инженер с любопытством огляделся, но ничего не сказал. Он сел на предложенный стул, достал из портфеля документы и стал писать акт. Посмотрел на часы, проставил на листе дату, время и подпись, после чего протянул через стол документ Вилленброку, тот пробежал его глазами и тоже подписал.

— Ничего, вот построим для вас торговый зал, и выберетесь отсюда. Такая времянка вряд ли производит хорошее впечатление на клиентов.

— Клиентам моим на это плевать, — возразил Вилленброк с нажимом. — Я строю для себя, не для клиентов.

— Ну конечно, конечно, — зачастил инженер, торопясь с ним согласиться. — Конечно, этот торговый зал для вас. Клиенты приходят и уходят, им это все равно. Кто берет подержанный автомобиль, тому не до внешнего шика, верно?

Вилленброк ничего не ответил, он просто ждал, пока инженеришка уйдет. Он злился, что у него сняли рабочих, что объект его явно счита-

ется второстепенным, но поскольку формальных претензий предъявить не мог, он молчал.

Инженер собрал свои бумаги, щелкнул замком портфеля и встал.

— В среду ждите крышу, — бросил он и кивнул Вилленброку на прощанье.

— Так где же у вас слабое место? — спросил вдруг Вилленброк.

Инженер воззрился на него с недоумением, и Вилленброк пояснил:

— Вы сняли рабочих с моего объекта, перебрасываете их на Потсдамскую площадь.

— Ах это, — отмахнулся инженер, — да так, мелкая катастрофа. Там у нас два дурня на грузовике опору снесли. Грузовик-то, главное, никудышный, старье, да к тому же застрахован. Но вот порушенная опора стоит четырех дней работы, и тут уж пощады не жди, и никакой страховки не будет. Кровь из носу, а график наверстывать надо, тут фирма сама выкручиваться должна.

— Так привлеките к ответу этих дурней.

— Дохлое дело, шеф даже связываться не стал. Двое бродяг с востока, что с них взять. Их в каталажке ночь продержали, а утром на границу отвезли и выдворили.

— Вот что бывает, когда гонишься за дешевой рабочей силой. Скупой платит дважды.

— Да нет, это не наши рабочие. Просто шпана какая-то. Два брата, они надумали угнать у нас грузовик.

— Два брата? — переспросил Вилленброк, чувствуя, как у него даже дыхание перехватило. Он внимательно взглянул на инженера. Тот был всего на пару лет его моложе, белокурые или, может, крашеные волосы завивались на уровне ушей нелепой волной — след от строительной каски, которую он, войдя в контору, тут же с себя снял.

— Два брата из Москвы? — уточнил он свой вопрос.

— Да нет, болгары. Или румыны. Сами знаете, кто к нам через границу пробирается.

— Да уж знаю, — кивнул Вилленброк. Он снова уселся за свой письменный стол.

— У вас с этим сбродом неприятностей не было? Такой двор их должен притягивать просто магнитом, вон, машин-то полным-полно.

— Нет, у меня по этой части никаких проблем. — Он твердо посмотрел инженеру в глаза.

— Приятно слышать, — отозвался тот. — Что ж, тогда до среды, господин Вилленброк.

Вилленброк только сердито кивнул. Не вставая, он дождался, пока инженер выедет со двора. Потом схватил зонтик и вышел на улицу. Большими шагами, огибая лужи и ковыляя, как на ходулях, направился к стройке и обошел ее еще раз всю. Недоверчиво осмотрел недавно произведенные работы, тщательно поправляя пленку, укрывшую бетон от дождя. Потом вернулся к себе в контору и стал звонить. Он пытался разыскать комиссаршу, которая приезжала к ним той ночью после нападения. Хотел узнать у нее о ходе расследования, спросить, куда поместили задержанных, какие шаги уже предприняты прокуратурой, скоро ли ему надо будет давать показания в суде и в каком качестве — истца или свидетеля. Но комиссарши нигде не было, его попросили перезвонить через час.

Когда наконец он ее застал и назвался, она тотчас же его вспомнила. Он осведомился, как идет расследование, поинтересовался судьбой двух русских братьев и, поскольку она не сразу ответила, даже спросил, слышит ли она его.

Госпожа Бюлер в ответ как-то нерешительно спросила его, разве он не получил еще письмо из прокуратуры, на что Вилленброк вынужден был сказать, что нет, никакого письма он не получал. Было хорошо слышно, как на том конце провода комиссарша сокрушенно вздохнула, а потом сообщила ему, что он в самое ближайшее время получит письмо занимающегося этим делом прокурора, она же не хочет, да и права не имеет опережать события. Если по прочтении письма у него еще останутся какие-то вопросы, он может ей позвонить.

Этот невнятный и какой-то нерешительный ответ совсем сбил Вилленброка с толку, и он вдруг наобум спросил, а заведено ли вообще уголовное дело. Сколько он понимает, это ведь было покушение на убийство, а в таких случаях, по его сведениям, прокуратура обязана, независимо от заявления потерпевшего, которое он в любом случае непременно подаст, возбудить уголовное дело и начать расследование. Поскольку комиссарша молчала, он спросил, куда поместили обоих задержанных бандитов — они все еще в местной полиции или уже в предварительном заключении. Разволновавшись во время разговора, Вилленброк уже почти перешел на крик.

Содержание обоих обвиняемых под стражей, сообщила комиссарша, попутно то и дело уговаривая Вилленброка успокоиться, признано нецелесообразным. Она умолкла, Вилленброк ждал, когда она продолжит. Не дождавшись, он спросил, что все это значит, он, наверно, просто недопонял. Комиссарша снова сослалась на письмо прокуратуры, которое он вскоре получит, а затем пояснила, что, согласно постановлению ответственного за это дело прокурора, обвиняемые были выдворены из страны и через границу переправлены в Польшу, поскольку, по их собственному признанию, в Германию они проникли нелегально.

— Выдворены? — не веря своим ушам, переспросил Вилленброк внезапно осипшим голосом. — Двоих бандитов, которые чуть меня не убили, вы просто выдворили, и все?

Женщина вновь попросила его не волноваться и призналась, что и сама отнюдь не в восторге от подобного решения, но вынуждена была подчиниться. Ей ничего другого не оставалось, как два дня спустя после задержания отвезти обоих братьев на восточную границу и там с рук на руки передать польским пограничникам с неукоснительным предписанием немедленно переправить их обратно на родину, а именно в город Москву.

Вилленброк тяжело дышал. Сдавленным голосом, уже почти шепотом он спросил, следует ли понимать это так, что русские давно уже снова могли оказаться в Германии и он вправе ожидать нового их визита?

— Я так не думаю, — ответила комиссарша, а потом добавила: — Будем надеяться, что это не так, хотя я не знаю. Это не я решала, господин Вилленброк. К сожалению.

Вилленброк положил трубку. Ему вдруг стало нехорошо, он почти не мог продохнуть. Он раскрыл ладони и с недоумением смотрел, как на них образуются крупные бисерины пота. "Да ты, братец, дрейфишь", — сказал он себе. Потрясенный этой мыслью, он испытал прилив жгучего

стыда и одновременно гнева. Он попытался стряхнуть с себя страх, попробовал даже громко рассмеяться, но вместо этого только поперхнулся и сипло закашлялся.

В тот вечер жена вернулась домой поздно. Вилленброк, стоя на кухне, жарил картофельные оладьи с протертыми овощами. Он накрыл на стол в гостиной, они молча ужинали. Чувствуя на себе неотрывный взгляд жены, Вилленброк вопросительно поднял на нее глаза.

— Ну что, решили? — спросила вдруг жена. — Будем продавать?

Она имела в виду дачу, и он даже покраснел, словно застигнутый врасплох, потому что и сам беспрерывно думал только об их загородном доме, о нападении, о сегодняшнем разговоре с комиссаршей.

— Нет, — только и ответил он. — Это мы обсудим через полгода. Мы ведь так договорились.

— А что пока? — спросила она. — Кому-то ведь надо туда ездить, присматривать за садом, косить траву. А я не хочу. Я боюсь.

— Ну, по теории вероятности, — попытался возразить он, — так сказать, с математической точки зрения это исключено. — Но, запнувшись, взял ее за руку и сказал как можно более спокойным тоном: — Просто нам придется быть поосторожнее, дорогая.

Он решил, что о выдворении обоих русских ничего ей не скажет, во всяком случае пока, чтобы не волновать ее еще больше, хотя и знал, что скрыть это надолго все равно не удастся. Придя домой, он первым делом заглянул в почтовый ящик, но письма из прокуратуры, того письма, о котором говорила комиссарша, там не оказалось. Он не знал, что делать, когда письмо все-таки придет, даже если оно попадет в руки к нему, а не к Сюзанне.

Ночью около двух они опять проснулись. Каждый чувствовал, что другой не спит, но оба лежали молча.

Три дня спустя он известил Юрека, что уйдет на часок, надо на почту зайти и к оптовику. По дороге он остановился возле магазина металлоизделий, чтобы сдать на заточку две пары ножниц. Припарковавшись прямо на тротуаре перед магазином, он подошел к витрине и стал изучать выставленные в ней товары. Заднюю стенку витрины украшали стальной арбалет и пневматическая винтовка, внизу были живописно разложены пневматические пистолеты и ракетницы вперемешку с ножами, патронами в коробочках и газовыми баллончиками для защиты от грабителей, а также собак. Вилленброк долго как завороженный глазел в окно витрины. В первый миг при мысли, что можно купить, взять в руки что-либо из этих дурацких игрушек, он даже растерялся. Вообразив, как берет любой из этих небезопасных предметов и направляет на другого человека, он испытал стыд и ощутил полное безумие подобной затеи. Охотников и заядлых стрелков он всегда презирал, их страсть к каким-то невероятно дорогим, требующим постоянного ухода карабинам и прочим "стволам", их потребность собираться в каких-то клубах, целиться и стрелять по мишеням с изображениями животных и даже людей — все это казалось ему не просто недостойным ребячеством, но и, на его взгляд, таило в себе нечто порочное, имело привкус тяги к смертоубийству, только выдаваемой за игру, да, для него в этом проявлялся инстинкт убийцы, лишь для отвода глаз прикрытый замашками "сильного мужчины".

Он вошел в магазин. И здесь в запертых стеклянных витринах красовалось всевозможное оружие, богато украшенное и на первый взгляд

очень ценное. Под стеклом прилавка было выложено больше дюжины пистолетов. Вилленброк смотрел на них в нерешительности, он не знал, действительно ли все эти столь грозные с виду штуковины подлежат свободной продаже. Тем временем на звон дверного колокольчика появился продавец, высокорослый и какой-то весь кренящийся вперед, будто журавль, он вышел из каморки за прилавком и теперь неторопливо, со скучающим видом приближался к клиенту. Подождал, пока Вилленброк закончит осмотр выставленных в витрине товаров и поднимет глаза, только после этого спросив, что ему угодно. Вилленброк выложил на прилавок принесенные ножницы.

— Вот, затупились, — сказал он. — Надо бы поправить. Вы ведь точите ножницы?

Пожилой продавец извлек из кармана очки и принялся осматривать ножницы.

— Какой же это олух их у вас затачивал? — воскликнул он в негодовании. — Это ж надо, так инструмент запороть!

Вилленброк промолчал. Это он сам несколько дней назад бесславно попытался заточить ножницы у себя в мастерской.

— Через три дня сможете забрать. Но это будет недешево, чтобы их снова в порядок привести, не меньше часа работы нужно.

Продавец оторвал квитанцию и протянул Вилленброку.

— Еще что-нибудь желаете? — спросил он, видя, что Вилленброк все еще не уходит.

— Я не знаю, — честно признался Вилленброк, продолжая осматриваться.

— А вы не торопитесь, — вкрадчиво подбодрил его продавец. Он был на несколько лет старше Вилленброка и, умудренный опытом, спокойно ждал, когда клиент созреет.

— Мне нужно что-нибудь для защиты от грабителей. Понимаете?

Продавец кивнул и указал на витрину прилавка.

— Вы уже думали о чем-нибудь конкретном? Газовый баллончик, сирена, электрошок, сигнальный пистолет?

Он открыл стеклянный ящик витрины, достал оттуда лоснящуюся густым черным цветом дубинку примерно в руку длиной и сунул Вилленброку чуть ли не под нос.

— Триста пятьдесят тысяч вольт, — провозгласил он. — Достаточно просто прикоснуться к любому бандиту, и тот в отключке. У него мгновенно начинаются судороги, он падает и не встает, он в нокауте. Да вы в руку возьмите, примерьтесь.

Вилленброк с недоверием осмотрел дубинку.

— Нет, боюсь, это не для меня. Если грабители вооружены, мне эта штуковина не поможет. Они не станут дожидаться, пока я к ним прикоснусь, они сразу пустят в ход оружие.

Продавец согласно кивнул.

— Тогда вам лучше купить акустическую защиту, вот эту сирену на сто восемьдесят децибел. Эта штука так взревет — потолок обвалится.

— Да, это может пригодиться, если грабитель из пугливых, — согласился Вилленброк. — Только вряд ли разумно на такое рассчитывать. У этих людей нервы обычно крепкие, всякой ерундой их не запугать. — Не зная, на что решиться, он продолжал осматриваться. — Видите ли, — пояснил он наконец, — на меня недавно напали, прямо на моей даче.

Продавец кивнул, но без всякого интереса, даже не удивился ничуть и не стал ни о чем расспрашивать, что Вилленброка слегка возмутило. Он-то предполагал, что его сообщение по-человечески тронет продавца, побудит его отнестись к нему как к покупателю с большим сочувствием, но тот воспринял его слова так, будто слышит подобные вещи каждый день. Может, так оно и есть, подумал Вилленброк. Теперь он был смущен и злился на себя за дурацкое признание. Это его беда, его трудности, и ни одной живой душе нет до этого никакого дела, он должен справляться с этим сам, он и Сюзанна, просто глупо приставать со своими откровенностями к пожилому, абсолютно незнакомому человеку, который, кстати, совершенно правильно себя повел, сделав вид, будто он его и не слушал почти, будто стал невольным соглядатаем чужих интимных секретов и теперь изо всех сил старается показать, что он ничего такого не видал и не слыхал. Мне следовало бы его поблагодарить, сказал себе Вилленброк, из нас двоих он просто лучше умеет соблюдать приличия и старается не замечать ляпов, которые я то и дело совершаю.

Продавец потер небольшой шрам у себя на запястье, потом взял дубинку, все еще лежавшую на прилавке, водворил ее обратно в витрину и глянул на Вилленброка выжидающе.

— По правде говоря, это не совсем то, о чем я думал, — почти извиняющимся тоном пробормотал Вилленброк. Он смущенно мялся.

— Я знаю, о чем вы думали. Но этого я вам продать не могу. Нужно получить разрешение на право ношения оружия.

— А что толку от всех этих детских хлопушек? Ими разве защитишься? Из них только по мишеням палить.

— Тогда вам надо обзавестись собакой, — безучастно посоветовал продавец.

— Правильно. Но жена у меня не переносит собак. У нее аллергия на собачью шерсть.

В конце концов Вилленброк купил маленький пистолетик, точнее говоря, револьвер для сигнальных патронов. Продавец показал ему оружие и объяснил, как его заряжать, как снимать с предохранителя. После чего протянул ему револьвер через прилавок. Беря в руки оружие, Вилленброк почувствовал, что краснеет, и поспешил положить револьвер обратно в картонку. Еще он попросил дать ему одну коробочку холостых патронов и несколько упаковок осветительных ракет, расплатился и быстро вышел.

В машине он раскрыл картонку, вынул револьвер и долго его разглядывал. На корпусе возле барабана по-английски была выбита надпись, предупреждавшая, что владелец первым делом обязан ознакомиться с инструкцией. С другой стороны на том же месте красовался штамп: 9 миллиметров. Боковым зрением уловив возле машины какое-то движение, он поднял голову и увидел прилипшее к боковому стеклу прыщавое лицо мальчугана лет двенадцати, который жадно, во все глаза таращился на револьвер. Положив оружие обратно в картонку, он тронул машину с места. “А ты, однако, начинаешь помаленьку чудить, — сказал он себе. — Или ты всерьез полагаешь, что сможешь направить этот пугач на человека, даже если на тебя нападут? Да ты с перепугу эту штуку и найти-то не сможешь, пока ты до нее доберешься, грабитель десять раз успеет сообразить что к чему и с тем бóльшим ожесточением на тебя набросится. А что, если ты своим рысканьем так его напугаешь, что он за свое оружие

схватится, а уж у него-то оно наверняка не игрушечное. Ты только себе же навредишь, себе же в самом что ни на есть буквальном смысле слова смертный приговор подпишешь. Так что разумней всего остановиться сейчас возле первого же мусорного контейнера и выбросить туда весь этот хлам от греха подальше, пока и вправду до беды не дошло".

Заехав во двор своего авторынка, Вилленброк, прежде чем вылезти из машины, сунул картонку с револьвером в бардачок, а заперев за собой дверцу водителя, на всякий случай тщательно проверил и все остальные. Сидя в конторе, он то и дело почти силой принуждал себя не поглядывать в окно на свою машину. "Похоже, у тебя одной заботой больше стало", — подумал он.

В конце недели вдруг посветлело, а в субботу впервые за долгое время с безоблачного неба засияло солнце, не омраченное даже дымкой марева. Вилленброк накрыл к завтраку на их маленькой, мрамором выложенной террасе за домом. Жену он разбудил только после того, как уже приготовил кофе. Сюзанна, кутаясь в купальный халат, сидела за столом и с наслаждением позволяла мужу себя баловать.

— Нам ведь хорошо, правда? — спросила она.

Вилленброк ответил ей лучезарной улыбкой. Он знал, о чем думает она, и знал, что она знает, о чем думает он, но об этом оба не проронили ни слова. Ему было ясно: когда-то все равно придется принимать решение — продавать им дачу или снова начать туда ездить, и тут он вспомнил о пугаче, который лежит у него в письменном столе, и при этой мысли ему опять стало не по себе.

— Сегодня отличный денек будет, — только и сказал он. — Хорошее предзнаменование для твоего показа мод.

В этот день для некоторых из своих клиентов Сюзанна устраивала в своем бутике презентацию мод, и Вилленброк обещал тоже к ней заехать. Накануне он завез в ее магазин коробки с вином и минералкой, позаимствовал в ближайшем кафе тарелки и бокалы и собирался во время представления помогать жене, обслуживая гостей. Он же всячески уговаривал жену пригласить по такому случаю музыканта для сопровождения показа. Она его высмеяла, спросила, уж не имеет ли он в виду тот духовой оркестр, который дважды играл у него на так называемых днях открытых дверей, когда он устраивал презентации-распродажи, но в конце концов дала себя убедить и согласилась позвать некоего солиста-тромбониста из высшего музыкального училища.

Вилленброк углубился в газету, просмотрел политические комментарии, потом стал листать раздел местных новостей. Он искал маленькое объявление о показе мод в магазине жены, которое сам же недавно заказал. Найдя нужный анонс, он протянул газету Сюзанне. Та прочла текст с радостным изумлением.

— Ну зачем ты соришь деньгами? — спросила она, явно растроганная. — Это же только для моих клиентов. Это не спектакль какой-нибудь. А что я буду делать, если сегодня к пяти народ повалит толпами только потому, что они прочитали объявление в газете и захотят послушать твоего тромбониста?

— В таком случае пусть становятся в очередь и ждут. А я буду продавать билеты и играть роль вышибалы.

Сюзанна ушла в ванную принимать душ, а он остался убирать со стола. Полчаса спустя они отправились на работу. На улицах было еще пустынно, до города они домчались мгновенно. В конце аллеи Граббе, по-

прощавшись друг с другом короткими гудками, они разъехались в разные стороны.

На авторынке все было спокойно, строительные работы так и не возобновились, Юрек в теплице перебирал мотор выставленной на эстакаду машины. Вилленброк только мимоходом к нему заглянул, поздоровался и, поскольку поляк снова молча склонился над мотором, прошел к себе в контору, где потом почти два часа посвятил проекту освещения на солнечных батареях, которое он хотел смонтировать в своем новом торговом зале. В десять часов он залил воду в кофеварку и позавтракал вместе с Юреком купленными по дороге булочками и пирожными. Беседовали они об иностранцах, работающих в Берлине по-черному, и о ценах на аренду квартир. Юрек два года снимал квартиру на пару со своим земляком, но с прошлого месяца решил жить один и подыскал себе маленькую однокомнатную квартиру, за которую, однако, платил теперь почти вдвое дороже.

— Ну выжиги, — отозвался Вилленброк о хозяевах этой квартиры.

— Э-э, шеф, вы не различаете, где овца, а где тулуп, — возразил Юрек. — Когда столько шпаны через границу прет, цены, ясное дело, тоже вверх полезут. Просто их слишком много, шеф. Они все сомнут.

Говоря это, он возмущенно раскинул руки, в одной из которых нелепо зависла в воздухе надкусанная булочка.

— Ничего, главное, мы с тобой, ты да я, в сыте да в холе сидим, правильно? — Вилленброк рассмеялся.

— Нет, слишком уж их много. Все или имеет свою границу, или идет прахом. Для чего вообще граница, если на самом деле ее нет?

— Скажи это твоему квартирному хозяину, Юрек. Может, он тебе как доброму немецкому патриоту скидку сделает.

— Он немцам вообще не сдает.

— Значит, умный мужик, верно? Уж он-то, как ты выражаешься, различает, где овца, а где тулуп.

— Страна летит к черту, шеф. Вот увидите.

— Возьми лучше еще одно пирожное, Юрек. А то засохнут до понедельника.

Час спустя Вилленброк вышел из своей бытовки и направился к Юреку, увидев, как тот, стоя возле одной из машин перед открытым капотом, что-то объясняет троим посетителям. Один из них мечтательно, почти нежно поглаживал новое сверкающее лаком покрытие и хромированные детали облицовки. Когда Вилленброк подошел, Юрек указал на него мужчинам и представил как шефа авторынка. Все трое глянули на него, кивнули и снова повернулись к машине. Юрек рассказывал им о замененных деталях мотора, о новых покрышках. Вилленброк послушал какое-то время, потом пошел к воротам, достал из почтового ящика почту и вернулся к себе в бытовку просмотреть пришедшую корреспонденцию. Из окна он видел, как Юрек показал клиентам еще две машины, потом те откланялись и ушли.

Когда немного погодя Юрек постучался и просунул голову в дверь, Вилленброк вопросительно поднял на него глаза.

— Это были немцы, шеф, — доложил ему поляк.

Вилленброк смотрел на него, ничего не понимая.

— Ну, я это к тому, что это ваши соотечественники были, — пояснил Юрек. — В том смысле, что не русские, так что все в порядке. Не то я бы сразу дал вам знать.

Сказав это, Юрек прикрыл за собой дверь и сошел вниз по ступенькам. Вилленеброк уже злился на себя за то, что рассказал поляку о нападении. Ему казалось, сейчас тот его подловил, ибо в последние дни и правда, едва только во дворе появлялись клиенты и, слоняясь между рядами выставленных на продажу машин, начинали переговоры с Юреком, он выходил из конторы и старался невзначай посмотреть, кто к ним пожаловал, — теперь ему было унизительно сознавать, что от Юрека, похоже, это не укрылось. Между тем его выгоняло из бытовки странное, труднообъяснимое чувство — то ли страх, то ли, скорее, боязливая надежда снова увидеть того парня, что посмел вторгнуться в его жилище и избивать его, хозяина, его же собственной железной кочергой. А может, это все еще было нехорошее предчувствие, в котором он и сам себе боялся признаться, — что этот парень и его сообщники выкрали ключи не просто так, а с умыслом и в один прекрасный день объявятся на его авторынке. Его всякий раз бросало в жар от одной этой мысли, дыхание учащалось, едва только он представлял себе новую встречу с человеком, который его избивал. Да, его охватывал почти панический страх — и в то же время он втайне мечтал об этом свидании. Эти мысли посещали его внезапно и неотвратимо, как наваждение, снова и снова перед его внутренним взором разворачивались сцены их новой встречи, и он видел, как теперь уже сам избивает этого человека, всаживает в него нож, ранит его, потом связывает... Ему были неприятны эти фантазии, его в пот от них бросало, и в то же время ему от них становилось легче, он испытывал удовлетворение, муча этого человека, всею сладкою силой воображаемой мести расквитываясь с обидчиком за каждый нанесенный удар. Эта схватка, снова и снова с бесконечными вариациями разыгрывавшаяся в его сознании, схватка, во время которой он, переходя от вынужденной обороны в яростное наступление, бил и бил своего противника, бил ожесточенно, до крови и в кровь, бил даже тогда, когда тот, поверженный, уже лежал, уже был связан, уже терял сознание, — эта схватка удовлетворяла его почти как соитие, фантастические картины этой неистовой самообороны изматывали его даже физически. Когда он приходил в себя, когда видения страха и постыдной беспомощности отпускали его, ему становилось стыдно. Он дивился самому себе, причудам своего сознания, пугался закипающей в нем ненависти и всепоглощающей жажды мести. Однако эти ночные и дневные грезы вспыхивали в нем снова и снова, внезапно и с неослабевающей остротой и захватывали его всего, без остатка. Он задавался вопросом, не мучит ли что-то похожее и Сюзанну, но не отваживался ее спросить, да и ей о своих бредовых видениях, о навязчивом своем сумасбродстве поведать боялся.

И вот теперь, когда поляк сказал ему, что это были немцы, он разозлился, словно Юрек уличил его в самых сокровенных тайных помыслах.

Полчаса спустя он наблюдал, как Юрек вместе с очередным посетителем прохаживается между рядами машин. Клиенту было за пятьдесят, сквозь жиденькие волосы уже просвечивала лысина. Когда Юрек вдруг обернулся и посмотрел в его сторону, Вилленброк отпрянул от окна.

Не дожидаясь обеда, он отпустил поляка домой. Написал записку для Пазевальда, прикрепил ее к двери с внутренней стороны, потом запер бытовку и поехал домой, чтобы переодеться и отправиться к Сюзанне на показ мод.

13

В этот послеобеденный час в городе было тихо, улицы будто вымерли, лишь изредка проскакивала навстречу машина, пешеходов не было видно совсем. Он поставил машину неподалеку от магазина жены, приткнувшись в хвост кабриолету, владелец которого, на полную громкость врубив радио, натягивал на свое авто гармошку брезентовой крыши.

Двери бутика были распахнуты настежь, Вилленброк остановился на пороге, в нерешительности оглядел помещение, по которому бродило только несколько посетителей, и, не отыскав Сюзанну, в легком замешательстве поправил у себя на шее столь непривычный ему галстук. Впрочем, навстречу уже шла молоденькая девушка, вопросительно на него глядя. Он спросил госпожу Вилленброк, и девушка пообещала ее позвать. Он хотел было сказать, что это не требуется, но девушка уже отвернулась. Он молча пошел за ней следом мимо рядов расставленных стульев и трех посетительниц, которые, завидев его, прервали беседу и с интересом проводили его взглядами.

Маленький торговый зал было не узнать, прилавок, придвинутый к стене, был накрыт белой скатертью, на нем стояли бокалы для вина и воды, а также тарелочки с орешками и соленым печеньем. Исчезли вешалки на колесиках с развешанными на них пальто и костюмами, жакетами и блузками, вместо этого напротив стола в два ряда были расставлены складные стулья, между ними и столом образовался проход, ведший к двери в заднее служебное помещение, сегодня отделенное от торгового зала занавеской из нитей искусственного жемчуга.

За этой занавеской девушка и скрылась, Вилленброк остался стоять перед стеной разноцветных жемчужных бус, и тут он услышал голос жены. Сейчас этот голос звучал иначе, чем он привык его слышать, энергичнее, тверже, в нем не было того оттенка осторожности, сомнения и легкой, с ноткой неуверенности в себе иронии, который обычно лишал однозначности любую фразу жены, сообщая ее словам едва различимый налет каких-то других, не высказанных и недосказанных смыслов. Она говорила коротко, энергично, с отчетливой точкой в конце каждого предложения, тогда как в разговорах с ним заканчивала фразу скорее с призвуком многоточия, а то и вовсе вопросительного знака.

"Да она здесь шефиня! — сказал он себе. — Значит, есть другая Сюзанна, женщина, которую я никогда прежде не знал, которая умеет распоряжаться, что-то совершенно самостоятельно решать и, похоже, вообще не ведает сомнений, в ней, пожалуй, есть даже какая-то неприятная властность — короче, все то, что и требуется хозяйке любого, даже такого смехотворно маленького магазинчика. Есть, оказывается, совсем другая Сюзанна, совершенно не знакомая мне женщина, и я даже не уверен, хочу ли я с ней знакомиться, есть женщина, которую я, прожив с ней больше десяти лет, не знаю, к которой меня, наверно, даже не очень-то и влечет, с которой меня не очень-то тянет лечь в постель. Но магазин свой она, похоже, крепко держит в руках".

Три дамы, стоявшие возле стола с бокалами в руках, уже от него отвернулись и снова углубились в беседу. Причем все они говорили одновременно, во всяком случае, Вилленброку так показалось, он даже мысленно удивился, как это каждой из них удается одновременно и говорить без умолку, и в то же время хотя бы отчасти слышать, что тараторят две другие. С веселым изумлением наблюдал он за этой, как

ему казалось, совершенно невероятной сноровкой, на которую, сколько он мог судить по опыту, способны только женщины, только у них есть этот особый талант, чтобы не сказать дар, настолько сокращать интервалы между высказываниями, что грань между "до" и "после" как будто вовсе исчезает. Вилленброк вспомнил о переводчицах, которых время от времени видел по телевизору, когда на какой-нибудь конференции или во время государственного визита требовался перевод. Он тогда старался оратора вообще не слушать, его не интересовало, что там изречет очередное важное лицо, а вот за переводчицами следил во все глаза. Все его внимание сосредоточивалось исключительно на них, на их способности переводить то, что они практически в эту же секунду слышат и смысл чего они, по сути, могли уловить лишь по окончании предложения, они же каким-то образом исхитрялись разгадать этот смысл вроде как заранее и то же самое предложение почти одновременно довести до конца, но уже в переводе на другой язык, да еще так, что оно вполне соответствовало и разворачивающейся, так сказать, по ходу речи мысли оратора, и требованиям другого языка, причем попутно они успевали отважно вставить в переводимое предложение те неожиданные повороты и оттенки смысла, которые заранее предугадать не смогли. А при этом, доведя до вполне связного конца только что переведенную фразу, переводчица должна была, поскольку до пауз между предложениями высокие зарубежные гости снисходили редко, воспринять и запомнить уже следующие слова оратора, чтобы каким-то мигом позже и их перевести на другой язык. Вилленброк обратил внимание, что эту, такую неприметную и трудную работу почти всегда выполняли женщины.

На секунду его осенила странная идея попросить трех дам, что так оживленно, то и дело перебивая друг друга, между собой беседуют, переводить все, о чем они говорят, на любой другой доступный им иностранный язык, желательно синхронно. Он не сомневался, они вполне с этим справятся, и только проблематичность перспективы объяснять дамам свою экстравагантную прихоть его отпугнула. Так что он остался стоять рядом, прислушиваясь к пулеметной трескотне голосов, из которой лишь изредка выхватывал и понимал слова два-три, не больше.

— Как мило, что ты пришел, — раздался рядом голос Сюзанны.

Рукой отодвинув занавеску из жемчужных бус, она испытующе оглядела мужа с ног до головы. Вилленброк гордо ткнул пальцем в свой галстук.

— Займись, пожалуйста, напитками. Можешь уже откупоривать вино и подавать минералку. Все стоит вот тут.

Она кивнула в сторону девушки, которая встретила Вилленброка у входа.

— Это Катрин, моя помощница. Она сегодня у нас главная звезда, модели будет показывать. А это господин Рик, тромбонист.

Вилленброк кивнул обоим. Тромбонисту было за пятьдесят, это был рослый плечистый детина с растрепанной и довольно длинной, по самую грудь, бородой. На нем была пестрая ковбойка навыпуск и джинсы, через ремень которых сбежавшим тестом вываливался живот. Вилленброк взял бутылки и спросил у тромбониста, не желает ли он бокал вина.

— А пива для меня у вас не найдется? — спросил тот громовым голосом.

Вилленброк глянул на жену, та с сожалением пожала плечами.

— Тогда давайте вина. Все равно какого, лишь бы у меня во рту не пересохло.

С этими словами он поднес к губам, почти неразличимым в дебрях его пегой, уже с проседью бороды, мундштук от тромбона и принялся энергично его продувать. Вилленброк откупорил бутылку вина, налил полный бокал и поставил возле музыканта на письменный стол. Он и девушке предложил вина, но та только покачала головой. Затем, прихватив с собой две бутылки вина и ящик минералки, он вышел в торговый зал. И первым делом спросил у трех дам, не желают ли они еще чего-нибудь выпить.

— Пожалуй, вина, — ответила одна из них.

— Но только совсем немного, буквально глоточек, пожалуйста, — добавила другая. — На дворе еще ясный день, я в такое время не пью. А вы супруг госпожи Вилленброк?

Он молча кивнул и налил дамам вина.

Вскоре после четырех его жена вместе с тромбонистом вышла в торговый зал. Здесь к этому времени уже устроились на стульях восемь дам и один мужчина, во втором ряду все места были заняты, в первом четыре еще пустовали. Все женщины были средних лет, но накрашенные и расфуфыренные. Когда Сюзанна оказалась перед публикой, она заметила на трех из присутствующих дам костюмы, купленные в ее бутике, и постаралась приветствовать их особенно теплой улыбкой. Единственному в зале мужчине было за шестьдесят. Он гордо поблескивал совершенно голой, но очень загорелой лысиной. На нем был светлый летний костюм с жилеткой, и, похоже, он явно наслаждался тем, что помимо Вилленброка он тут единственный представитель сильного пола. По части загара, впрочем, ему нисколько не уступала его спутница. Ее крашеные белокурые волосы были пышно взбиты, под прозрачной блузкой просматривался черный бюстгальтер, оригинально сочетавшийся с широкой летней юбочкой выше колен. Она была намного моложе своего кавалера и с явным удовольствием принимала его ухаживания и неприкрытое обожание. Пока он что-то ей говорил, не сводя с нее восхищенных глаз, она неотрывно смотрела куда-то вдаль, а если и отвечала ему, то только коротко и односложно, не поворачиваясь в его сторону, а продолжая смотреть вперед и лишь легким, едва заметным движением чуть склоняя к нему надменную головку.

Сюзанна приветствовала всех гостей, каждого назвав поименно, к загорелой паре она обратилась как к господину и госпоже Пульман. Потом представила Рика, тромбониста, попросила его начать выступление и заняла место в первом ряду. Вилленброк, все это время стоявший возле стола с напитками, теперь сел с ней рядом. Музыкант нехотя сделал три шага вперед, его пузо мощно колыхнулось, закрывая собой ремень джинсов, чей потрепанный вид некоторых посетительниц явно озадачивал, о чем красноречиво говорили их многозначительные переглядывания. Он раздул щеки, потом медленно и более чем внятно выпустил из них воздух, несколько раз неуклюже мотнув головой, что, очевидно, следовало понимать то ли как поклоны публике, то ли уже как подготовку к самому номеру, указание на трудность стоящей перед ним художественной задачи. После чего вдруг молниеносно вскинул тромбон, прижал его к губам и начал свое соло истошным, душераздирающим завывани-

ем, для воспроизведения которого он почти полностью выдернул из тромбона кулису и тут же задвинул ее обратно. Зрительницы, только что оживленно друг с другом болтавшие, разом испуганно вздрогнули на своих стульях и ошеломленно уставились на толстого человека, дудящего что есть мочи. Одна из них, полноватая дама в первом ряду, оглянулась на жену Вилленброка, в глазах у нее было написано не столько возмущение, сколько недоумение и растерянность. Сюзанна схватила руку мужа и сжала ее, в оцепенении уставившись прямо перед собой.

За первым, протяжным зовом тромбона последовал каскад отрывистых, отчетливо контрастирующих друг с другом звуков, объединенных, однако, общим, весьма энергичным ритмом. Затем Рик на секунду оторвал инструмент от губ, громко отбивая тот же ритм мощным топотом обеих ног, чтобы в следующей руладе тромбона показать уже весь диапазон его звуковой мощи. Глаза его закрылись и, казалось, полностью сосредоточились на партитуре перед его внутренним оком. Тут вдруг гром тромбона резко смолк и сменился тихими, почти нежными звуками, но ритм по-прежнему оставался стремительным и рваным. Потом в этой какофонии стали прорезаться фрагменты узнаваемых мелодий, детская песенка, национальный гимн, баховская кантата, но и эти, вполне сдержанно исполненные мелодические фрагменты оборвались так же внезапно, как и возникли. Небрежно поместив тромбон на сгибе левой руки, Рик играл на одном мундштуке, но вскоре отнял от губ и мундштук и теперь, раздувая щеки и попыхивая ртом, только имитировал звуки тромбона голосом, не переставая, однако, громко отбивать такт правой ногой.

Вилленброк как можно дальше откинулся на своем стуле, чтобы видеть реакцию присутствующих. Дамы в первом ряду сидели окаменев. Время от времени то одна, то другая из них устремляла в сторону Сюзанны изумленный, ничего не понимающий, ошалевший от ужаса взгляд, но жена Вилленброка упорно не отрывала глаз от тромбониста, лишь бы не замечать возмущенных, оторопелых взоров своих клиенток. Она как вцепилась в руку мужа, так и не выпускала ее.

Крашеная блондинка во втором ряду смотрела на потуги толстого взмокшего музыканта без всякого выражения. Уши она прикрывала ладонями, плотно прижав руки к туловищу и не раскрывая судорожно сомкнутого рта. Было не вполне ясно, для чего она прикрывает уши — то ли в знак недовольства музыкой, чтобы защитить свои барабанные перепонки от диссонансов, то ли, наоборот, чтобы лучше ее слышать и оградить слух от посторонних звуков. Ее лысый спутник откинулся на стуле и почти лежал, вытянув ноги далеко перед собой: происходящее явно забавляло его. Заметив, что Вилленброк на него смотрит, он с удовлетворенной и даже признательной ухмылкой ему кивнул.

Еще две дамы зажимали уши уже демонстративно. Одна из них смотрела не на тромбониста, а неотрывно и только на Сюзанну, и вид у нее был почти оскорбленный.

Музыкант тем временем снова надел на инструмент мундштук и теперь трубил, как слон, то и дело откидываясь назад всем корпусом и задирая тромбон к потолку. Наконец, увенчав очередную руладу протяжной каденцией, он оторвал тромбон ото рта и дал волю своему басу, который то громче, то тише тянул и тянул одну и ту же ноту. Затем Рик умолк, но глаза его все еще оставались закрытыми. Публика терпеливо ждала, не зная, закончил он свое соло или его молчание — только пауза,

после которой он опять ошеломит всех каким-нибудь притопом, новым взвизгом или художественным пыхтением и хрипом. Тромбонист открыл глаза, неуклюже и часто покивал головой, извлек из кармана джинсов красный в клетку носовой платок и основательно, не торопясь стал отирать им пот со лба, затылка и шеи.

Раздались очень сдержанные хлопки. Собственно, из присутствующих только мужчины аплодировали по-настоящему. Несколько дам вяло двигали руками, имитируя аплодисменты, но их ладони едва соприкасались друг с другом. Те, что зажимали уши, теперь опустили руки на колени, причем одна из них с явным недовольством обернулась на аплодисменты мужчин. Кто-то громко облегченно вздохнул, и публика одобрила этот вздох с неприкрытым злорадством. Даже с лица Сюзанны сошла судорога напряжения, она с благодарностью кивала тромбонисту. Поднявшись и продолжая на ходу аплодировать, она подошла к музыканту.

— Это событие, — сказала она. — Вы настоящее событие, господин Рик.

Тромбонист удовлетворенно кивнул.

— Это было необычайно, — продолжала она, — это было поразительно, а для некоторых из наших гостей, пожалуй, даже ошеломляюще. Слишком новаторски и, рискну сказать, слишком уж нетрадиционно.

— Да уж, здесь не "Метрополитен-опера", это я успел заметить. Совсем другая публика, это уж точно, — буркнул музыкант.

Он небрежно поклонился слушателям, которые по-прежнему смотрели на него молча и неодобрительно, потом извлек из тромбона кулису, без малейшего смущения вытряхнул набежавшую в нее слюну прямо на пол и, зажав разобранный инструмент под мышкой, нырнул сквозь жемчужную занавеску в соседнюю каморку. В тот же миг оттуда раздался короткий сдавленный вопль, и все головы как по команде повернулись в ту сторону. Сюзанна, собравшаяся было снова приветствовать своих гостей, осеклась и тоже оглянулась. Занавеска отодвинулась, с пылающим лицом, в левой руке держа бутылку вина и стакан, а правой делая успокоительные жесты в сторону публики, из комнатки показался музыкант, который, смущенно пыхтя и громко отдуваясь, взял из первого ряда стул, отнес его к стене в дальний конец зала и там уселся.

Сюзанна поблагодарила гостей за то, что те пришли, и сказала, что теперь, после музыкального вступления — тут она назвала и фамилию Рика, и высшее музыкальное училище и симфонический оркестр, в которых он сотрудничает, старательно избегая, однако, хоть словом обмолвиться о самом его соло, — после музыкального вступления она хотела бы с помощью своей очаровательной молодой помощницы, чьи старания, как она надеется, будут по достоинству оценены публикой, представить дамам и господам некоторые из недавно поступивших моделей, полагая, что те будут встречены с несомненным интересом. Эта маленькая презентация, разумеется, никакая не демонстрация мод, просто ей хотелось показать самым постоянным, многолетним своим клиентам новоприобретенную коллекцию не в рабочее время, ну а помимо этого и прежде всего главным ее желанием было провести несколько часов в общении с давними, самыми верными своими покупательницами, которые за эти годы стали ей подругами. С ними, равно как и с их спут-

никами жизни, добавила она, слегка поклонившись в сторону лысины во втором ряду.

С помощью пульта дистанционного управления она включила стереоустановку, из динамиков грянула типичная фоновая музыка, Сюзанна, лихорадочно нажимая на кнопки, убавила громкость. Господин Рик из своего угла издал более чем внятный стон. Сюзанна подошла к занавесу, отодвинула его и попросила Катрин показать им первую модель.

Девушка вышла нерешительно, она как-то затравленно озиралась. Волосы ее теперь были стянуты в тугой узел. Завидев тромбониста, она залилась краской стыда, очевидно, тот застал ее в полуголом виде за переодеванием, когда понес свой инструмент в заднюю комнату. Сюзанна взяла ее под руку и мягко направила к проходу между публикой и столом.

На Катрин был голубой летний костюм, явно пошитый на женщину с более полной фигурой, — девушка с большим трудом, только за счет широко расправленных плеч, кое-как удерживала его на себе. Пока она дважды медленно прошлась туда и обратно, Сюзанна давала пояснения относительно этой модели, но прежде чем она успела закончить, застенчивая девушка ко всеобщему удивлению уже юркнула обратно за жемчужную занавеску.

Небольшая пауза, предшествующая показу следующей модели, была неизбежна, ведь Катрин демонстрировала модели в одиночестве и к тому же сама переодевалась, так что Сюзанне пришлось заполнять перерыв болтовней с гостями, заодно попросив мужа обнести всех водой и вином.

Показ продолжался минут сорок пять, и всякий раз Катрин демонстрировала модели, которые явно были ей велики. Она наскоро подгоняла их на себя с помощью булавок, а несовпадение размера изо всех сил старалась компенсировать неестественной прямотой осанки. Гости сопровождали показ каждой модели аплодисментами, особенно сердечными и великодушными как раз в тех случаях, когда девушке приходилось сражаться с туалетами совсем уж необъятной величины и она, с пунцовыми от напрасных усилий щеками, стоически расхаживала в них перед гостями.

Особенно горячо аплодировал бодрячок с загорелой лысиной. Хотя с женой своей он говорил исключительно о демонстрируемых нарядах, нетрудно было заметить, что на самом-то деле ему нравится молоденькая, хорошенькая продавщица. Когда он пытался внушить своей супруге, почему та или иная модель должна ей пойти, по некоторым мелким оговоркам становилось понятно, что восхищает его не столько сам туалет, сколько его, так сказать, носительница. Жена слушала его молча, крепко сжав слегка выпяченные губы и отвечая исключительно и только едва заметным, но непререкаемым покачиванием головы, причем все это время она неотрывно глядела прямо перед собой, не соизволяя даже повернуться к своему благоверному и удостовериться, принял ли он к сведению ее неодобрение.

Зато другие дамы, причем чем дальше, тем больше и чаще, не скупились на комментарии — преодолев начальную скованность, они теперь разговорились и вскоре уже настолько оживленно болтали друг с другом, что Сюзанне приходилось умолкать, прерывая свои пояснения, а

во время перерывов ей не только не нужно было развлекать гостей, но можно было даже помочь Катрин при переодевании.

После того как представление закончилось, Сюзанна пригласила клиентов и клиенток побыть еще немного ее гостями и воздать должное не только напиткам, но и приготовленным закускам.

Лысый из второго ряда немедленно встал, решительным, размашистым шагом направился к столу, взял из стопки тарелку и быстро, без малейшего стеснения, чуть ли не доверху наполнил ее тартинками. Две дамы тем временем уже направлялись к Сюзанне, желая высказать ей свою признательность за представление.

— Спасибо, огромное спасибо, — заворковала одна, хватая руку Сюзанны и норовя ее пожать, — это было прелестно.

На ней была шляпка кремового цвета, а шею украшало множество разноцветных бус.

— Знаете, она просто сокровище, наша Сюзанна Вилленброк, бесценное сокровище, — обратилась она к стоящей рядом другой даме. После чего схватила тарелку и аккуратно, кончиками пальцев подцепила с блюда пирожок из слоеного теста.

Тромбонист тем временем неуклюже поднялся и с бокалом вина в руке вразвалку направился к Сюзанне, тяжело пыхтя и громко на ходу отдуваясь. Обе дамы, стоявшие подле Сюзанны, обменялись многозначительными взглядами и мгновенно ретировались.

— В чем дело? — осведомился музыкант. — Я ведь вроде еще раз должен был сыграть, когда малютка с показом управится.

— У нас небольшое изменение в программе. По-моему, всем нам сперва не мешает подкрепиться. Угощайтесь, господин Рик, прошу вас.

— А играть мне когда?

— Ну, об этом мы еще поговорим.

— Что такое? Я что, напугал ваших дам? Они не хотят больше меня слушать?

— Мы еще обо всем поговорим, господин Рик. Но сейчас мне надо заниматься гостями.

Она отвернулась, быстро подошла к одной из клиенток и заговорила с ней. Трубач отхлебнул солидный глоток из бокала и, прежде чем проглотить, долго перекатывал вино во рту. Обведя скучливым взглядом окружающих, он взял с тарелки несколько тартинок и одну за другой отправил в рот. Потом отыскал глазами Катрин и с полным ртом направился прямо к ней.

— Вы были восхитительны, детка. Мне очень понравилось.

Девушка смутилась, покраснела и с робкой улыбкой поблагодарила.

— Нет, правда. Вы просто высший класс. Слишком хороши для этого сборища. Бисер перед свиньями, вы ж понимаете.

Катрин вскинула на него широко распахнутые глаза и с испугом оглянулась, не слышит ли их кто-нибудь.

— Извините, но меня зовет хозяйка.

— А как насчет того, чтобы увидеться сегодня попозже? Кофейку попить?

— Простите, у меня еще дела.

Высвободив руку, за которую он уже успел ее цапнуть, Катрин направилась к Сюзанне, которая и правда беспокойными, нервными жестами подавала ей какие-то знаки.

Некоторые из гостей уже снова усаживались на свои места, прихватив с собой тарелки, бокалы и ставя их кто на свободный стул рядом, а кто и просто на пол. Вилленброк с двумя бутылками в руках расхаживал по залу, подливая вино. Лысый, снова заняв место возле своей блондинки, ни слова не говоря протянул ему свой бокал. Когда Вилленброк ему налил, он осведомился, уж не супруг ли он владелицы магазина. После чего, поставив бокал на стул рядом с собой, поднялся, протянул Вилленброку руку и представился. Его фамилия Пульман, сообщил он, он тут вместе с женой, клиенткой этого магазина. Он сегодня первый раз в этом бутике, и ему здесь нравится. Ему очень симпатична жена Вилленброка, он уважает женщин, способных открыть свое дело, проявить энергию, фантазию и вообще постоять за себя.

Вилленброк кивал.

— Моя жена любит покупать здесь вещи. Потому что у вашей супруги есть вкус. Что бы моя дражайшая половина отсюда ни притащила, мне всегда нравится. А мне, знаете ли, не так-то просто угодить, я, если верить ее словам, вечно найду к чему придраться. Но, видите ли, я сам поставляю качественный товар и покупаю такой же. Поэтому мне и магазин этот нравится. А вы тоже из мира моды?

— Нет, — отозвался Вилленброк, но, поскольку Пульман застыл в ожидании и даже рот приоткрыл, словно готовясь проглотить его ответ, добавил: — Я больше по части машин. Торговля автомобилями.

Лысого его ответ более чем удовлетворил. Он покровительственно притронулся к плечу Вилленброка и радостно ему кивнул. Потом воздел указательный палец вверх, чуть ли не сунув его Вилленброку в нос, и наставительно изрек:

— Всякой печке свои дровишки. Корове нужен выпас, если хочешь ее доить, верно?

— А вам понравилось? — обратился Вилленброк к его блондинистой жене. Та встрепенулась и широко распахнула глаза, до этого сонно прикрытые. Она смерила его изучающим взглядом, но ничего не ответила, так что растерянному Вилленброку пришлось спросить еще раз: — Что-нибудь из нарядов вам приглянулось?

— Этот шум, — проговорила она наконец, — этот чудовищный шум.

— Какой шум, сударыня? — не понял Вилленброк и предупредительно к ней наклонился.

— Мне шум очень понравился, — поспешил перебить ее муж. — Этот парень свое дело знает, инструментом он владеет просто виртуозно.

— Это был шум, — упрямо повторила его супруга. И, выпятив, словно для поцелуя, свои губки, обиженно отвернулась.

— Разумеется, это был не Моцарт, дорогая, но тоже очень мило. Мне лично музыка понравилась.

Лысый сел подле жены и ласково потрепал ее по руке, явно пытаясь задобрить. Но та упорно отворачивала от него головку и дулась, словно ребенок. Она была лет на пятнадцать, если не на все двадцать моложе супруга и, похоже, всеми силами старалась эту разницу в возрасте усугубить, щеголяя вздорными манерами и кривляньями капризной девчонки. Говорила она писклявым, каким-то птичьим, по-детски ломаным голосом, юбку напялила не по годам коротенькую и вообще во что бы то ни стало требовала от мужа обожания в духе первой школьной любви. При этом и весь вид ее, и странное поведение, и наряд, и даже взбитые волосы — все это ее, по крайней мере в глазах

Вилленброка, скорее старило. Неуместность всех этих деталей, их несоответствие возрасту настолько Вилленброку мешали, что эффект получался обратный, в глаза бросались именно эти диссонансы и несообразности, и он видел отнюдь не чаемый дамой юношеский облик, а разрушительную работу минувших с той поры десятилетий — выходило, что столь назойливо подчеркиваемый флер юности оттеняет и акцентирует как раз то самое старение, которое дама всеми правдами и неправдами стремилась скрыть. Вилленброка, который в своем роде был знатоком женских надежд и желаний, правда с уклоном не столько в мир тонких женских чувств, сколько в сферу более простых условных знаков взаимного согласия и сговорчивости, эта пожилая блондинистая девочка скорее забавляла, чем волновала и влекла. Признавшись, что музыкальная часть вечера целиком на его совести, ибо это он заставил жену пригласить тромбониста, он вежливо откланялся и двинулся дальше, высматривая, у кого из гостей пустой бокал, дабы тут же снова его наполнить.

Он поймал на себе взгляд Сюзанны, которая давно ждала, когда он на нее взглянет, чтобы глазами поблагодарить его за помощь, но в ее улыбке была и доля похвалы его внешнему виду: Вилленброк редко носил костюм, а галстук вообще никогда, несмотря на то, что жена частенько уговаривала его одеться понаряднее и старалась поощрить его тщеславие, всякий раз отмечая, как идет ему костюм, когда он в таковой облачался. Сейчас она беседовала с двумя дамами, стараясь выспросить их мнение относительно представленных моделей, однако дамы, упомянув о моделях в двух словах, снова и снова принимались обсуждать тромбониста, которого, как одна из них шепнула Сюзанне, они находили совершенно омерзительным типом.

— Если этот ужасный человек опять начнет дудеть, я буду вынуждена немедленно вас покинуть, — страстно шипела ей другая, когда Вилленброк к ним приблизился, — может, он невероятно выдающийся, и подозреваю, что вы, дорогуша, выложили за этот рев кучу денег, но я, знаете ли, человек другого поколения. Искусство не всегда должно быть просто развлечением, я сама знаю, поверьте, мне и так достаточно долго это вдалбливали. Но в наши дни вообще принято считать — чем скучнее искусство, тем оно ценнее. Это все выдумки современных художников, это они придумали и нам всем внушили, чтобы мы подобной вот галиматьей восторгались. Но ежели это новомодное искусство вредит моему здоровью, я встану и уйду, пусть даже рискуя прослыть невеждой.

— Мне тоже не понравилось, но ведь он играет в "Метрополитен-опера", — вставила другая дама, помоложе.

— Ах, бросьте. Подумаешь, "Метрополитен". Сегодня это ничего не значит.

Сюзанна собралась было робко вступиться за тромбониста, но возбужденная дама не дала ей рта раскрыть и зашипела, прежде чем Сюзанна хоть слово успела вымолвить:

— А что касается ваших моделей, милочка, то мне придется на неделе зайти к вам еще раз. После того как этот жуткий дудочник напрочь меня оглушил, я вообще ничего не видела и не слышала. Просто ничего, понимаете, я уже решительно ничего не воспринимала. Нет, меня вы этим не совсем осчастливили, дорогая.

Тут она повернулась к Вилленброку, стоявшему в шаге от нее, милостиво ему кивнула и сказала:

— Да, воды я выпью с удовольствием. Только будьте так любезны, принесите мне, пожалуйста, и стакан.

После того, как Вилленброк подал ей стакан, жена представила его дамам как своего мужа. Обе женщины стрельнули в него быстрыми любопытными взглядами, — "птичьими", как отметил про себя Вилленброк.

— Как это мило с вашей стороны, что вы помогаете вашей очаровательной жене, нашей маленькой неутомимой труженице, — засюсюкала дама помоложе. Очень полная, почти толстуха, она держала в руке кружевной носовой платочек, то и дело отирая им пот со лба и шеи.

— Ну что, мне поговорить с тромбонистом? — спросил Вилленброк у жены. Издав стон и молитвенно сложив на груди руки, та неистово закивала.

— Это не тромбонист, — угрюмо заявила дама, вытребовавшая у Вилленброка стакан, — это террорист.

— Что делать, современное искусство, — мягко заметил Вилленброк. В его устах это было даже не объяснение, а скорее просьба отнестись с пониманием если не к самому выступлению, то хотя бы к Сюзанне, решившейся пригласить на свою презентацию музыканта, но обе дамы накинулись на него как фурии.

— Молодой человек, — заявила та, что постарше, даже не пытаясь больше шептать или хотя бы понизить голос, — вы меня искусству не учите. Мой муж был директором музея, я всю свою жизнь с искусством дело имею. Но с подлинным искусством. С картинами, с литературой, с музыкой. С настоящей музыкой. А настоящая музыка и какофония какого-то самоучки — это вещи разные.

Вилленброк огорченно передернул плечами и оглянулся на тромбониста.

— Это моя вина, — признался он. — Только моя и ничья больше. Это я уговорил Сюзанну.

Он бросил взгляд на жену, снова пожал плечами и пошел дальше обслуживать других гостей. В открытых дверях магазина стояли три девчонки-малолетки. Вилленброк предложил им войти, но они только рассмеялись, причем две из них дружно постучали себя по носикам, что, очевидно, что-то должно было означать, он только не понял что.

— Клевая была музыка, — заявила одна из этих пигалиц. — Прикольный мужик, и трубит классно.

Тромбонист стоял неподалеку от оконной витрины, ухватив Катрин за локоть и что-то ей внушая. Вилленброк направился было к нему, но его уже опередила та самая пожилая дама, которая только что беседовала с Сюзанной и так возмущалась его музыкой. Теперь она устремилась к самому господину Рику и вступила в беседу с ним.

— Что это было, что это вы нам сегодня играли? — спросила она саркастическим тоном, с трудом сдерживая свой праведный гнев. — Кто композитор?

— Это была композиция "Санс-нон-санс" номер четыре. А композитор я сам. Вы, я вижу, все еще под впечатлением, верно?

Музыкант, выпустив локоть девушки, одарил даму лучезарной, самодовольной ухмылкой. Судя по всему, ее нескрываемое возмущение доставляло ему огромное удовольствие.

— Ах, вы, значит, композитор? Что ж, я так и думала. И если вас интересует мое мнение, то я вам скажу: это было ужасно. Совершенно ужасно. C'est une horreur[1].

— Значит, вы правильно меня поняли, сударыня. Мир ужасен, и музыка ужасна, в этом вся философия моей вещи.

— Ах вот как, вы, значит, с философией музыку сочиняете. А не лучше ли попробовать с филармонией? Правда, это требует немножко больше труда. И, кроме того, таланта, молодой человек, да-да, для этого нужно дарование.

Господин Рик согласно кивал, казалось, он глубоко удовлетворен услышанным. Потом заправил обеими руками свою пеструю рубашку поглубже в брюки.

— Следующая вещь, которую я сегодня сыграю, будет еще прекрасней, — доверительно сообщил он пылающей от гнева даме. — Она называется "Moments musicaux"[2], я посвятил ее Шуберту, Францу Шуберту. Тоже был неплохой малый. Вы любите Шуберта, сударыня?

— Люблю. Слишком люблю, чтобы еще и следующую вашу вещь слушать.

Она повернулась, не дожидаясь ответа, и с пылающим лицом поспешила к Сюзанне. Вилленброк выжидающе замер перед Риком с бутылкой и, когда тот протянул ему бокал, наполнил его доверху.

— Мне было интересно, — сказал он тромбонисту, — большое спасибо.

— Мне тоже, — пробурчал тот, опустошил бокал залпом и снова протянул его Вилленброку.

— Конечно, это было несколько непривычно. Или, как сейчас принято говорить, "нуждается в привыкании". Но это совсем не то, что обычная волынка. Вы играете с душой и с азартом, мне это нравится.

— Тогда вы, наверно, здесь один такой.

— Нет, вон тот господин тоже очень доволен. И вон те три девчушки в дверях, они вообще ваши поклонницы.

— Тогда нас уже шестеро, — равнодушно бросил музыкант.

— Мне тоже понравилось, — объявила Катрин.

Тромбонист польщенно просиял и послал ей воздушный поцелуй. Девушка покраснела и отвернулась. У Вилленброка складывалось впечатление, что яростная атака пожилой дамы музыканта только позабавила, и ему стало досадно, что он, как какой-нибудь пай-мальчик, взялся Рика хвалить, а тот теперь в ответ к нему как к пай-мальчику и относится.

— Тут, наверное, публика не самая подходящая, — зашел он с другого конца. У него ведь было щекотливое задание от Сюзанны, и он знал: раздражать этого явно неуравновешенного, уже и так слегка подвыпившего детину не следует, дабы не спровоцировать взрыв яростного артистического негодования, который увенчает презентацию Сюзанны полным скандалом.

— Да уж, публика не то что в Нью-Йорке, — согласился музыкант. Он надул щеки и презрительно фыркнул.

— А вы к другой публике привыкли? — осторожно осведомился Вилленброк.

Толстяк, по-прежнему пыхтя и потея, ответил ему утвердительным кивком.

1. Это просто ужас (*франц.*). *(Здесь и далее – прим. перев.)*
2. "Музыкальные моменты" (*франц.*).

— Хотя я ничего другого и не ждал, — признался он затем. — Вы только поглядите на этих людишек. Чего от них ждать? Уж во всяком случае, не понимания искусства. И потом — этот зал! Здесь же ни простора нет, ни резонанса. Звук дохнет, не успевая развернуться.

— Но если вам концертный зал нужен, тогда вам, наверное, не стоило бы здесь играть, — как бы между прочим заметил Вилленброк.

Рик недоверчиво прищурил глаза и разом как-то нехорошо оживился.

— Вы на что намекаете, дружище? Что мы от следующего номера отказываемся? Что мне можно собирать манатки?

— Вообще-то я не об этом думал, — соврал Вилленброк. — Но быть может, вы и правы. Этот зал не для вас, и эта публика не для вашей музыки. Думаю, лучше на сегодня закончить.

— А что скажет шефиня? Меня она нанимала.

— Думаю, она согласится. Я с ней поговорю. И разумеется, вы получите все, что обговаривалось. В полном объеме.

— Да уж разумеется. — Толстяк в нерешительности пожевал нижнюю губу. — Только не подумайте, что мне это нравится. Я люблю играть. Я очень хорошо играю и очень люблю играть. Так что вы лишаете меня удовольствия.

— Еще бокал вина, господин Рик?

— Наливайте. Бурных сцен прощания устраивать не будем, чтобы, не дай бог, кого-нибудь инфаркт с горя не хватил.

С полным бокалом в руке он устремился к Катрин, которая, перекинув через руку только что показанное платье, боязливо отвечала на расспросы одной из дам, но настолько при этом смущалась, что постоянно оговаривалась и запиналась, чего стоящая перед ней дама, увлеченная исключительно интересующим ее нарядом, даже не замечала. Рик ухватил девушку за плечо и потянул к себе, та воспротивилась — неужели, мол, он сам не видит, что она занята, — и попросила подождать. Тромбонист остался стоять с ней рядом, долго и в упор рассматривая назойливую клиентку, пока та, ни слова не говоря, но одарив его негодующим взглядом, возмущенно не отошла. Музыкант принялся уговаривать девушку немедленно уйти вместе с ним, а когда та наотрез отказалась, стал тщетно пытаться назначить ей свидание на вечер.

Только Вилленброк успел знаками показать жене, что грозная опасность нового тромбонного соло предотвращена, как с ним снова заговорил бодрячок с загорелой лысиной, который все еще сидел возле своей жены, наблюдая за остальным обществом и делясь своими наблюдениями с супругой, на что та, по-прежнему не удостаивая его взглядом, отвечала либо милостивым коротким кивком, либо безмолвным, но категорическим и многократным, не терпящим никаких возражений поматыванием головы.

— А какую фирму вы представляете? — полюбопытствовал он, кончиками пальцев притронувшись к пиджаку Вилленброка.

— Все марки, — с преувеличенным достоинством ответил Вилленброк и после небольшой паузы пояснил: — У меня магазин подержанных машин. Я любые марки покупаю и любые продаю.

— Хороший бизнес?

— Трудный.

— А вы даете приличные цены? У меня "мерседес", пять лет, и я вот все думаю поменять его на "ровер". Можете взглянуть, прямо у входа стоит, белый шестисотый. Дайте хорошую цену — мы тут же заключим сделку.

Вилленброк покачал головой.

— Это магазин жены, здесь она заключает сделки. Приезжайте в понедельник ко мне. Мой механик осмотрит вашу машину, тогда и о цене поговорим.

Он поставил бутылки, извлек из кармана бумажник, вынул оттуда визитку и протянул Пульману, который, изучив ее и сунув в карман, достал свою и подал ее Вилленброку.

— Я вам позвоню, господин Вилленброк.

— Но, как я уже сказал, — заметил Вилленброк предостерегающим тоном, — это очень жесткий бизнес. Владельцы машин надеются вернуть чуть ли не все потраченные на машину деньги, покупатели мечтают отхватить хороший товар почти даром, а мне приходится их всех только разочаровывать. Дело в том, что нажиться на этом товаре может только кто-то один, и я спрашиваю себя, почему, черт возьми, это должен быть не я.

Пульман громко расхохотался.

— А вы мне нравитесь, дружище. У вас правильный взгляд на вещи, господин Вилленброк. Гитти, он мне нравится.

Он оглянулся на жену, которая молча, с неподвижным лицом взирала на Вилленброка. Тот уже собрался идти дальше, но Пульман протянул ему свой бокал.

— Подлейте мне, пожалуйста, еще вина, а то что-то я совсем взмок. И стакан воды дайте. А если бы можно было еще чашечку кофе организовать...

В кофе Вилленброк ему с сожалением вынужден был отказать.

— Ничего страшного, — утешил его лысый и тут же задал новый вопрос: — А кому вы продаете все эти подержанные машины? Кто покупает все это старье? Домохозяйки, студенты, безработные?

— Вероятно, и они тоже. Но больше всего товара уходит у меня на восток. Польша, Россия, Румыния. Мои машины, как я слышал, колесят по Сибири.

— Русские, — проговорила вдруг крашеная блондинка. Она произнесла это слово без всякого выражения. Ее супруг и Вилленброк выжидающе на нее уставились, но она снова умолкла, надув губки, словно маленький ребенок, и что она хотела сказать, так и осталось загадкой.

— Восток — это надежный поставщик клиентуры. И, судя по всему, неисчерпаемый?

— Бездонная бочка, — подтвердил Вилленброк.

— И у вас с ними никаких трудностей? — не отставал Пульман.

— Все в лучшем виде. Плачу наличными, беру тоже, проблем никаких.

Пульман рассмеялся.

— In God we trust, all other's cash[1], не так ли? И, как водится, на крутом вираже уходим от налогов?

— Нет. В моем деле это невозможно. Слишком рискованно. С нашего брата финансовая инспекция глаз не спускает. Одна недостающая квитанция, и у меня на шее ревизия, из-за которой на неделю придется закрывать магазин. Нет уж, я плачу все, что с меня дерут, зато сплю спокойно.

— Я вообще-то про другие трудности говорил, — пояснил Пульман. — Я имел в виду нежелательных визитеров, так сказать, ночную клиентуру, ну, вы понимаете, все это отребье, что прет к нам через границу.

1. В Бога веруем, а деньги деньгами. (*англ.*).

Вилленброк спокойно глянул ему в глаза.

— Да нет, — ответил он. — Я не жалуюсь.

— Тогда вы счастливец. Хотел бы я то же самое сказать о себе. Нас-то пока что, правда, Бог миловал, но в округе банды грабят дома систематически. По соседству с нами уже три виллы обчистили, а одного из хозяев, старика, вообще чуть не убили.

— Где вы живете?

— На улице Бернадота в Далеме. Моя Гитти настолько запугана, что мне пришлось весь дом перестраивать, лишь бы ее, главное мое сокровище, обезопасить. У меня теперь в самом центре дома сейф безопасности, это такой большой бронированный шкаф, вскрыть его просто невозможно. В случае нападения мы можем там укрыться. Это полностью изолированное помещение со своим электрогенератором и автономным водоснабжением, разумеется несгораемое. Прорваться туда можно разве что на танке. Теперь, когда я не ночую в Берлине, мое сокровище перебирается спать туда. Но не спрашивайте меня, во что мне это удовольствие встало. Целое состояние. Четверть миллиона, хотите верьте, хотите нет. И все только потому, что Сибирь теперь начинается, можно сказать, прямо у нас за порогом.

— Собака обошлась бы вам намного дешевле.

— Собака? У моего соседа был дог, вот такая зверюга, с лошадь величиной. Так эту псину русские пристрелили в первую очередь.

— Откуда вы знаете, что это были русские?

— Русские, румыны, албанцы, может, это были даже немцы, откуда мне знать. А может, все скопом. Они, судя по всему, прекрасно организованы и не останавливаются даже перед убийством. Так что если вас с вашими машинами они еще не трогали, считайте, вы просто в рубашке родились.

— Да что у меня взять? Одни старые колымаги.

— Бандиты ничем не брезгуют, господин Вилленброк. А уж о доме в любом случае советую позаботиться. Или стволом обзавестись. Сейчас этот товар на каждом углу продается.

Теперь уже Вилленброк рассмеялся.

— Не может быть, чтобы вы это серьезно, господин Пульман.

— Абсолютно серьезно, — заверил его лысый. — Лично я намерен защищать и себя и свое сокровище. Самооборона не наказуема.

— Да не переживайте вы так раньше времени, — постарался утешить его Вилленброк.

— Азия. Одна Азия вокруг, — изрекла вдруг госпожа Пульман.

Оба мужчины уставились на нее в изумлении, но она уже снова углубилась в непроницаемое молчание. Взяв бутылки, Вилленброк двинулся дальше.

Из задней комнаты он слышал громкий бас тромбониста, который, похоже, уже с кем-то яростно спорил. Вилленброк оглянулся в поисках Сюзанны, потом Катрин, обе, слава богу, были в зале. Секундой позже показался и господин Рик с футляром для тромбона в руке. Вид у него был весьма довольный, он прошел через зал, широкой улыбкой прощаясь со всеми присутствующими сразу.

— Слава тебе господи! — язвительно и очень внятно произнес чей-то женский голос, когда тромбонист уже был на пороге. На секунду он замер в дверях, потом, не оборачиваясь, шагнул на тротуар и исчез. В тот же миг все оставшиеся гости разом заговорили оживленней и громче,

словно не только музыкальный номер господина Рика неприятно всех шокировал, но и само его присутствие. Сюзанна заметила изменившееся настроение гостей, тот дружный вздох облегчения, которым сопровождался уход музыканта, и взглядом поблагодарила мужа.

— Очаровательно, — пискнула крашеная блондинка Сюзанне и на прощанье чмокнула ее в щеку. После чего царственным жестом протянула мужу раскрытую ладонь правой руки, в которую тот, мгновенно поняв смысл сего безмолвного приказания, вложил ключи от машины.

— Может, мы с вами еще все-таки заключим сделку, — сказал он Вилленброку, оборачиваясь в дверях.

Только тут Вилленброк заметил, что лысого слегка пошатывает. Вместе с женой и Катрин они сложили стулья и погрузили их в машину Сюзанны. Потом он отнес в свою машину картонки с пустыми бутылками, подвинул прилавок на место и стал ждать, когда жена и Катрин развесят в торговом зале одежду. Сюзанна попросила его отвезти девушку домой, остальное она доделает сама и включит сигнализацию, они встретятся дома.

Вилленброк открыл девушке дверцу машины, помог ей сесть. Всю дорогу он расхваливал ее выступление. Девушка в ответ спросила его, хорошо ли он знает тромбониста, хозяйка сказала, это он его пригласил.

— Нет, я его не знаю. Лично не знаком. Мне его рекомендовал один мой приятель. Вам понравилось?

— Это было забавно. Я не слишком разбираюсь в музыке, но тут я готова была просто расхохотаться.

— Ему бы это наверняка понравилось, Катрин. Если бы вы рассмеялись, ему бы это доставило совершенно особое удовольствие, я уверен.

Девушка зарделась и умолкла.

— Он милый, правда? В нем есть что-то от бегемота. Только от очень музыкального бегемота, — добавил Вилленброк, уже свернув на улицу девушки и высматривая номер ее дома.

— А он женат? — спросила девушка, которой сравнение Вилленброка явно пришлось по душе.

— Бегемоты не женятся, — возразил Вилленброк и, потянувшись к ручке, чтобы открыть девушке дверцу, лучезарно ей улыбнулся. — Хотите, я дам вам его адрес? У меня с собой.

— Вот еще. С какой стати? — Девушка надменно вздернула носик.

— Тут вы правы, дорогая Катрин. Думаю, он скоро сам в бутик пожалует.

Она поспешно выскользнула из машины и, не оборачиваясь, направилась к подъезду.

Он уже полчаса был дома, когда наконец вернулась и Сюзанна. У нее болела голова, и она сразу прошла в спальню прилечь. Некоторое время спустя Вилленброк поднялся к ней, чтобы спросить, не хочет ли она чего-нибудь перекусить. Она отказалась. Потом приподнялась, обхватила его голову руками и сказала:

— Ты был сегодня очень милый. Спасибо. Ты мне очень помог. Мои клиенты такие капризные, все хотят, чтобы с ними цацкались.

— Все было замечательно, дорогая. Ты имела огромный успех.

— Если бы еще не этот трубач! Вот уж я страху натерпелась! Боялась, будет скандал.

— Зато он был незабываем. Вот увидишь, твои дамы еще и через год его вспоминать будут. А теперь спи.

Он помог ей раздеться и заботливо укрыл ее одеялом. Включил ночник и отвернул лампу в сторону, чтобы свет не бил ей в глаза.

14

Всю следующую неделю он тщетно ждал возобновления строительных работ. Когда и в среду утром никто из рабочих на площадке не появился, он попытался разыскать по телефону ответственного за строительство инженера, но по всем имевшимся у него номерам сумел дозвониться только до секретарши, которая ничего не знала, и еще до какого-то сотрудника, который заявил, что даже фамилию этого инженера впервые слышит. Договор со строительной фирмой твердо обусловливал дату начала строительства, продолжительность работ не более трех месяцев и точный срок сдачи объекта. Однако, когда уже через десять дней после начала нулевого цикла с его стройки сняли всех рабочих, перебросив их куда-то еще, он стал подозревать, что фирма оговоренных сроков не выдержит. Он проконсультировался со своим архитектором, который подтвердил его опасения и посоветовал лишь одно: при каждой задержке немедленно сообщать об этом главному инженеру, а при расчетах за отдельные виды работ удерживать штрафы за срыв сроков. В первый раз, когда Вилленброк ему позвонил, главный инженер клялся и божился, что в начале октября сдаст ему торговый зал под ключ, но когда пошли неурядицы и простои, его почему-то стало невозможно застать по телефону, а на просьбы перезвонить он не реагировал.

В пятницу к обеду приехал тягач с грузом деталей для каркаса крыши. Водитель подогнал машину почти вплотную к строящемуся зданию и отцепил прицеп. Когда он уже выезжал со двора, Вилленброк его остановил и стал расспрашивать, почему нет рабочих, ждать ли их еще сегодня, как найти его шефа и вообще почему фирма вот уже две недели не ведет строительство. Шофер, молодой малый с копной густых взъерошенных волос, высунувшись из окна, молча выслушал этот поток раздраженных вопросов. Когда Вилленброк в ожидании ответа наконец умолк, он вынул записку, заткнутую в паз бокового стекла водительской дверцы, и сунул ее Вилленброку под нос. На записке значились только фамилия Вилленброка и адрес его авторынка.

— Пор-р-р-ядок? — спросил шофер, гортанно и зычно налегая на букву "р".

Вилленброку ничего не оставалось, как только удрученно на него взглянуть и отправиться к себе в контору.

Когда утром в понедельник он пришел на работу, трое строителей уже приступили к монтажу крыши. Он на секунду задержал на них взгляд, потом отправился к Юреку.

После обеда позвонил Крылов и известил, что завтра заедет. Ему нужны три машины, и Вилленброк заверил его, что подготовит к его приезду хоть дюжину машин нужного ему класса. Они условились на первую половину дня. После разговора с ним Вилленброк пошел к Юреку, сказал, что ждет Крылова, и попросил к завтрашнему дню приготовить восемь машин и перегнать их на оцепленную канатом стоянку за бытовкой. Они вместе обошли наличный автопарк, Юрек указывал подходящие, на его взгляд, модели для русского, и Вилленброк всякий раз с его выбором соглашался.

В тот день ему еще три машины на продажу предложили, он все три взял и одну из них тоже велел поставить к восьми отобранным для Крылова.

Вечером они с женой поехали в маленький кинотеатр в центре города. Они пошли на фильм югославского режиссера, который Сюзанна обязательно хотела посмотреть. Вилленброк понимал не все, действие казалось ему слишком уж сбивчивым и путаным, зато понравились съемки с животными, а особенно запомнились самобытные, какие-то ядреные образы крестьян, чье жизнелюбие не могли сломить никакие исторические передряги и которые даже на похоронах продолжали отпускать соленые, грубые шуточки. Эти люди напомнили ему его деда с бабкой. После кино они пошли в индонезийский ресторанчик, и Вилленброк принялся рассказывать жене о своих дедушке и бабушке, которых Сюзанна уже не застала в живых. Она слушала его с удовольствием, радовалась, что он рассказывает о своей прежней жизни, о детстве, о своих мальчишеских надеждах и страхах. Обычно он о своем прошлом говорил неохотно, да и о чувствах избегал распространяться, хотя она то и дело пыталась его на это подбить.

Дома они оба еще немножко выпили, она — красного испанского вина, он кружку пива, и посмотрели по телевизору поздний выпуск новостей. Все то время, что они рассеянно слушали голос теледиктора, Сюзанна держала мужа за руку. Когда она отправилась в ванную принимать душ, он последовал за ней. Скинув купальный халат, он открыл дверцу душевой кабинки и встал с ней в обнимку, гладя и лаская ее тело. Потом они, оба нагишом, отправились в спальню. Напоследок, прежде чем погасить свет, Вилленброк выкурил сигарету и рассказал жене, как, еще маленьким мальчиком, он, держа деда за руку, шел с ним по деревне, и кто-то из соседских мужиков их остановил и стал деда поносить. Дед вдруг выпустил его руку, отодвинул его в сторону и одним ударом сшиб соседа на землю. После чего, подозвав внука к себе, как ни в чем не бывало пошел по деревне дальше. И продолжал расспрашивать его про уроки в школе, про учителей, хотя ему-то больше всего хотелось узнать, за что дед того человека ударил. С тех пор он дедом восхищался безгранично и безоговорочно, и когда бы ни случалось ему читать в сказках, а потом и в школьных учебниках истории про героев, людей бесстрашных и непобедимых, он всегда видел перед собой деда, хотя тот, судя по сохранившимся фотографиям, был отнюдь не богатырем, а человеком скорее маленьким и даже тщедушным. Сюзанна смеялась, прильнув щекой к его плечу, потом они молча лежали рядом. Вилленброк осторожно, стараясь не потревожить жену, высвободил левую руку, чтобы потушить свет, она дышала глубоко и размеренно, и он подумал, что она уже спит, однако немного погодя, когда он, неподвижно лежа подле нее в темноте и глядя в потолок, размышлял о завтрашних делах, она вдруг неожиданно произнесла:

— Ну так что с Бугевицем? Что будем делать с домом?

Вилленброк испустил глубокий вздох. Потом сказал:

— Да, надо как-нибудь туда выбраться, траву скосить, вообще посмотреть что к чему. Как насчет следующих выходных? Идет?

Жена ничего ему не ответила. Просто молча повернулась на бок. А когда наконец заснула, он почувствовал, как она вдруг вздрогнула во сне всем телом.

15

Крылов появился вскоре после одиннадцати в сопровождении четверых молодых людей. Вилленброк вынырнул из своей бытовки и спустился вниз по лесенке прежде, чем все пятеро успели выйти из машины. Он долго тряс Крылову руку, да и со спутниками его, которых он, всех четверых, уже знал по прежним визитам, тоже обменялся рукопожатием. Спросил, хотят ли они сразу же приступить к осмотру приготовленных машин. Крылов кивнул, но с места не сдвинулся, продолжая осматривать строящееся здание, где на стропилах крыши двое рабочих принимали балку, которую третий подавал им снизу с прицепа.

— Все в порядке? — осведомился он.

— Камень завезли на прошлой неделе. Вон там сложили, восемь поддонов. Качество отличное, и завезли день в день.

— Так и должно быть, — с удовлетворением заметил Крылов.

— Вот только строители мои запаздывают. Сами видите, даже крыша еще не готова.

— Да, — протянул Крылов. — Что же это за жизнь пошла, если даже на немцев уже положиться нельзя.

— С ценой все по-прежнему? — тихо осведомился Вилленброк. — Три тысячи?

— Конечно. Три тысячи за камень и триста за добротный немецкий счет.

Вежливым жестом он предложил Вилленброку идти первым и проследовал за ним к огороженным автомашинам. Четверо его спутников держались в трех шагах позади своего босса. Крылов быстро выбрал три машины, что-то сказал своим людям, которые как по команде открыли дверцы машин и, сев за руль, принялись возиться с ручками и кнопками панели управления. Вилленброк весьма настойчиво рекомендовал Крылову взглянуть еще на одну, четвертую машину, но тот лишь категорически мотнул головой. Он уже принял решение и не желал больше ничего обсуждать. Он привык, что его решения выполняются тотчас же и беспрекословно, и быстро начинал терять терпение, когда ему пытались возражать или просто от всей души что-то советовать.

— Я же приеду еще, — снисходительно бросил он Вилленброку, но в словах этих было не столько обещание, сколько решительное подведение черты под его окончательным приказом. Вилленброк попросил его зайти в контору, сам же направился к Юреку — назвать номера отобранных моделей и попросить поставить на них снятые во избежание угона детали.

Крылов, однако, продолжал стоять во дворе, наблюдая за работой строителей. И только после того как Вилленброк переговорил с поляком и вернулся, они вместе направились в бытовку. Людям своим Крылов на ходу что-то бросил, они кивнули и покорно остались ждать возле машин.

Документы на автомобили стопкой лежали у Вилленброка на столе. Он выбрал нужные, заполнил необходимые формуляры, проставил число и свою подпись. Затем вместе с ключами придвинул все это через стол Крылову. Тот достал бумажник, громко отсчитал деньги и положил их возле связки ключей. Потом снова взял ту же пачку купюр, отсчитал оговоренную сумму за напольные плиты и липовый, хо-

тя и безупречный немецкий счет, и водворил эти деньги обратно в бумажник. Оставшиеся деньги он положил на стол и кончиком пальца отодвинул от себя на несколько сантиметров в знак того, что с его стороны сделка закончена. Вилленброк взял пачку денег и, даже не взглянув на нее и уж тем более не пересчитывая, сунул в ящик письменного стола. Потом принес из холодильника початую бутылку немецкой водки, выставил на стол две стопки, налил их доверху и одну подал Крылову.

— За здоровье, — сказал он по-русски.

Русский взял на закуску печенье, повторил тост Вилленброка и выпил.

— Как супруга поживает? Дома все здоровы? — вежливо поинтересовался он.

Вилленброк кивнул.

— Это хорошо. Это самое главное, — наставительно произнес Крылов. — Все остальное приложится, лишь бы здоровье было, друг мой. А новый автосалон, значит, продвигается медленно?

— Еле-еле. Для строительной фирмы это всего лишь мелкий подряд, которым затыкают дыры между крупными заказами. Вот и строят между делом. Когда где-то в другом месте люди нужны, меня заставляют ждать. Да и даже когда здесь работают, все тоже идет очень неспешно. В лепешку никто не расшибается.

— Да я уж вижу, — согласился Крылов. — Они не надрываются, это точно. У меня так никто не работает, я подобного не допускаю. Вздумай у меня кто-нибудь этак работать, он завтра же на улице окажется, в толпе других бездельников, которые всю Москву заполонили. Дармоеды, есть такое хорошее слово. Вот пусть у кого-нибудь еще даром и едят, только не у меня.

Красноречивым жестом Крылов поставил на стол свою стопку, которую Вилленброк тут же снова наполнил. Свою он после первого тоста лишь пригубил и только сейчас выпил до дна.

— Только дармоеды ваши в Москве не остаются. Они у нас объявляются, уже бандитами.

— Что, опять были неприятности? У вас опять машины угнали? Я же говорил вам, ночной сторож, да еще старик, кого это остановит? Уж во всяком случае не молодых бандитов.

— Да нет, хуже. Двое ваших земляков на нас напали. На даче. Чуть меня не убили.

Лицо Крылова омрачилось. Глаза его сузились в щелочки, и он зло спросил:

— Русские, говорите? Это точно были русские?

— Двое братьев, москвичи. Полиция их схватила, но потом их только выдворили, и все дела. Вероятно, они давно уже снова в Германии.

Крылов смотрел на него тяжелым, мрачным взглядом.

— С вашей женой что-нибудь стряслось?

— Да нет. Испугом отделалась.

Стиснув руку в кулак, Крылов вжимал этот кулак в ладонь другой руки и медленно, словно шарнир, проворачивал. Похоже, он сильно разволновался.

— Досталось только мне, — продолжал Вилленброк. — Они охаживали меня железякой, ну а жена на все это смотрела, что тоже нелегко. Дачу она теперь хочет продавать, ей страшно, она не спит почти.

— Это нехорошо, — тихо, почти вкрадчиво проговорил Крылов, — это очень даже нехорошо. Вообще никуда не годится, друг мой. Нет, мне это совсем не нравится. — Он не сводил с Вилленброка глаз, что-то в уме прикидывая и прокручивая. — Значит, говорите, два брата из Москвы? Фамилию случайно не знаете?

— Знаю. Гаджиевы. У меня даже адрес их есть, мне в полиции дали. Андрей и Артур Гаджиевы. Может, мне нанести им ответный визит, как вы полагаете?

— Нет уж, вам ответный визит наносить ни к чему. Все, что вы им хотите сказать, я смогу уладить и без вас. Пошлю им человечка, уж он-то сумеет им растолковать, что на моего хорошего немецкого друга Вилленброка нападать не следует.

Вилленброк рассмеялся.

— Думаете, поможет?

— Думаю, да. Раньше всегда помогало.

Вилленброк достал из ящика пачку бумаг и принялся их перебирать.

— Не знаю, способен ли один человек уговорить двоих бандитов больше у меня не показываться. Даже если вы сами очень настоятельно их об этом попросите.

— Да нет, их не надо просить, им надо просто как следует все объяснить. Если эти два красавца год из квартиры выйти не смогут, поверьте, они потом будут как шелковые.

— Что вы надумали с ними делать? Неужто кости переломать?

Вилленброк прервал поиски. Держа в руках какой-то листок, он оторопело смотрел на Крылова.

— Пусть вас это не беспокоит. Считайте, это просто дружеская услуга. Причем я делаю это вовсе не ради вас, а ради себя. Если бы эти братья были из Иркутска или из Петербурга, тогда еще другое дело. Но они из Москвы, из моего родного города, и мне это обидно. Я люблю свой город, и меня огорчает, когда там бандиты распоясываются. Это непорядок, такого быть не должно. Нехорошо это. Так что дайте мне их адрес, а уж об остальном я позабочусь сам.

У Вилленброка внезапно вспотели ладони. Он смутился, как-то вяло начал снова рыться в столе, потом вдруг резко задвинул ящик и сказал:

— Не могу найти. Наверно, я эту записку дома оставил.

— Ничего, время терпит, — кротко сказал Крылов. — Дадите мне адрес в другой раз. Как уже сказано, меня это лично задевает, мой друг Вилленброк. Когда бандиты вламываются в дом и нападают на женщин, это нехорошо. На мою мать тоже напали. Четверо бандитов ворвались в наш дом и изнасиловали ее на глазах у моего отца. А через год мама умерла. Отец сказал: от этого и умерла.

— Господи боже, господин Крылов...

— Это давно было, — проронил Крылов. — Очень давно. Но все равно нехорошо.

— И что, схватили этих бандитов?

— Нет.

— Видно, русская полиция не лучше немецкой, — вздохнул Вилленброк.

— Да нет. У нас в деревне был очень хороший милиционер. Добросовестный, все его уважали. Но тогда он ничего не мог поделать, просто его в деревне не было, а бандитов, наоборот, было слишком много. Слишком много немецких бандитов.

— Немецких? — Вилленброк таращился на Крылова, ничего не понимая.

— Да, мой друг Вилленброк, немецких. Они в нашей деревне останавливались.

— Немецкие бандиты? Да у вас-то что им понадобилось, господин доктор Крылов?

— Не знаю, да и не помню уже. Мне всего два года было.

— Понимаю. — Вилленброк сглотнул. — Вы хотите сказать, это были солдаты? Немецкие солдаты? Я очень сожалею.

Крылов ничего не ответил. Он встал, сунул документы на машины во внутренний карман пиджака, а ключи уже держал в руках.

— Когда у вас машину крадут, это неприятность. Но когда на вас и на вашу жену нападают, это совсем нехорошо. Такого нельзя допускать. Надо вам подумать о более надежной защите, друг мой. А то я начинаю за вас беспокоиться.

Он вышел из конторы. Вилленброк последовал за ним. Крылов раздал своим людям ключи от машин, на каждом комплекте по бирке с номером. Потом попрощался с Крыловым и сел в свою машину, рядом с водителем. Прежде чем его шофер успел завести мотор, Крылов опустил свое стекло и сказал Вилленброку:

— Так адрес, пожалуйста, не забудьте. В следующий приезд, дорогой дружище Вилленброк, я очень хотел бы его получить. Значит, не забудете, хорошо?

Машина рванула со двора, за ней эскортом выехали еще три, купленные Крыловым.

"Он их просто закажет", — мелькнуло в голове у Вилленброка. Ладони у него все еще были мокрые от пота. И он твердо решил адрес этих несчастных братьев Крылову не давать. Вернулся в бытовку, нашел листок с адресом, который записывал под диктовку полицейского с компьютерной распечатки. Он даже подумал, не уничтожить ли адрес вообще, но потом снова положил его к другим бумагам и запер ящик стола.

Юрек вошел в контору и спросил, как быть с теми машинами, которые русский не взял, — оставить за бытовкой или отогнать обратно. Глядя на его недовольную физиономию, Вилленброк невольно рассмеялся:

— Юрек, Крылов мой лучший клиент. Этот русский платит тебе жалованье, попробуй на это так смотреть.

— Честным трудом столько денег не заработаешь. С каких барышей он такой богатый? Советский Союз рухнул, а этот вдруг миллионером стал. Не иначе в мутной воде рыбку ловит, грязные это деньги, шеф. Кто знает, что на них поналипло.

— Я не спрашиваю своих клиентов, откуда у них деньги. Я не финансовая инспекция. А честным трудом не разбогатеешь, это же и так всем известно. Но так уж мир устроен. Зато мы с тобой люди хорошие, нам после смерти воздастся. Щедро воздастся.

— Не смейтесь над этим, шеф.

— Да я и не смеюсь, Юрек, просто ты ведешь себя не по-христиански. Крылов тоже всего лишь человек, и русские тоже всего лишь твари Божьи.

— Конечно. Только Бог много всего сотворил, такого и сякого. Вы сегодня после обеда остаетесь, шеф?

— У меня в три встреча, но я только на час уеду. Почему ты спрашиваешь?

– Да девушка тут вами интересовалась. Пока вы с русским беседовали.

– Девушка?

– Ну женщина, молодая.

– А выглядела как, Юрек?

– Красивая, шеф, красивая девушка. Вас всегда только красивые женщины спрашивают.

– Что-нибудь просила передать?

– Сказала, после обеда еще заедет. В два, в три, точно не знаю, шеф.

– Спасибо, Юрек.

– Так я тогда отгоню машины обратно? И пойду в мастерскую, "мерседесом" займусь.

– Хорошо. Так и сделай.

– Еще какие-нибудь пожелания будут, шеф?

– Да, будут. Брось ты наконец мне выкать. Сколько ты уже у меня работаешь, Юрек? И все еще зовешь на вы.

– Вы тут шеф, у меня язык не поворачивается. Да и по-немецки я не больно силен.

– Врать ты по-немецки научился прекрасно. Но как знаешь, Юрек.

Молча потеребив себя за нос, поляк вышел. Вилленброк взял счета и квитанции на проданные машины и подшил их в папку. Потом извлек из стола пачку денег, тщательно пересчитал и положил в бумажник. После обеда – консервированного супа, разогретого прямо в банке кипятильником и выхлебанного на пару с Юреком в конторе, – он отправился на стройку и хмуро понаблюдал за работой строителей, которые, передвигаясь по лесенкам и доскам, продолжали неспешно монтировать крышу. Один из строителей крикнул ему, чтобы поберегся и не стоял под стеной без каски. На это Вилленброк ответил только долгим угрюмым взглядом. Из принципа постоял еще некоторое время, потом повернулся, пошел к машине и поехал к своему налоговому консультанту, которого просил в связи с многочисленными расходами по строительству подготовить заявление в финансовую инспекцию об отсрочке налоговых платежей за год. Вернувшись, он первым делом спросил у Юрека, не объявлялась ли снова та девушка, что заходила утром. Поляк сказал, что нет, не объявлялась. Вилленброк попросил, если она снова придет, обязательно уговорить ее оставить свою фамилию и телефон.

16

В ночь на четверг сильный порыв ветра сорвал с каркаса крыши массивный металлический лист, который при падении погнул один из легких дюралевых подкосов и пробил дыру в бетонной стяжке пола. Когда Вилленброк приехал, рабочие уже трудились вовсю, спешно устраняя следы ночной аварии. Вилленброк немедленно потребовал вызвать инженера и запротоколировать происшествие на случай последующего возникновения связанных с ним дефектов. Рабочие, все трое, в один голос принялись его отговаривать, обещая время, потраченное на устранение неисправностей, наверстать работой сверхурочно. Это по их халатности лист был закреплен кое-как, теперь они, конечно же, боялись нагоняя от своего начальства и очень не хотели, чтобы тому стало известно об инциденте. Однако Вилленброк продолжал настаивать на вызове инженера. Когда рабочие и после этого от него не отстали, а приня-

лись буквально чуть ли не умолять, убеждая, что они сами, по-быстрому и без шума, все устранят, Вилленброк взорвался, наорал на них и повторил свое требование. После чего отправился в мастерскую, где на приветствие Юрека только что-то буркнул сквозь зубы. В конторе, сев за стол, он до того на себя разозлился, что сам себя громко обругал. Еще через полчаса Юрек открыл ворота и впустил небольшую группу ждавших на улице людей. Вилленброк разглядывал чужаков из окна, следя, чтобы Юрек его не заметил. Из бытовки он вышел, только когда двое из покупателей подобрали себе машину и Юрек постучал ему в дверь. Вилленброк изо всех сил старался быть с ними любезным, внимательно слушал все, что эти двое ему лопотали, а Юрек переводил, но все равно он без всякой причины — ибо происшествие на стройке не настолько уж его расстроило — оставался не в духе и злился пуще прежнего уже на самого себя, на свою несдержанность по отношению к строителям, которые теперь, вероятно, боялись из-за него лишиться работы. Однако отменять свое решение он не хотел, да и извиняться перед ними тоже не собирался, это исключено.

Около десяти появился инженер, и Вилленброк обошел с ним всю стройку. Вилленброк показал ему причиненный происшествием ущерб, но теперь он уже полностью овладел собой, и только его неизменно мрачное лицо, остававшееся непроницаемым несмотря на все увещевания и болтовню инженера, который пытался изобразить все происшедшее сущим пустяком, мелкой безделицей и, чтобы как-то его развеселить, стал рассказывать о наглом жульничестве конкурентов, обнаруженном сейчас на Потсдамской площади, — только эта застывшая мина выказывала его нетерпение и недовольство. Трое рабочих, продолжая монтировать крышу, все время украдкой на них поглядывали.

Вилленброк потребовал, чтобы инженер представил ему подробный и отныне неукоснительно соблюдаемый график всех работ, поскольку частые перерывы и явно недостаточное число рабочих уже сейчас заставляют его тревожиться о сроках окончания строительства, срыв которых существенно нарушит и его собственные деловые планы. Инженер пообещал в течение недели такой документ ему прислать. Он попрощался с Вилленброком, но прежде чем уехать, забрался по лестнице наверх к рабочим и что-то с ними обсудил. У Вилленброка сложилось впечатление, что инженер говорил о нем, потому что рабочие, все трое, во время короткого этого разговора то и дело на него поглядывали.

В субботу утром он набил багажник машины свертками и коробками с вещами и провизией на выходные и договорился с Сюзанной, которая выезжала сегодня на работу на час позже, во второй половине дня встретиться.

В конторе его ждал Пазевальд, собаку он привязал у крыльца. Ночной сторож сообщил, что его жена надумала проведать детей, так что он хотел бы на недельку взять отпуск. Вилленброк кивнул, он не имел ничего против. Пазевальд повторил, что жена его собралась к дочке в конце августа, а значит, его тогда целую неделю не будет в городе. Поскольку Вилленброк и на сей раз только согласно кивнул, ночной сторож добавил, что может прислать вместо себя замену, соседа, тот как раз уже пенсию начал оформлять и наверняка согласится. У него тоже собака, правда не породистая, и когда бежит, сразу видно, чего она на самом деле стоит, но на ночь она сгодится, потому как сторожит чутко, да и тяпнуть может. Вилленброк на это ответил, что всего на неделю замена ему не

нужна. Жуликам наверняка уже давно известно, что двор его под охраной, а пока они раскусят, что Пазевальд в отпуске, он уже успеет вернуться. Заметив, что сторожу это не по душе, что оставлять двор без охраны, пусть всего лишь на неделю, он не хочет, Вилленброк добавил, что можно ведь пса во дворе на неделю оставить, Юрек наверняка сумеет о нем позаботиться. Пазевальд отнесся к его предложению со всей серьезностью и стал подробно объяснять, почему оно неосуществимо: если кто-то, кроме него, отвяжет пса на ночь, наутро тот никого на территорию не впустит — ни поляка, ни Вилленброка, ни клиентов, да еще и строителей с соседнего участка погонит. Так что уж лучше, заключил он, ему жену одну к детям послать, а он тут останется, все равно за садом и огородом кому-то приглядывать нужно, да и другая дочка с внучкой здесь в городе остается, он к ней больше привязан, и бросать ее ему вообще-то неохота. Вилленброк на это сказал, пусть уж он лучше едет с женой, а о его делах не беспокоится. В конце концов на неделю он поручит эти заботы какому-нибудь охранному агентству. Он попросил Пазевальда только дня за два до отъезда его предупредить и попрощался со своим слишком добросовестным, все еще озадаченно моргающим сторожем.

Утром, как всегда в субботу, набежало много посетителей, они прохаживались между рядами машин, просили Юрека открыть то одну, то другую, оценивая состояние салона. В основном это были мужчины, но и несколько супружеских пар, которые подолгу кружили вокруг приглянувшихся моделей, просили Юрека показать документы на одну, чтобы потом так же нерешительно перейти к другой и в конце концов уйти, так и не сподвигнувшись на покупку.

Трое юнцов, на вид лет по шестнадцати, изъявили желание купить красный родстер — мощное двухдверное авто спортивного типа. Юрек сделал с ними пробную ездку по двору, но проехаться самим, пока машина не куплена, не позволил. Он послал их к Вилленброку, который первым делом, в соответствии с предписаниями полиции, попросил того из парней, который намеревался купить машину, предъявить удостоверение личности и водительские права. Когда он после этого назвал им цену, юнцы, все трое, вздумали с ним торговаться, но он тут же их оборвал, напомнив, что они не на базаре, и объяснив, что у него цены твердые и к тому же скалькулированы настолько жестко, что он им даже небольшой скидки сделать не сможет. В конце концов они выложили на стол пять тысяч марок и пообещали оставшиеся деньги довезти в понедельник, ну, самое позднее во вторник. Вилленброк с готовностью на это согласился. Он взял деньги, выписал квитанцию, деньги сунул в ящик стола, а ребятам сказал, что теперь машина за ними зарезервирована, пусть приносят недостающую сумму в понедельник или во вторник, а до тех пор он обязуется беречь ее для них день и ночь как зеницу ока. Все трое запротестовали. Дескать, машина им нужна уже на эти выходные, они внесли задаток и вправе забирать ее сейчас же. Мол, покупка состоялась, машина принадлежит им, и по закону он обязан немедленно вручить им ключи.

— Да получите вы ваши деньги, — бросил ему один из юнцов, не тот, что покупал, а тот, что больше всех говорил, хотя по виду совсем еще мальчишка. — В понедельник будут у вас бабки, можете не беспокоиться.

— А я и не беспокоюсь, — как можно любезнее ответил Вилленброк. — Когда принесете деньги, тогда и ключи получите.

Парни начали повышать голос, снова заявляя, что машина нужна им на эти выходные, то есть сегодня, или они ее вообще не берут. Виллен-брок предложил им присмотреть себе что-нибудь еще, у него на площадке есть машины и по пять тысяч, могут забирать любую и ехать хоть сейчас же, но ребята уже остановили свой выбор на красном родстере и на другие автомобили смотреть не желали.

— Все остальное у тебя на площадке просто металлолом, папаша, — наседал на него самый молоденький, — нам такой утиль не нужен.

Они потребовали назад свои деньги, заявив, что такие ржавые тачки, какие у него во дворе гниют, они в другом месте подберут задаром.

— В таком случае советую поскорее подобрать то, что вам выбросят задаром. Это гораздо дешевле.

Выходя, они даже попытались садануть дверью, но тяжеленная, из толстого бруса дверь не так-то просто давала себя захлопнуть.

До обеда он продал только одну машину, а поскольку по опыту хорошо знал, что после двенадцати клиентов почти не бывает, он отпустил Юрека домой. Оставшееся до закрытия время он использовал на то, чтобы с чувством, с толком, не под мрачным приглядом строителей осмотреть состояние своей новостройки. В два он вывел свою машину на улицу, запер бытовку, потом решетчатые ворота и поехал в бутик, чтобы забрать Сюзанну и отправиться вместе с ней на дачу.

В Пренцлау они сделали привал, чтобы пообедать в итальянском ресторанчике. Все время, пока они ждали заказа, Вилленброк пытался разговорить, как-то растормошить жену, но та сидела с отсутствующим видом и отвечала односложно.

— Тебя что-то беспокоит? — наконец спросил он.

— Беспокоит? Нет. Мне просто страшно, — тихо ответила она.

Она взглянула на него, и он вдруг сразу заметил, насколько она измотана. Он ждал, не скажет ли она еще чего-нибудь, но она молчала, только смотрела на него в упор. Будто окаменела вся.

— Не бойся, прошу тебя, — сказал он, гладя ее по руке, — еще раз такое не повторится, дорогая. Я принял меры. У меня в багажнике полным-полно всяких хитрых замков и сигнальной аппаратуры. Все, что можно было достать по этой части, я купил. Сегодня же начну устанавливать, и тогда наш дом будет надежнее бомбоубежища. Стоит кому-то подойти и хоть что-то тронуть, поднимется такое, что уже через минуту к нам со всей округи полиция понаедет.

Она ничего не ответила, только продолжала, словно его и не слышит, как-то уж слишком внимательно изучать гипсовые фигуры и вазы, имитации античных образцов, украшавшие зал для создания южной, средиземноморской атмосферы. Когда они, поев, уже снова сидели в машине, Вилленброк признался жене, что даже сигнальный пистолет купил. Он сказал ей об этом со смехом и добавил, что это, конечно, совсем уж бзик, он не представляет, как можно эту штуковину в руки взять и на другого человека направить. Он-то надеялся Сюзанну этим сообщением успокоить, но когда, уже на ходу, потянулся к бардачку, чтобы показать ей пистолет, она остановила его руку. Она ничего такого не хотела ни знать, ни видеть.

Когда они наконец приехали, Вилленброк вылез открывать ворота. Тайком от жены, чтобы лишний раз ее не волновать, он цепким взглядом окинул дом, постройки и двор, однако, когда они въехали на участок, он увидел, с каким судорожным напряжением она озирается по сто-

ронам. Он вошел в дом первым и, прежде чем выгрузить из машины сумки и снести их на кухню, быстро пробежался по всем комнатам первого этажа. Потом поднялся наверх, чтобы оглядеться там. Когда он спустился, Сюзанна стояла в гостиной, медленно водя пальцем по расщепленным пробоинам, оставленным в двери ударами ножа.

— Все уже на мази, — нарочито небрежным тоном сказал он ей. — Я уже переговорил со столяром, Кёнигсманом. Он обещал завтра утром зайти снять замеры. Я решил старые двери не ремонтировать. Не настолько они хороши, чтобы с ними возиться. Поставим во всем доме новые, я их все сменю, не только пробитые. Ты согласна, Сюзанна?

— Он уже завтра утром придет?

— Но не спозаранок, я предупредил, что нам надо выспаться. Где-то от десяти до одиннадцати.

Она принялась распаковывать корзину с провизией. Он отправился во двор, открыл сарай и пристройку, тщательно осмотрел, нет ли внутри подозрительных следов. Потом отодвинул две тяжелых деревянных балки, прислоненные к лесам пристройки, и загнал машину в гараж. Он оглядел сложенную там древесину, брус, стропила, доски обрешетки — все, что осталось от старой крыши сарая и стойла и валялось тут уже третий год с того лета, когда он решил перекрыть сарай заново, а старую крышу распилить на дрова для камина. Циркулярная пила, специально для этой цели приобретенная, стояла рядом, еще не пользованная. При виде всего этого беспорядка и непочатого края работы Вилленброк только вздохнул. Ничего, сказал он себе, когда-нибудь и до этого руки дойдут. Затем достал из багажника три больших пластиковых пакета с множеством картонных коробок и коробочек. Еще в начале недели он съездил в магазин охранной техники и сигнализации, описал продавцу свой дом и участок и спросил, что тот ему порекомендует. Продавец сперва попытался склонить его к комплексной охранной системе по всему периметру участка, которую его фирма готова была установить за две недели, но Вилленброк на это предложение не поддался. Его отпугнула не столько даже непомерно высокая цена, сколько грандиозность самой затеи. Подобный размах показался ему чрезмерным, к тому же Сюзанну он, пожалуй, не успокоил бы, а, наоборот, чего доброго, только еще больше запугал. Внимательно выслушав разъяснения продавца, он решил ограничиться лишь такими охранными приспособлениями, которые может установить самостоятельно и которые не создают неудобств самим хозяевам, то есть им с Сюзанной. После чего купил то, что продавец порекомендовал ему с учетом его пожеланий. И все равно его не покидало ощущение, что он экипируется как на войну.

— Как-то немножко все это дико, да? — смущенно пробормотал он.

Продавец покачал головой.

— Это только так кажется. А случись что, еще Бога благодарить будете, что вовремя побереглись. Большинство-то к нам уже после прибегают. Как где-нибудь по соседству квартиру обчистят, так жильцы всем домом к нам бегут — закупаться.

— Нынешние времена для вас просто лафа, — заметил Вилленброк.

Продавец удовлетворенно кивнул.

— Мы живем взломами, это верно. Преступность на коне, у нашего брата обороты растут.

— По делу, вы должны бы долю от прибылей бандитам отстегивать. На их трудах наживаетесь. Так сказать, негласные компаньоны.

— Не без этого. Что поделать, такова жизнь.

Считав сканером коды на коробках, он рассовал приборы по пакетам и вручил Вилленброку.

— Вы в любом случае сделали удачное приобретение, — сказал он на прощание, любезно придерживая покупателю дверь. — Если что случится, вы не зря потратились. А если все это не понадобится, думаю, вы тоже горевать не будете. Так что удачи вам, и большое спасибо за покупку.

До наступления сумерек он устанавливал и проверял в работе датчики на входных дверях и окнах. Сюзанна, проходя мимо, поглядывала на него скептически, но не говорила ни слова. Перед ужином они еще успели прогуляться до края затопленного леса, но домой вернулись засветло. Вилленброк запер двери и включил смонтированные приборы. Легли они поздно, но все равно долго не могли заснуть. Непонятные шорохи в доме, шум деревьев под порывами ветра, ночные вскрики птиц, тихая шустрая побежка куницы, которая завелась у них под крышей сарая и ночами шастала по двору и пристройкам, — все это не давало им заснуть далеко заполночь. Оба, затаив дыхание, то и дело прислушивались к незнакомым звукам. И хотя заснули поздно, но и в этот раз, как всегда после ограбления, пробудились около двух словно от толчка и больше часа лежали без сна. Каждый знал, что другой не спит, но оба молчали, напряженно вслушиваясь в ночную жизнь природы и в то же время силясь заснуть. С самого утра Вилленброк продолжил устанавливать охранную аппаратуру. Потом пришел столяр, и Вилленброк показал ему двери, которые хотел заменить. Тот, конечно, уже был наслышан об ограблении и с порога предложил свое решение проблемы:

— Лагеря нужны, как при Адольфе, вы меня поняли? При нем, между прочим, не так уж плохо все было.

— Я знаю, — иронически поддакнул Вилленброк, — он автострады построил.

— Конечно, — охотно подхватил столяр, — и еще кое-какие у него были хорошие идеи. Я вам скажу, то, что он за двенадцать лет успел, нынешним политикам и не снилось. Эти только двенадцать лет болтать будут, а сделать ничего не сделают. Что там про него ни говорят, а с бандитами он быстро управился.

— Ну да, с бандитами, а заодно и еще много с кем.

— А все равно, господин Вилленброк, при нем совсем не плохо было.

С этими словами столяр вынул из кармана блокнотик и принялся записывать размеры.

До самого отъезда Вилленброк продолжал возиться с решетками и сигнальной аппаратурой. Поскольку Сюзанна не произносила по этому поводу ни слова и только посматривала на его труды с пугливой неприязнью, он, чтобы преуменьшить серьезность своих усилий, начал сам над собой подтрунивать, в шутку заметив: мол, они превратят дом в такую крепость, что скоро и сами туда проникнуть не смогут. В ответ она спросила его, уж не значит ли это, что он решил не продавать участок. Вилленброк возразил:

— Об этом мы через полгода поговорим. И решать будем оба, вместе.

Обратно они добирались тяжело. Началась уборочная, по грунтовой дороге один за другим медленно тянулись грузовики, обогнать их было почти невозможно, автострада в сторону Берлина тоже оказалась забитой, во многих местах на ней шли ремонтные работы, только усугублявшие длинные вереницы автомобильных пробок.

В среду к нему явился один из строителей. Постучав, он распахнул дверь конторы и объявил, что завтра они крышу заканчивают.

— Завтра уход под крышу обмываем, — подытожил он свое сообщение, которое Вилленброк принял к сведению угрюмым кивком головы. — Завтра будет что отпраздновать, шеф. Теперь самое худшее у вас, считайте, уже позади, осталась ерунда, мелочевка. Я всегда говорю: а недоделки меньше двух сантиметров штукатуры замажут.

И он радостно загоготал. Вилленброк на шутку не прореагировал, а вместо этого осведомился, когда появится инженер, чтобы принять работу.

На следующий день незадолго до обеденного перерыва рабочие укрепили на крыше традиционный праздничный венок из искусственных цветов и зеленых пластмассовых листьев, собрали инструменты и дворовой метлой тщательно вымели бетонный пол будущего торгового зала. Еще через полчаса появился инженер, чтобы вместе с Вилленброком осмотреть и принять работу и подписать акт. Рабочие, все трое, усевшись на перевернутых ведрах, жевали свои бутерброды и внимательно следили за приемкой. Одного из них, рыжего толстяка, который накануне доложил Вилленброку о завершении кровельных работ, инженер дважды подзывал к себе и расспрашивал насчет гидроизоляции.

— Хорошая работа, — сказал он наконец Вилленброку. — Ваш архитектор будет доволен. Да и вы тоже.

Перед тем как отправляться на стройку, Вилленброк выдал Юреку купюру и попросил принести ящик пива и жареных сосисок из киоска-закусочной по соседству. Они с инженером еще расхаживали по крыше, а Юрек уже принес из конторы и оранжереи стулья и расставил их на бетонном полу нового зала. После того как Вилленброк подписал акт, все они уселись вокруг ящика с пивом, а Юрек подал им сосиски, которые доставил из киоска с пылу с жару, прямо на сковороде. Наконец один из рабочих отверткой открыл первую бутылку пива и подал ее инженеру, тот, с бутылкой в руках, встал и поздравил Вилленброка с окончанием важного этапа строительства. И сел, после чего все посмотрели на Вилленброка, но тот не поднялся с ответным словом, только приподнял в знак благодарности свою бутылку и поднес к губам. А потом спросил инженера, когда будут доставлены стекла, и завел с ним разговор о дальнейших сроках.

Рабочие подсели к Юреку. Один из них поинтересовался красным родстером, который вот уже две недели стоял во дворе и уже несколько раз почти был продан. Юрек машину похвалил. Конечно, на подержанные автомобили его шеф гарантию не дает, но эту тачку он сам, лично, очень тщательно проверил.

— Машина очень хорошая. И пробег не большой, но и не маленький, то, что надо. Короче, хорошая машина, — подытожил он.

Рабочий спросил о цене, поляк в ответ кивнул на Вилленброка.

— Насчет денег — это не ко мне, — заметил он.

— И не ко мне! — сострил работяга и сам же громко расхохотался.

Полчаса спустя рабочие вместе с инженером укатили со двора. После обеда увезли и пустой прицеп. Остекление предполагалось завершить в конце следующей недели, как раз в те дни, когда он со своим клубом должен был ехать на гандбольный турнир в Санкт-Андреасберг. Их команда уже несколько недель интенсивно к этому турниру готовилась,

вот и на предстоящие выходные было назначено сразу несколько тренировочных игр.

В пятницу вечером Вилленброк проводил жену на вокзал. Она собралась навестить подругу, которая все лето работала помощницей режиссера на спектакле в летнем театре в Ральсвике, на острове Рюген. Сюзанна опасалась, что дороги опять будут забиты, и предпочла ехать поездом, подруга обещала на вокзале в Бергене ее встретить. В магазине же на субботу оставалась одна Катрин. Пройдя в вагон и пристроив сумку Сюзанны на ее место, Вилленброк вышел на перрон и встал перед окном ее купе. Окно было опущено, но из него высовывались двое детишек с мамой, старательно кого-то высматривая. Сюзанны видно не было. Поезд тронулся, окно закрылось, он неуверенно помахал рукой, но ничего, кроме слепящих бликов солнца, так в окне и не увидел.

С вокзала он прямиком отправился на тренировку, быстро переоделся и помчался в зал, где его команда уже вовсю работала. Они играли до самого вечера, пока не явился сторож и не велел заканчивать. После тренировки все пошли в итальянский ресторанчик. За столом говорили о предстоящем турнире и о бабах, потом Гензер, продавец компьютеров, опять стал рассказывать о России, о своем визите в московское казино, которое открыл на шикарном прогулочном корабле какой-то австриец. Огромный теплоход был пришвартован прямо к набережной Москвы-реки, широкие освещенные сходни сбегали с палубы на берег. Гензер отправился туда со своей русской подругой. Он уже сидел с ней за одним из столиков, как вдруг появились четверо парней в дешевых костюмах и стали затевать ссору с управляющим. Их крупье, кинув быстрый взгляд на дебоширов, ловким профессиональным движением остановил рулетку и попросил игроков взять назад свои ставки: игра прервана. Гензер, сидевший рядом с крупье, немедленно забрал со стола свои жетоны и на всякий случай сунул их в карман. За соседними столиками все тоже прекратили игру. Он спросил у крупье, с которым можно было объясняться по-английски, в чем дело. Осторожно кивнув в сторону парней, тот пояснил, что эти четверо — бандиты, они еще позавчера побывали здесь со своим пожилым главарем и предложили их шефу “крышу”, то бишь защиту. Шеф отказался. Он объяснил, что у него на борту уже есть специально нанятые, профессионально подготовленные охранники. Главарь в ответ только посмотрел на него, как на сумасшедшего, и в сопровождении своих четверых братков удалился. И вот эти же четверо, довольно опасные с виду субъекты, сегодня заявились снова и явно нарывались на скандал. Вместе с остальными гостями казино Гензер наблюдал за этой сценой. Сперва управляющий попытался сам вытолкать буянов из зала. Еще через несколько секунд появились охранники, пятеро тренированных, спортивного вида парней, которые, однако, как-то несмело окружали вторгшихся в казино русских. Австрийский хозяин казино, как успел сообщить ему крупье, привез с собой свою охрану. На какое-то время стало тихо. Только управляющий что-то объяснял четверым парням, он говорил с ними вежливо, но очень твердо. Слов его Гензер не понимал, но подружка что-то ему переводила. Вдруг возникла короткая потасовка, и в тот же миг один из австрийцев заорал, схватившись за ухо, а из-под ладони брызнула кровь. Дерущиеся разом отскочили, и все вдруг увидели, что перед завывающим австрийцем на паркете валяет-

ся нож, а рядом с ножом — отрезанное ухо. Четверо братков, еще минуту назад с громкой руганью наседавшие на управляющего и задиравшие охрану, теперь, опустив руки, жались к стенке и вид имели запуганный и беспомощный. Они не оказали сопротивления, когда австрийские охранники уткнули их лицом к стене, велев поднять руки вверх и расставить ноги. Все эти и другие команды управляющего они теперь выполняли безропотно, покорно сносили тычки энергично жестикулирующих охранников и вообще вели себя тише воды, ниже травы. Спустя еще несколько минут на набережной показались две милицейских машины со включенными мигалками и сиренами, из них в голубых всполохах проблесковых маячков выскочили шесть милиционеров и топоча ринулись по сходням на борт. Хозяин казино, появившийся в зале вскоре после охранников вместе с управляющим, рассказал милиционерам, что произошло. Те с громкими окриками и руганью надели на всех четверых братков наручники. Потом к сходням подкатила машина "скорой помощи" и на палубу поднялись трое в белых халатах и с носилками. Они окружили раненого австрийца, который, подвывая, сидел в кресле, взяли его под руки, свели вниз и увезли в больницу. Отрезанное ухо один из крупье положил в ведерко со льдом, в каких сервируют шампанское, заботливо укрыв его салфеткой. Это серебряное ведерко он сунул в руки одному из санитаров. Офицер милиции еще долго что-то выяснял у хозяина казино и записывал. Потом он опросил присутствующих русских посетителей, которые были свидетелями инцидента. После чего решительно махнул своим людям, и те увели братков с корабля. Некоторые из гостей после этого торопливо обменяли свои жетоны на деньги, расплатились с официантами и поспешили в гардероб. За столами изрядно поредело, почти никто больше не играл, все сперва следили за происходящим, а теперь наблюдали за уборщицей, которая замывала кровь, а потом долго, до блеска протирала паркет полотенцем. Крупье за столом Гензера оставил свое рабочее место и подошел к окну, Гензер с подружкой последовали за ним и смотрели на набережную, на сходни и на милицейские машины в тревожном свете мигалок. Милиционеры медленно свели четверых нарушителей по белым, с простенькими поручнями сходням. Возле машин все остановились. Какое-то время они стояли все вместе и курили. Потом вдруг братки как сквозь землю провалились, а милиционеры спокойно расселись по машинам и укатили прочь. Гензер спросил у крупье, что все это значит. Тот меланхолично ответил: это значит, что завтра с утра пожилой главарь снова навестит их шефа, а несколькими часами позже все австрийские охранники, кроме того, что в больнице, первым же авиарейсом будут отправлены в Вену, а уже с полудня в казино заступит новая охрана, русская. Но это же ужасно, воскликнул Гензер, на что крупье невозмутимо возразил, как раз нет, совсем напротив, теперь наконец-то можно будет спокойно работать — никакой тебе нервотрепки, никаких драк, никаких пьяных дебошей, тишь да гладь. Он ведь сразу так шефу и сказал, как только эти ребятки в первый раз появились, — дескать, русская охрана куда лучше, с ней не больно разгуляешься. Но шеф тогда его не послушал, и вот пожалуйста, в результате человек без уха остался. Another country, another custom[1], бросил он, вернулся к столу и крутанул рулетку в знак

1. Другая страна, другие обычаи (*англ.*).

того, что можно продолжить игру. Он, Гензер, еще несколько минут посидел со своей подружкой у стола, но играть не стали, это окровавленное ухо им все настроение испортило.

Кто-то из товарищей по команде тут же отпустил какую-то шуточку насчет отрезанного уха. Сразу после этого Вилленброк встал и заявил, что ему пора домой.

— Что вдруг так? — поинтересовался Гензер.

— Я твои дурацкие истории больше слушать не могу! Вот они у меня где! — выпалил Вилленброк и выскочил из-за стола.

Разговоры за столом разом смолкли, все изумленно и растерянно провожали его глазами до самых дверей.

Дома Вилленброк откатил мусорный контейнер, опорожненный в течение дня мусорщиками, на обычное место у заднего крыльца. Прежде чем включить наружное освещение, он обошел весь дом, внимательно осмотрел все окна и обе двери, прикидывая, не стоит ли и здесь установить решетки и охранную сигнализацию.

В субботу и воскресенье их команда провела две тренировки, каждая по четыре часа. Впервые Вилленброк заметил, что необычно долгое пребывание на площадке его утомляет, в последние полчаса игры он совсем сник и почти напрочь утратил реакцию, но он видел, что и товарищи пыхтят из последних сил, то и дело отирают пот и частенько останавливаются, уперев руки в колени. Доцент университета Фридер, их капитан и играющий тренер, подбадривал и подгонял команду как мог, но игра шла все медленнее, пока не выдохлась напрочь. После, когда они в ресторанчике сидели за пивом и доцент распекал их за плохую самоотдачу и слабую "физику", Вилленброк устало бросил ему:

— Да мы уже старики, Фридер.

Измотанные товарищи согласно закивали, но когда Фридер предложил им от турнира в Санкт-Андреасберге вообще отказаться, все запротестовали и пообещали костьми лечь, но сыграть достойно.

В воскресенье после игры Вилленброк вообще выпил только воды и уже через десять минут встал из-за стола: ему надо было ехать на вокзал встречать жену. Поставив машину на стоянку и получив квитанцию, он заметил, что за ним наблюдают трое бродяг, сидевших на бетонном цоколе ограждения. Одежда на них была потрепанная и грязная, а в ногах лежала здоровенная овчарка. Вилленброк прикинул, не переставить ли машину в другое место, но потом все же сунул квитанцию за лобовое стекло, запер машину и отправился на вокзал. Когда он проходил мимо мужиков, один из них встал — вместе с ним нехотя поднялась и овчарка. Бродяга заступил ему дорогу, небрежно перебросив через руку пачку газет, и спросил, не купит ли он газету в поддержку бездомных. Вилленброк поблагодарил, сказал, что газету купил еще вчера, но тем не менее достал кошелек и выдал мужику одну марку. Тот очень вежливо его поблагодарил. "Еще один побор за стоянку", — буркнул про себя Вилленброк, ведь монету он отдал только ради того, чтобы кто-то из этих не внушающих особого доверия субъектов не вздумал в отместку отыграться на его машине.

Сюзанна сошла с поезда в прекрасном настроении. Поинтересовавшись, чем он занимался в выходные, она принялась взахлеб рассказывать о том, как побывала у подруги в Ральсвике, и о тамошнем спектакле на открытом воздухе. Всю дорогу до самого дома она рассказывала о прогулках на скалистый мыс Аркона и по-над обрывис-

тым берегом Штуббенкаммер, о трехчасовой поездке на яхте подруги по Балтийскому морю и о самом, скорее неудачном, представлении, во время которого одобрение публики снискали разве что используемые в качестве декораций настоящие ганзейские парусники, а также несколько жокеев на лошадях и дрессированный орлан-белохвост, сама же пьеса оказалась полной галиматьей, к тому же вдвойне непонятной оттого, что артисты выступали с микрофонами и невозможно было разобрать, кто из них на этой огромной природной сцене в данную минуту вещает.

— Самое большое удовольствие от всего этого получает один человек — владелец природного театра, — заявила она. — Уж он-то дерет деньги со всех и за все, и цены у него просто чудовищные.

На это Вилленброк осторожно заметил, что у представлений на открытом воздухе вообще-то очень короткий сезон, к тому же они сильно зависят от погоды, так что на подобных затеях недолго и прогореть, на что Сюзанна с живостью возразила: дескать, у этого деляги спектакли идут и под дождем, а публика валом валит, презрев непогоду, ибо не желает лишать себя запланированного удовольствия. Владелец театра, которому, кстати, принадлежат и понатыканные вокруг киоски и закусочные, в дождливый день не только не потеряет ни марки, а наоборот, слупит еще и дополнительные барыши за сотни прозрачных дождевиков, которые по такому случаю будут проданы публике втридорога. Вилленброк отдал дань уважения подобной предприимчивости.

— Вот как прекрасно, оказывается, некоторые живут, — притворно позавидовал он жене.

— По-моему, кому-кому, а уж тебе-то грех жаловаться, — игриво заметила Сюзанна. — По части красивой жизни ты у нас большой мастак.

Вилленброк только удовлетворенно присвистнул сквозь зубы и от удовольствия даже забарабанил пальцами по баранке.

Дома она спросила его, едет ли он на гандбольный турнир. Он сказал, что едет, и добавил, что, по сути, спорт — единственное из оставшихся его увлечений, гандбол ему нужен для разрядки, и он надеется, что еще годика три-четыре сможет поиграть. Когда-нибудь, конечно, и с этим придется покончить, тогда он превратится в малоподвижного старика и, наверно, начнет коллекционировать марки.

— Мне же нужно чем-то заниматься помимо торговли автомобилями, иначе я совсем отупею.

Он уже лежал рядом с ней в постели, а она все рассказывала, как живется ее подруге, которая на все лето уехала работать на Балтийское море, он же в это время думал, что с пятницы до воскресенья прожил соломенным вдовцом, ни с одной девчонкой не развлекся, даже не подумал никому из своих подружек позвонить. Он попытался припомнить, когда в последний раз так же бездарно упускал столь благоприятную возможность, — и не смог.

— Старею я, — проговорил он вдруг.

Жена, все еще рассказывавшая о подруге, разом осеклась и взглянула на него с удивлением.

— Что это на тебя нашло? — спросила она.

Он ничего ей не ответил.

17

Во вторник незадолго до обеда на авторынке вдруг объявился Фойербах. Хотел продать свою машину, успевшую до него еще четверых владельцев сменить. Юрек, переговорив с ним, отправил его в контору к Вилленброку. Вилленброк узнал своего бывшего сотрудника, только когда тот вместе с поляком уже подходил к бытовке. Его вдруг осенило, что Фойербах, наверно, даже не подозревает, к кому пришел, и он быстро развернулся в кресле лицом к стене с книжной полкой и оглянулся, лишь когда Юрек его позвал. Тут он встал, подошел к Фойербаху и приветливо сказал:

— Привет, Вилли! Какими судьбами?

Фойербах, узнав Вилленброка, изменился в лице и сильно покраснел. Сперва он просто стоял, слегка приоткрыв рот, и лишь некоторое время спустя сумел пробормотать что-то вроде ответного приветствия. Вилленброк глянул на Юрека, тот немедленно отчитался:

— "Опель-кадет", шеф, двенадцать годочков. Сцепление ни к черту, резина лысая. Полно ржавчины, шеф, и полно работы.

Вилленброк кивнул, поляк вышел.

— Садись, Вилли. Как ты меня разыскал?

— Да я, честно говоря, не знал, что это твой магазин. Давно хотел машину продать, как-то ехал мимо, увидел, что здесь авторынок, и вот решил сегодня заскочить. Я не знал, что ты...

Тут он осекся и скривил рот, пытаясь изобразить ироническую усмешку.

— Какой сюрприз, Вилли, что ты приехал именно ко мне.

Вилленброк поудобнее облокотился на стол, подпер подбородок руками и уставился на Фойербаха выжидающе.

— Как семья? Как работа?

— Более-менее в порядке. Крутимся помаленьку.

— А что твоя партия? Сражается и процветает?

— Много работы, возни много всякой. И все это по вечерам, в выходные.

— И все больше языком, да, Вилли?

Фойербах резко сжал губы, потом ледяным тоном спросил:

— Так ты покупаешь машину или нет?

— Ты же слышал, что мой механик сказал. Много за нее не выручишь.

Он лениво глянул в окно на машину.

— Сам посмотреть не хочешь? — спросил Фойербах.

— Вот уже смотрю. А во всем прочем я на Юрека полагаюсь.

Он помолчал немного, еще раз глянул в окно, потом сказал:

— Полторы тыщи. Согласен?

Фойербах недоверчиво прищурился.

— Ни на одном авторынке ты больше за нее не выручишь. Ну разве что по объявлению. Может, тебе повезет, и какой-нибудь слепоглухой недоумок как раз ищет себе старую колымагу.

— Слишком мало, Бернд.

Вилленброк сочувственно пожал плечами.

— Что, Вилли, с финансами неважно?

Фойербах замялся, потом упрямо тряхнул головой.

— Ничего, я справляюсь.

— Ты у нас всегда справлялся, верно?

— Слушай, по-моему, ты начинаешь хамить.

— Я? Хамить? Да нет, Вилли, я забыть не могу, вот в чем штука. Не могу забыть, как ты меня закладывал, как из-за тебя мне отменили командировку в Лондон и больше ни в Лондон не пустили, ни вообще никуда. В планах загранкомандировок моя фамилия больше не фигурировала, моя кандидатура даже не обсуждалась, на мне поставили крест. Я был в черном списке и даже не знал за что. И всем этим я обязан тебе, клеветнику, тебе и твоим проклятым доносам.

— Но я же не хотел, Бернд. Я же не предполагал, что мои характеристики будут иметь такие последствия. Считал их просто никому не нужной бумажной писаниной, был уверен, что их вообще никто не читает.

— А как еще, по-твоему, должна была реагировать дирекция на твои писульки? Может, к ордену меня представить?

— Я не доносил, Бернд. Писать служебные характеристики на коллег было моей обязанностью, и все это знали.

— И то, что я встречался с родной сестрой и ее мужем в Праге, потому что больше нам негде было встретиться, это, по-твоему, подходящий материал для служебной характеристики?

— Так ты же сам про свою родню рассказывал, Бернд, всем и каждому. И всем про них было известно. Я просто не мог про это не упомянуть, иначе мне бы влетело.

— Вот видишь, в том-то и разница: я всем рассказывал и каждый знал, но наверх доложил один ты. Именно в этом вся разница между господином доктором Фойербахом и человеком. Меня от тебя тошнит.

— Чего ты от меня хочешь? Мне извиниться перед тобой? Пожалуйста, я извиняюсь, мне очень жаль. Теперь ты доволен?

— А ну катись отсюда, гнида паршивая! Проваливай! Никаких дел у меня с тобой не будет! Твой ржавый драндулет мне даром не нужен. Видеть больше не могу субчиков вроде тебя. Одни на меня стучат, другие меня грабят, третьи вообще убить готовы. Но ничего, дорогуша, я вам еще покажу! Я этого так не оставлю! Вон отсюда!

Спокойная наглость Фойербаха, его издевательский тон до того вывели Вилленброка из себя, что он вскочил, обежал вокруг стола и, трясясь от гнева, грозно навис над Фойербахом. Тот встал, посмотрел Вилленброку прямо в глаза и спокойно, даже с какой-то ленцой в голосе произнес:

— Я просто делал свою работу. Характеристики были тогда моей должностной обязанностью, и каждый из вас об этом знал. Даже если сегодня кому-то хочется смотреть на это иначе. Задним-то числом все мы умники.

— Ах ты стукач паршивый! — взревел Вилленброк.

И вдруг ударил Фойербаха кулаком в лицо. Удар пришелся прямо в нос, кровь хлынула ручьем. Не успел Фойербах достать носовой платок, как его рубашка и лацканы пиджака уже обагрились кровью. Прижимая к лицу платок и тяжело пыхтя, он глядел на Вилленброка с ненавистью, потом повернулся и направился к двери.

— Идиот, — спокойно сказал он на пороге и только после этого начал спускаться по лестнице. Дверь он оставил открытой.

Вилленброк сам себя испугался. Его ярость улетучилась столь же внезапно, как и накатила.

— Давай-давай, проваливай! — крикнул он в спину своему бывшему сослуживцу, который уже садился в машину, но крикнул уже не в сердцах, а скорее от стыда и еще потому, что не хотел перед Фойербахом извиняться. В сущности, он кричал от испуга перед самим собой.

— Вот ведь гад, — пробормотал он напоследок, закрывая дверь. — Еще имеет наглость ко мне заявляться. Не к кому-нибудь, а именно ко мне!

Кусая губы, он сел за стол; от стыда его бросило в жар, он даже вспотел. Юрек открыл дверь и заглянул в контору.

— Все в порядке, шеф? — поинтересовался он.

— Да-да, — пробурчал Вилленброк, не отрывая глаз от бумаг, в которые якобы сосредоточенно углубился.

Потом он весь день то и дело вспоминал Фойербаха. Он не мог понять, как, с чего вдруг он его ударил. Вечером, уже отправляясь на тренировку, он решил про себя всю вину свалить на Бернера — ведь это Бернер рассказал ему о доносительской характеристике, которую Фойербах тогда, много лет назад, на него накатал. Теперь он проклинал Бернера и его звонок, из-за которого, как Вилленброк теперь думал, он при виде Фойербаха так разбушевался. Теперь ему стало этого Фойербаха жаль, и не потому, что он ему врезал, а из-за того, что тот, в сущности, всегда был жалким, смешным ничтожеством, вечным неудачником, который и характеристики-то эти только потому, наверно, и кропал, что они придавали ему в собственных глазах видимость важности и власти, то есть как раз то, чего он был лишен и в жизни, и в работе. Теперь он на Бернера злился — за то, что тот так бесцеремонно вторгся в его жизнь. Никто ведь его не просил, ему, Вилленброку, меньше всего хотелось знать, кто тогда, десять лет назад, на его давно обанкротившемся предприятии подложил ему такую свинью. Вот раньше, тогда его это, возможно, заинтересовало бы, вот тогда он бы с Фойербахом еще не так поговорил, но теперь-то, когда все быльем поросло и давным-давно позабыто, зачем этому кретину Бернеру понадобилось всю эту старую вонючую историю заново ворошить? Вот кому по морде надо было давать, а не Фойербаху, этому жалкому ничтожеству. Ставя машину возле спортзала, он твердо решил позвонить Бернеру и недвусмысленно высказать все, что он о нем думает, а заодно довести до его сведения, что больше он с ним общаться не желает.

Перед началом тренировки Фридер объявил всей команде, что их лучший нападающий в воскресной игре исхитрился растянуть связку и выбыл из строя по меньшей мере на три недели. На подмену он пригласил своего коллегу с факультета — с этими словами он представил им Михаэля, долговязого математика с такой короткой стрижкой, что издалека ее можно было принять за лысину. С перерывами они играли часа три, и поскольку новичок оказался парнем резвым, напористым и забивным, все его хвалили, а после тренировки в кабачке поздравляли себя с таким удачным пополнением.

Утром в четверг специальный панелевоз, оснащенный краном и подъемной платформой, доставил на стройплощадку огромные стекла и двери. Вместе с грузом прибыли трое рабочих, осмотрели конструкции, долго колдовали над одним из пазов, промеряя складным метром то тут, то там. Вилленброк вышел к ним и спросил, может, что не в порядке. Они его заверили, что все путем. Он поинтересовался, когда же они установят все стекла и двери, на что один из них ответил:

дескать, в понедельник с утра им надо уже в Ростоке быть, так что на выходные они кровь из носа должны здесь закончить и работать будут до упора. Вилленброк подошел к грузовику, постучал по стеклам, почитал наклеенные на них этикетки и отправился к себе в контору. В обеденный перерыв он попрощался с Юреком, поехал на Кайзердамм и долго, придирчиво выбирал внушающий доверие ресторанчик, где и пообедал. После чего вынул из машины свою дорожную сумку и направился к заранее условленному месту встречи. Четверо товарищей по команде уже ждали возле небольшого автобуса, а Фридер вместо приветствия огорошил его известием, что Гензер в последнюю минуту ехать отказался. Вчера вечером ему позвонила секретарша Гензера и сообщила, что ее компьютерный босс не сможет принять участие в турнире: он срочно на четыре дня выехал в Мюнхен. Так что никому из них во время турнира выбывать из строя нельзя, играть надо будет предельно жестко, но и осторожно, чтобы ни в коем случае не травмироваться.

Еще через десять минут все были в сборе, Фридер тронул с места взятый на прокат автобус и уже вскоре вывел его на городскую автостраду. Поначалу все на чем свет стоит ругали подведшего команду Гензера, обсуждали предстоящий турнир и свои шансы, а когда выехали из города, разговоры постепенно переключились на другие темы — дела, женщины, гонки "Формулы 1".

В Санкт-Андреасберге они заказали комнаты в отеле "Кёнигсроллер", который и был организатором турнира. Они забросили багаж в номера, потом все вместе прошлись по городку, перекусили и под конец зашли в школьный спортзал, где уже вечером им предстояло провести первый матч. Им противостояла команда из Ульцена, которую они без особых сложностей обыграли. И второй матч на следующий день они тоже сумели завершить в свою пользу. Но в утренней игре в субботу Михаэля грубо атаковали, нарушивший правила игрок противников был удален с площадки, однако их математик захромал и, поскольку замены у них не было, встал в ворота. В итоге они крупно проиграли и выбыли из турнира. Михаэля осмотрел присутствовавший на турнире врач, наложил ему на ногу тугую повязку и посоветовал немедленно пройти рентген, он подозревает трещину в кости. Молодой человек отнесся к рекомендации не слишком серьезно, отправился к себе в номер на полчаса прилечь, а потом присоединился к команде, которая в полном составе собралась в ресторане отеля и за пивом разочарованно обсуждала свое поражение.

Полуфинальные матчи турнира, проходившие в субботу вечером, они уже смотрели со зрительских скамеек. И дружно решили, что, будь у них хоть один запасной игрок, они вполне могли бы и до финала дойти, а может, и главный приз выиграть или на худой конец второе место, за которое тоже полагались какие-никакие премиальные.

Вернувшись в отель, они отправились в клубный зал. Игроки обеих победивших команд, которым завтра утром предстояло решающее сражение, разошлись отдыхать по своим комнатам, а только что выбывшие из турнира неудачники теперь сидели вместе с ними и обсуждали перипетии борьбы. Фридер предложил пока что скинуться и компенсировать Михаэлю все расходы по поездке, а потом содрать эти деньги с Гензера. Герд, консультант Вилленброка по налогам, вообще считал, что компьютерщику, который так внезапно подвел команду, надо выставить

счет за все их пребывание в отеле — идея, встретившая дружное одобрение остальных, поскольку именно в Гензере все видели виновника их досрочного вылета из турнира.

Сразу после окончания финального матча они отправились обратно в Берлин. Сумку Михаэля несли по очереди, нога у математика сильно распухла, и, видимо, каждое движение причиняло ему сильную боль. На Кайзердамм все распрощались. Вилленброк выразил надежду, что у Михаэля все-таки не перелом и что нога у него вскоре снова будет в порядке, а затем спросил, не надумал ли Михаэль стать постоянным членом их команды. Остальные горячо его поддержали.

— Ты бы на этом точно не прогадал, — убеждал его Герд. — Мы почти все деловые люди, предприниматели, и уж товарищу по команде всегда и скидку сделаем, и поможем, чем можем. У Фридера спроси, он не даст соврать.

Молодой математик весело рассмеялся и обещал подумать. Фридер на автобусе повез его домой.

Вилленброк сел в свою машину и первым делом поехал к себе на авторынок. Он обошел новостройку, сверкавшую в лучах послеполуденного солнца только что вставленными дверями и стеклами. Здание ему понравилось, и он остался доволен собой. Он попытался войти, но новые двери уже оказались на запоре. В тайной надежде, что рабочие передали Юреку ключи, а тот оставил их у него на столе, он поспешил в контору, но ничего у себя на столе не обнаружил. Он еще раз обошел все здание, потом позвонил Сюзанне и сказал, что через час будет. Та удивилась его звонку, оказывается, она ждала его только поздно вечером. Едва положив трубку, Вилленброк чуть было тут же не позвонил жене снова: что-то в ее голосе ему не понравилось, и он не мог понять что, но решив, что ему почудилось, даже головой покачал, сам себе удивляясь. Он включил компьютер и вошел в Интернет.

Когда он приехал домой, Сюзанна уже накрыла на стол к запоздалому обеду. Он рассказал о турнире, о травме Михаэля и об их бесславном вылете. Все это время она смотрела на него странными, какими-то отсутствующими глазами и слушала молча. После обеда заварила на кухне чай. Когда он с чашками и чайником на подносе вошел в комнату, она демонстративным жестом протянула ему вскрытое письмо — это было то самое, уже неделями ожидаемое послание из прокуратуры. Супружеской чете Вилленброк сообщалось, что предварительное расследование в отношении Андрея и Артура Гаджиевых прекращено за недостаточностью следственных материалов, дающих основание для дальнейшего содержания подозреваемых под стражей, в связи с чем оба подозреваемых уже 28 июля с.г. были выдворены через польскую границу за пределы страны. Братьям Гаджиевым предписано незамедлительно отбыть на родину по месту жительства. Прокурор, некто Теш, сообщал далее, что выявленные оперативно-розыскными мероприятиями улики и вещественные доказательства оказались непригодными для идентификации преступников, в связи с чем ордер на арест задержанных лиц не запрашивался и выписан не был. Кроме того, признано нецелесообразным обращаться за правовой поддержкой к российским правоохранительным структурам с целью дополнительного допроса подозреваемых, поскольку практика подобных обращений показала себя недостаточно эффективной, тем более что и адреса подозреваемых выяснены полицией не полностью. К письму было приложена полустраничная выдержка с

разъяснениями правил и порядка обращения граждан в правоохранительные органы и с адресом генерального прокурора.

Вилленброк прочел письмо дважды, потом положил его на стол и взглянул на Сюзанну, которая с бледным лицом неотрывно за ним наблюдала. Ему стоило немалого труда сохранить выдержку, самый тон письма, все эти выверты прокурорской мысли, гладкие и безликие казенные формулировки, смысл которых сводился к тому, что по его делу ничего предпринято не будет, а подозреваемых, хоть они и пытались его убить, попросту сбагрили из страны, — все это разъярило его до крайности, но он не хотел волновать Сюзанну и только выдавил из себя презрительную усмешку.

— Эти двое опять на свободе, — произнесла Сюзанна. — Их уже на следующий день выпустили.

— Выдворили, — уточнил он.

— Их уже на следующий день переправили в Польшу. А еще через два дня они могли снова объявиться у нас. А мы даже не знали, что они снова на свободе.

— Возможно. Даже вероятно. Но у нас-то они точно больше не покажутся, после того как я так геройски их прогнал, — попытался успокоить он Сюзанну. — К тому же дом наш теперь защищен со всех сторон.

— И ты об этом знал. Ты давно знал, ведь так?

— Да, — признался он. — Я еще месяц назад говорил с комиссаршей. И тогда, сразу же после разговора с ней, купил себе пистолет, но это была глупость с моей стороны, чистая истерика. Думаю, решетки и сигнализация, короче, все, что я сейчас там установил, защитят нас куда надежнее. Эти типы — они боятся риска. Увидят, что наш дом им не взять, и пойдут искать что-нибудь полегче.

— Дом соседа.

— Может быть. Или другую деревню. Но больше мы все равно ничего предпринять не можем. Я же с полицейскими говорил. Это почтенные отцы семейства, им страшно заступать на ночное дежурство. Один мне сказал: у них в полиции сразу видна разница между совсем молодыми ребятами и теми, что постарше, поопытней. Те, что постарше, на место преступления едут чуть медленнее, а по возможности еще и крюка дают. Неохота им с преступниками встречаться, они предпочитают просто зарегистрировать факт преступления и нанесенный ущерб. И их можно понять, верно?

— В прошлые выходные они могли на нас напасть. Те же самые бандиты, Бернд.

Вилленброк рассмеялся.

— Ну уж нет, братья теперь точно к нам не сунутся. Да и другие тоже. Мы там так замуровались, Сюзанна, не хуже, чем в банковском сейфе.

Она отнесла чашки обратно на кухню и загрузила их вместе с тарелками и приборами в посудомоечную машину.

Ранним вечером они поехали к одному из двоюродных братьев Сюзанны, который жил в Крампнице. Поехали даже без звонка, наудачу, а в итоге остались до самой ночи. Они сидели в саду, ели мясо и овощи, зажаренные на гриле, смотрели на озеро, говорили о родне. Кузен не приехал на похороны своей тети, матери Сюзанны, и теперь извинялся: оказывается, весть о ее смерти застала его в Милане, он там был на выставке-продаже спортивного оборудования. Оттуда он никак вырваться не мог, да и узнал обо всем только в день похорон, так что все равно не успел бы. По-

том мужчины заговорили о делах, Вилленброк рассказал о своей новостройке, женщины тут же бросили их на два часа, а когда вернулись, объяснили, что все это время детей укладывали. На обратном пути Сюзанна спросила, рассказал ли он ее двоюродному брату "обо всем этом".

— Что рассказал? О чем ты?

— Я говорю о нападении. Ты ему сказал?

— Да нет, с какой стати? А ты что, рассказала?

Сюзанна покачала головой.

— Ну вот видишь. Может, так оно и лучше.

— Я только спросила Ингрид, не страшно ли ей одной в таком большом доме с таким огромным садом. Но она меня даже не поняла. Не поняла, чего ей бояться.

— Знаешь, не сходи с ума, — сказал он жене. — Что случилось, то случилось, но теперь это позади, и мы с этим справились. Второй раз они не придут, ни эти братья, ни кто-нибудь еще. Это так же невероятно, как второй раз угадать шесть чисел в спортлото.

— Ты сам всегда говорил: беса в дверь вытолкаешь, а он уже в окно лезет.

— Ну и пусть лезет. Я ему хвост прижгу.

Вилленброк прикрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. Усталость после напряженного турнира и выпивка у шурина сделали свое дело — он задремал. Сюзанна приглушила радио. Автострада все еще была забита, и продвигались они медленно.

Дома Вилленброк тотчас же завалился в кровать и мгновенно заснул, но в два опять проснулся. Он думал о письме прокурора. Больше всего ему хотелось встать и прочесть письмо снова, но он чувствовал, что Сюзанна рядом тоже лежит без сна, и если он сейчас встанет, они потом не заснут оба. Он попробовал думать о чем-нибудь другом — о бесславно проигранном турнире, о двоюродном брате Сюзанны, но мысли то и дело сами возвращались к злосчастному письму. Только часа в четыре он наконец провалился в сон и когда разлепил глаза под трезвон будильника, сразу же почувствовал себя невыспавшимся и разбитым.

18

Три дня спустя ему позвонил Крылов и сообщил, что во второй половине дня заедет. Вилленброк ответил, что рад так скоро увидеть его снова, и спросил, сколько машин приготовить, но Крылов сказал, что едет не в Россию, а совсем в другую сторону и навестит его не по делу, а просто так, по дружбе.

— Так машины что, вообще не нужны? — удивился Вилленброк.

— Нет, — ответил Крылов и положил трубку.

Он приехал в четыре. Его шофер на сей раз остался сидеть в лимузине, а сам Крылов направился к бытовке с небольшой, какой-то замусоленной картонкой в руках. Вилленброк, уже ждавший гостя и углядевший его из окна, распахнул перед Крыловым дверь. У него и бутылка была приготовлена, и стопки на столе стояли, но когда русский сел и Вилленброк уже собрался наливать, тот твердо его остановил.

— Нет времени, друг мой, — сказал он. — Я сегодня в Мадрид улетаю. Через полчаса надо быть в аэропорту.

— Тогда что привело вас ко мне, господин доктор?

– Дружба. – Крылов засмеялся. Потом разом посерьезнел и спросил: – Ну что, нашли адрес этих Гаджиевых?

В первую секунду Вилленброк даже не сообразил, о чем он.

– Гаджиевых? – переспросил он. Он-то решил, что Крылов заедет обсудить с ним очередной заказ, поэтому после его звонка сразу же обошел вместе с Юреком весь двор, присматривая подходящие машины. Теперь же вопрос Крылова совершенно сбил его с толку. Тот продолжал молча на него смотреть, пока Вилленброк не понял наконец, что ему надо. Он был поражен: оказывается, Крылов даже фамилии этих ребят запомнил.

– Нет, у меня нет их адреса. Я думал, он значится в бумагах, но ни в письмах из комиссариата криминальной полиции, ни в ответе из прокуратуры я его не нашел. Вероятно, я его только слышал в отделении полиции, а потом почему-то решил, что он у меня есть. Нет, у меня его нет, и вспомнить я тоже, конечно, уже не могу. Весьма сожалею, но я его давно позабыл.

Крылов понимающе кивнул.

– Я так и думал, – произнес он. – Я знал, что вы этот адресок не найдете. Вы добрый человек, дружище Вилленброк. Но быть слишком добрым тоже глупо. На свете слишком много недобрых людей, которым надо помогать, да-да, помогать им, а заодно и себе. Может, эти братья без отца росли, вот и одичали. Или вся их семья к новым временам не сумела приспособиться, вот они и опустились на самое дно общества. Тут помощь нужна, молодых людей воспитывать надо. Я буду крайне удручен, если с моим другом Вилленброком что-нибудь еще стрясется.

С этими словами он поставил картонку на стол и посмотрел на Вилленброка.

– Что это?

– Подарок.

– Подарок? Кому?

– Вам. Моему другу.

Вилленброк нерешительно потянулся к подарку, но Крылов покачал головой.

– Пока не трогайте, – сказал он. – Сперва вы должны дать мне триста марок.

Вилленброк оторопел. Он откинулся на спинку кресла и растерянно улыбался.

– Я не совсем понимаю, – произнес он наконец под молчаливым взглядом русского. – Наверно, вы все-таки должны мне объяснить, господин доктор...

– Дайте мне триста марок, и подарок ваш.

Вилленброк выдавил из себя смешок, руки его все еще в нерешительности покоились на письменном столе. Из окна он видел лимузин Крылова, шофер открыл дверцу, свесил ноги и курил сигарету. Он не понимал, чего Крылов от него хочет, ему казалось, русский его разыгрывает. А может, это какой-то неведомый ему русский обычай? Словом, он совершенно не знал, как себя вести.

– Вы мне не доверяете, мой немецкий друг?

Вилленброк еще раз посмотрел ему в глаза, потом потянулся за пиджаком, что висел на кресле у него за спиной, достал оттуда бумажник, вынул из него деньги, отсчитал и выложил на стол три купюры, остальные деньги спрятал обратно.

— Прошу, — сказал он. — Я вам доверяю, хоть и не понимаю, о чем речь.

Крылов кивнул, взял деньги и небрежно сунул в карман. Потом снял с коробки крышку: внутри лежало нечто, завернутое в газетную бумагу. Крылов схватил картонку обеими руками, приподнял и быстро перевернул. Какой-то тяжелый предмет с глухим стуком выпал на стол. Пустую коробку русский поставил себе на колени.

— Прошу, — сказал он.

Вилленброк осторожно развернул загадочный подарок. Из газетной бумаги сперва выпросталась замасленная оливкового цвета тряпка, а когда он взял ее кончиками пальцев, из нее выпала на стол маленькая тяжелая коробочка. Он осторожно положил тряпичный сверток обратно на газетную бумагу и взял в руки коробочку. На ней были надписи по-английски, а еще какие-то цифры и цифровые коды. Ammunition, прочел он, а еще caution и cartrigde[1]. Он бросил испытующий взгляд на Крылова, который молча сидел перед ним, скрестив руки на груди. Поскольку Вилленброк все еще колебался, русский поощрил его движением руки, глянув при этом на часы.

— Боюсь, я уже знаю, что вы хотите мне подарить, — произнес Вилленброк, потянулся за свертком и медленно извлек из него матово поблескивающий револьвер. Он бережно взял его за ствол и, поворачивая во все стороны, осмотрел рукоятку, барабан, собачку предохранителя.

— "Смит энд Вессон", — прочел он вслух.

И обалдело посмотрел на Крылова.

— Пятьсот восемьдесят шестой, — деловито пояснил тот, — притом совершенно чистый, еще девственник. Так что можете не беспокоиться. О чем вы задумались, друг мой? Или вас огорчает цена? Меня уверяли, что на самом деле он много, много дороже. А триста марок — это просто мои накладные расходы. А я накладных расходов не люблю, даже когда делаю подарки. Сколько-нибудь денег я бы с вас в любом случае взял. Нож, а тем более револьвер не дарят, иначе они принесут несчастье, есть у нас такое народное поверье. А маленький дружеский бизнес — это совсем другое дело.

Он встал и, засунув руки в карманы, испытующе, с пристальным прищуром смотрел на Вилленброка. Тот смущенно откашлялся.

— Да-а, — протянул он. — Даже не знаю, что и сказать.

— Скажите просто: спасибо, товарищ, — усмехнулся Крылов. — Мне пора идти, самолет ждать не будет. И мы об этом забудем, не так ли, друг мой? Меня сегодня здесь не было, мой шофер всегда это подтвердит. Мы с вами сегодня вообще не виделись. А ствол чистенький, вы на нем даже отпечатков пальцев не найдете.

Он забрал газетную бумагу, сунул картонку под мышку и двинулся к двери. Вилленброк встал, порываясь проводить его до машины. Крылов пальцем указал на оружие.

— Нет-нет, вы уж останьтесь здесь. Не стоит оставлять это без присмотра.

Он кивнул Вилленброку и покинул бытовку один.

Через окно Вилленброк смотрел ему в спину. Водитель бросил сигарету и открыл своему боссу дверцу лимузина. Мотор взревел, машина рванула со двора, притормозила на краю проезжей части и, взвизгнув

1. Боеприпасы. Осторожно! Патроны (*англ.*).

протекторами, мощно вписалась в поток уличного движения. Виллен-брок перевел взгляд на свой письменный стол и с беспокойством уста-вился на револьвер. Он завернул оружие в тряпку и положил в ящик сто-ла, сунув туда же и коробочку с патронами. Немного погодя он снова выдвинул ящик и развернул револьвер, но доставать не стал. Он сидел и думал, что же ему теперь со всем этим делать.

— Боже ж ты мой, Крылов, — растерянно пробормотал он вслух. Ре-вольвер спокойно лежал на стопке порнографических журналов, кото-рые он время от времени дарил клиентам, ствол лоснисто поблескивал, под собачкой предохранителя отчетливо было видно выбитое фирмен-ное клеймо. Он сунул руку в ящик и взял оружие, но достать все еще не решался. Рукоятка приятно холодила ладонь. Он вспомнил, как давным-давно, еще в юности, всячески уклонялся от призыва в армию и даже по-шел служить в строительные войска, лишь бы никогда оружие в руки не брать, и вот вдруг, нежданно-негаданно он теперь стал владельцем ре-вольвера, огнестрельного оружия, чертовски, смертельно опасного, убийственного оружия, одно только незаконное владение которым уже уголовно наказуемо. Он был растерян и как-то подавлен. Даже покупка сигнального пистолета, в сущности пугача, и то казалась ему несусветной глупостью, а тут он держит в руках боевое оружие, настоящий револьвер, который надо от всех скрывать, который ни одна живая душа не должна у него увидеть, который, спору нет, обеспечивает надежную защиту, но в то же время и сам является постоянным источником повышенной опас-ности. Вилленброк понятия не имел, что ему делать с этим подарком и куда его девать. Все время таскать с собой — совсем уж дикость, но, с дру-гой стороны, прятать его дома или в конторе тоже опрометчиво, и там и тут слишком легко его обнаружить. Он боялся не столько даже уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, сколько непредсказуе-мых и невообразимых последствий, если вдруг кто-то, особенно, не при-веди господь, ребенок или подросток, на это оружие наткнется и вздума-ет с ним поиграть. Не надо ему было эту убийственную игрушку трогать, надо было сразу же отдать ее Крылову обратно! Надо было потребовать назад свои деньги и сказать русскому, что ему, Вилленброку, этот дьявол-ский подарок ни к чему. Конечно, Крылов посмеялся бы над ним, отпус-тил бы несколько иронических замечаний насчет немцев вообще и свое-го немецкого друга в частности, но на том бы дело и кончилось! Он решил хорошенько припрятать револьвер до следующего визита Крыло-ва и уж тогда всенепременно отдать. Не тот он человек, чтобы с "пушкой" баловаться, ему от этого никакой радости, да и нервы уже не те. Не жела-ет он, чтобы ему навязывали собственность, обладать которой он вовсе не жаждет. Тут Вилленброк с такой силой задвинул ящик, что пистолет внутри громко брякнул о дерево. Он обмер от ужаса, моля Бога, чтобы револьвер оказался не заряжен. Он даже проверять не решился — у него ведь и опыта никакого нет в обращении с оружием. Вечером он сунул ре-вольвер в "дипломат", в котором каждый день увозил с собой ключи, до-кументы и вообще все, что не желал оставлять в конторе без присмотра.

Сюзанны дома еще не было. Он прошел к себе в комнату, чтобы рас-смотреть револьвер как следует. Осторожно взял его в руку, выдвинул пу-стой барабан, дал ему со щелчком снова встать на место. Потом стал це-литься в картины на стене, в фотографию, запечатлевшую его самого за штурвалом спортивного самолета, целился тщательно, стараясь дер-жать руку твердо и свободно и не трогая пока что спускового крючка.

Достал из коробочки патроны, загнал их в барабан, снова вынул, несколько раз проверив, действительно ли пусты зарядные камеры. На глаза ему попалось письмо от прокурора, он его вынул и еще раз прочел. Потом схватил револьвер, прицелился в шапку письма с бланком прокуратуры и нажал на спусковой крючок — раздался звонкий щелчок, он прицелился снова, нажал второй, третий раз, издавая гортанью звуки, имитирующие выстрел. Мальчишеская игра странным образом принесла ему облегчение. Наконец он сунул револьвер и патроны обратно в чемоданчик. Сам себе удивляясь, он то и дело только головой качал.

Автоответчик в гостиной показывал три записанных сообщения. Вилленброк нажал на клавишу воспроизведения. Сперва прошли сигналы с чьего-то факса, потом раздался голос двоюродного брата Сюзанны, у которого они были в воскресенье, — он просил перезвонить. Третьим звонившим оказался мужчина, который нежно поздоровался с Сюзанной и стал что-то ворковать про сосновую рощу, которую он никогда не забудет, за что он ей бесконечно благодарен. Голоса мужчины Вилленброк не узнал и сперва вообще не понял, о чем тот распинается. Прослушав сообщение еще раз, он обратил внимание, что мужчина обращается к Сюзанне как-то необычайно тепло, с нежностью и даже, как Вилленброк с веселым изумлением отметил, чуть ли не с влюбленностью.

Когда Сюзанна вернулась домой, он сделал им обоим аперитив, а после того, как она поговорила с кузеном, поинтересовался, зачем тот звонил. Потом как бы невзначай спросил, кто это там еще на автоответчике записался, и она сказала, что это муж клиентки, которому она подбирала подарок для жены. Сюзанна лжет. Вилленброк понял это мгновенно, потому что врать его жена вообще не умела. Когда бы ни приходилось ей говорить неправду, она выдавала себя сразу же и с такой очевидностью, что Вилленброк в свое время даже предлагал дать ей несколько уроков вранья.

На сей раз она слегка покраснела и зачем-то провела рукой по волосам. Потом отвернулась, чтобы не смотреть на мужа, и прошла на кухню, уже оттуда спросив его, приготовил ли он что-нибудь поесть, а если нет, то чего он хочет на ужин. Вилленброк проследовал за ней и сказал, что уже откупорил бутылку вина и это единственное, что он предпринял в смысле ужина. Он пытался заглянуть жене в лицо, все еще предательски розовевшее, но она всячески этого избегала, делая вид, что никак не может найти чего-то в ящике для столовых приборов. За ужином они смотрели по телевизору фильм о любовных играх крупных хищников из семейства кошачьих. Вилленброк время от времени поглядывал на жену — та почти не отрывала глаз от экрана.

"У мадам, однако, роман, — сказал он себе, — она тебе изменяет, может, и вправду это муж клиентки, но благодарил-то он вовсе не за подарок, во всяком случае, не за подарок супруге, нет, моя славная малютка Сюзанна кое-что совсем другое ему подарила, это уж точно, этот субъект благодарил ее за презент совершенно особого рода, разве он не сказал — в сосновой роще, какими подарками может женщина осчастливить мужчину в лесочке, в незабываемой сосновой роще, какое оригинальное, да и укромное место для вручения подарков, может, мадам открыла там филиал в дополнение к своему магазинчику, так сказать, небольшое расширение бизнеса, за которое опять-таки мне раскошеливаться, этот тип по телефону вообще едва сдерживался, прямо слышно было, как у него слюнки текут, в комплиментах рассыпался, со стороны даже смешно, на-

деюсь, хоть сам я не произвожу такого уморительного впечатления, когда звоню какой-нибудь из своих девчонок, на такую медоточивую, приторную, липкую лесть падки одни только молоденькие поблядушки, но уж никак не Сюзанна, уж в этом-то девочка должна как дважды два разбираться, не может она на такого слюнтяя клюнуть, она женщина со вкусом, да и опыт какой-никакой есть, бог мой, Сюзанна, да у тебя все звоночки охранной сигнализации надрываться должны при первом же звуке такого слащавого голоса, это же не твой стиль, девочка, такого быть не может, супротив него я просто сокровище, ну хорошо, согласен, меня не назовешь занудным отличником, но чтобы на такую дешевку, что ж, Сюзанна, мне очень интересно, посмотрим, расскажешь ли ты мне еще что-нибудь, от тебя ведь не укрылось, сударыня, что я кое-что уловил, да и мудрено было не заметить, это ж каким надо быть идиотом, или ты считаешь, что я уже совсем в маразме, ведь ты же знаешь, что я это сообщение прослушал, так о чем же думает сейчас твоя прелестная головка, что в ней сейчас творится, небось все контакты уже перегрелись, пока ты на этих беспрерывно трахающихся львов и львиц пялишься — красавца своего в сосновой роще вспоминаешь или складный ответ придумываешь на тот случай, если я вдруг поинтересуюсь, все ли в порядке в моих угодьях, не завелся ли в них случайно какой-нибудь шустрый браконьер, по которому дубинка лесника плачет, — ты уже работаешь над ответом, девочка моя, но я знаю, знаю, я же не имею права спрашивать, особенно я, уж кому-кому, а мне-то надо помалкивать, во всяком случае, мне-то смешно было бы корчить из себя обманутого супруга, рогоносца, да я бы все губы себе искусал, чтобы не расхохотаться, что ж, надеюсь, для тебя это было приятным переживанием, ангел мой, чем-то этаким, о чем вспоминают на склоне лет, чтобы позолотить лучи заката, как ты изволишь выражаться, а кстати, эта сосновая рощица не в Ральсвике ли, часом, произрастает, не в гостях ли у подружки приключилось это особо оригинальное и укромное представление на открытом воздухе, не для двоих ли любителей прекрасного там поднимался некий занавес, что ж, надеюсь, этот тип тебя не разочаровал, не показал себя хлюпиком, как я, к сожалению, вынужден предположить, прослушав его голос по телефону, лет сто назад мне бы полагалось вызвать его на дуэль, кстати, оружие, ангел мой, у меня уже имеется, ты даже не дога́дываешься, что я мог бы его пристрелить, просто шлепнуть в состоянии аффекта, и все, при хорошем адвокате это потянуло бы года на два, не больше, а может, мне тебя застрелить, ангел мой, из своего револьвера "смит-вессон", ствол такой гладкий, полированный, барабан так легко прокручивается, рукоятка к ладони так и льнет, с приличным адвокатом мне бы и это обошлось не дороже, вот только насчет револьвера пришлось бы долго объясняться, к этому суд непременно прицепится, и отговорками типа "нашел в кустах" от них не отделаешься, а если они еще и до моего русского благодетеля докопаются, все, на бизнесе можно ставить крест, заподозрят в нечистоплотных сделках, может, дадут все те же два года, но лицензии лишат, это как пить дать, несоответствие званию предпринимателя, и точка, впрочем, даже если суд меня пощадит, то уж Крылов-то своих братков пришлет всенепременно, если меня и вправду угораздит его фамилию ляпнуть, нет-нет, сокровище мое, это не слишком удачная мысль, так что тебе нечего опасаться, да и от револьвера я скоро избавлюсь, лучше бы всего этому Крылову уже на будущей неделе приехать, я бы ему игрушечку его обратно в картонку и

вложил, уж он-то найдет на нее сколько угодно желающих, а мне эта штуковина просто руки жжет, да, кстати, я ведь могу и застрелиться, а что, просто и без последствий, по крайней мере для меня, не придется никому ничего объяснять, самоубийство на почве ревности, бульварная пресса будет в восторге, происхождение оружия так и останется загадкой, и жена будет вполне прилично обеспечена, а этот тип с елейным голоском, может, даже станет моим преемником, э-э, нет, это тоже не слишком удачная идея, так что лучше всего об этом больше ни слова, в конце концов, приди я домой часом позже, я бы ничего не услышал и не узнал, только чей-то факс и звонок кузена, остальное стерто, я бы спокойно смотрел на этих похотливых кошачьих и думал только об одном — что делать со свалившимся на меня как снег на голову револьвером, я просто пришел слишком рано, слишком я домашний, надо почаще на сторону бегать или хотя бы с командой вместе развлекаться, есть у нас там свои богатыри, эти раза по три в неделю на полную катушку оттягиваются, или как-нибудь на пару с Юреком расслабиться, а то он совсем бирюком стал, устроить с ним загул по кабакам, может, хоть это его развеселит, в конце концов я его работодатель, значит, обязан печься о радостях и горестях своего единственного работника, премия на Рождество — это еще не все, может, ему внимание нужно, то, чего со всей очевидностью и Сюзанне недостает, ну, она-то свое уже получила, интересно, сколько лет тому типу, судя по голосу, он годков на десять моложе, это точно, впрочем, по голосу разве угадаешь, но зачем Сюзанне старик, хотя, может, ей нужно утешение и чувство защищенности, ну и разговоры, конечно, моей драгоценной женушке разговоры нужны, долгие, желательно философские, о смысле жизни, о вечности, может, они только разговаривают, и все, длительные, на часик-другой, прогулки в сосновой роще, и больше ничего, одни разговоры, а что, вполне может быть, он же у нас наверняка культурный, оперы, выставки всякие, все, что Сюзанночка так ценит и в чем я как раз не силен, зато у меня другие достоинства, мадам, я деньги загребаю, это тоже кое-что значит, с деньгами жить легче, а когда денег много, жить намного легче, и мне кажется, да ты и сама знаешь, твой бутик по два раза в год прогорал бы с треском, если бы муженек то и дело в него деньжат не подбрасывал, но только супруг за порог, тебе уже невтерпеж, нехорошо, девочка моя, нехорошо, но я ничего не скажу, и вопросов задавать не стану, так что не беспокойся, никакой инквизиции не предвидится, отменили ее, как, впрочем, и дуэли, я ни о чем не желаю знать, ты только сама, пожалуйста, не начинай, только никаких признаний и все такое, никаких исповедей, никаких слез, с этим ты уж сама управляйся, меня там не было, я с тобой в сосновый лесочек не ходил, вот и не надо меня задним числом в это дело впутывать, вы там перепихнулись, и ладно, только не жди от меня, что я тебя еще и утешать начну, я просто не стану корчить из себя ревнивого рогоносца, а большего ты от меня ждать не вправе, а в остальном, как говорится, My, myself and I[1], с этим типом ты уж развязывайся сама, мадам, для меня это просто муж клиентки, которому ты помогла подобрать платьице для его толстушки-супруги и который тебе за это столь бесконечно признателен, а уж если он тебе попутно вставил, я об этом слышать не желаю, даже если ты вытянула с ним пустой номер, потому как, судя по голосу, он полный болван, да и судя по твоему виду тоже,

1. Я, я сам и только я (*англ.*).

три дня дождливой погоды не навеют такую тоску, как твоя мордашка сейчас, детка, но все равно ты расхлебывай это сама, только не пей так много, женщины алкоголь плохо переносят, у них в организме недостает энзима или как его там, у женщин и у японцев, эти вообще с первой рюмки с катушек летят, так что лучше уж ты много не пей, ну а я-то могу себе стопку шнапса позволить, хоть тебе это и не по нраву, потому как шнапс к такому изысканному вину не подходит, только что́ в этом мире, детка, друг другу подходит, видишь, даже мы с тобой — и то лишь изредка.

Сюзанна по-прежнему не спускала глаз с экрана, где силуэты льва и львицы, совокупляющихся в желтой степной траве, скорее угадывались, чем были видны, а умиленный голос диктора в это время пояснял, что в период любовных игр львы-мальчики способны покрывать львиц-девочек каждые полчаса. Тут Вилленброк не выдержал и встал. Если уж таких отчаянных мужиков этот знаток диктор называет мальчиками, сказал он, то ему бы очень хотелось хоть в щелочку на этого диктора взглянуть, должно быть, он просто секс-гангстер. Потом спросил, интересно ли ей смотреть фильм, и, поскольку она не ответила, только кивнула, подошел к автоответчику. Он хотел еще раз прослушать тот последний, третий звонок в ее присутствии, но Сюзанна уже успела его стереть. Когда он нажал клавишу воспроизведения, она быстро на него глянула. Но когда Вилленброк на нее посмотрел, уже снова уставилась в телевизор. Он отправился на кухню.

В постели он повернулся к ней и спросил:

— Сегодня ты, конечно, очень устала?

— Да, — ответила она.

19

В четверг явились электрики. Вилленброк уже был на работе и вместе с мастером обошел весь объект, мастер сперва записал его пожелания, а потом они сообща определялись по месту. Двое подмастерьев втащили в здание мотки кабеля, инструмент, стремянки и занялись подключением отопления в полу. Мастер показал Вилленброку целую выставку розеток и выключателей, которую смонтировал в багажнике своей машины, и пометил все, что Вилленброк выбрал.

В обед Юрек, надумав переговорить с шефом, подошел к бытовке и, небрежно стукнув в дверь, собрался было войти, однако дверь не поддалась.

— Минуточку! — крикнул ему Вилленброк.

Как и все предыдущие дни, он в это время как раз вынул револьвер из "дипломата", зарядил его, разрядил и вообще немножко с ним поиграл. Чтобы его за этим занятием не застукали, он, понятное дело, запирал дверь. Торопливо сунув револьвер и патроны в ящик стола, он кинулся отпирать.

— Что-нибудь не так, шеф? — слегка удивленно спросил Юрек и посмотрел на хозяина вопросительно, поскольку прежде контора всегда была открыта и запиралась, только когда Вилленброк уезжал, но в таких случаях он сперва заносил ключи Юреку, чтобы тот при надобности мог позвонить или взять ключи от нужной машины.

— Все в порядке, — нарочито спокойным тоном ответил Вилленброк. Но чувствовал себя как застигнутый за какой-нибудь проказой

школьник. Теперь он изо всех сил делал вид, что внимательно слушает все, что имеет сказать ему Юрек. Тот между тем перечислил, что́ надо заказать из запчастей, и напомнил, что пора вызвать представителей фирмы-поставщика осмотреть станок для балансировки колес, пока не истек срок гарантии. Вилленброк кивал, потом взял у Юрека приготовленную для него памятку, даже себе что-то пометил, но голова его при этом была занята совершенно другим: вот сейчас собственный работник чуть было не застукал его с револьвером в руках. Он проклинал Крылова и его злосчастный подарок. Когда Юрек уже выходил из бытовки, Вилленброк сказал ему, что дверь запер просто так, машинально. Поляк без всякого интереса кивнул.

Еще через час Вилленброк решил сходить к нему в мастерскую, проверить запасы масла и вместе произвести беглый учет инструмента. Потом спросил у Юрека, как семья, что поделывает сын, как поживает жена.

— Хорошо, хорошо, хорошо, — в ярости процедил Юрек сквозь зубы.

Вилленброк в изумлении вскинул на него глаза. Потом поставил обратно на полку пластмассовую коробочку, которую держал в руках.

— Что случилось-то? — спросил он.

Поляк истово отер руки промасленными "концами", отчего они только окрасились в равномерный сероватый цвет, и сказал, не поднимая головы:

— Сын коммерсантом заделался. Зарабатывает втрое больше моего. Когда я спрашиваю, откуда такие деньги, отвечает только: экспорт-импорт. И смеется. Съехал от нас. Деньги мои ему больше не нужны. А жена — у нее все замечательно. Жена со мной разводится.

— Господи, Юрек, да что там у тебя творится?

— Ничего не творится, шеф, все в порядке. Я здесь, она там, вот и все. Ей там одиноко. Вечерами меня дома не бывает. Вот вы, шеф, вечером домой идете. Я здесь, она там, мы не видимся. Она хочет развестись.

— У нее что, другой есть?

— Не знаю. Она говорит, нет. Богом поклялась. Но я не знаю. Меня дома нету.

— И с другими такое случается, Юрек. Бывает, и живут вместе, и по вечерам дома, а все равно все неладно. Брак дело нелегкое.

— Брак это таинство, шеф. Право на развод дает только смерть.

— Что ты хочешь? Не давать ей развод? А законы ваши? Разве они такое позволяют?

— Если жена хочет развода, тут уж ничего не поможет. Если я скажу нет, совсем беда. И если тут останусь, тоже все пропало.

— Ты хочешь вернуться, Юрек? Обратно в Познань?

— Нет, шеф. Что я там забыл? Там у меня работы нет, а для брака это тоже нехорошо. И соседи мои давно уже не соседи мне. Я для них не здешний, чужак, потому что на немца работаю, потому что среди немцев живу. Они думают, я богач и больно много о себе понимаю. Я им уже не свой. Я для них немец.

Вилленброку неловко было смотреть, как Юрек плачет. Он не знал, что сказать. Конечно, можно было бы рассказать про свою жену, у которой любовник со слюнявым голосом, но вряд ли это Юрека утешит.

— Найди себе другую, молоденькую, — посоветовал он. — Ты же видный из себя мужик, зарабатываешь приличные деньги, да бабы на тебя в очередь встанут, что в Польше, что в Германии.

— Нет, шеф, я женат. Без жены, без брака не могу.

— Ах вон что, — протянул Вилленброк. — Ну конечно. Что ж, если тебе домой нужно, Юрек, всегда пожалуйста. Несколько дней я и один здесь как-нибудь перекантуюсь.

— Домой? Зачем?

Поляк обработал щеткой свечу зажигания, потом поднес ее к губам, дунул изо всех сил и протер тряпкой. Вилленброк поднял с пола сломанный болт и бросил в ящик для барахла. Он еще некоторое время смотрел на Юрека, потом пошел к себе в бытовку писать письмо прокурору. На этих днях он уже сделал кое-какие заметки и теперь сел за компьютер сочинять жалобу. Еще через полчаса он дважды перечитал с экрана написанное и результатом остался недоволен: письмо толком не излагало то, что он хотел сказать, а кроме того, производило впечатление взволнованного, прямо-таки взвинченного "крика души". Он не стал его распечатывать, отложил доработку на завтра, хотел, как говорится, одну ночь с этим письмом переспать. А кроме того, позвонил своему адвокату и сказал, что хотел бы ненадолго, но срочно с ним встретиться.

— Нет, — ответил он по телефону. — Это не претензия по строительным делам. Просто я веду переписку с прокурором.

Адвокат спросил, сможет ли он заехать к нему через час, тогда у него найдется для Вилленброка время. После чего Вилленброк еще попытался дозвониться до хорошенькой студентки, с которой ездил тогда к себе на дачу в Бугевиц, но поскольку у нее всякий раз отзывался только автоответчик, причем мужским голосом, он молча клал трубку, так в итоге ничего и не передав. Тогда он позвонил в парикмахерскую Рите Лор. Когда он назвался, та сперва разобиделась, стала его упрекать за то, что он так надолго исчез, но в конце концов все же согласилась встретиться после работы в отеле у Жандарменмаркт. Вилленброк известил Юрека, что на два часа уезжает к адвокату. "Дипломат" он прихватил с собой, чтобы не оставлять револьвер без присмотра.

Адвокат выслушал его историю с озабоченной миной. Потом, покачивая головой, а то и с возмущенным смешком прочел письмо прокурора.

— Это прямое правонарушение, — сказал он наконец. — Тут просто ничего другого и не остается, кроме как подавать иск. Это было покушение на убийство, возможно непредумышленное, но в любом случае они просто права не имеют вот так, втихую, снимать с себя ответственность. Даже в такой глуши.

Когда, однако, Вилленброк спросил его, велики ли шансы на успех у такого иска и возможно ли в судебном порядке принудить прокуратуру продолжить расследование, а в случае необходимости обратиться за помощью к российским властям, адвокат передернул плечами.

— Попытаться в любом случае следовало бы, — сказал он. — Слишком уж случай серьезный. Это особо тяжкое преступление, прокурор обязан был возбудить уголовное дело по собственной инициативе, но эти лодыри, похоже, совсем там мышей не ловят. Их к мышиной норе на руках носить надо. Думаю, по суду мы все-таки сможем заставить их немножко поработать для разнообразия. Но вы сами знаете, Вилленброк, перед немецким судом и в открытом океане все мы в руце Божьей.

Он не без сочувствия посмотрел на Вилленброка и поинтересовался, не заказать ли у секретарши для него кофе. В эту секунду зазвонил телефон, и он с извиняющимся жестом снял трубку.

— Нет, — сказал он, — я же просил меня не отрывать. Но в этом случае, так и быть, соедините.

Он еще раз попросил Вилленброка его простить, после чего начал разговор с клиентом, от которого, судя по всему, требовали доплатить двенадцать миллионов марок налогов и которому адвокат сразу же напомнил, что их эксперт по экономике изучил уведомление финансовой инспекции и ни к чему придраться не смог.

— Думаю тем не менее, кое-что все-таки сделать можно, — тепло сказал он в трубку. — Есть у меня одна идейка, но это не телефонный разговор. Когда вы могли бы меня принять, когда у вас найдется для меня время? Хорошо, ровно в десять я у вас. Если вы не возражаете, я бы позволил себе прийти не один, а с коллегой. Да-да, вы его знаете, это господин Шайблер, наш налоговый корифей.

Повесив трубку, он с довольной ухмылкой посмотрел на Вилленброка:

— У каждого свои заботы, верно?

Уверенным, размашистым почерком он что-то записал на листе бумаги, потом снова обратился к Вилленброку.

— Ну так как, вы решились? Дадим этим захолустным болванам парочку уроков немецкого правоведения? Что до меня — я бы с превеликим удовольствием. Все прокуроры мнят себя непогрешимыми святыми, вердикты свои считают чуть ли не гласом Божьим, а на нас, адвокатов, смотрят как на жалких назойливых смутьянов, которые только и знают лезть не в свое дело. У меня прямо руки чешутся взять такого вот надутого индюка прокурора, который спит и видит себя уже где-нибудь в Карслруэ, за ушко да на солнышко — ах, какая это была бы потеха! Ну как, Вилленброк, вы готовы?

Он поправил галстук и от удовольствия даже постукивал пальцами по столу. Глаза его из-под кустистых бровей азартно поблескивали.

— Может, сперва все-таки протест подать? — с сомнением в голосе проговорил Вилленброк.

Адвокат кивнул.

— И подайте. А если и после этого ничего не будет предпринято, вот тогда уж мы зададим им жару.

Он встал, на ходу протягивая руку для рукопожатия, и проводил Вилленброка до приемной.

— Это будет процесс века, Вилленброк, — радостно посулил он ему на прощанье.

В раздумье Вилленброк поехал обратно в контору. Он не знал, как быть. Вечером, когда Юрек пришел к нему прощаться, он спросил, не хочет ли тот как-нибудь после работы зайти к нему в гости, просто так, по-дружески.

Юрек посмотрел на него, размышляя о чем-то своем.

— Нет, шеф, — сказал он наконец, — вечерами я всегда занят. Все время надо что-то доставать, для друзей, для жены, вечно какие-нибудь дела.

— Для жены? — изумленно переспросил Вилленброк.

— Ну, может быть, не знаю, может быть, — начал было поляк, но вконец смешался, коротко кивнул и поспешил к своей машине.

Вилленброк достал из ящика стола электробритву и поставил перед собой небольшое зеркало. Побрившись, слегка освежил себя одеколоном. Переложил бумаги и ключи в "дипломат" и запер бытовку. Через час придет Пазевальд и пробудет до восьми утра, когда заступает на работу Юрек.

В отеле прямо посреди вестибюля стояла пожилая дама в огромной шляпе и гневно распекала двух своих сопровождающих и двух девушек со стойки регистрации. Вокруг дамы громоздились два чемодана и полдюжины саквояжей. Дама ругалась по-испански, так что Вилленброк не мог понять, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. Он прошел в бар, все столики оказались заняты, Риты нигде не было. Тогда он направился к стойке регистрации получить ключи от номера, но оба портье попросили его минуточку обождать, видимо, они тоже занимались делами испанской дамы. Похоже, возникли какие-то осложнения с ее номером. Даму то и дело просили подойти к стойке, но она не сходила с места в центре зала, крикливо и властно продолжая настаивать на своих притязаниях. Посетители в баре, поневоле прервав свои разговоры, с интересом следили за громогласной сценой. Обе девушки, уже с пунцовыми личиками, что-то лопотали по-испански, явно пытаясь даму утихомирить. Тем временем один портье лихорадочно вел переговоры по телефону, другой все более нервно стучал по клавиатуре компьютера. Пока Вилленброк дождался своего ключа, он успел понять, что дама – испанская графиня, что она якобы заказала два люкса, а служащие отеля теперь спешно пытались выяснить, не поступил ли этот заказ по недоразумению в какой-то другой отель.

Вилленброк взял газету и устроился в кресле. Тут откуда-то из служебных глубин отеля возник пожилой господин, то ли управляющий, то ли даже сам директор, сперва опросил персонал, потом побеседовал с дамой и быстро подошел к стойке, чтобы тут же вернуться с двумя ключами в руке. Любезным жестом он пригласил даму проследовать к лифту. Графиня величественно двинулась за подобострастно семенящим перед нею гостиничным боссом, продолжая ругаться на чем свет стоит. Двое сопровождающих и четверо служащих отеля несли за ними багаж, но в лифт войти не посмели, а почтительно дождались, пока графиня с шефом первыми поднимутся наверх и лифт снова освободится.

Вилленброк листал газету, краем глаза не упуская из виду входную дверь. Мысли его все еще были заняты прокурорским письмом, и он спрашивал себя, последовать совету адвоката или все-таки нет. Когда к нему подошел официант, он заказал себе виски.

Рита опоздала на полчаса. Она и не подумала извиниться, вместо этого только недовольно заметила, что от Вилленброка пахнет спиртным, после чего они сразу же поднялись наверх в номер.

Еще через два часа они пили кофе в баре отеля. Вилленброк пообещал в скором времени снова ей позвонить. Он еще раз извинился за то, что так надолго пропал, просто на него сейчас много всего навалилось. В ответ молодая женщина стрельнула в него издевательским взглядом и посоветовала особенно не перетруждаться, ведь он уже не юноша. Когда он на прощанье хотел поцеловать ее в щечку, она неприязненно отстранилась и, ни разу на Вилленброка не оглянувшись, с высоко поднятой головкой зацокала по вестибюлю к входным дверям, в то время как Вилленброк понуро направился к стойке рассчитываться за номер.

Домой он вернулся только около десяти. Когда жена спросила его, что это он сегодня так поздно и даже не позвонил предупредить, он скупо ответил, что побывал у адвоката и намеревается побеседовать с прокурором.

На следующий день он из конторы позвонил в прокуратуру земли Нойбранденбург и сказал, что хотел бы переговорить с господином Тешем. На вопрос, по какому делу, он ответил, что речь идет о тяжком преступлении – покушении на убийство. Ему на это сообщили, что господина прокурора в данное время нет на месте, и посоветовали обратиться в криминальную полицию. Вилленброк энергично запротестовал, потребовав, чтобы его выслушали, но служащая на том конце провода еще раз повторила то, что он уже слышал, и повесила трубку. Он позвонил еще через час и представился владельцем фирмы "Авторынок Вилленброка". На сей раз его без промедления соединили с секретариатом господина Теша. Секретарша спросила, по какому он вопросу – по личному или по делам фирмы? Вилленброк ответил, что не знает, он понятия не имеет, с какими целями его клиенты покупают у него машины. Тогда секретарша соизволила сообщить, что сегодня господин прокурор целый день в суде, но завтра от одиннадцати до двенадцати его можно будет застать. Она поинтересовалась, не может ли господин прокурор сам ему завтра перезвонить, и попросила его оставить свой номер, но Вилленброк ответил, что в этом нет необходимости, он зайдет завтра, в половине двенадцатого, если она не возражает.

Во время их совместного обеда Юрек сказал, что все-таки хотел бы съездить на несколько деньков в Познань, и попросил неделю отпуска. Вилленброк поинтересовался, когда он хочет ехать, а услышав в ответ, мол, как можно скорее, попросил Юрека все же в пятницу остаться на работе, потому что у него уже назначена деловая встреча, которую никак нельзя перенести, и он вернется только во второй половине дня. А после этого Юрек может сразу же ехать, и если ему недели покажется мало, может спокойно оставаться дольше, пусть только по телефону его известит. Юрек лишь кивнул в ответ. И когда Вилленброк обсуждал с ним дела, которые непременно надо сделать на будущей неделе, пока он будет в отпуске, поляк тоже был очень немногословен. Когда же Вилленброк спросил его, неужели он так любит свою жену, Юрек только недоуменно на него глянул:

– Мы повенчаны, – упрямо повторил он.

В Нойбранденбург Вилленброк приехал к одиннадцати. Он не без труда нашел Демминскую улицу, а на этой улице стоянку. Незадолго до половины двенадцатого он уже здоровался с секретаршей Теша, которая опять спросила, какое у него, собственно, дело к ее шефу. Он ответил только, что является владельцем фирмы "Авторынок Вилленброка" и обязательно должен с господином Тешем переговорить. Секретарша попросила его минуточку подождать и исчезла в кабинете. Несколько минут спустя она снова вышла, распахнула перед ним дверь и предложила войти.

Прокурор с любопытством поднял глаза, когда Вилленброк зашел в кабинет. На вид ему было лет сорок пять, модная прическа, волосы уже тронуты сединой, сорочка и галстук удачно подобраны к костюму, из нагрудного кармана пиджака с элегантной небрежностью выглядывает платочек. Взглянув на Вилленброка, он снова склонился над бумагами и тихим, скучливым голосом произнес:

— Слушаю вас. С кем имею честь?

— Моя фамилия Вилленброк. Вы мне писали.

— Но секретарша мне сказала — авторынок. Я как-то не совсем понимаю, с какой стати вы ко мне пришли. Машина мне в данный момент не нужна.

— Вы мне писали, — повторил Вилленброк.

С этими словами он раскрыл "дипломат" и, тщательно придерживая крышку левой рукой, чтобы не выпал револьвер, достал оттуда письмо. Он протянул документ прокурору. Теш бросил на письмо один беглый взгляд и вернул его Вилленброку.

— Понимаю. Это недосмотр моей секретарши. Если вы хотите говорить со мной о вашем деле, запишитесь у нее на прием. Хотя вообще-то я не знаю, что там еще обсуждать. Вопрос давно решен. Если вы намерены опротестовать мое решение, обращайтесь к генеральному прокурору. Только, пожалуйста, в письменном виде, у нас у всех очень много дел.

И он снова склонился над бумагами. Поскольку Вилленброк продолжал невозмутимо сидеть на стуле, он через какое-то время поднял на него глаза и безмолвно указал на дверь.

— Выйдите, пожалуйста, — сказал он.

— Меня пытались убить, — проговорил Вилленброк.

Прокурор коротко кивнул.

— Криминальная полиция обнаружила следы преступников. Отличные следы, как мне было сказано. А вы теперь утверждаете, что они непригодны. Вы просто выдворили этих подонков, а дело прикрыли. Но это было покушение на убийство.

Прокурор, не отрываясь от своих бумаг, тихим голосом повторил:

— Выйдите, пожалуйста.

— Ну уж нет, — взъярился Вилленброк, распрямляясь на своем стуле. — Я требую, чтобы преступники были наказаны. Это ваша работа, вам за нее платят, из моих налогов, между прочим! Вы только ради этого здесь и сидите, господин прокурор!

Он уже кричал. Дверь кабинета распахнулась, из приемной показалась секретарша. Она замерла на пороге, глядя на своего начальника. Тот поднялся, вышел из-за стола и на шаг приблизился к Вилленброку.

— Господин...

— Вилленброк, — подсказала секретарша.

— Да. Господин Вилленброк, я понимаю, вы перенесли ужасное потрясение. Но теперь положитесь всецело на немецкое правосудие и покиньте мой кабинет. Если вы решили подать протест, моя секретарша разъяснит вам необходимые формальности. Но не усугубляйте вашего положения и выйдите наконец. Если я распоряжусь выдворить вас из кабинета силой, это чревато для вас самыми неприятными последствиями. Меньше всего мне хотелось бы возбуждать против вас уголовное дело за попытку принуждения должностного лица.

— Покушение на убийство — это тяжкое преступление, господин прокурор, и вы не имеете права просто так его спихивать...

— Вы решили поучить меня немецкому праву, господин Вилленброк? Не беспокойтесь, по вновь открывшимся обстоятельствам, если таковые возникнут и будут сочтены существенными для дела, расследование может быть возобновлено в любой момент. Но в настоящее время просить российские следственные органы о правовой поддержке нет ника-

кой необходимости, да и вряд ли это что-либо даст. Подобные обращения отнимают много времени и очень дорого обходятся. А теперь все же попрошу вас...

Вилленброк в бессильной ярости подчинился и направился к распахнутой двери.

— Вы еще обо мне услышите, — угрюмо бросил он прокурору, который невозмутимо принял его угрозу к сведению.

Вилленброк пулей вылетел из кабинета, секретарша что-то кричала ему вслед, но он не понял что. На лестнице он бормотал про себя ругательства. Поймав на себе испуганный взгляд делопроизводителя, поднимавшегося навстречу со стопкой папок в руках, Вилленброк успокоил его улыбкой. Прежде чем выйти из учреждения, сунул письмо обратно в "дипломат". И ненароком коснулся при этом револьвера. Знай Теш, этот дешевый пижон, разыгрывающий из себя прокурора, что посетитель явился к нему в кабинет при оружии и с достаточным количеством патронов, он бы небось полюбезнее с ним разговаривал, был бы как шелковый. Вилленброк сел в машину и поехал обратно в Берлин.

В четыре он уже был на месте и отправил Юрека домой.

— Привези жене что-нибудь в подарок, — посоветовал он на прощанье.

— У нее и так все есть. Больше, чем у всех соседок, вместе взятых.

Только когда Юрек садился за руль, Вилленброк заметил, что машина у поляка набита битком, даже на переднем сиденье едва-едва оставалось место для водителя. Он пошел в контору, включил компьютер и снова принялся за письмо генеральному прокурору. Он заявил протест на вынесенное решение и изложил обстоятельства своего визита к прокурору Тешу. В заключение он просил выдать ему разрешение на оружие, поскольку органы правопорядка, судя по всему, то ли не желают, то ли не в состоянии покарать насилие и он вынужден впредь взять заботу о защите своей семьи на себя. С удовольствием перечитав сие послание и немного поколебавшись, он приписал в конце: "С уважением". Распечатав письмо и поставив под ним свою подпись, он испытал чувство облегчения.

Сюзанне о своем визите в Нойбранденбург он поведал лишь вкратце. И добавил, что по совету адвоката подал протест, но не слишком верит, что братьев удастся привлечь к ответственности, поскольку их давно уже выдворили.

На выходные они остались в городе. Вилленброк мыкался один на своем авторынке и в субботу вернулся домой уже довольно поздно. За неделю, пока поляк был в отпуске, ему не удалось продать ни одной машины. Он терялся в догадках: то ли просто время неудачное, то ли его клиентура из Восточной Европы питает к Юреку больше доверия. Как бы там ни было, он вздохнул спокойнее, когда Юрек вернулся.

Сейчас они оба сидели во дворе и завтракали. Вилленброк вынес из конторы стол и стулья и приготовил на двоих кофе. Он ждал, что Юрек расскажет о жене, о доме, но тот только молча жевал принесенные с собой бутерброды, подставляя лицо ласковому утреннему солнцу. Когда Вилленброк все же решился его спросить, он ответил, что с женой они поладили, заключили, как он выразился, перемирие, решив еще раз все как следует обдумать, так что работу у Вилленброка он покамест не бросает.

— А с сыном тоже поговорил?

— Мельком видел, в кафе. Он тоже меня заметил, но сделал вид, будто я пустое место. С дружками своими сидел. Распоследний сброд со всей Познани.

— Что поделаешь, молодежь, — вставил Вилленброк.

— Бандиты, а не молодежь, — угрюмо уточнил Юрек.

— Мы в юности тоже в казаки-разбойники играли. Это все детские шалости, пройдет.

— Они не играют в разбойников, они действительно разбойники. У них пистолеты, самые настоящие. Ночью они выходят с ними в город. Нападают на других молодых ребят и грабят. Или вы в молодости тоже так развлекались, шеф?

— Мы тоже, знаешь, были не ангелы.

— Конечно, шеф. Одни из нас боготворили Пилсудского, другие битлов, и мы все готовы были молиться на папу. Но у моего сына кумир Аль Капоне. Он мечтает стать крестным отцом всех познанских уголовников.

Вилленброк подумал, что вполне мог бы рассказать Юреку о своем револьвере, но вряд ли того это подбодрит или утешит. Он мог бы признаться поляку, что и сам постоянно расхаживает по городу с огнестрельным оружием, даже прихватил его с собой, чтобы не оставлять без присмотра в машине, когда пошел к прокурору, — наглость, которую, очевидно, позволяют себе только отъявленные головорезы, да и то больше в кино. Вместо всего этого он только заметил:

— Мы тогда были еще настоящими детьми. Сегодня молодежь совсем другая, куда более зрелая, чем были мы, ну и потому, наверное, более прожженная.

Юрек только презрительно фыркнул и принялся аккуратно чистить яблоко.

20

На стройке все еще трудились электрики. К ним присоединились двое трубоукладчиков, и время от времени Вилленброк слышал, как они громко переругиваются, поскольку постоянно друг другу мешают. На окна и двери уже поставили замки и ручки, они были еще в защитной пленке, но пользоваться было можно, так что Вилленброк теперь каждый вечер обходил всю стройку, проверял ход работ и радовался своему будущему торговому залу. Он уже мысленно обставлял новое бюро, отделив его от мастерской и салона. Туалет с душевыми кабинками все еще являл собою беспорядочное месиво проводов и труб. Зато в мастерскую уже завезли стеллажи, они были сдвинуты в центр помещения и ждали сборки после завершения малярных работ.

В октябре Сюзанна вдруг надумала закрыть свой бутик, так как с начала года работала только себе в убыток и даже заключительная летняя распродажа ожидаемого оборота не принесла. Вилленброк долго ее уговаривал и с трудом уломал продержаться хотя бы до рождественских праздников. Он пытался предотвратить и увольнение Катрин, но безуспешно. Он как мог втолковывал жене, что без помощницы та практически привязана к прилавку, что всякий выезд на закупку, без которых все равно не обойтись, в этом случае неминуемо означает закрытие магазина, что теперь ей придется по субботам и понедельникам торчать в бутике и из-за этого они оба лишь очень ненадол-

го смогут выбираться на свою дачу. Но, уже выдвигая все эти доводы, по лицу Сюзанны понял, что они ее не остановят, наоборот, только обрадуют как лишний предлог еще реже ездить в Бугевиц. Она осталась тверда в своем решении, предупредила Катрин, что сможет оставить ее на работе только до конца года, и попросила подыскивать себе другое место.

Теперь, приходя домой, Вилленброк первым делом шел к автоответчику. Он нажимал на клавишу, даже когда аппарат не показывал ни единого сообщения. И с удовлетворением отмечал, что жена наблюдает за его манипуляциями, хотя оба не проронили об этом ни слова. Иногда собственное поведение казалось ему ребячеством, тем более что теперь, после того как Вилленброк выслушал странное сообщение, которое жена выдала за благодарность клиента, тот слащавый тип наверняка никогда больше не позвонит, но он продолжал упорно следовать новоприобретенной привычке – чтобы поселить в жене чувство беспокойства, показать, что он ей больше не доверяет и что на самом-то деле ему все очень даже хорошо известно. Каждый день, едва переступив порог, он почти против воли устремлялся к автоответчику и нажимал кнопку – точно так же, как на работе не мог отвадить себя от привычки поглядывать на клиентов, когда те в сопровождении Юрека бродили по двору. Эта его одержимость, почти мания все проверять даже слегка его забавляла, но иногда и внушала тревогу. Он стал бояться, что это возрастное, этакая идиотская блажь стареющего маразматика, особенно когда понял, что привычка сильнее, что он просто не в силах отказаться от этих проверок. Если он, сидя у себя в конторе, слышал во дворе незнакомые голоса и не подходил к окну или если дома вдруг вспоминал, что еще не прослушал автоответчик, им овладевало беспокойство, почти зуд, и он не мог сосредоточиться на работе или на своих вечерних домашних занятиях, пока не наверстывал упущение. "Ты просто псих, – говорил он себе, – смирись с этим". Но мысль о том, что он стареет, становится человеком со странностями, не давала покоя.

В конце сентября явился каменщик и за четыре дня вывел над лестницей перед входной дверью небольшую симпатичную пристройку из красного клинкерного кирпича. Это ему архитектор присоветовал: кирпичная кладка подчеркнет элегантность металлоконструкции, красный кирпич замечательно сочетается с голубовато поблескивающим металлом и стеклом. На третий день после каменщика пришли маляры и начали красить подвесной потолок и отделанные плитами сухой штукатурки внутренние стены.

В начале октября Вилленброк все-таки настоял на поездке в Бугевиц. В последнее время они бывали там совсем мало, и он решил спустить воду из садового водопровода и заколотить на зиму сарай, так как не знал, когда уговорит Сюзанну снова отправиться на дачу. В бутике уже полным ходом шли приготовления к рождественской распродаже, так что до конца года у нее отыщется тысяча поводов никуда из Берлина не уезжать.

В воскресенье утром, уже в затрапезной рабочей одежде, зайдя на кухню вскипятить себе чай, он обнаружил жену сидящей за столом с револьвером в руках. В тот же миг он одним прыжком оказался рядом и вырвал у нее оружие.

– Это не игрушка, – пробормотал он испуганно.

– Я искала ручку. Думала, у тебя в "дипломате" лежит. Извини.

– И никогда больше к нему не прикасайся, Сюзанна.

– Он выглядит совсем как настоящий. Как настоящий пистолет.

– Да, – только и сказал он в ответ.

– Я его боюсь.

– Он и должен выглядеть совсем как настоящий. В этом весь смысл этой игрушки. По виду и на ощупь не отличишь, и стреляет так же громко, только без последствий.

– Ужасно, – сказала Сюзанна. – А зачем он у тебя в "дипломате"? Ты что, всегда таскаешь с собой эту штуку?

– А куда мне ее еще девать? Нельзя же, чтобы она в руки ребенку попала, мальчишке какому-нибудь.

Револьвер был не заряжен, и все равно Вилленброк перепугался до смерти, увидев его в руках жены. Он в который раз недобрым словом помянул Крылова и втайне взмолился, чтобы тот как можно скорее приехал – он тогда вернет русскому его злополучный подарок. Он завернул револьвер в тряпицу и сунул обратно в "дипломат".

По возвращении в Берлин он отыскал у себя в письменном столе маленький ключик и запер "дипломат". Отныне он запирал его каждый вечер, отправляясь с работы домой. И завел привычку уже в машине, по дороге домой, проверять, заперт ли "дипломат", лежащий рядом с ним на сиденье.

В середине октября малярные работы были закончены. Как только маляры ушли, он вместе с Юреком принялся за установку мебели, которую завезли уже недели две назад. Вдвоем они свинчивали полки в мастерской и вешали их на стены.

22 октября состоялась окончательная сдача объекта. Пришел архитектор Вилленброка и главный инженер строительной фирмы. Они вместе обошли все здание, включали выключатели и рубильники, проверяли оборудование, открывали и закрывали окна и двери, простукивали стены. Затем инженер очень торжественно и официально, явно заранее заученными предложениями поздравил Вилленброка. Вилленброк откупорил шампанское.

– А куда вы старую бытовку денете? – поинтересовался инженер. – Может, хотите от нее избавиться? Так наша фирма с удовольствием ее заберет.

Вилленброк вежливо покачал головой.

– С этой старой кибиткой я не расстанусь. Я в ней начинал. Она пойдет в мой фирменный музей.

Юрек изъявил желание жить в бытовке, от своей квартиры он хотел отказаться и перебраться сюда. На пять ночей, что он проводит в Берлине, его и бытовка вполне устроит, тем более что теперь в торговом зале есть душ и мыться он может там, а в его нынешней квартире теснота ничуть не меньше. Вилленброк с радостью согласился. Теперь и Пазевальд в случае опасности будет иметь подмогу, так что ему за ночного сторожа волноваться не придется.

Инженер еще раз похвалил качество строительных работ, не преминув подчеркнуть достоинства своей фирмы. Дескать, в конечном счете, несмотря на серьезные трудности, все работы были завершены более или менее в срок. Мартенс, архитектор, вскоре стал прощаться, у него еще была встреча в сенате, и Вилленброк пошел проводить его до машины. На прощанье Мартенс еще раз напомнил ему удержать при расчете

оговоренные штрафы за просрочку или заручиться от фирмы гарантийным письмом.

Вечером Вилленброк дождался Пазевальда, чтобы передать тому ключи от входных дверей и от своего бюро. Он спросил старика о семье, тот в ответ принялся рассказывать о своей внучке и осекся лишь после того, как Вилленброк вынужден был его прервать, потому что торопился уйти. Сюзанна на открытие не пришла. У нее была закупка на итальянской фирме, которая устроила показ моделей одежды в одном из берлинских отелей. Упустить такую возможность она никак не могла, потому что уже три года закупала в этой фирме туалеты для своего бутика, но обещала в самое ближайшее время приехать и все осмотреть. Вилленброк знал, что на самом деле новый торговый зал нисколько ее не интересует, потому и не настаивал.

Дома его ждало письмо генерального прокурора. Уже вынимая конверт из почтового ящика, Вилленброк начал злиться, поскольку ясно ведь просил ответить ему на его служебный адрес — он не хотел снова волновать Сюзанну. Он прошел на кухню, заварил себе чай и с тяжелым сердцем вскрыл конверт. Помощник генерального прокурора, некто доктор Майер, уведомлял его, что после проведенной тщательной проверки обстоятельств дела новых причин для продолжения расследования не выявлено, поскольку собранный следственный материал для предъявления подозреваемым обвинения недостаточен. Выдвигавшуюся ранее аргументацию о нецелесообразности, в целях экономии времени и средств, привлечения международной правовой поддержки следует считать досадным недоразумением, ибо на самом деле органы прокуратуры отказываются от таковой возможности сугубо по причинам реальной недостаточности объективной доказательной базы. В связи с чем его жалоба отклоняется как необоснованная. Данное решение может быть обжаловано в судебном порядке, но не позднее чем в течение одного месяца, причем исковое заявление должно быть подписано не самим истцом, а только адвокатом. Судебные издержки по рассмотрению иска возлагаются при этом на истца. Далее ему сообщалось, что генеральная прокуратура разрешений на ношение оружия не выдает. Кроме того, подобные разрешения никогда не выдаются частным лицам для самообороны, а только гражданам, занимающимся различными видами стрелкового спорта при соответствующих спортивных объединениях, с обязательным условием использования оружия исключительно и только в предоставляемых объединениями специально приспособленных для этой цели помещениях. Ему предусмотрительно напоминали, что применение оружия, приобретенного даже на законных основаниях лицом, имеющим право на его ношение, тоже регулируется законом и что всякое использование оружия в целях самообороны для предотвращения реальной угрозы жизни неминуемо влечет за собой специальное расследование органами прокуратуры и уголовного розыска, поскольку превышение границ необходимой самообороны является уголовным преступлением и карается тюремным заключением.

Послание заканчивалось традиционной бюрократической формулой: “Во исполнение поручения, с глубоким уважением”, над которой Вилленброк на сей раз надолго задумался. Отклонение жалобы нисколько его не взволновало, он этого ожидал. Он скомкал казенную бумагу и зашвырнул ее куда-то в угол кухни. Потом, уже выкурив сигарету, снова поднял письмо и тщательно его разгладил, чтобы подшить в свою папку

входящих документов. Сюзанне он решил ничего не рассказывать и адвоката тоже не извещать, а уж тем паче не затевать на пару с ним судебную тяжбу. Если уж тому доставляет такое удовольствие судиться с прокуратурой, пусть делает это за свой счет, на свой страх и риск. Он лично не видел больше никакого смысла в том, чтобы понуждать органы расследования заняться тем, чем они, по его понятиям, должны заниматься, но заниматься явно не желают. Ночной грабеж остался уже где-то в прошлом, и он хотел как можно скорее о нем позабыть. Он подстраховал свою дачу новыми запорами и сигнальными приспособлениями, "поставил кое-какие игрушки", как он выражался, и этого достаточно. Тут он вспомнил о крыловском револьвере и задумался, действительно ли стоит его возвращать.

В начале декабря Вилленброк снова поехал в Бугевиц. Он поехал один, у Сюзанны было полно дел, и даже в выходные она работала в магазине. Вилленброк собрался было позвонить кому-нибудь из своих молоденьких клиенток и предложить вместе провести уик-энд. Он даже начал перебирать картотеку, но в приступе внезапной хандры вдруг расхотел. Вместо этого сунул в машину две толстенные книги о летчиках Первой мировой войны и до самого утра читал. Револьвер он вынул и положил рядом с кроватью на ночной столик. Его так и подмывало опробовать оружие в действии и где-нибудь пострелять в цель, но он боялся всполошить соседей и навлечь на себя неприятности. Стряпать на себя одного ему было неохота, и он съездил пообедать в Анклам.

За четыре дня до Рождества он закрыл свой авторынок и объявил рождественские каникулы. Юрек хотел провести праздники у матери в Варшаве и только потом заехать ненадолго в Познань. Вилленброк сунул ему в руки конверт с рождественскими премиальными, а еще, в подарочной упаковке, платье для жены, которое Сюзанна подобрала у себя в магазине. Юрек долго отнекивался, говорил, что в этом году вообще не собирается жене ничего дарить и от других людей тоже никаких подарков передавать не хочет, но Вилленброк настоял.

— Купи ей что-нибудь красивое, — уговаривал он Юрека. — Женщины — они же как дети. Они обожают подарки, безделушки всякие, они тогда знают, что мы о них думаем, что мы их любим.

— Я ей уже все подарил, — буркнул поляк. — Она все от меня получила.

— Что ты ей подарил? Садовый культиватор? Женщинам надо дарить что-то такое, что они могут на себя нацепить или надеть — наряды, бусы, украшения, да хоть парик. Ну на что, скажи на милость, твоей жене садовый культиватор?

— Как на что? В хозяйстве это большое подспорье.

— Ну конечно. Но почему бы тебе не подарить ей золотую цепочку, пару жемчужных сережек? Женщины, Юрек, они же не такие, как мы, они совсем другие.

— Да, моя жена совсем другая. И сын тоже. — Он вымолвил это глухо, с горечью и равнодушно сунул пакет под мышку. — Спасибо, шеф.

Накануне Сочельника они с Сюзанной отправились к его брату в Гослар. Они не виделись давным-давно, и когда Вилленброк по телефону известил брата о визите, тот отреагировал сдержанно, сказал только, что они могут приехать и заночевать тоже. Впрочем, они с братом никогда особенно не ладили, а после смерти родителей, которые умерли в один год, напрочь друг о друге забыли и не слишком об этом печалились. Сю-

занна время от времени уговаривала его поддерживать, а вернее, возобновить отношения с братом, и это она, конечно, посылала брату и его домашним поздравительные открытки к дням рождения, однако до родственных встреч дело не доходило. Так что, когда в середине декабря Вилленброк вдруг предложил Рождество встретить в Гослare, на Гарце, поскольку тещи уже нет, а к шурину он не поедет ни за какие коврижки, Сюзанна удивилась, но немедленно ответила согласием.

Они приехали уже под вечер, братья поздоровались весьма холодно, почти официально, что их жены, при встрече сразу же обнявшиеся, отметили с некоторой растерянностью. Перекусив, все отправились в центр города слоняться вдоль освещенных витрин, частично уже лишившихся своего рождественского убранства. А вечер провели в просторной, удобной квартире брата с видом на гору Петерсберг.

Петер, так звали брата, в двадцать четыре года на планере, принадлежавшем спортобществу, пересек государственную границу ГДР и сбежал на запад. Во время соревнований он вместе с другими участниками чемпионата, проводившегося в Нойштадт-Глеве, дал поднять себя на буксировочном самолете, но, едва только аэродром исчез из поля зрения, покинул предписанный маршрутом юго-восточный курс и, используя благоприятные в тот день восходящие воздушные потоки, устремился прямиком к границе. Он летел на максимальной высоте — планеры ведь не улавливаются радарами, так что опасаться надо было только одного: как бы его снизу невооруженным глазом не заметили пограничники.

По собственным расчетам, он приземлился километрах в двадцати от границы на большом лугу. Посадка вышла аварийная, он слишком поздно заметил штакетины и провода электроограждения вокруг выпаса, так что ему пришлось в последние секунды резко маневрировать, и все равно одну лопасть он поломал вдрызг. Когда он смог наконец остановить планер, он был в таком состоянии, что несколько минут сидел в полной неподвижности, а вылез только для того, чтобы дать волю нестерпимым позывам рвоты. Его нашли крестьяне. Он осторожно поинтересовался, куда это его занесло. А когда услышал, что до границы всего восемьсот метров, и понял, что жутко просчитался, что, уже перелетев границу, угодил в круговой поток и чуть было не улетел обратно, ему снова сделалось дурно.

Товарищи по сборам в спортцентре Нойштадт-Глеве узнали о его бегстве лишь два дня спустя, после того как об этом сообщили западные агентства. До этого, поскольку Петер Вилленброк о себе знать не давал и служба безопасности полетов тоже ничего сообщить не могла, они два дня кружили над всей округой на спортивных самолетах, искали обломки исчезнувшего планера.

Потом Петер учился в Ганновере на юридическом и экономическом, по окончании университета попытался открыть свое дело в качестве консультанта-экономиста, но спустя четыре года осел в городской администрации Гослара, где вскоре получил статус государственного служащего.

Из-за этого бегства его отношения с братом Берндом сильно осложнились — тот упрекал его в том, что он стариков родителей бросил, себе навредил и его, брата, жизнь своим бездумным, эгоистичным поступком полностью разрушил. После скандального бегства брата, да еще с угоном планера, Вилленброка из спортклуба исключили. Его обвинили в ук-

рывательстве — дескать, знал, но не сообщил. А ведь до этого он отдавал планерам буквально все свое свободное время. В клубе на него возлагали большие надежды, он реально претендовал на звание чемпиона страны. Товарищи по команде наградили его прозвищем "Фока-6"[1]. Вдобавок ко всему Бернда Вилленброка отчислили из высшего технического училища, и ему пришлось два года проработать на заводе, прежде чем он смог снова продолжить образование.

Отчисление из института он пережил спокойно, занятия там никогда его особенно не увлекали, но вот исключение из авиаклуба и пожизненное лишение допуска к полетам стало для него тяжелым ударом. Постановление о лишении его летной лицензии мотивировалось тем, что его брат Петер своим безответственным отклонением от предписанного воздушного коридора подверг серьезной угрозе международное воздушное сообщение, а совершив угон летательного аппарата, нанес моральный и материальный урон престижу спортивного общества. Бернд Вилленброк протестовал во весь голос. Он — это одно, его брат — совсем другое, доказывал он, нельзя карать его за проступок брата, это семейная порука, дикий средневековый обычай, возрожденный фашистами, то есть вещь абсолютно недопустимая. Председатель их регионального спортивно-технического союза сказал ему, что он, конечно, может подать протест, только это совершенно бесполезно, решение спущено с самого верха. Он сам пытался за Вилленброка вступиться, потому что не хочет терять одного из лучших своих пилотов, но это абсолютно безнадежно, теперь из-за бегства своего братца Вилленброк может забыть о полетах раз и навсегда.

Год спустя Бернд Вилленброк подал заявление с просьбой снова разрешить ему полеты на спортивных самолетах. Затем, всякий раз по прошествии года, подавал апелляцию еще дважды, но ему было отказано. И он покорился судьбе. Он по-прежнему покупал все книги о старых и новых самолетах, запоем читал биографии знаменитых летчиков, но на тренировочном аэродроме больше не появлялся, на соревнования по пилотажу и смотры военной авиации ходить перестал.

После бегства Петера братья обменялись гневными, полными взаимных обвинений письмами, после чего всякая связь между ними оборвалась и только после женитьбы каждого из них с грехом пополам, по настоянию жен, возобновилась. В это Рождество они увиделись впервые за семь лет, с тех пор как похоронили родителей.

Детей брата, дочку, которая уже училась в Мюнхене в университете, и жившего с родителями сына (тот пытался обучиться ремеслу звукорежиссера и кормился случайными заработками и выступлениями в оркестре) они видели впервые. Сидели, показывали друг другу фотографии, смотрели видео о двухмесячной поездке в Китай, говорили о родителях, о детстве. Оба брата старательно избегали опасных тем, чтобы не разругаться, зато их жены сразу же друг с другом поладили.

Петер рассказал о своем самолете, у него была "Сессна", и вдруг предложил брату поехать на аэродором, вместе посмотреть машину, но Вилленброк отказался. Он больше этим не интересуется, ответил он. Сюзанна глянула на него с изумлением, но промолчала.

— Как, ты больше не летаешь? — удивился Петер.

1. Планеристы ГДР в то время летали на планерах польского производства моделей "Фока-4" и "Фока-5", прозвище "Фока-6", таким образом, указывает на высокое, "продвинутое" мастерство планериста.

— Нет.

— "Фока-6" больше не летает? Вот так сюрприз. Но теперь-то тебе ведь можно. Мог бы и самолетик себе купить, денег у тебя наверняка хватает.

— Никакого интереса.

— Но на досуге-то ты чем занимаешься, свободное время как проводишь?

— Машинами торгую. Хобби у меня такое.

— Но деньги — еще не все, — не унимался брат. — Какое-то хобби надо иметь. Иначе и зачахнуть недолго. Я, во всяком случае, не нарадуюсь, что купил себе эту стрекозку. Один полет экономит мне сто визитов к врачам. Я вообще не понимаю, как это ты снова летать не начал. У тебя ведь теперь все возможности, Бернд. Ты же у нас настоящий ас был. "Фока-6" всегда был первым.

— Было когда-то. Давно прошло.

— Извини, но я тебя не понимаю.

— Очень может быть, — ответил Вилленброк. — Такова жизнь.

Петер хотел показать ему фотографии, да и видео своей "Сессны" и своих полетов, но брат настолько твердо отказался их смотреть, что он даже обиделся.

На следующий вечер Бернд Вилленброк с женой уехал обратно в Берлин: до конца года ему еще предстояло провести четыре игры в составе своей гандбольной команды.

21

29 декабря Вилленброк вернулся домой поздно. После игры он вместе с товарищами по команде еще два часа просидел в их традиционном ресторанчике. Он выпил довольно много пива и на обратном пути старался ехать спокойно и аккуратно, чтобы не нарваться на полицейский контроль. Тут и там уже вовсю запускали новогодние петарды. Одна из них, красная хвостатая ракета, по касательной даже угодила в его автомобиль, но он не стал останавливаться и только уже дома в гараже осмотрел лаковое покрытие, однако повреждений не обнаружил. Во всем доме было уже темно, он на цыпочках прошел в ванную, разделся там и, нагишом прокравшись в спальню, улегся рядом с Сюзанной. Заснул он быстро.

В начале второго он, однако, проснулся. Его разбудил какой-то странный звук, похожий на треск дерева. В ту же секунду он пробудился окончательно и стал прислушиваться. Одна за другой хлопнули две петарды, но затем снова послышался посторонний звук, на сей раз лязг, словно кто-то дергает металлический засов. В кромешной тьме Вилленброк тихо выскользнул из кровати и вышел из спальни. Света он зажигать не стал, ощупью пробрался в ванную, нашел и надел кимоно. Затем направился к себе в кабинет и нащупал "дипломат". В темноте он долго шарил в ящике письменного стола в поисках ключа. Наконец нашел, открыл чемоданчик, достал револьвер и коробку с патронами и прокрался в прихожую, где надел ботинки и закутал шею шарфом. Потом отпер входную дверь и вышел во двор. Но, не пройдя и двух шагов, вернулся и запер дверь снаружи. Медленно, очень медленно, стараясь не производить ни малейшего шума, он двинулся вдоль стены дома. Дойдя до угла и осторожно из-за него высунувшись, увидел, что ворота гаража широко

распахнуты. Только теперь он обратил внимание, что сигнальный индикатор движения не сработал и свет во дворе не зажегся — должно быть, кабель перерезан.

В недрах гаража мелькнул тонюсенький луч света. Кто-то там возился. Вилленброк смутно разглядел мужской силуэт, склонившийся возле дверцы его машины. Он теснее прижался к стене и оглядел двор в поисках второго грабителя, но никого, кроме этого, пытавшегося сейчас вскрыть его машину, не обнаружил.

Тогда он снова отступил за угол, сунул револьвер в карман кимоно, открыл коробочку и аккуратно высыпал в другой карман патроны. Снова вынул револьвер, высвободил барабан и тихо, аккуратно, один за другим, загнал патроны во все зарядные камеры. Один патрон, однако, все же выпал у него из рук и звякнул о бетон. На секунду он замер, потом украдкой выглянул из-за своего угла, дабы убедиться, что жулик все еще в гараже. Выпавшего патрона нигде не было видно. Он защелкнул барабан и снял оружие с предохранителя. Держа револьвер в правой руке, вышел из-за угла и двинулся к гаражу, все еще стараясь ступать бесшумно. Успел мельком бросить взгляд на окно спальни, там было темно. Вилленброк намеревался неслышно прокрасться к воротам и внезапно включить свет, но прежде чем он достиг своей цели, человек в гараже выпрямился. В лицо Вилленброку на долю секунды стрельнул луч слабого карманного фонарика и тут же погас. В навалившейся кромешной тьме Вилленброк будто ослеп. Он отступил на два шага, не сводя глаз с того места, где только что виднелся силуэт мужчины.

— Выходите, — приказал он.

Голос его прозвучал хрипло и сдавленно. Где-то неподалеку с хлопком взмыла ввысь ракета и рассыпала сноп красных, медленно оседающих звезд. В тот же миг Вилленброк снова увидел грабителя: тот выскочил из гаража и мчался прямо на него, в правой руке грозно вскинута то ли палка, то ли железяка.

Вилленброк все еще держал оружие наизготовку, рука его мгновенно взмокла и еще крепче стиснула рукоятку револьвера. Когда человек был от него метрах в трех, Вилленброк выстрелил. Это получилось скорее рефлекторно, само собой: увидев, как стремительно приближается к нему фигура с поднятой для удара палкой, он, должно быть от испуга, непроизвольно дернул пальцем, лежавшим на спусковом крючке. Это была всего лишь защитная реакция. Точно так же он мог бы и поднять руки, стараясь прикрыть голову, — кстати, после выстрела руки его и в самом деле вскинулись вверх, защищая лицо от неминуемого удара.

Фигура перед ним дернулась, пошатнулась, словно от толчка в грудь, но продолжала надвигаться на Вилленброка, правда медленнее, чем раньше, и как-то неуклюже. Вилленброк все еще судорожно сжимал в руке револьвер, указательный палец будто прирос к спусковому крючку и не хотел разгибаться. Он отступил еще на шаг назад и что-то крикнул — то ли предостережение, то ли позвал на помощь, он и сам не знал, что кричит. Его охватила паника, когда он понял, что человек не падает, что он все еще идет прямо на него. "Крылов тебя обманул! — пронеслось у него в голове. — Это всего лишь игрушка, обыкновенный пугач". Он проклинал себя за то, что так и не удосужился опробовать оружие, не отважился ни на один выстрел ни у себя в пустой, на отшибе стоящей даче, ни в лесу.

Человек между тем в каком-то метре от него остановился и смотрел на Вилленброка широко раскрытыми глазами. "Да он совсем мальчишка!" — изумился Вилленброк. Парню было лет восемнадцать, ну девятнадцать: короткая, почти наголо, стрижка, толстый свитер под дешевым темным костюмом. На голове широкая шерстяная повязка, которую он натянул на уши. Тут парень выронил палку, которая с металлическим звоном брякнулась о бетон подъездной дорожки, и сам вдруг рухнул на колени, на губах у него показалась кровь, он ткнулся носом вперед, но успел опереться на руки и так и остался стоять на четвереньках, ни слова не говоря. То ли изо рта, то ли из груди у него капала кровь, но немного — капель пять-шесть, не больше.

"Я в него попал!" — успел подумать Вилленброк с испугом, но и с облегчением.

— Что вам здесь понадобилось? — гаркнул он на парня, который, пыхтя, корчился у его ног.

Только теперь его рука с револьвером опустилась, палец перестал давить на спусковой крючок, и тот с внятным щелчком вернулся в боевое положение. Парень тотчас же вскинул голову и глянул на Вилленброка, испуганно приоткрыв рот. Он был бледен, застывшие глаза смотрели куда-то в пустоту, не в силах поверить случившемуся.

В спальне вспыхнул свет, потом отодвинулась штора на окне, полоска света упала на газон совсем рядом с дорожкой. Вилленброк испугался, что Сюзанна сейчас откроет окно и выглянет на улицу, но она, похоже, не решилась, он хорошо видел только ее силуэт за стеклом.

По-прежнему наставляя револьвер на парня, он в беспокойстве огляделся по сторонам — не появился ли сообщник, не бежит ли просто кто-нибудь из прохожих или соседей, встревоженный звуком выстрела. Но вокруг было тихо — ни шагов, ни шорохов, вообще никого.

Парень между тем начал бесконечно долго подниматься. Когда он встал на ноги, Вилленброк увидел, что костюм его с левой стороны почернел от крови, влажное темное пятно расползалось где-то над ключицей. Согнутые в локтях руки он прижимал к правой стороне груди. Неверными шагами, пошатываясь будто пьяный, он двинулся к воротам, Вилленброк пошел за ним. Выйдя наконец на улицу, парень остановился и оперся локтями на припаркованную к обочине машину. Постояв так несколько секунд, он с трудом распрямился, оттолкнулся от машины и, все так же пошатываясь, медленно, будто во сне, побежал прочь. Сунув руку с револьвером за пазуху, Вилленброк стоял у забора и провожал его глазами до тех пор, пока он окончательно не скрылся из виду.

Только тогда он пошел к дому, но, увидев освещенные окна спальни, свернул к гаражу, закрыл обе створки ворот и, поскольку задвижка замка, похоже, была сломана, припер их камнем. В темные недра гаража он заходить не решился.

Лишь теперь ему вдруг стало холодно. Он поспешил к дому. Когда он нажал на дверную ручку, а дверь не поддалась, он обмер от ужаса. Он почувствовал, как, невзирая на холод, мгновенно взмок. Он все дергал, дергал ручку изо всех сил, пока не вспомнил, что сам же запер дверь снаружи. Достав из кармана связку ключей, попытался отпереть. Но руки не слушались, его сотрясала дрожь, и он никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Переложив револьвер в левую руку, стал действовать правой. Когда дверь наконец открылась, он еще раз воровато огляделся по сторонам и прислушался. Где-то вдали с шипением взмыла в небо раке-

та, слабые отблески ее сияния задрожали над голыми ветвями. Он сунул револьвер в карман, вошел в дом и, переведя дух, запер за собой дверь.

— Все в порядке, Сюзанна, — громко крикнул он снизу.

После чего прошел к себе в кабинет, спрятал револьвер, пустую коробочку и оставшиеся патроны в стеклянную витрину за стопкой альбомов по истории авиации. И как был, в уличных ботинках, потопал по лестнице наверх в спальню.

Перепуганная Сюзанна в ночной рубашке сидела на кровати. Когда он вошел, лицо ее просветлело. Он сел рядом с ней и обнял ее за плечи — она была холодна, как ледышка, и вся дрожала.

— Все в порядке, дорогая. Ложись и спи, — сказал он как можно более спокойным голосом.

— Что это было? Это был выстрел. Я слышала выстрел.

Вилленброк сказал, что это всего лишь новогодние петарды. Ему почудился какой-то шорох внизу, вот он и вышел. А там гараж оказался открыт, наверно, он забыл его запереть, когда вернулся, вот что бывает, когда пива переберешь. Только он запер гараж, а тут как раз мимо трое мальчишек идут, так они, болваны, петардой в него пальнули, она в стену дома бабахнула, оттого и весь грохот.

— Господи, Бернд, а я уж думала, это ты из пистолета стреляешь. Я так боялась, что опять с тобой что-нибудь стряслось.

— Давай лучше спать. Ничего не случилось, все в порядке.

Но сам Вилленброк долго лежал, не в силах заснуть. Перед глазами снова и снова всплывало мальчишечье, детское лицо грабителя, который стоял перед ним на коленях, устремив на него изумленный, ничего не понимающий взгляд. Было почти три, когда он наконец провалился в сон, а спустя еще три часа уже снова проснулся — сна не было ни в одном глазу. Он тихо встал, помылся, оделся. Потом вышел на крыльцо. Ночью, должно быть, совсем недолго шел снег, легким слоем белого пуха он припорошил дорожки в саду и въезд в гараж, а поскольку было еще темно, снег был почти не виден, он скорее угадывался, давая о себе знать едва слышным поскрипыванием под ногами, когда Вилленброк по нему шел. Дойдя до угла дома, он присел и стал ощупывать землю в поисках оброненного патрона. Искать пришлось долго, пока наконец он не нашарил его в полутьме под холодной снежной подпушью. Он подошел к забору, выглянул и на улицу, вокруг не было ни души, и тишина в этот ранний час стояла мертвая.

Вернувшись в дом, он достал из витрины револьвер и патроны, разрядил барабан, положил патроны обратно в коробку и сунул все в "дипломат", не забыв его запереть. Потом пошел в кухню готовить завтрак. В половине восьмого встала Сюзанна. Вилленброк уже сидел в гостиной, углубившись в иллюстрированный том, посвященный "Як-11", одномоторному истребителю времен Второй мировой войны. Пока жена принимала душ, он приготовил кофе. За завтраком они, конечно же, вернулись к событиям прошедшей ночи. Жена еще раз спросила его, правда ли он не стрелял и не было ли кого возле дома, а то и в самом доме. Вилленброк ее успокоил.

— Новогодняя петарда, вот и все, — повторил он. — Боюсь, в ближайшие ночи мы еще не одну такую услышим. Ну, и я забыл запереть гараж. Просто мы с тобой все еще очень нервные, Сюзанна.

— Надеюсь, ты говоришь мне правду. Только не обманывай меня, Бернд.

В ответ он лишь кивнул. Когда стало достаточно светло, он снова вышел во двор — проверить, не осталось ли там не замеченных им следов минувшей ночи. Но снег все запорошил. В том месте, где грабитель стоял перед ним на четвереньках, Вилленброк наступил на железяку — это оказался металлический, примерно в метр длиной, уголок, оставшийся после сборки стеллажа в подвале и отнесенный потом в гараж. Он поднял уголок и сдул с него снежинки. На железе остались следы крови, то ли запекшейся, то ли замерзшей. Осторожно, чтобы не запачкаться, он двумя пальцами взял уголок за другой конец и направился к гаражу. Убрал камень и отворил створку ворот. Облицовочная рейка была отогнута, шурупы частично вывернуты, частично просто вырваны с мясом, что позволяло без помех отодвинуть запорный язычок замка. Другая створка была в полном порядке. В гараже, судя по всему, все было цело, обе машины оказались заперты, дефектов на лаковом покрытии и облицовке он тоже вроде бы не обнаружил, только в одном месте, над запорной кнопкой водительской двери, был вырван кусочек резиновой прокладки стекла, но он без труда вставил его обратно. Он проверил замки обеих машин, они работали безотказно.

Он отвинтил сломанный замок гаражной двери, завернул его в одну из валявшихся тут же газет и уже собрался идти обратно в дом, когда взгляд его упал на окровавленный уголок, который он прислонил к стене при входе. Он отложил замок в сторонку, взял еще одну газету, раскрыл во всю ширь и завернул в нее железяку. Сверток он положил на боковую полочку, чтобы, когда поедет в город, взять с собой и где-нибудь выбросить.

Сюзанне он между делом сообщил, что гаражный замок давно пора сменить, слишком ненадежен, да и ключ почему-то стал проворачиваться. Сюзанна ничего такого не замечала и глянула на него недоверчиво, но ни слова не сказала и уехала в свой магазин.

Дождавшись ее отъезда, Вилленброк метлой тщательно смел снег с подъездной дорожки. Потом притащил из дома два ведра горячей воды, окатил ею темные пятна на бетоне и еще раз энергично прошелся по этому месту метлой. После чего собрался ехать на рынок стройматериалов покупать новый замок и новый электрокабель, поскольку сигнальную проводку взломщик и вправду, как выяснилось, перерезал. Он выехал со двора медленно, внимательно оглядывая весь свой участок. Затем по прилегающим улицам объехал дом со всех сторон, и только не обнаружив ничего подозрительного, направил машину в сторону города.

После обеда он уехал на тренировку. Они заигрались до восьми, после чего он сразу же со всеми распрощался и отправился домой. Когда ставил машину в гараж, сердце колотилось как бешеное. Он то и дело озирался по сторонам, судорожно запер въездные и гаражные ворота, почти бегом вошел в дом, а уж там запер входную дверь на замок и на цепочку.

Спал он плохо, беспокойно. "Дипломат" с револьвером, предварительно отперев, он успел сунуть в ночную тумбочку возле кровати, пока жена готовилась в ванной ко сну.

На следующее утро они спозаранок выехали в Баварию, в горный курорт Бишофсвизен, где Вилленброк на пять дней заказал номер в гостинице. Они отправились налегке, даже без лыж, решив, что возьмут напрокат какие придется. Первоначально он намеревался ехать напря-

мик, через Чехию и Австрию, но перед самым отъездом решил взять с собой револьвер. Ни оставлять его в пустом доме, ни путешествовать безоружным Вилленброк не желал. Чтобы не пересекать две границы и не подвергать себя опасности таможенного досмотра, во время которого найти оружие проще простого, он сказал жене, что решил ехать через Нюрнберг, поскольку радиослужба дорожного движения якобы сообщила о многочисленных пробках на другой, первоначально избранной им автостраде.

На бензоколонке на окраине города он остановился, чтобы залить полный бак, и купил четыре газеты. Дожидаясь возле кассы, когда можно будет расплатиться, он наскоро их перелистал. Но ничего не нашел о ночном происшествии, вообще ни строчки об огнестрельных ранениях, только полным-полно новогодней рекламы и анонсов на первые послепраздничные недели. Он швырнул газеты в багажник. Сюзанна поинтересовалась, зачем ему столько газет, он ответил, что дал много объявлений, а кроме того, хочет знать, что нового на рынке подержанных машин.

В Бишофсвизене в гостинице их уже ждали. Школьный друг Сюзанны с женой и уже почти взрослой дочерью, с которыми они договорились вместе отдохнуть, оказывается, уже два часа как были на месте. Приятель Сюзанны страшно удивился, зачем это Вилленброк поехал кружным путем, и сказал, что дорога через Чехию и Австрию была абсолютно свободна. Он уже заказал им всем лыжи на следующее утро.

Вилленброк с женой отправились к себе в номер устраиваться. Когда они распаковывали вещи, Сюзанна спросила, с какой это стати он притащил на курорт свой кейс, и ему пришлось сказать, что у него остались кое-какие дела, надо заполнить несколько бумаг для своего налогового консультанта, и он надеется выкроить здесь на это пару-тройку часов. Жена возмутилась: в этот и без того короткий отпуск она не желает слышать ни о какой работе.

Через полчаса они уже встретились со своими компаньонами в фойе и отправились прогуляться по городку, по улицам которого, глазея на дома и витрины, уже бродило множество таких же, как они, праздных новогодних туристов. Школьный приятель Сюзанны еще из Берлина по телефону заказал столик в ресторане, где они в прошлом году часто бывали. Там они просидели до двух ночи, успев и поужинать, и потанцевать. Школьный друг постоянно оказывал Сюзанне знаки внимания, и они то и дело вспоминали свои юные годы.

Вилленброк почти весь вечер молчал. Он танцевал попеременно с обеими дамами, пригласил и девчушку-дочку, которая ошпарила его негодующим взглядом, когда он в танце по привычке прижал ее к себе. После полуночи жена школьного друга Сюзанны потребовала, чтобы Вилленброк перешел с ними на ты, и непременно захотела закрепить брудершафт поцелуем, чему Вилленброк терпеливо, хоть и не без отвращения, покорился. Он с удивлением заметил, насколько непринужденно, без всякого видимого стеснения Сюзанна целуется со своим школьным другом и как откровенно они обнимаются во время танца. Он даже стал прикидывать, уж не тот ли это тайный обожатель, слащавый голос которого он несколько месяцев назад запеленговал на автоответчике.

Как только они вернулись в гостиницу, Сюзанна, полуодетая, рухнула на кровать и мгновенно заснула. А Вилленброк уселся в кресло и спо-

койно, без спешки просмотрел все купленные утром газеты. Заметки о мужчине с огнестрельным ранением он нигде не нашел.

На следующее утро они получили лыжи и все вместе в машине Сюзанниного приятеля поехали кататься с гор. Сюзанна вместе с супругами поехала вверх на подъемнике с креслицами к какому-то спуску, выбранному школьным другом. А Вилленброк с девочкой отправились к спуску для начинающих. Провизия у всех была с собой, встретиться договорились у машины в четыре.

По возвращении в гостиницу Вилленброк извинился перед Сюзанной и ее друзьями, сказав, что ему надо на часик уединиться у себя в номере — сделать парочку домашних заданий для финансовой инспекции. Школьный друг Сюзанны отнесся к его словам с пониманием и сочувствием. Он тоже был самостоятельным предпринимателем, торговал садовой техникой и насосами и еще накануне вечером жаловался на налоги и на чем свет стоит ругал финансовую инспекцию.

Женщины решили время до ужина провести в баре. Вилленброк поднялся к себе в номер и включил телевизор, чтобы посмотреть по берлинской программе выпуск местных новостей. В репортажах показали множество раненых, а также врачей, сокрушенно рассуждавших о тяжких последствиях неправильного и легкомысленного обращения с пиротехникой, но о его взломщике никто пока что ничего не знал.

Во время совместного ужина девочка вдруг во всеуслышанье спросила, уж не алкоголик ли Вилленброк, и рассказала, что всякий раз, забравшись с лыжами наверх, он выпивал в баре стопку шнапса. После чего принялась рассуждать о вреде алкоголя, одна капля которого убивает столько-то нервных клеток головного мозга, под конец заметив, что пьяницу всегда можно распознать даже по цвету кожи. Ее родители от души смеялись, а Вилленброку пришлось объяснять, что он пьет, только когда скучает, в подтверждение чего он тут же заказал у официанта порцию виски.

На следующее утро он еще до завтрака отправился в ближайший газетный киоск и наорал на продавщицу, когда выяснилось, что у нее в продаже только одна-единственная берлинская газета. Тем не менее купив ее, он вернулся в гостиницу. Но в номер подниматься не стал, а сразу же пошел в телефонную будку рядом со стойкой портье, снял трубку и начал соображать, кого бы попросить в Берлине покупать для него газеты. Потом позвонил в берлинскую справочную и спросил телефон газетного киоска, что находился в ста метрах от его авторынка — он часто покупал там газеты. Набрав полученный номер, принялся обстоятельно объяснять, кто он такой и почему просит начиная с завтрашнего утра оставлять для него все берлинские газеты — дескать, его интересуют кое-какие рекламные объявления, а его несколько дней в Берлине не будет. Киоскер припомнил его, только когда Вилленброк сказал, что часто целыми пачками скупает у него порнографические журналы. И тут же с готовностью пообещал откладывать для него все необходимое.

Только после этого Вилленброк пошел завтракать, попросил принести себе кофе и принялся изучать газету в поисках рокового сообщения. В разделе городской хроники было много заметок о несчастных случаях и ранениях, но о человеке, похожем на парня, который влез ночью к нему в гараж, нигде не упоминалось. Обратись он с огнестрельным ранением в больницу или к любому врачу, убеждал себя Вилленброк, те неминуемо известили бы полицию, а значит, это появилось бы и в прессе. Но

либо ранение оказалось настолько пустяковым, что парень к врачу не пошел, либо за ним уже и так что-то есть и он полиции боится. Может, он вообще иностранец, проник в страну нелегально, промышляет воровством и меньше всего на свете хочет кому-либо попадаться на глаза. Или у него нашлись друзья, которые его сейчас выхаживают, в этом случае Вилленброку надо считаться с возможностью нового неприятного визита. Так что впредь ему надо тем более быть начеку, а Сюзанне ни под каким видом ничего не рассказывать и ничем себя не выдавать.

Положив газету на стул рядом с собой, он вдруг подумал, что есть еще одна возможность: не исключено, что ночной грабитель убит, что он, Вилленброк, его застрелил. Парень ведь мог потерять много крови, пока с открытой раной по улицам шатался. Мог и до леса добрести, там упасть без сознания и умереть. Той ночью снег выпал. Если он забрел куда подальше, да еще спрятался в каком-нибудь укрытии, а потом заснул, потерял сознание, замерз и его засыпало снегом, может пройти довольно много времени, пока его труп не обнаружит какой-нибудь любитель лесных прогулок или чья-нибудь собака. Тело может пролежать там много дней, если не недель, а то и месяцев, прежде чем его найдут.

Школьный приятель Сюзанны подошел к его столику и в шутку спросил, принял ли он уже с утра пораньше свою порцию виски, на что Вилленброк ответил натянутой улыбкой. Все последующие дни он в начале вечера неизменно удалялся к себе в номер под предлогом составления налоговой декларации. На самом деле он смотрел выпуск берлинских новостей, но о его раненом ничего не сообщалось.

В воскресенье вечером они прибыли в Берлин. Вилленброк опять поехал через Нюрнберг, хотя их спутники, да и Сюзанна тоже, энергично протестовали, однако он ни при каких обстоятельствах не хотел подвергать себя риску таможенного досмотра. Уже неподалеку от дома он завернул на бензоколонку и купил все берлинские газеты, какие оставались.

В понедельник утром по пути на работу он остановился возле киоска, куда звонил, чтобы забрать отложенные для него газеты и купить свежие. Солидную стопку прессы он попросил киоскера сложить ему в большой пакет, так как не хотел еще и Юреку плести какую-нибудь ерунду про рекламные объявления.

Поляк уже вовсю трудился в новой мастерской, перебирая карбюратор. Вилленброк спросил, как он провел праздники и что у него с женой.

— У нее мать на Рождество умерла, — ответил Юрек. — Прямо в Сочельник преставилась. Эльжбета очень ее любила.

— Прими мои соболезнования.

По лицу Юрека вдруг скользнула тень почти вороватой улыбки.

— Она так плакала. Все Рождество проплакала. Не знаю, как сказать, но эта смерть снова нас сблизила, что ли. В общем, порядок. Попробуем начать с начала.

Он пристально разглядывал собственные руки.

— М-да, жизнь, — только и вымолвил Вилленброк.

Потом они помолчали и выкурили по сигарете.

У себя в бюро Вилленброк первым делом занялся прессой. Сперва он просмотрел все газеты наскоро, потом каждую изучил обстоятельно, но не обнаружил ничего для себя интересного. Он позвонил в магазин, где в свое время купил много замков и охранных приспособлений для да-

чи, и спросил, есть ли у них стенные сейфы. Продавец сказал, что четыре модели имеются у них прямо на складе, но есть и множество других сейфов, которые, правда, надо заказывать по каталогу. Вилленброк обещал после обеда к нему заехать.

В итоге уже на следующей неделе и в бюро его нового автосалона, и в рабочем кабинете у него дома в стены были вмурованы два сейфа. Жене Вилленброк сказал, что поддался на уговоры коммерческого агента — дескать, тот так его убеждал, что он не смог устоять. Он посмеялся над собой и над своим заказом, но потом объяснил, что иметь в доме сейф — большое удобство. Сюзанна выслушала его недоверчиво, а потом снова настойчиво принялась расспрашивать, не случилось ли чего-нибудь той ночью, у нее такое чувство, будто он от нее что-то скрывает. Вилленброк ее высмеял, заявив, что вообще уже смутно помнит, о чем речь, какие-то мальчишки озорничали.

Сейф в стене своего кабинета Вилленброк завесил большой фотографией в раме: на снимке был запечатлен он сам в летной форме, забирающийся в кабину планера. Справа в нижнем углу толстым фломастером была выведена дата — 12 июня 1974 года, а ниже, под ней, приписано: "Фока-6". Впрочем, надпись на черно-белом фото уже сильно поблекла.

На входную дверь в дом Вилленброк заказал дополнительный замок в виде мощного стального засова вроде тех, какие украшают массивные двери банков.

В конце января он прекратил просматривать городские газеты в поисках заметки о молодом человеке с огнестрельным ранением. Вероятно, ничего и не произошло, во всяком случае, ничего существенного, говорил он себе, в конце концов, он стрелял не прицельно, скорее наугад, по сути, выстрел получился самопроизвольно, от волнения и от страха. А что у парня слегка потекла кровь, так это еще ничего не значит. Надо надеяться, он этого ворюгу основательно напугал и тот теперь больше не посмеет к нему сунуться, так что, можно считать, в этом отношении револьвер сослужил ему неплохую службу.

22

В середине февраля на авторынке снова появился Крылов. Они поговорили о положении в мире и о президенте России, про которого Крылов утверждал, что это всего лишь голем, биологический робот, собранный превосходными российскими медиками. Дескать, русская медицина по этой части не имеет себе равных, у нее ведь огромный опыт. Таким големом был уже Брежнев, четыре года правивший страной после своей естественной смерти. Для нации, которая первой в мире покорила космос, подобное научное достижение — сущий пустяк. Вилленброк рассмеялся, но Крылов, похоже, и не думал шутить.

— Вы уж мне поверьте, друг мой, хоть вам и кажется все это совершенно неправдоподобным. Русские ученые — это гении, они просто кудесники. В повседневных мелочах они, правда, не слишком сильны. Не дай вам бог в нашей стране подцепить насморк, от насморка у нас и умереть недолго. Зато во всем необычном, так сказать, сверхъестественном наши ученые, да и наши гении культуры непревзойденные мастера. Вспомните наш спутник, наш Большой театр, вспомните Чайковского, Пушкина и Чехова, а Плисецкую, а Нуриева! Никакая другая нация на

такое не способна. Вот увидите, когда-нибудь произведут эксгумацию останков русских царей, и выяснится, что это были роботы, шедевры науки и техники, творения русской научной мысли.

— Мне кажется, — со смехом заметил Вилленброк, — вы не очень любите своего президента.

— Я его люблю, — убежденно возразил Крылов, — мы все его любим. Мы чтим его как огромную ценность. Как новый триумф отечественной науки.

Он поздравил Вилленброка с новым зданием. Вилленброк хотел провести его по залу, однако Крылов вежливо, но твердо отказался. Он расплатился за две выбранные машины. О револьвере не проронил ни слова, Вилленброк тоже не стал ни о чем упоминать. Все равно он не может вернуть Крылову оружие, не предупредив, что револьвер, по образному выражению Крылова, уже не девственник, да и не хочет он ничего отдавать. Кроме них двоих, по меньшей мере еще один человек слишком хорошо знает, что у Вилленброка есть револьвер, — тот самый парень, которого он ранил, и уж если он или кто-нибудь из его дружков надумает к нему пожаловать, оружие Вилленброку совсем не помешает.

Выезжая со двора, Крылов покровительственно кивнул ему из окна лимузина. В эту секунду Вилленброк его возненавидел. Никто не просил Крылова выкладывать перед ним на стол оружие, которое так круто переменило всю его жизнь. Из-за него он выстрелил в человека и теперь которую неделю ждет, что этот человек вернется, придет отомстить, или что к нему заявится полиция. А полицейские, если уж начнут целенаправленно искать у него оружие, перевернут вверх дном все — и автосалон, и его берлинский дом, и его дачу в Бугевице, — но уж револьвер, конечно, найдут. Нет такого тайника, который рано или поздно нельзя обнаружить. А выбросить его, просто-напросто утопить в черных водах Шпрее, он тоже боялся.

В последнюю пятницу февраля поздно вечером, когда Вилленброк с женой уже лежали в постелях, Сюзанна вдруг встрепенулась. Отложив книгу, она вскочила с кровати. Вилленброк испуганно на нее глянул.

— Я забыла в машине всю дневную выручку, — сказала она. — Я не повезла ее в банк, все равно уже было поздно. А теперь вот в машине забыла. Пойду скорей заберу. Не оставлять же ее там на ночь.

Вилленброк попросил ее никуда не ходить. Уже поздно, полночь на дворе, в такое время не стоит выходить из дома. К тому же он уже запер входную дверь на все замки, открывать и запирать ее снова — целая история.

— Да что это с тобой? — изумилась Сюзанна. — С каких это пор мне из дома выйти нельзя? Или ты чего-то боишься? Боишься, что на нас и здесь могут напасть?

Вилленброк пытался возражать.

— Да нет. Но к чему такое легкомыслие? Не ходи. Никуда они не денутся, твои деньги.

— Ты что-то от меня скрываешь.

— Не понимаю, о чем ты?

— Что-то ты от меня утаиваешь, Бернд. Ты уже больше месяца буквально каждый вечер дома сидишь. Приезжаешь раньше меня. По вечерам у тебя почему-то нет больше никаких деловых встреч, даже со своего любимого гандбола ты возвращаешься минута в минуту. А прежде я

точно знала, что после тренировки ты раньше часу ночи домой не заявишься.

— Значит, я уже не тот, что прежде, — неохотно согласился он. — Старею.

Он схватил ее за руку и потянул обратно в постель.

В марте, когда стаял снег, он снова занервничал. Опять стал регулярно и в большом количестве закупать бульварные листки и, запираясь у себя в бюро, с замиранием сердца их просматривать. Когда в газетах попадалась заметка о найденном неопознанном трупе, он впадал в еще большее беспокойство, и ему стоило больших трудов не вымещать свое раздражение на Юреке или Сюзанне.

По весне они опять чаще стали ездить в Бугевиц. Жена с удивлением отмечала, что он всякий раз берет с собой на дачу "дипломат", но больше уже ни о чем не спрашивала. У обоих постепенно вошло в привычку что в Берлине, что на даче с наступлением темноты по возможности из дома не выходить. А если уж это не получалось, если деловая встреча или просто дела на работе задерживали их в городе допоздна, то, подъехав к воротам, каждый спешил поставить машину в гараж и поскорее юркнуть в дом. Если поздно возвращалась Сюзанна, Вилленброк выходил во двор, еще издали заслышав рокот ее машины. Он впускал жену в дом, машину загонял в гараж сам и, заперев гаражные ворота, почти бегом устремлялся к крыльцу закрывать входную дверь на все замки, а также на засов и цепочку.

О прошлогоднем нападении оба в разговорах почти не вспоминали, но изредка, подметив случайный взгляд или жест жены, он понимал, что она тоже об этом не забыла.

О парне, которого он за два дня до Нового года застукал и подстрелил у себя в гараже, больше не было ни слуху ни духу. Вилленброк внушал себе, что, должно быть, тот отделался легким ранением, царапина какая-нибудь, сущий пустяк... Воспоминание о ночной сцене постепенно поблекло и выветрилось, он даже начал думать, что просто как следует пуганул парня, ну и прогнал, конечно. А кровь, которую он тогда якобы видел, могла ему со страху просто померещиться: он ведь и сам здорово перепугался — и при виде взломщика с палкой, и от грохота собственного выстрела.

В начале апреля Вилленброк распрощался со своей гандбольной командой. После одной из игр, придя вместе со всеми в итальянский ресторанчик, он объявил товарищам, что с сегодняшнего вечера по причинам личного характера вынужден прекратить тренировки. Он изрек это настолько решительным и непререкаемым тоном, что никто даже не пытался его отговаривать.

— Но если нам на подмену человек понадобится, ты ведь не откажешь, Бернд?

— Ну конечно. Я вроде пока умирать не собираюсь.

Сюзанна была удивлена его решением и сказала, что она его не понимает. Он только кивнул.

Она и к лету свой магазин не забросила, хотя прибыли он по-прежнему не приносил — закончить год без убытков и то было бы для нее счастьем. Зато авторынок Вилленброка функционировал как по маслу, хозяин во всем мог спокойно положиться на Юрека, который окончательно съехал со своей берлинской квартирки и переселился в старую бытовку, прятавшуюся теперь во дворе за новым зданием; по ве-

черам поляк на пару с Пазевальдом резались там в карты или смотрели спортивные передачи по телевизору, покуда Юрек не отправлялся на боковую, а ночной сторож не заступал на свой пост в торговом зале.

23

В последнее воскресенье апреля по настояниям Сюзанны они поехали в Гюстров — сходить в дом-музей Барлаха и посмотреть часовню Св. Гертруды. Вилленброк сперва терпеливо бродил за женой по комнатам музея, но потом оставил ее одну, решив выйти во двор и там на скамейке в свое удовольствие выкурить сигарету. Как вдруг увидел того самого парня, которого застал у себя в гараже, в которого стрелял. Рука об руку с молоденькой блондинкой, у обоих за плечами рюкзаки, парень направлялся прямо к нему, о чем-то оживленно беседуя со своей спутницей.

Вилленброк вскочил со скамьи, решительно двинулся навстречу парню и почти закричал:

— Что вам от меня надо?

Парень растерянно на него уставился.

— Hi, what's the matter, please?[1] — спросил он.

— Какого черта вы меня преследуете?

— What's wrong with you?[2]

Только тут Вилленброк понял, что обознался.

— Excuse me[3], — смущенно пробормотал он и поспешил уйти из музейного дворика.

Молодая пара удивленно смотрела ему вслед.

Вилленброк слышал, как парень все еще что-то о нем говорит, ему даже показалось, что он разобрал слово stupid[4]. Сам себе удивляясь, он только головой покачал. Мало-помалу успокоившись, он вернулся во дворик, чтобы украдкой издали еще раз взглянуть на молодого человека. И понял, что даже не знает, похож ли тот на ночного грабителя, внешность которого он уже не помнил точно. Лицо парня, в которого он стрелял, и лицо второго парня, русского, который избивал его железякой, — два эти лица теперь как-то странно и смутно слились. Так, в смятенном недоумении, он и дожидался Сюзанну, чтобы отправиться с ней обедать.

А двумя днями позже, когда он, уходя с работы, перекладывал револьвер из стенного сейфа в "дипломат", Юрек увидел оружие у него в руках. Он посмотрел на шефа с изумлением, но ничего не сказал. Вилленброк хотел было пуститься в объяснения, но вместо этого молча запер чемоданчик, потом сейф и только буркнул:

— Ну, тогда до завтра, Юрек.

По дороге домой он вспоминал ошеломленный взгляд поляка и спрашивал себя, что же, интересно, тот подумал и способен ли вообще вообразить, что его шеф из этой вот штуки уже стрелял в человека. Он вспомнил признание некоего лейтенанта перед трибуналом, вычитанное в одной из военных биографий, которое настолько потрясло его своей непостижимой истинностью, что он не мог его забыть. Этот молодой лейтенант предстал перед трибуналом в конце 1917 года. После

1. Да, в чем дело? (*англ.*)
2. С вами что-нибудь не так? (*англ.*)
3. Извините (*англ.*).
4. Болван (*англ.*).

успешно проведенного воздушного боя, возвращаясь на своем "Альбатросе Д-5" на базу, он совершил на этом биплане рискованный пролет под мостом через Рейн. Ему было предъявлено обвинение в преступном злоупотреблении военной техникой, подрыве военной мощи в боевых условиях, а также в преднамеренном и безответственном пренебрежении воинским долгом, хотя и без умысла на измену. В ходе расследования ему, естественно, был задан вопрос о причинах, подвигнувших его на столь безрассудную и рискованную затею, в ответ на что он сказал только: "Когда долго глядишь в бездну, бездна начинает глядеть в тебя". Невзирая на все настояния суда и увещевания адвоката, вдаваться в дальнейшие объяснения он не пожелал. Тут Вилленброка обогнала машина, водитель которой, судя по жестам, костерил его на чем свет стоит — должно быть, он, задумавшись, не уступил ему вовремя левый ряд.

Свернув на свою улицу, он еще издали завидел свой дом, в окнах которого багряными отблесками зари сверкнуло закатное солнце. Вилленброк залюбовался и самим домом и палисадником, столь аккуратно ухоженным заботливыми руками Сюзанны. Перед домом он остановился, чтобы открыть ворота. И вдруг заметил соседа, господина Витгена, который усердно орудовал лопатой на своем участке: неподалеку от вырытых ям, выставив толстые сплетения корней, лежали голые, совсем без листьев, деревья и кусты, очевидно приготовленные для посадки. Вилленброк поздоровался, сосед поднял голову и помахал ему в ответ. Взглянув на часы, Вилленброк завел машину в гараж и вошел в дом.

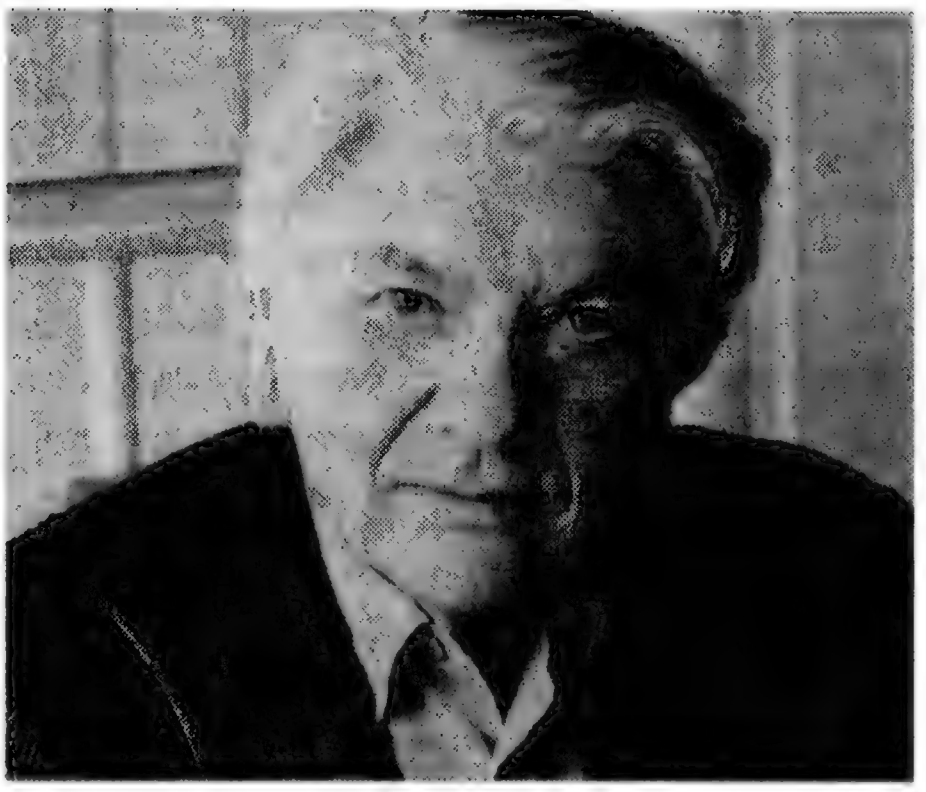
На кухне он принялся готовить на ужин свой фирменный густой суп из маринованной капусты. Он нарезал корейку, лук, полкочана маринованной капусты и почистил несколько стручков острого перца. Ссыпал все это в кастрюлю, налил воды, положил туда же купленный по дороге в мясной лавке кусок суповой говядины и поставил вариться на слабом огне. Принес из подвала бутылку белого вина, пощупал, холодное ли, и поставил бутылку в холодильник. Потом прослушал автоответчик и отправился к себе в кабинет. Придирчиво оглядев обои, решил, что еще до лета надо вызвать маляров и сделать в нескольких комнатах косметический ремонт. Взгляд его упал на черно-белое фото с планером. Сюзанна однажды сказала, что вышла за него замуж только потому, что, когда он делал ей предложение, вид у него был такой же гордый, задорный и мальчишеский, как на этой фотографии. Как же давно это было! Большое выцветшее фото смотрелось теперь инородным телом на фоне современной обстановки его кабинета. Герд, его консультант по налогам, уже сколько раз подбивал его приобрести для кабинета картины в какой-нибудь галерее. Расходы эти, если, конечно, не покупать Рембрандта, можно было провести в налоговой декларации как производственные, а заодно стать владельцем произведения искусства, что в будущем сулило верные дивиденды. Кроме того, сказал Герд, кабинеты Вилленброка и дома, и на работе это только украсит, да он же сам видит, вот у него, Герда, все стены буквально завешаны современной живописью.

Призадумавшись, Вилленброк смотрел на снимок. В этой комнате ему, пожалуй, и правда не место. Какой-нибудь красивый пейзаж или портрет Сюзанны, который можно, наверно, заказать тому художнику, что год назад пришел к нему продавать машину — Сюзанна, кстати, его действительно знает и очень ценит, — вот что сюда бы подошло. Он снял фотографию со стены, отпер сейф и извлек оттуда револьвер. Зная, что оружие не заряжено, спустил предохранитель и нажал на спу-

сковой крючок – раздался сухой металлический щелчок. Ласково провел пальцами по вороненому, матово поблескивающему металлу – нет, теперь он не жалеет, что у него есть револьвер. Приятно знать, что у тебя есть настоящее оружие.

Заслышав рокот знакомого мотора, он подошел к окну. Вот и жена вернулась. Хотя ворота он оставил открытыми, она остановилась и вылезла из машины, чтобы перебросится парой слов с соседом, который все еще возился со своими растениями. Сюзанна через забор протянула ему руку, оба оживленно о чем-то беседовали. Вилленброк наблюдал за ними, продолжая поигрывать револьвером. Он удивился, до чего приветливо, пожалуй, почти нежно его жена воркует с соседом. Ему захотелось открыть окно, чтобы услышать его голос. Может, это был сосед, может, это он тогда так слащаво сюсюкал по телефону. Но прежде чем Вилленброк успел повернуть оконную ручку, Сюзанна подняла глаза и махнула ему рукой. Вилленброк ответил ей тем же, ладонью левой руки судорожно накрыв револьвер, который лежал на подоконнике, – он испугался, вдруг жена или сосед увидят оружие. Потом положил револьвер обратно в сейф, запер его и повесил на место фотографию, даже не взглянув на смеющееся лицо молодого человека. Прежде чем отправиться на кухню, он еще раз выглянул из окна в сад. Сюзанны внизу уже не было, а сосед снова занялся своими саженцами. Фруктовые деревья стояли в цвету, и ровное сияние вечерней зари усиливало нежную кипень их розоватых крон.

Пауль Низон



Рассказы

Перевод с немецкого и вступление В. Седельника

Среди швейцарских писателей "поколения после Фриша и Дюрренматта" Пауль Низон (р. в 1929 г.) — один из самых тонких и чутких мастеров слова, обогативший немецкоязычную литературу произведениями высокого лирического накала и почти обнаженной исповедальности. Своими "крестными отцами" в искусстве Низон считает писателя Роберта Вальзера и художника Ван Гога. У первого он учился спонтанности, невыдуманности чувств и переживаний, незаданности тем и характеров, у второго — истовости, страстной самоотдаче, работе "на разрыв аорты". Русскому читателю любопытно будет узнать, что среди своих учителей Низон называл также Константина Паустовского и Исаака Бабеля.

Сын эмигранта из Риги, химика-изобретателя, и швейцарки, он родился и вырос в Берне, защитил диссертацию о Ван Гоге, стал критиком-искусствоведом, некоторое время работал в редакции газеты "Нойе цюрхер цайтунг". Жизнь в благополучной, но "тесной" Швейцарии была ему не по душе, и он, после неудачных попыток найти подходящие условия для творчества в Риме, Лондоне, Барселоне и Нью-Йорке, в конце 70-х годов осел в Париже. С тех пор этот "город любви и свободы" — основное место действия всех его книг.

Когда в 1982 году Низон был удостоен престижной Премии немецких критиков — за умение воссоздавать напряжение "между затворничеством художника и беспредельностью мира, между зашифрованностью слова и чувственной осязаемостью человека и окружающих его предметов", — он уже прочно входил в первую десятку швейцарских писателей, пишущих на немецком языке. Книги Низона: "Canto" (1963), "В доме кончаются истории" (1971), "Погружение. Протокол одной поездки" (1972), "Штольц" (1975), "Год любви" (1981) и др. — это поэтические экспедиции в неизведанные области внутреннего мира. Исследуя собст-

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999
© В. Седельник. Перевод, вступление, 2001

венное "я", затерявшееся где-то "в темных штольнях подсознания", он силится уловить и запечатлеть все время ускользающий от него момент истины, некое на мгновение вспыхивающее в сознании озарение, которому он подыскивает все новые и новые определения и каждый раз остается ими недоволен. Его тексты строятся на игре ассоциаций и опираются больше на грезы и сны, чем на события реальной жизни. Он гоняется "за своими снами, как за драгоценной бутылочной почтой", и свои бессюжетные "истории" черпает из себя, из своего внутреннего мира. Как охотник или рыболов, он подстерегает идущие из глубин подсознания импульсы, чтобы воплотить их в слове. Этот акт воплощения, процесс сотворения *себя* и *своей* действительности для него важнее конечного результата. "Я не поставщик историй... Я зажигаю маленькие молнии, они на мгновение освещают мне дорогу, — чтобы идти дальше".

Как выжить в кромешном мраке вечных, неразрешимых экзистенциальных проблем? — вот вопрос, интересующий Низона. Ответ подсказан всем его творчеством: не засиживаться на месте, даже очень удобном, странствовать, искать без надежды на удачу. Сквозь весь сборник проходит образ путника, близкого родственника любителя прогулок у Роберта Вальзера и беспокойного странника по метафизическим лабиринтам у Кафки и Дюрренматта. Путник с котомкой за плечами и в двух плащах, надетых один на другой, неутомимо шагающий по парижским улицам, боится только одного — однажды наконец прийти к намеченной цели. Ибо смысл жизни и искусства — в движении, в акте творения.

Книга "В брюхе кита" (1989) состоит из пяти текстов: "Солдаты", "Путник", "Сады счастья", "Обнаженная и ее друг", "Эпитафия толстяку". С тремя из них мы знакомим наших читателей. Это действительно скорее "тексты", а не рассказы и не главы романа или повести. Сам автор определяет их жанр как "капризы", "прихоти". Они напоминают музыкальные моменты в прозе, какие умел блестяще писать Роберт Вальзер. Свободные фантазии на темы жизни и смерти, света и мрака, юности и старости, любви и одиночества не признают никаких правил и ограничений, создаются по прихоти авторского настроения.

Путник

МАМА сидела в своем кресле-каталке в конце длинного больничного коридора, голова слегка запрокинута назад, глаза закрыты, одна ее рука нервно подрагивала; свет падал с противоположной стороны коридора. Я подошел к ней, застывшей в позе ясновидицы. Лицо сморщенное, высохшие глаза глубоко запали. Я взял ее руку, раскрыл искривленные узловатые пальцы и вложил их в свою ладонь. Другой рукой я погладил запавшие щеки, больше чтобы успокоить себя, не ее, и сдавленным голосом пробормотал: Это я... у тебя ничего не болит?.. Я только что приехал... рад тебя видеть... давно уже...

Глупые, пустые слова; в отчаянии я продолжал гладить ее щеки.

Застывшая, как изваяние, она ответила, не поворачивая головы: Слава богу, не болит ничего, — слова, как капли, одно за другим срывались с ее тонких, холодных губ. — Только плечо ломит.

Мне повезло, я застал ее сидящей за тем самым столом в конце коридора, вокруг которого собираются после обеда престарелые пациентки. Сейчас двери в палаты распахнуты, молодые медицинские сестры входят и выходят, им нужно уложить старушек в глубокие, как могилы, по-

стели, походка у них пластичная, под белыми халатами вырисовываются круглые ягодицы, упругие груди, молодое тело, ЖИЗНЬ, за которую я цепляюсь и одновременно лепечу что-то своей матушке, которая из-за своей неподвижной позы и запрокинутой головы производит впечатление человека в состоянии экстаза.

Кстати, недавно кто-то сказал мне, кажется это была женщина, что у меня глаза как у мертвеца. Спасибо, ответил я, но она тут же поправилась, добавив, что имеет в виду не настоящего мертвеца, а только мой отсутствующий взгляд: ваш взгляд обычно глубоко погружен в себя, а когда снова обращается вовне, тогда, как я уже сказала, напоминает взгляд мертвеца. Уже лучше, пробормотал я и подумал: это когда погружаешь увиденное на самое дно, туда, где оно должно храниться, где внешнее явление сравнивается с внутренним образом, где идет процесс проверки, именно этот процесс она и имела в виду, когда говорила о моем отсутствующем иногда взгляде. И я вдруг увидел себя на месте мамы, таким же неуловимым.

Пока сестры, покачивая бедрами и почти флиртуя со мной, деловито сновали по коридору, появился, опираясь на палку, строптивый старикан, по слухам бывший посол, и, шаркая ногами, направился по длинному коридору к выходу. Упрямый старик пыхтел, как спортсмен на тренировке. Когда его остановили у самого выхода, он властным голосом, выдававшим большого некогда начальника, прикрикнул на них, но они играючи сладили с ним. Он — единственное существо мужского пола на этом этаже, занятом исключительно старыми и по большей части дряхлыми, нуждающимися в уходе пациентками, они тоже ведут себя как дети, с ними нужно возиться, кормить, укладывать спать и петь им колыбельные песни.

Где она сейчас? Где пребывает *внутренне*? Что видит своим духовным взором? — думал я, стоя рядом с мамой, напоминавшей статую или тотемный столб. Узнала ли она меня? Сквозь застекленную веранду я видел сад, деревья с облетевшими листьями, в воздухе кружились снежинки. В кустах что-то шевельнулось. Воробей. Смеркалось. Наше молчание то вздымалось, то опускалось, как пришвартованные рядом лодки. Какое ей дело до меня? Как она жила с моим отцом, чужим ей человеком? Я чувствовал, что за окнами холодает, подмораживает. Мне почудилось, будто я всегда возил свою мать в кресле-каталке, такую же недосягаемую, словно статуя. Темнело. Пора уходить, подумал я. Сейчас поцелую ее в щеку и уйду. Надену рюкзак, который я оставил у входа в дом престарелых, засуну большие пальцы рук под лямки и пущусь в путь. Рюкзак? Конечно же, у меня с собой не было никакого рюкзака. Должно быть, я вздремнул. Путник! Как случилось, что здесь, в Швейцарии, в доме престарелых, рядом со своей ушедшей в себя мамой я не только вспомнил о путнике, но и какую-то пугающую секунду сам был им? Я поцеловал старую даму в щеку. Поцеловал ей руки. Вышел. Ушел преследовать другого.

Сыпал снег, когда я с трудом, стараясь не поскользнуться, пробирался через ничейный сад, даже не по дорожке, а по извилистой тропинке, позволявшей сократить путь к автобусной остановке, что разрешалось обитателям дома, а посторонним, как гласила надпись на щите, строжайше запрещалось. Я люблю заросли, особенно зимой, когда нужно остерегаться удара пружинящих ветвей, это влечет за собой осыпание снега и спорадически возникающую метель. Я крадусь сквозь темноту, забыв обо всем, и вдруг снова ощущаю себя юным сорванцом, только

что закончившим школу и еще никуда не пристроившимся, я был тогда свободен как птица и едва не сходил с ума от кружения снега. И мне пришел в голову сон, который я видел в молодости и о котором давно уже не вспоминал. Я брел в сумерках по дороге и вдруг почувствовал, что меня кто-то преследует. За мной кто-то шел. Я ускорил шаг, но не смел оглянуться. Я почти бежал полевой дорогой, один, за мной — невидимый преследователь, страх во мне нарастал, все сильнее овладевал мной; прислушавшись, я, кажется, слышал шаги другого, но это могло быть и моим воображением, шаги довольно точно совпадали с моими собственными. Я призвал на помощь все свое мужество, оглянулся и — о ужас! — увидел, что это я сам иду следом за собой, *я* — свой собственный преследователь. По-моему, я лишился сознания, но очнулся, пришел в себя и в конце дороги увидел куполообразную вершину холма, она вздымалась над пашней, словно круглая шляпа, а рядом стояла кляча с грязными пятнами на боках, буланка или сивка, и терлась, чесалась шеей об одинокий холмик земли, где кончается дорога.

Говорят, сны призрачны. Я, разумеется, так не считаю. Я гоняюсь за своими снами, как за драгоценной бутылочной почтой, и бываю по-настоящему расстроен, даже несчастен, если, проснувшись, не могу вспомнить их и то, что за ними стоит.

Вот так я гоняюсь и за путником, правда не в мыслях, а на улице. Я боюсь встретиться с ним лицом к лицу, как боятся черного кота, перебегающего дорогу. Однажды получилось так, что он встал рядом со мной у стойки кафе, ростом он примерно с меня. В своих двух плащах, надетых один на другой, он был не просто отгорожен от остальных посетителей, а казался человеком с другой планеты, попавшим в толчею людей, в гул разговоров и терпкие запахи разогретого воздуха. На спине рюкзак с металлической подставкой. Он заказал кофе-эспрессо. Лицо у него обветренное, белое как мел, энергичное, от него исходит какое-то напряжение. Руки маленькие. Он расплатился и вышел.

А на днях я увидел его издалека, ранним утром, в ледяной холод. Париж занесло снегом. По Сене плыли льдины, нескладные тарелки с острыми снежными наростами, кристаллические осколки льда со снежной опушкой. Панорама мостов, набережных, куполов, крыш не просто покрыта белой пеленой — она отодвинута в бестелесную даль, в даль воспоминания. У въезда на мост, на набережной Вольтера, застрял автобус. Казалось, уперся во что-то и встал, настигнутый забвением. А на этом берегу, у парапета, с рюкзаком за спиной, сощурив из-за снега глядящие в сторону автобуса глаза, стоял путник. Снег падал нежными сухими хлопьями с головокружительными завихрениями, словно хотел не просто стереть автобус и человека с лица земли, но сделать так, будто их вовсе не было на свете.

Снег пошел накануне, сначала почти невидимый, едва заметные пылинки в воздухе. Несколько часов спустя, когда я вышел из метро на станции Оперы и пересекал площадь в направлении авеню Оперы, оставив улицу Мира и Вандомскую площадь по правую руку, ветер гнал по видимому еще асфальту волны сухой пудры, нежные-нежные передвигающиеся дюны. Люди задумчиво брели по своим делам. На следующий день улицы и крыши покрывала толстая снежная пелена, остановились не только автобусы, замерло все уличное движение. Пересекая Тюильри, я обратил внимание на собак, с визгом носившихся по снегу. И озабоченных бездомных бродяг. Кстати, а где ночует путник?

Кто он?

Жильцы нашего дома, те из них, с кем я поддерживаю отношения, не могут сказать ничего конкретного, хотя все его видели. Говорят, его выбила из колеи женщина. Человек, которому я доверяю, случайно слышал, как шофер такси, увидев проходившего мимо путника с рюкзаком за плечами, пробормотал, обращаясь скорее к себе, чем к своему клиенту: тут замешана женщина. По мнению таксиста, клошар был когда-то состоятельным человеком, занимал прекрасное положение в профессиональном мире (откуда бы ему это знать?), но теперь совсем спятил. Конченый человек, сказал таксист. Скоро его заметут, посадят в психушку. Так сказал человек, которому я доверяю, поведал в заключение таксист.

Я спрашиваю себя, как началось его бродяжничество. Что-то ведь его подкосило, выбило из колеи. Может, он не понял, что с ним произошло? Может, он сказал себе: прогуляюсь-ка я, разомну ноги, чтобы прояснилась голова. После всего, что с ним произошло? Где и когда? Ночью? Может, он провел ночь в гостинице с какой-нибудь дамой и не мог вернуться домой, не мог прийти в себя? И колесил по Парижу, и все сильнее становилась его тревога, пока он не впал в отчаяние?

Поездка в Париж по делам. Конференция, вечером ужин. Покончив с делами ко всеобщему удовлетворению, участники конференции договорились приятно провести вечер. Встретиться решили в баре гостиницы. Парижский коллега появился в сопровождении нескольких человек, среди них молодая женщина, неясно, какое отношение она имеет к фирме и ее доверенным лицам, секретарша? Впрочем, это и не важно, ведь деловая часть закончилась. Они пьют, болтают и смеются, веселая компания, вино развязало языки, но все держатся в рамках приличий. Рядом с ним молодая дама, она, похоже, не связана ни с одним из присутствующих мужчин. Ведет себя с приятной сдержанностью, спокойно, внимательно и непринужденно. Иногда задает ничего не значащие вопросы. Вы живете в Б.? Живу, отвечает он, если это можно назвать жизнью, и смеется. Извините, добавляет он, я вовсе не важничаю, просто я сейчас подумал, что из-за своей постоянной занятости я никогда не задавался вопросом, можно ли назвать жизнью то, как я провожу свое время — рабочее и личное. Жизнь — такое странное слово.

Она смотрит на него ободряюще и участливо, хотя иногда в ее больших глазах, кажется, вспыхивают веселые искорки, дразнящие и подзадоривающие его бесовские огоньки. Когда вечеринка подошла к концу, он, поджидая такси, неожиданно для себя спрашивает свою соседку по столу, не подвезти ли ее. Она не против, но настаивает, чтобы таксист сначала остановился у его гостиницы, это ей по пути.

Такси останавливается у его гостиницы, четырехзвездочного дворца. Позвольте пригласить вас в бар, выпьем чего-нибудь на сон грядущий, говорит он, удивляясь собственной смелости. Он не авантюрист какой-нибудь, а верный, сознающий свой долг супруг и серьезный, дисциплинированный служащий, фанатично преданный фирме. По крайней мере, был таким до сих пор. В баре играет пианист, они заказали выпивку, он пьет виски, она куантро. Это его удивляет. Он еще не встречал человека, которому нравился бы этот липкий напиток. Он поражен, что она предпочитает такое.

Он смотрит ей в лицо и замечает, как впитывает в себя ее черты, как испытующе вглядывается в ее глаза, начинает жить в ее ауре. Его тянет

к ней, более того, ему кажется, что они знакомы уже давно. Я доверил бы ей самое драгоценное, думает он. Но что это такое — самое драгоценное? А пианист все играет.

Час пролетел незаметно. Он замечает, что они молчат, но это ему не мешает, это же прекрасно — молчать вместе с ней, это как знак доверия. Все ему кажется прекрасным. Она тоже кажется ему прекрасной. Она увлекает меня, она как квартира с множеством комнат, я затеряюсь в них. Чепуха, думает он вслед за этим. И тут же снова: я испытываю безумное, почти неукротимое желание прикоснуться к ней. Видишь ли, говорит он, извините, видите ли... Она ободряет его улыбкой и покачиванием головы... Видишь ли, говорит он, вообще-то я не бонвиван и уж совсем не из тех, кого называют бабниками, поверь мне и прости, если я задам тебе неподобающий вопрос, хотя и от всего сердца: я хочу быть с тобой. Сейчас. Останься, если можешь, пожалуйста, говорит он. Она очень серьезно смотрит ему в глаза. Глаза у нее дымчато-серые с зеленоватым оттенком. Она кивает. Этим кивком она открыто говорит, что согласна, говорит просто, серьезно и в то же время легко. Согласна. Странно, думает он, что я забыл о жене. Нет, я не вытеснил ее из своего сознания. Я уравновешен и вообще не испытываю угрызений совести. Я здесь всем своим существом. Так и должно быть. Я не могу находиться одновременно здесь, там и еще где-нибудь. Я только здесь.

Наверху, в номере, в полутемной, напоминающей салон комнате, где есть и стильный письменный стол, и кресла, и шкаф, и подставки для багажа, и даже чуланчик с гардеробом и зеркалом, ведущий в роскошную ванную, наверху женщина ложится на кровать и, подложив под голову руки, с улыбкой смотрит, как он роется в саквояже в поисках плоской бутылочки с горячительным; дело не в том, что ему хочется взбодрить себя, он просто тянет время, первый раз в жизни он привел в свой номер незнакомую женщину. Она смотрит раскованно и спокойно, ее спокойствие передается и ему, его движениям. Он оставляет в покое саквояж, поворачивается к ней, встает на колени у кровати и нежно целует ее в губы, он погружается взглядом в ее глаза, так глубоко, что перестает что-либо видеть. Она обнимает его за шею и притягивает к себе.

Он никогда так не целовал, в нем возникло желание не столько забыться, сколько проникнуть в нее, полностью раствориться в ней. Слиться с ней в одно целое.

Позже он не мог вспомнить, что было дальше, как они разделись и отдались друг другу. Он знает только, что это было как возвращение после долгих блужданий, нечто очень простое и очень глубокое, наполнившее его смесью ликования и изумления и мужества и силы, знает, что он испытывал безграничное доверие к ней. Наблюдение за собой, наслаждение и часто игра, то, что он знал до сих пор, а потом грубое вожделение, подстегивающее его, жажда борения, почти разрушительная ярость — ничего этого здесь не было и в помине. Он думал о ней, об этой женщине, и это были не мысли, это была любовь, любовь переполняла его. Похоже, впервые в жизни он любил по-настоящему.

Однако попытки прояснить для себя, что же случилось, беспомощные попытки реконструировать происшедшее, внушаемые ему смятением и счастьем, пришли позднее, уже в поезде. Как они простились? Он смутно помнил, как она помогала ему собираться, укладывать вещи, искать такси. Как он, сидя в такси, воспринимал все точно в первый — и в последний? — раз. Людей, по лицам которых он легко угадывал, что у

них на душе; оттенки неба, фасады домов, стены, уличные кафе, шумы. Казалось, он впервые обрел способность воспринимать мир. Его окружали сплошь увиденные прочувствованные услышанные познанные им вещи.

И в поезде, после опустошенности и рассеянности первых часов, он внезапно, точно очнувшись после тяжелой болезни, осознал, что он излечился и теперь здоров. Теперь он добрый человек, стал добрым человеком; он улыбнулся, найдя нужное слово — добрый. Все его существо купалось в ощущениях, которые доставляло ему его новое состояние. Он закрыл глаза и заснул.

Он проснулся. Его вырвали из сна напряжение и всеобщая озабоченность, вызванные приближением к границе. Он был в смятении, более того, в полном замешательстве. Ему понадобилось несколько минут, прежде чем он нашел необходимые для пересечения границы и возвращения домой документы — удостоверение личности. Теперь у него не было времени копаться в своих переживаниях, он загнал их как можно глубже в себя, вышел в коридор, постоял у окна, заглянул в туалет, чтобы освежиться. Только ни о чем не думать. Он порылся в портфеле, достал журнал и попытался читать. Страх? Да нет, скорее дурное настроение; синдром похмелья? Неприятное чувство.

Дома ему стало легче. Уютная квартира со всеми удобствами и открывающимся красивым видом на окрестности, но прежде всего связанные с домом воспоминания настроили его на веселый лад. Я снова дома, сказал он. Чудесно. Париж где-то там, далеко.

Он узнаёт, кто ему звонил, читает накопившиеся письма, расспрашивает о делах, о друзьях и знакомых. Его ждет праздничный ужин. Он долго нежится в ванне, потом ложится в постель и обнимает жену, он ведет себя почти как влюбленный. Но внезапно ему становится дурно. Это не тошнота, что-то сдавило горло, больно сглатывать, душит страх. Что с тобой, ты болен? — спрашивает жена. Он вдруг потерял дар речи, отворачивается, проваливается в сон.

Последующие дни проходят как обычно: он прилежен, хотя немножко рассеян. Не может как следует сосредоточиться на работе, и дома тоже. Где я? Он все еще в Париже, переживает ту странную встречу, но никак не может вспомнить ни лицо, ни голос, ни то, как выглядит та, другая, ни само переживание. Иногда он погружается в себя, пытаясь вспомнить. Иногда, точно молния, сверкает догадка, точно кто-то раздвинул занавес, сорвал пелену; потом снова все исчезает. Он чувствует боль и радуется, когда она приходит, боль — единственное, что связывает его с той ночью. Он ждет ее вспышек.

Его внутреннее состояние сказывается на работе. Он говорит себе: или все это пройдет, я все забуду, избавлюсь от этого наваждения; или мне надо вернуться туда, чтобы понять, что со мной, что произошло. Я должен узнать и понять, что случилось, даже если ради этого мне придется свернуть горы, бормочет он.

Он звонит коллеге в Париж, благодарит за прекрасный вечер, коротко останавливается на переговорах, дает понять, что некоторые пункты нуждаются в дальнейшем уточнении. Было бы лучше всего, говорит он, если бы мы снова встретились, я скоро ненадолго заеду в Париж. И у него сразу становится легче на душе, едва ли оттого, что у него теперь есть деловой предлог для поездки. Главное — избавиться от мучи-

тельного чувства ожидания. Или — или. Чем бы все ни кончилось, это будет избавлением.

На этот раз он решает ехать на машине. Ему хочется, чтобы дорога стремительно ложилась под колеса, хочется вдыхать воздух дороги. Луч-

ше всего мне думается, когда я сижу один за рулем и мчусь вперед, говорит он. И отправляется в путь.

Долгая-долгая езда вдоль утомительно однообразных, зеленых и серых ландшафтов с ручьями и пастбищными поилками, убаюкивающее движение по мягким пространствам, через лесные заповедники, как на картинах Писарро, через прелестные глухие места с путаницей тропинок и просек. Далекие купола церквей, рассеянные там и сям селения, коровы на пастбищах. Ленты дорог, высокие облака. Потом движение становится оживленнее. Так бывает перед грозой: в воздухе повисает напряжение, затем разрядка; отовсюду выныривают автомобили, дороги переплетаются, превращаются в ревущие, бушующие шоссе, в нечто, напоминающее шабаш ведьм. А по обе стороны вырастает город. Город растет на глазах, тянутся в небо высотки пригородов, это как извержение вулкана, выброс осколков породы, которые сгущаются в каменные утесы, омываемые городским прибоем.

Город возникает со всех сторон из белой пены, из бурлящих волн, они плещутся, и бьются, и громоздятся друг на друга, обнажая каменный материк; захватывающий дух прибой.

Он сворачивает с кольцевой дороги и въезжает через одну из многочисленных арок на бульвар. И забыта дальняя дорога, бульвар, даже самый оживленный, дышит покоем и неспешностью. И его переполняет чувство, что он прибыл на место, не домой, а на праздник жизни, ни больше ни меньше. Улицу, эту котловину, покрытую коричневым разбитым асфальтом, местами вымощенную камнем, он принимает с благодарностью. На широких авеню сутолока автомобилей, они толкутся, точно букашки в пруду, их гудки кажутся ему звуками ликования за фасадами домов, обрамленных зелеными кронами деревьев, покрытых высохшей, осыпающейся штукатуркой, у их подножий натянуты тугие, точно узкие юбки, навесы. Под навесами, на фоне сверкающих витрин магазинов и окон кафе, идет праздная жизнь горожан, местных жителей, которые не хотят жить нигде, кроме как здесь, другие места для них просто не существуют, они двигаются, точно в трансе, курят, обмениваются репликами, смеются, демонстрируют накрашенные губы и ноги в шелковых чулках. И над всем этим — светлое небо, какое бывает только над этим городом, его фирменный знак.

Он оглядывается. Видит людей, вышедших за хлебом или газетой, остановившихся, чтобы поцеловаться. Кто-то прислонился к фонарю и читает письмо. Но есть и такие, что убивают друг друга, думает он без налета цинизма, так сказать для полноты картины, так, как обычно констатируют начало листопада. Гул моторов, гаммы смеха, грохот проносящихся поездов подземки. *Знакомая песня*, шепчут его губы. Это выражение благодарности, объяснение в любви, глубочайшее одобрение. ЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ, повторяет он, ощущая прилив счастья, и ведет машину сквозь орды скользящих рядом и обгоняющих его автомобилей — к своей гостинице. Это та самая гостиница, где он останавливался в последний раз и провел ночь любви, это *его* гостиница; встреча с ней сотрясает его, как приступ лихорадки, дрожа от возбуждения, пробирается он к стойке администратора. Он видит все чрезвычайно отчетливо,

каждая трещина, каждое пятно, кажется, сообщнически подмигивают ему. Он в вестибюле. В номере он долго не задерживается, ровно столько, чтобы освежиться, он вдруг чувствует беспокойство, ему требуется движение. Он бесцельно бродит по улицам, канун праздника, его увлекает за собой многолюдный поток. Его настроение колеблется между беспричинной радостью и паническим страхом. Он заблаговременно прибывает на условленное место встречи — в известной всему городу пивной, там он встает у стойки и заказывает виски, чего он в этот час дня обычно никогда не делает. Он заставляет себя думать о деле, собирает мысли, как собирают свистом непослушных собак, нелегкое занятие.

Да и позже, за ужином, он рассеян, хотя по дороге сюда придумал несколько замысловатых вопросов для обсуждения и разработал нечто вроде стратегии. Ужин и переговоры прошли, как и следовало ожидать, без проблем. За кофе завязалась легкая беседа о том о сем. Последний раз, сказал он коллеге, мне очень все понравилось, включая приятную заключительную часть, молодая дама тоже показалась мне очень милой — кстати, как ее звали? Он запомнил фамилию. Возвращаясь в гостиницу, он улыбнулся при мысли, что любил безымянную.

В гостинице он сразу же хватается за телефон. Звонить в такой поздний час? Он колеблется и решает, что уже слишком поздно. Позвоню завтра. Завтра во сколько? Утром? Или ближе к вечеру? Вдруг его охватывает малодушие, даже безутешность. Не гоняется ли он за призраком? Что, если ничего вовсе и не было, если это всего лишь игра его воображения? Страх, и холод, и одиночество, и бог знает что еще сжимают ему сердце, он сидит на краешке постели, на него падает крохотный конус света от ночника, прикрепленного к выдвижному ящику кровати. Отсюда начинается его путь, его бегство.

Я пишу о путнике так, словно знаю его. Я его боюсь. Разве бояться — значит знать? Я хочу избавиться от этого парня. Я сочиняю ему историю. При том что я не люблю историй, истории — это попытки втереться в доверие, ложные соглашения о мире. Я ничего не знаю о своей собственной жизни, из которой я наверняка не смог бы выжать ни одной истории: так как же я смею рассказывать о жизни других людей? Я не штамповщик историй, не мастер по их упаковке. Я зажигаю маленькие молнии-вспышки, они на мгновение освещают путь, по которому я могу двигаться дальше. Высекаю огонь ударом слова о слово. Без искр легко заблудиться в темноте.

Недавно мне приснилось, будто я нашел свою мебель и вещи: письменный стол, полку для рукописей, архивы, пишущую машинку, предметы быта и рабочие принадлежности — все самое нужное и важное! — в каком-то чулане, сваленными в страшном беспорядке. Мое добро выброшено, доступно любому человеку. Этот чулан или гараж находился в подвале и служил как бы буферной зоной между двумя квартирами. Квартиры были бедные, мне незнакомые, как и само это место, и люди, бесцеремонно пользовавшиеся моими вещами. Я пришел к выводу, что меня так выселили из моей квартиры и в принудительном порядке разместили здесь. К моему ужасному смятению добавлялось еще и то, что я практически ничего не видел. Я просто ослеп. Должно быть, подумал я, это связано с моими новыми очками, врач-окулист мог выписать неверный рецепт. Но я не носил очков, очки мне нужны только для чтения, они у меня в кармане. Я ощупью пробрался сквозь темноту, время от времени на мгновение вспыхивал

свет, помогая мне ориентироваться, потом я снова погружался во мглу и стоял в полной растерянности и заброшенности. В помещении появилась жена рабочего, вероятно моя соседка, она, похоже, управлялась с многодетным шумливым семейством, я сказал ей, что это ошибка, чей-то недосмотр, скоро все выяснится, во всяком случае, я тут временно, и мои вещи, без сомнения, тоже, пока же она может считать меня своим соседом и соблюдать приличия, только что их собака трепала мои ботинки, не говоря уже о детях, резвящихся среди моей мебели. Я попросил ее помочь мне, так как ко всему прочему я плохо вижу. Она выслушала мою просьбу, как мне показалось, с недоверием и лукавством. Тут где-то в груде сваленных в кучу вещей зазвонил телефон, я услышал, как женщина сняла трубку и кто-то квакающим голосом спросил меня. Это меня, закричал я, и наобум бросился вперед, натолкнулся на препятствие, стал искать выход и застрял в непреодолимом нагромождении вещей и в своей безысходной скорби. Женщина тем временем положила трубку. Я в ловушке.

И все же вспышка может быть такой грандиозной, такой ослепительной, что не выразить никакими словами. Хочется вцепиться в увиденное, как пчела в чашечку цветка, это самое драгоценное, что доводилось видеть, кажется, вся жизнь без остатка вытекает из этой трещины на поверхность. Аж сердце замирает. И длинная нить воспоминаний тянется оттуда, тянется вдаль.

Не нужно слов, нужно только двигаться. Почему все идет и идет путник? Боится все потерять — счастье, *другую жизнь*, привидевшуюся ему во сне, боится разрушить ее, подвергнув испытанию реальностью? Пространство ожидания в принципе не может заполниться тем, что осуществляется.

Он уже едва ли помнит ту женщину и все, что произошло. То, что было, что все больше удаляется от него, тем не менее тянется к нему тысячью голов, змеиных голов; половодье ощущений вдруг настигает его, заливает с головой, грозя утопить. А потом снова откатывает. И его охватывает неукротимое желание встречи, точнее, его гложет желание найти ее. Иногда, в периоды апатии, он понимает, насколько смешон, насколько страшен его поступок. Его прежние взгляды и то, что он считал своим долгом, своей обязанностью, — все это не только утратило значение, но, словно балласт, отпало от него. Теперь это не в счет. Было, да сплыло. Как ветром сдуло, говорит он. Снова найти тот остров, исправить допущенную в жизни ошибку, так он это называет, вот что архиважно, важно для выживания. Что-то в нем стронулось с места. Он идет по следу.

А женщина, та, что разворошила в нем все это? Она обитает где-то недосягаемо далеко, превратилась в призрак. Ее тоже поглотила его мечта.

Теперь нашлась одна, в телефонном справочнике, под ее фамилией указана улица, где она живет. И есть еще одна, с такой же фамилией, та, что, как призрак, живет в его грезах. Первая породила в нем это странное состояние. Он должен ее найти, но боится разочароваться. Он мечется между уверенностью, соблазном и отчаянием, в смятении чувств бродит по улицам, до недавнего времени верующий в свою фортуну рыцарь, затем забытый Богом неверующий, запутавшийся в своих проблемах, в диалогах с самим собой, заблудившийся в заколдованном саду своей души.

Мечта нуждается в подпитке. Поэтому он кружит по окрестностям гостиницы, точно преступник вокруг места преступления, поэтому не может покинуть город. Если он уедет отсюда, у него исчезнет последнее доказательство. Улицы и весь город — живые свидетели, очевидцы. Иногда ему кажется, что улицы — святая земля, а город — просветленный мир. Потом воодушевление покидает его. Восторженность сменяется отрезвлением. Несчастен тот, с кем случилось такое.

Он заглядывает в телефонную кабину, сделанную из стекла, вся ее начинка вместе с кабелем и трубкой видна, словно внутренние органы при просвечивании рентгеном; он протискивается в стеклянную дверь, роется в кармане в поисках клочка бумаги с номером телефона, вжимается в угол, снимает трубку, набирает номер, слышит долгие гудки, слышит, как стук сердца отзывается в горле, — и вешает трубку. В другой раз раздаются короткие гудки. Занято. Он облегченно вздыхает. Однажды в трубке он слышит ее голос. Откуда ты звонишь, спрашивает голос, ты в городе? Он торопливо, хриплым голосом, иначе не получается, врет, что звонит из-за границы и скоро даст о себе знать снова. Вешает трубку. А его внутренний оценочный аппарат начинает анализировать тон, звук, интонации, выясняет, чего в ее голосе было больше — сдержанности или заинтересованности, теплоты или холодности, можно ли ей доверять, поняла ли она его, в общем, прощупывает *ее*, а страх тут как тут, страх, что он проваливается в пустоту. Только бы не остаться с ледяным цветком в сердце. Отныне телефонная кабина — тайный центр его блужданий, святыня и место Страшного суда, он принимает приговор по частям, выносит из кабины осуждение и оправдание, испытательный срок, дары любви и неприкосновенный запас чувства, сомнение и надежду. Давно уже он выбрит не так чисто, как раньше. Брюки на коленях вспучились, галстук в пятнах.

Иногда соблазн позвонить терзает его часами, пристает к нему, как кровососущее насекомое, и каждый укус точно укол наркотика наполняет все его существо навязчивыми мыслями. Он пытается убежать от них — и не может, на глаза попадается телефонная кабина, иногда у стеклянного ящика стоит очередь желающих позвонить, среди них обязательно африканцы, а внутри кто-нибудь, у кого времени навалом, болтает в свое удовольствие. Он медлит, не зная, вставать ли ему в очередь или прийти сюда еще раз, все кажется ему многозначительным и важным. Наконец он в кабине, вскоре после полудня, сквозь листву деревьев лучи летнего солнца освещают бульвар, он видит поблекшие на жаре фасады домов, они танцуют в воздухе, как поднимающаяся из развалин пыль, воздух абсолютно неподвижен. Он набирает номер и напряженно вслушивается в звук зуммера, который иногда исчезает, как исчезает пульс, так, по крайней мере, ему кажется. Ее гудки он уже знает и мог бы отличить их от сотен других телефонных гудков. Он слышит ее голос, иногда в нем можно различить манящие, чуть-чуть ликующие нотки, это как елей для его души, но потом голос снова звучит разочарованно и устало: зачем ты звонишь? Забудь все, что было, прекрати, слышишь. Он покидает кабину и прямиком, не кружа, как обычно, по улицам, идет в гостиницу, прокрадывается в свой номер и бросается на кровать. Глазами и всем своим существом он приклеивается к телеэкрану, пока не засыпает.

Должно быть, это давно уже не та, прежняя гостиница. А куда подевалась его машина? И как, какими словами, какими выдумками и отго-

ворками объяснил он домашним свое отсутствие и уговорил их оставить его в покое? Деньги у него есть.

Недавно, это было на крытом перроне Восточного вокзала, я видел, как вели на веревке молодого длинноволосого парня. Он шел в наручниках, прижимая к животу гитару. Я и внимание на него обратил из-за того, что он слишком уж сильно прижимал к себе инструмент, — он делал это из-за наручников, вынужденно, только этим можно было объяснить его жест, нежный и трогательный. Гитара в наручниках — а впереди жандарм, который тянет за собой арестованного на шнуре или веревке. Кто-то шел сзади и нес рюкзак задержанного. Вот так же, подумал я, мог оказаться рюкзак и у путника. Он получил рюкзак в залог, возможно, ему навязали его взамен занятых у него денег. Так этот рюкзак у него и остался.

Носить его он начал позже, когда стал все больше опускаться. Рюкзак стал его принадлежностью, символом наказания и в то же время символом свободы.

О ком я, собственно говоря, пишу? Я мог бы спокойно выдать путника за демобилизованного солдата с маньчжурской границы. Это, по крайней мере, объяснило бы его цепкость, способность к сопротивлению, дисциплину и воздержание. Но забытый солдат не имел бы в Париже никаких шансов. Столько свободы он просто не вынес бы после многих лет сидения в окопах.

Вообще-то я начал писать о маме, а перешел на путника. Так уж повелось, что именно матери отправляют своих сыновей в одинокие странствия, на поиски чего-то утраченного, за удачей или за счастьем. На поиски родины. Или же прямо на войну. А может, на поиски отца?

Мама пугала нас, детей, когда мы плохо себя вели и обижали ее, что уйдет от нас в лес и не вернется. Мы представляли себе лес среди ночи! Конечно же, мы, всхлипывая, просили у нее прощения и умоляли остаться с нами. Милая мама. Матери выпускают своих детей из домашнего гнезда и отправляют бродить по белу свету.

Кстати, мама тоже знала одного бродягу, кажется, это был первый бродяга, увиденный мной. Однажды он забрел к нам, елейный старец, таким, по крайней мере, он предстал тогда перед моими детскими глазами, сильно опустившийся, об этом говорил его поношенный костюм и жирные пятна на галстуке, лучше бы он вовсе отказался от этой смешной приметы сословной принадлежности. И так было видно, что это нищий, окончательно опустившийся человек.

Но он поздоровался с мамой покровительственно и в то же время подобострастно. Выяснилось, что этот человек когда-то учил ее, как я понял, учитель с высшим образованием, его выгнали из школы за преступления против нравственности, он приставал к детям. С тех пор он опускался все ниже и ниже, кого-то подменял, давал частные уроки, пока не оказался на самом дне и не стал побираться, обходя своих бывших учеников.

Мы тоже несколько дней кормили его, он ел, пуская слюни и при этом бормоча слова благодарности, один за столом; как правило, он с шумом втягивал в себя еду, пришепетывая "превосходно, превосходно", а суп или соус капал ему на галстук. При этом во взгляде его было что-то фальшивое, я бы сказал, развратное, если бы знал тогда это слово, я ненавидел его всей душой, потому что он вел себя подобострастно, упражнялся в самоуничижении — и все это на языке образованного человека. Это был мастер холодного расчета, гений перевоплощения.

Я представляю себе, как где-нибудь в ночлежке Армии спасения, в зале ожидания на вокзале или в бесплатной столовке для бездомных он раскладывает свои пожитки и намечает себе жертву, приводя доводы за и против, а потом узнает на почте адрес, чтобы оказаться у дверей своей бывшей ученицы и своими нудными проповедями привести в замешательство женщину и мать, которая от смущения и стыда не знает, как реагировать на это ученое словоизвержение о том о сем и обо всем на свете. На изысканном языке он произносил целые доклады, но при этом весь его вид и поведение кричали: дайте поесть.

До того как переехать в дом престарелых, мама жила в гостинице, переоборудованной для пожилых женщин, это была вилла посреди парка, мама жила там в номере, обставленном ее собственной мебелью, спускалась в столовую на лифте, гуляла в саду, уже согбенная и угловатая, но энергичная; ходьба была для нее спортивным упражнением, ей сказали, что она должна как можно больше двигаться, держать себя в форме, и она следовала этому совету. Она даже могла покидать гостиницу, разумеется не одна, а с сопровождающим.

Когда я последний раз выводил ее из этой гостиницы на прогулку, она казалась сильно одряхлевшей, с большим трудом, с моей помощью, она выбралась из машины, перешла улицу и добралась до ресторана, лучше бы я перенес ее на руках, подумал я тогда. Потом она тихо сидела в саду ресторана, который я специально подыскал для нашей встречи, под стульями прыгали воробьи, самые нахальные даже садились на столы; старая дама с трудом, но послушно ела все, что подавали, и время от времени брала меня за руку. Погруженной в себя и робкой выглядела она среди жующих, болтающих и жестикулирующих, и я подумал, что она очень одинока; ни с того ни с сего она вдруг сказала, что подумывает о самоубийстве; да ты что? Да-да, сказала она, и я знаю, как это устроить; сочиняешь ты все; нет, сказала она, я бы попросила у аптекаря сильнодействующее средство, открыла дома капсулу и проглотила все ее содержимое; ах, брось. Сдав маму обслуживающему персоналу виллы, я задержался ненадолго в коридоре и видел, как она села в читальном зале, другие дамы были в своих комнатах или в саду, через стеклянную дверь я видел, что мама сидит задумавшись, печальным было ее лицо.

Обнаженная и ее друг

Я давно уже гоняюсь за каприччо, капризом, который хочу назвать *Обнаженная и ее друг*, и никак не могу его поймать. Не могу вытащить рыбку на берег. Рыбку, скрывающееся от меня существо из слов и образов, пауз и мелодии, я чувствую его присутствие, гоняюсь за ним и всякий раз теряю из вида. Я прочесываю местность, раскидываю все новые и новые сети и ухожу с пустыми руками. Вероятно, сети никуда не годятся. Я хочу поймать это существо живым, не скелет и не труп.

Название — только приманка. Образ. Видоискатель. Обнаженная и ее друг. Означает ли это, что друг одет? Или она обнажена для него, даже когда одета? Он раздевает ее взглядом? Необязательно, но женское тело всегда что-то обещает, даже если оно скрыто под одеждой. Вообще-то женская одежда сделана так, что всякими там разрезами, вырезами, обтяжками и складками привлекает внимание к соблазнительному, мно-

гообещающему. К великолепию и скрытой в нем опасности. Все искусство и половина жизни вместе с политикой и преступлениями обречены втайне вертеться вокруг одной темной точки. Я не мог не думать об этом, когда повторно смотрел ленту Болоньини "La notte brava", "Славная ночка", фильм моей юности, он вдруг вернул меня в мое римское прошлое.

Парни в фильме, рагацци, — уличные хищники, живущие разбойными нападениями на людей. Они вышли из непроглядной нищеты, на уме у них только одно — яркий блеск легко доставшихся денег, роскоши и самовольно присвоенной власти. Набив купюрами бумажник, они превращаются на один день, на одну ночь в важных особ: в двубортных костюмах, с сигаретой в презрительно сжатых губах подходят они к ночному ресторану, берут дымящуюся сигарету большим и указательным пальцами и с такой силой швыряют об асфальт, что искры сыплются; в ресторане они ведут себя как великосветские денди. Хвастовством и сентиментальными ужимками они заманивают ищущих развлечений девиц или юных уличных проституток в машину, везут за город и, попользовавшись, издеваются над ними, пинают ногами, унижают, а потом, гогоча и горланя, бросают своих жертв и стремительно укатывают на взятых напрокат спортивных автомобилях.

Герои фильма — женоненавистники. Что толкает их на это — чрезмерный культ женщины, мадонны и вызванная этим ненависть к матери? Тут, вероятно, есть какая-то связь с осквернением материнского лона, только не дать себя увлечь таким вещам, думаю я и обращаюсь мыслями к годам молодости, когда я гонялся за римлянками, которые, несмотря на исходившее от их тел обещание блаженства и сладостный призыв, были совершенно недоступны. Они уверенно, с дерзкой величавостью шествовали в толпе, не видя тебя в упор; при этом все их округлости раскачивались так, что мужчины, точно молнией пораженные, умолкали посреди разговора или забывали о своих делах и смотрели им вслед, а то и шли за ними. За римлянками тянулись кучки нетерпеливо дергающихся мужчин. Девушки прогуливались, источая флюиды вожделения, под защитой будущего материнства, они искали не любви, а супруга, отца и заботливого кормильца, я сказал "искали" — нет, они должны были это делать, они просто не могли иначе. Казалось, на свете есть только недоступные красотки, жаждущие выскочить замуж девственницы, воплощения чувственности — и падшие девушки. Именно с них началось язычество, царство гетер, античность.

Не только на виа Венето или вдоль Тибра, но и у ворот города, на обочинах дорог, у придорожных столбов сидели обольстительницы, ждали своих паломников хранительницы священного входа. Иные сидели на корточках, выставив, точно рыночные торговки, на обозрение свой драгоценный товар.

Красавицы с замшевой, как у абрикоса, кожей таили в себе вечную мать, римлянки излучали скрытую чувственность вековечного материнского начала. Этим, вероятно, и объясняется извращенное поведение рагацци после совершенного акта: они как бы мстили наперед, вершили возмездие, в молодых женщинах наказывали матерей, оскорбляли их.

О italianita, о итальянский менталитет, бормочу я и нахваливаю свой Париж, где искушение направлено на живого любовника, на небо, встающее над сплетенными руками и ногами влюбленных, здесь это — одна из высших ценностей. Я размышляю об этом в переполненном пивном

баре, глядя на одетую в черное женщину, что стоит со своим спутником у стойки, чуть повернув голову в мою сторону, и о чем-то непринужденно беседует. Платье облегает ее тело, будто готовую раскрыться почку, обнажая дразняще длинные ноги в босоножках на высоких каблуках. Кажется, она занята только своим спутником, и все же от нее, от ее фигуры и мимики исходит одуряющий аромат соблазна. Каждая пядь ее фигуры — воплощение женственности, дерзости, искрящейся жажды жизни, независимости, эроса. Ее поклонник, вероятно отпрыск знатного рода, немножко сноб и весьма заурядный тип, служит ей зеркалом, и ей нравится то, что отражается в этом зеркале, что зеркало показывает не только ей самой, но и нам.

Вся эта женщина — настоящий подарок, говорю я своему другу, метафизическому художнику и давнему любителю бега трусцой, он как раз застрял в холостяцком периоде и любит после утомительного трудового дня заглянуть в бар шикарной гостиницы, за изысканным бордо он мирится даже с моими эротическими медитациями. Но сейчас мы пришли не за этим, сначала мы хотим поесть.

Такая вот красавица — подарок человечеству, говорю я. Я горжусь ею. Готовность любить потрескивает в ее ауре, но это ни в коем случае не женщина легкого поведения, найди для нее нужное слово — и не то что одежды, стены упадут, говорю я. Любовь здесь не просто витает в воздухе, она предмет сделки, сделки между жизнью и жизнью, взаимно декларированное высшее счастье на земле. Или ты иного мнения, мой старый друг, спрашиваю я, заметив, что мыслями он где-то в другом месте, вид у него отнюдь не расслабленный, должно быть, он все еще обдумывает то, что сделал днем, и крайне недоволен сделанным.

Разве вся французская живопись не посвящена именно этому счастью? — пытаюсь я привлечь к себе его внимание. Разве французские художники на протяжении столетий не писали только земное счастье? Древние переносили его в Аркадию или в Элизиум, в обиталище богов, потом богов упразднили, но миф о женщине, или Венере, остался, — кстати, какого возраста была Венера, спрашиваю я, так как мой метафизический друг, до сих пор чаще имевший дело со своими ровесницами и женщинами старше себя, начинает подозревать меня в склонности к сексу с малолетками. Какого возраста? Но ведь, продолжаю я, люди всегда жили на лоне природы, это была содрогавшаяся от любовного томления природа, в ней были острова блаженства, природа не признавала труда, добавляю я, намекая на его чрезмерное усердие в работе, за что я иногда корю его; должно быть из зависти; никакой работы. По крайней мере, от человека ее никто не требовал. Человек лежал или сидел на лоне природы и предавался безделью или любовной игре. Любовь и ее повелительница, богиня любви, всегда присутствовала в природе, даже если ее не было видно, значит, она отсутствовала временно, но все вокруг говорило только о ней. На лоне природы означало — у лона красавицы или с красавицей перед глазами и чтобы вокруг была природа. Красивая женщина была мерой всего, ей принадлежало пространство счастья, она была его источником. Даже на картине *Dejeuner sur l'herbe,* "Завтрак на траве", она сидит обнаженной. В течение столетий она стояла, возлежала, отдыхала обнаженной перед глазами художников, она поворачивалась то одной, то другой стороной своего залитого солнцем существования, своей пеннорожденной текучести, ее плоть ласкала глаза восхищенных ценителей красоты.

Прекрасное было время, сказал мой друг и крикнул: официант, счет. Мы бродим по улицам. Некоторые из них вспыхивают в лучах заходящего солнца, бесконечные ряды домов полыхают ярким пламенем, потом окрашиваются в пепельный цвет; улицы покрываются пятнами движущихся теней, по ним перекатывается эхо. Иногда кажется, что высящиеся вдали дома сложены из облаков, что у них появились крылья.

Ты давно здесь живешь, спрашиваю я своего друга-художника.

Целую вечность. И не спрашивай почему. Ты знаешь это не хуже меня. Потому что только в таком городе, как этот, можно затеряться. Поэтому ты никогда не узнаешь его до конца, можешь бегать по нему с утра до ночи, но весь не обегаешь. Он — твоя погибель, он то, к чему ты стремишься.

И потому, что он весь, до самых глубин, освящен эросом, задумчиво добавляю я. Насыщен соблазнами, которые улыбаются, и призывно кивают тебе, и ждут тебя на каждом углу. Один только шаг — и ты в объятиях красотки, обнаженная грудь, как на картине Делакруа, изображающей свободу! Я — цена жизни, говорит соблазнительница. Виляя бедрами, она подходит к тебе. Вместе с тобой, нет, впереди тебя пастушка спешит в кусты.

Эмигрантские разговоры. Vive la France.

Мы бредем в сумерках. Отблески уходящего дня смешиваются со светом фонарей и канделябров. Мы идем по сверкающему бальному залу, многократно отражаясь в зеркалах.

Мы, мой друг и я, выходцы из небольших городов, с точки зрения Парижа это провинция. Маленькие города навевают на меня такую тоску, что выть хочется. Ощущение убожества, жалкое существование, монотонно текущие дни, террор ограниченности и безысходности, накладывающий неизгладимую печать на всю твою жизнь. Тяжелая, как с похмелья, голова. Прозябание на задворках жизни. Где она, жизнь, где? Единственная хлебопекарня, выпекающая всегда одно и то же, единственный ресторан с автоматами по приготовлению коктейлей для местной молодежи. Уродство какое-то, кажется, будто к столу для представления spectaculum mundi, спектакля жизни, приставлены всего один-два стула, а на столе — испорченный бензонасос. Не понимаю, как местные жители мирятся с такой скудной пищей для глаз и для души. Когда смотришь на их вечно хмурые лица, кажется, будто вокзал ощущений закрылся навсегда, ни один поезд больше не уходит отсюда, ничего, что захватило бы тебя, прихватило с собой, ничего, что заставило бы тебя вскочить с места, ничего.

Мы идем мимо химчистки, здесь их называют прессингами, я люблю подобные заведения, хотя, кроме горячего воздуха и запаха химических реактивов, здесь тебя и впрямь ничем не порадуют. Видимо, это связано с тем, что тут властвуют женщины, снимая с тебя груз забот, вот грязные рубашки, мадам, а вот измятый костюм, пожалуйста, приведите в порядок. Первое время, когда у меня в Париже еще почти не было знакомых, я бегал в прачечные, как другие ходят в кино или в церковь. А еще я любил заглядывать в починочные мастерские — носил починить старые куртки. Но это был только предлог. На улице, где я жил, была пошивочная мастерская, в которой хозяйничали две сестры. От одной из них, жутко блондинистой тигрицы, веяло низостью, другая производила впечатление женщины честной и прямодушной. Две не похожих друг на друга сестры, блондинка отвечала за качество, за моду, другая была ис-

полнительницей, держалась в тени. Я любил смотреть, как тигрица наклонялась, чтобы наколоть клиентке кайму, и жеманно и в то же время дразняще выставляла упругую задницу, задница будто говорила мне: здравствуйте. В таких заведениях остро пахло нитками, материей и утюгом, кроме того, веяло женским интимом, что неудивительно: там снимали платья, драпировались в материю, обнажали нижнее белье и кожу, и посетитель-мужчина оказывался в двусмысленном положении.

Таким же спертым, как в гареме, воздухом пахнуло на меня, когда, еще юношей, я пришел к мадам Эрне, которая жила на третьем этаже нашего надменного дома и вела нечто вроде мастерской, правда, на очень примитивном уровне, она шила на кухне, казалось, она не прекращает работу ни днем, ни ночью, чтобы прокормить своего мужа, музыканта, физическое и психическое состояние которого не позволяло зарабатывать на жизнь. Примерка проходила в большом салоне, который украшали рояль, черные лакированные столики, роскошная софа и искусственные цветы. У мадам Эрны пахло не только материей, модными журналами, парфюмерией и кокетством, но и высокопарными фантазиями, утраченными иллюзиями, декадансом. К этому добавлялось оптимистическое жужжание швейной машинки и неустрашимая, не знавшая усталости головка мадам Эрны с задорно, как у маленькой девочки, болтавшимся "конским хвостом".

Я рос в доме, где задавали тон женщины, мужчины лежали, сказавшись больными, или болели по-настоящему, так как их обделили любовью; некоторые просто-напросто исчезали бесследно.

Все женщины в доме носили одинаковые платья, маскировавшие возраст и пол, их можно было принять за вдовий наряд. Они строго и презрительно отзывались о немногих предприимчивых мужчинах, называя их прожигателями жизни; однажды я услышал загадочную фразу: один из них прокутил с женщинами все свои деньги, все, что имел.

Недавно я снова встретил Акима, прошло немало лет с тех пор, как он служил зазывалой в одном заведении на площади Пигаль, там показывали стриптиз, и его обязанностью было не просто зазывать богатых на вид, жаждущих развлечений клиентов, но буквально выхватывать из толпы проходящих мимо любителей зрелищ и затаскивать их в свой вертеп. Он немного говорил на ломаном английском, изъяснялся по-немецки и по-итальянски, это у него называлось знанием языков и позволяло строить из себя полиглота. Мы познакомились однажды ночью и после нескольких рюмок сошлись. Во всяком случае, теперь у меня был собутыльник на то время, когда я слонялся по площади Пигаль, находившейся недалеко от моей тогдашней квартиры.

Теперь Аким стал респектабельным человеком. Жестянщик, мелкий предприниматель, он ездил на R4 и был, он это подчеркивал особо, женат. Он много говорил об уважении к собственной жене, почтенной дочери из всеми уважаемой арабской семьи, сейчас она работает только половину дня, но никуда не ходит, даже телевизор не решается смотреть, не говоря уже о видеофильмах, похоже, она занята только домашним хозяйством и находит удовлетворение в общении с пылесосом, можно предположить, что он заменяет ей телевизор. Во всяком случае, она умеет извлекать удовольствие из пылесоса, это уж точно. А супружеское уважение выражалось, помимо прочего, еще и в том, что они никогда не видели друг друга обнаженными. Они в исподнем ныряли под одеяло, чтобы в темноте отдаться друг другу.

Аким упоминал об этих подробностях с явной гордостью, словно благодаря именно этому он поднялся по социальной лестнице. Четырнадцати лет от роду он уехал из Константина в Алжир, его вышвырнули из родного гнезда подростком, выкарабкивайся или сдохни, он прибыл во Францию, не имея в кармане ничего, кроме билета. Тогда ему приходилось добывать уважение к себе с помощью ножа; теперь он мелкий предприниматель, женат, клиентов он находит в бистро.

Нынешнее семейное положение Акима одобрила бы моя мама: респектабельность, уважение к себе и непременное в этом случае воздержание играли важную роль в системе ее ценностей и в ее словаре.

А сейчас мне припомнился подвал, точнее, целое подвальное царство, в свое время там было бомбоубежище, укрепленное толстыми балками мрачное помещение с множеством отопительных и вентиляционных труб, кроме индивидуальных закутков, отгороженных деревянными решетками, там была и общая домовая прачечная: в день стирки в адской парной трудились у ведер, бадей и стиральных досок потные, красные от жара истопницы, служанки и матери. Влажное материнское жерло.

В темноту подвалов вела крутая винтовая лестница, но другая лестница, на другом конце просторного подземелья, вела наверх, на усыпанный галькой двор, где сохло белье, и в примыкавшие к двору сады. Вела к спасительному дневному свету.

А иногда и в ночной мрак.

Помню, как, будучи гимназистом, я вступал под пенящуюся майскую листву, словно под священный полог ночи, весь во власти очарования, и, предвосхищая соблазны, нырял в благоухающую аллею, которая вела к больнице. Опьяненный ароматами и собственными фантазиями, я входил нетвердой походкой в фосфоресцирующее чрево листвы, в котором бегали туда-сюда медицинские сестры в белых халатах. Однажды, замедлив шаги и оглянувшись, я заметил, как одна из них, встретившаяся на моем пути, остановилась и застыла, повернув в мою сторону светлое пятно тела. Я подошел к ней и, не говоря ни слова, даже не думая, что это могло быть простым недоразумением, обнял ее, мы поцеловались, и я почувствовал в своем рту ее горячий язык, это был первый такой поцелуй в моей жизни, я был не готов к такому повороту. А она? Убежала, оставив меня в замешательстве и недоумении.

Я размышлял о случившемся дома, в ожидании дождя, который всегда будоражил мои внутренние токи. Я настораживался, когда меня настигало дыхание дождя. Сначала менялось освещение, мелькали темные пятна, движущиеся тени, будто их гнало ветром; и вдруг тишина, внезапное низвержение тишины; а вслед за этим громкий вздох дождя, приближающееся шуршание капель, своим шумом они долго заглушают все вокруг, кряхтят двери, глухо вздыхают деревья, комната затягивается темным покрывалом, оконное стекло наискось прочерчивают дождинки.

А когда надвигалась гроза, душа моя ликовала и пела. Деревья, вздымавшие кроны в привычно серое небо, внизу плавали вместе с корнями в подземном море. И я вместе с ними. Я словно садился в корабль, плывущий в страну любви.

Вчера в автобусе, между Йенским мостом и Монпарнасом, я наблюдал за одной школьницей. Шел дождь, девочка задумчиво рисовала пальчиком на мутном стекле какие-то фигурки. Ее коротко подстриженные

волосы были с дерзкой асимметричностью зачесаны набок, суставы пальцев сильно развиты, готов поспорить, что она играет на скрипке. Девочка между школой и родительским домом, у окна, за которым жизнь женщины, женская судьба. И я вдруг увидел ее лицо глазами ровесника, почувствовал священный трепет, с каким мальчик смотрит на любимое лицо. Лицо кажется далеким, оно словно заключено в рамку недосягаемости, и в то же время как бы погружено в благоговейное раздумье. Обращенное внутрь себя, в мечты лицо, иконописный лик, предмет благоговейного поклонения. При взгляде на него охватывает страх — какие все-таки разные существа люди, возникает предчувствие надвигающегося разобщения и непреодолимого одиночества. Как мог он надеяться, что смеет притронуться к такому вот лицу, всегда преследовавшему его? Столкнувшись с реальностью, оно упадет с алтаря и разлетится вдребезги.

Девочки моего детства волновали меня, они излучали таящийся под юбками зной и плотскую притягательность, которую следовало отвергать как нечто чудовищное и запретное. Они напускали на себя важный вид, но в их болтовне, в их стремлении из всего делать тайну присутствовало нечто такое, что касалось нас, мальчишек, они могли властно отвлечь нас от наших воинственных проказ, они притягивали наши мысли к тому, что бросало нас в краску и в дрожь. От них исходила какая-то непостижимая сила, при всей своей детскости они обладали уже каким-то древним знанием. Мы ругали их, смеялись над ними и в то же время только о них и думали. Они хранили в себе тайну, тайна называлась сладострастием, именно она наделяла их властью; для нас она означала слабость и покорность; нам грозила опасность, и мы в отместку дразнили их.

Галька потрескивала под ногами, когда мы по дороге в школу или из школы сталкивались с девочками. Некоторые из нас уже стали благовоспитанными мальчиками и, прирученные, шагали рядом со своими избранницами; мы считали их потерянными для себя, перебежчиками.

Я тоже стал перебежчиком, в двенадцать лет, но перебежал я не в омут сладострастия, а сразу в любовь. В страну любви. Одно только было важно для меня: близость любимой. Я думал только о ней одной. Мысль о ней освещала улицы и даже небо. Освещала весь мир. Мне достаточно было находиться рядом с ней. Я шел рядом с любимой словно сквозь первый день творения, сквозь начало мира, сквозь бесконечную красоту и чистоту, воздух замирал от восторга, свет был напоен счастьем. Мне казалось, будто я в раю. Но длилось это недолго. В райские кущи вгрызалось желание, а с ним и страх. Я хотел, чтобы счастье длилось вечно и принадлежало только мне одному. Но рай был запятнан сомнением, счастье вытекло ручейками малодушия, превратилось в обычную детскую историю с грустным концом.

С тех пор я стал бояться любви, бояться душевной травмы. Обжегшийся на первом чувстве ребенок не хотел больше любить, должно быть, ему хотелось, чтобы любили его. Я мечтал о любовных приключениях, о покоренных сердцах, о разбойничьих набегах, грабежах и опустошениях. Я хотел испытать любовь, любовь была эросом, а эрос — наплывами мечтательности, эликсиром счастья, средством для достижения цели. Все переживания отныне окрасились светом эротики, я искал приключений и находил их. Счастье стало плотским наслаждением, а любовь — обменом тела на тело.

Словно корабли под наполненными ветром парусами, проплывали на горизонте женщины. И мне казалось, что мимо меня проплывает последний, единственный корабль.

[196]
ИЛ 8/2001

Путник сидел на ступеньках церкви Сен-Рош, на нем были кроссовки и вельветовые брюки, в руке он держал банку пива или газированной воды, волосы он подстриг. Я уже прошел мимо, как вдруг удивленно подумал: а где же рюкзак? И точно: обоих плащей на нем тоже не было. Не было толстого суконного укрытия, которое бродяги не снимают даже в жару. Вот откуда впечатление, что он помолодел. Вполне возможно, подумал я, что он снял рюкзак где-то неподалеку и прикрыл его своими двумя плащами, я не присматривался. Может, он и впрямь решил избавиться от своей карающей ноши? Решил вернуться домой? Я хочу понять, что с ним произошло.

Один бармен, точнее, барменша, трансвестит с внушительной грудью и накрашенной физиономией, на мой вопрос о путнике ответил: разумеется, я его знаю, он ночует под аркадами у входа в гостиницу "Континенталь". Трудно поверить, что портье в ливреях, когда у стеклянных порталов с вращающимися дверями они высматривают такси или с высокомерным видом пялятся в пустоту, станут терпеть в своем окружении такого типа, как этот путник.

Ухмылка путника, словно впечатанная в изможденное лицо и напоминающая маску, мешает мне заговорить с ним. Но если и заговорил бы, что я ему скажу? С чего начну? Он ведь, подумал я, не только не попрошайничает, но, судя по всему, и отвергает всякие контакты с внешним миром. Я ни разу не видел его в чьем-нибудь обществе, он всегда одинок и молчалив. Не стану же я спрашивать у него, который час. И все же мне хотелось узнать, как... и тут в голову мне внезапно пришла фраза: *он прокутил свои деньги с женщинами.*

С какими женщинами? Вытеснил ли он к тому времени из памяти ту, с которой провел ночь в гостинице и которая свела его с ума? Перестал ли звонить ей? Тогда он ведь еще не был бродягой, хотя состояние его духа внушало опасения, и, следовательно, тем настоятельнее нуждался он в любви. Жил скромно в гостиницах. Деньги у него были. Пока.

Он мог остановиться перед одним из затененных баров с полуоткрытой дверью, мог заглянуть внутрь. Заглянул и тут же отпрянул — приглушенный свет, глазам трудно привыкнуть к полутьме, в которой он разглядел сидевших вдоль стены на высоких стульях декольтированных девушек, чьей обязанностью было развлекать посетителей и побуждать их к трате денег; они выжидательно повернулись в его сторону. Выжидательно или со скукой в глазах, ему трудно понять, он стоит перед дверью, точно захваченный врасплох, и не знает, убежать или войти. Он входит, встает у стойки, заказывает. Нос фильтрует воздух, в котором плавает запах сигарет, и сквозь клубы дыма тянутся ароматы различных духов, приторных и освежающих, они смешиваются с чем-то тяжелым, напомнившим ему о едва ощутимых испарениях женского тела; густой, насыщенный запахами, приятно дурманящий воздух. Он пьет то, что ему принесли, принюхивается к запахам и все больше расслабляется. Наконец одна из женщин слезает с высокого стула и, выжидательно улыбаясь, приближается к путнику. Можно я составлю вам компанию? Она присаживается рядом. Хозяйка бара или патронесса ставит перед ней бокал шампанского. И каким прекрасным становится вдруг этот полу-

мрак, настоящий занавес, отгораживающий от того, что творится при дневном свете на улице, а здесь вечные сумерки, думает он, или вечерняя заря? Да, вечерняя заря. И этот подарок приглушенности, приглушенные голоса, тихо позванивают льдинки в бокале, приглушенная музыка, настроение, какое бывает при дождливой погоде, занавес из навевающих усталость колебаний. Он смотрит в лицо незнакомки, примостившейся рядом на высоком табурете. Глаза между темными штрихами, под тенями век смотрят загадочно и заманчиво, кажется, будто они плавают за отшлифованным стеклом; и великолепно накрашенные губы раскрываются при разговоре, демонстрируя блестящие зубы. С просцениума красивых зубов и полных губ слетают слова, грациозно, словно канатные плясуны, балансируют они на мягком убаюкивающем голосе.

Оба лица поворачиваются друг к другу, глаза погружаются в глаза, ее — нерешительные, удивленные, предостерегающие, манящие, способные сказать больше слов и многозначительных пауз. Иногда в темноте возникает женская рука, выныривает из мрака, держа в пальцах сигарету или жестом подчеркивая какое-нибудь слово, и пальчики с лакированными ногтями и сверкающими кольцами появляются и плывут по воздуху. Из-за стойки выходит барменша — или патронесса. Что будем пить, повторить то же самое? О чем мы говорили? — спрашивает он женщину, что сидит рядом с ним. Кажется, о трубаче или о певце, что повизгивает в глубине зала. Любит ли она музыкантов и что вообще она любит или не любит в жизни и что делала до сих пор. Маленькие признания, восхитительные, создающие атмосферу доверительности.

А лед позвякивает в стакане, в голове приятный туман, кажется, будто время все без остатка принадлежит только им двоим, они разговаривают, не отводя глаз друг от друга, иногда женская ручка словно нечаянно прикасается к нему. Им некуда спешить. В их распоряжении сколько угодно времени. Они беседуют и выпивают.

Когда они договорились перейти в нишу? Какая разница, они уже там, и плата за переселение — ключ, на столике уже стоит бутылка шампанского. Им тесновато вдвоем за закрытой портьерой, на обтянутой синтетическим материалом кушетке, тесновато и темно, но волнение волшебным образом озаряет лица мужчины и женщины и толкает их в объятия друг друга. Лица расплываются, когда женщина тонкими руками берет его за шею и притягивает к себе, чтобы приблизить свои ярко накрашенные губы к его губам и своим языком, своим дыханием по капле вдохнуть в него желание, тогда как над ее пустыми — или они только кажутся пустыми из-за опьянения? — как бы отсутствующими глазами смыкаются веки с длинными ресницами. Эликсир желания пронизывает его сильнее алкоголя, он обнимает ее, ощупывает нежные плечи, касается вздрагивающей, трепещущей груди, обвивает руками гибкое, как у змеи, тело, тянется к упругим бедрам; потом раздвигает их в стороны, точно разрезает пополам хлеб, и его рука оказывается на ее горячем лоне.

Недавно на телевидении была передача о вуайеризме, среди прочего речь шла о парнях, которые со скрытой фотокамерой подстерегают женщин, чтобы запечатлеть на снимке их трусики. И занимаются этим с упоением. Они слоняются вокруг Оперы, или Мадлен, или Сакре-Кёр, повсюду, где толпами отдыхают на траве туристы, и тайком щелкают затвором, направив объектив между ног посетительниц в мини-юбках. Настоящие детективы, нет, коллекционеры, во всяком случае, профессио-

налы эти мастера фотографировать трусики. Они хорошо знают друг друга. Одного спросили, волнует ли его вид трусиков, помогает ли удовлетворить желание, бывает ли у него эякуляция, когда он проявляет свои снимки? Что побуждает его заниматься этим? Он не мог ничего ответить. Просто ему нравятся дамские трусики, и охотиться за ними с фотоаппаратом — его хобби, больше сказать ему нечего. Какой-то психиатр произнес слово "фетиш". Он полагает, что ажурные трусики, усердно рекламируемые индустрией нижнего белья, выглядят в глазах фантазеров девственной плевой, и когда женщина снимает с себя тесно прилегающую к коже прозрачную ткань, это выглядит как лишение девственности. Значит, щелчок фотоаппаратом женщине между ног — эрзац полового акта?

Путник, выглядевший тогда еще вполне респектабельно, хотя и был уже на полпути к тому, чтобы стать асоциальным элементом, ощутил, держа руку на лоне своей случайной подружки, не столько ее трусики, сколько собственную развязность, потерю стыда. И вот они сидят и обнимаются, такие, какими сотворила их природа и прежняя жизнь, полураздетые, отгородившись от общественности портьерой, в полумраке их обнаженные тела белеют и кажутся блеклыми, как одиночество. Они забывают об осторожности, откладывают в сторону оружие, уравниваются в правах, становятся людьми; архаическая форма взаимопонимания, сообщничества; они делятся чем-то, а это всегда в радость.

О чем ты думаешь, спрашивает девушка, которой просто и приятно общаться с этим клиентом, потому что он неприхотлив и великодушен, не зажат, приятный человек, простой. Ей хорошо с ним.

О чем я думаю? Трудно сказать. Многое приходит мне в голову. Прежде всего я думаю о том, что мне хорошо и что ты мне нравишься. Знаешь, у тебя красивые глаза. А про себя думает: истрепанная кушетка, засиженная, как скамейки в пригородных поездах бедных стран, подумать страшно, как она выглядит при дневном свете. Кушетка, на которой устраивались в полумраке столько проезжих клиентов, — вещь, полученная в наследство, в наследство от человечества. Я тоже один из многих, думает он, один из тех, других. Чувствуешь себя как в поезде, когда был молодым, без имени, без денег, но устраивался как мог, помогал соседям по купе, и они тебе помогали, пока длилась совместная поездка, а потом расставались навсегда. Он чувствует свои кости, собственное тело кажется надежным другом, он чувствует и ее тело и импульсивно притягивает его к себе: сокровище мое. Все вокруг него вдруг становится необыкновенно ясным, удивительным и доступным: бутылка в ведерке, пыльная, засаленная портьера, его ботинки под столиком и ее туфельки напротив, стоят в уголке, будто хотят вцепиться друг в друга. Кажется, все вещи послушны ему и каждая занимает положенное ей место. Каждая принимает нужный вид. Ему чудится, будто он слышит, как шумит город, да, именно город проплывает сейчас перед его внутренним взором, город с его залитыми светом улицами, с освещенными изнутри магазинами. Уличные сцены: кто-то спешит в лавку, кто-то к мяснику, к газетному киоску или на почту. Шум и бормотание города, он видит, как бегут куда-то улицы, каждая со своей толкотней, со своей суматохой, под своим собственным небом. А он посреди города в отгороженной нише бара, как на острове. Или как на родине, думает он, бар для него — кусочек родной суши в бескрайнем море, а ниша с ее по-

добием любви — желудочек сердца, город наполняет его жизнью и дрожью. До краев.

Но путник преувеличивает. Чрезмерно приукрашивает ситуацию из-за случайной встречи, не только банальной, но и предосудительной, проходящей под знаком купленной благосклонности. Моя мать, к примеру, об этом и слушать бы не стала. Она просто не поверила бы этому, не допустила бы и мысли об этом. Она изгнала бы эту сцену из пространства приличия одним словом: грязь.

А я говорю: путник и впрямь мог чувствовать себя счастливым. Он стакнулся с женщиной, которая ему нравится и которая к тому же от природы великодушна, не сторонится, в отличие от других, иностранцев, гостеприимна. Такое иногда бывает. Незаслуженное счастье. Два чужих человека, познакомившиеся не совсем обычным путем и пришедшиеся друг другу по душе, по крайней мере в данный момент. В нише бара они одаривают друг друга любовью. Причащаются на дорожку. А что до платы, то разве нормальная супружеская любовь не связана с расходами? Такие увертюры, как кино, театр, ресторан или поездка в отпуск; такие любезности, как меховая шуба или украшения. Но вернемся к нашей истории. К какой истории? Бутылка шампанского, вторая, третья или что там еще приходится выкладывать за тет-а-тет в нише бара, оплачена уже тем, что из всего этого не получится никакой истории. Деньги — защитное устройство, не позволяющее сцене соскользнуть в историю. Пусть все так и останется началом, всего лишь началом без действующих лиц и приличествующего рассказу стиля, своего рода древнейшая исходная ситуация, необходимая для того, чтобы мимоходом воссоздать мгновение счастья. Или иллюзии счастья? Иллюзии столь же важны в жизни, как и деньги, думает путник.

Наш герой, тогда еще не путник, наверняка знал дорогу в места, где можно укрыться, знал заветное слово, пропускающее в чудесное убежище. Одно время он называл это *бросить якорь*. Так он называет это в своих монологах или только в мыслях, когда боится, что от безысходности может слететь с катушек. В затемненном баре, со стаканом в руке, рядом со все понимающими сообщницами, готовыми прийти в нужную минуту на помощь, с подругами на час обретает он пристанище и почву под ногами. Но прежде всего душевный покой. Он страстно тоскует по этим островкам. Само собой, подобные заведения не сухие доки, алкоголь и все остальное стоит денег. И он тратит их не считая, выкладывает пачками. И хотел бы остановиться, да не может. Это превратилось в манию. Очень часто он делает это без всякого удовольствия, скорее заставляет себя сесть в поезд ужасов с неизбежной преисподней в финале. Преисподняя — это угрызения совести после отрезвления. Он дает себе клятву не заглядывать больше в бары. Но мания сильнее воли. Все чаще она — его ultima ratio, решающий довод. Искушение появляется внезапно, словно выскакивает из кустов, и не отпускает его. Внутренний голос в нем кричит: нет. Но постепенно превращается в голосок, оперирующий все более слабыми аргументами. А искушение улыбается красивыми глазами, уверенное в себе, уж оно-то лучше знает, что делать. Правда, у искушения женское лицо, но его больное существо жаждет не просто женской плоти, а все отчаяннее тоскует по острову, берегов которого ему удается достичь все реже. Он обзывает себя трусом, клянется, что это в

последний раз. Случалось, после часов, вечеров и ночей, проведенных у стойки бара, после пьянки он возвращался домой с пустыми карманами, не имея даже мелочи на такси, кожа его дурно пахла, я весь провонял, ворчал он и чувствовал себя виноватым, как человек, злоупотребивший доверием, присвоивший себе чужое имущество. Прокрадывался в гостиницу и вставал под душ, как будто можно смыть грязь, пропитавшую тебя насквозь. В желудке камень, нервы на пределе. Он берет в руки книгу и откладывает ее в сторону, читать он не в состоянии, накрывает лицо подушкой, скрючивается калачиком под одеялом, вертится в постели, встает выпить воды, подходит к окну, задыхаясь, втягивает в себя ночной воздух, утренний воздух, дрожит всем телом. И не у кого попросить помощи, некому пожаловаться на самого себя. А на следующий день глубокая хандра, пустота на душе, скорбный, неотвратимый звук на все той же частоте; неотвратимый, как приговор врача, установившего у тебя неизлечимую болезнь или эндогенное нарушение психики.

Разумеется, он не сразу дошел до жизни такой. Сначала он лишился места или уволился по собственному желанию на том основании, что ему нужен год, чтобы прийти в себя, собраться с мыслями, отдохнуть. Похоже на выход из дела. Преждевременно наступивший кризис середины жизни, говорят знакомые, в открытую говорят это его родным. Год истек, все связи порваны, он все чаще меняет адреса, последний гласит — до востребования. Его списывают со счетов как пропавшего без вести. Следует неизбежный развод с законной супругой, раздел имущества. Поначалу отщепенец еще пытается найти себе какое-то занятие здесь, в Париже; сидит в Национальной библиотеке, чтобы привыкнуть к свободе, нужно что-то делать, это продолжается недолго, он давно утратил то, что когда-то было самым примечательным свойством его характера, — самодисциплину. Иногда он проклинает свободу. Спасительные походы по барам. Бреясь по утрам, он мог порезаться — так сильно дрожали руки. А с пластырями на лице в библиотеку не пойдешь, и он шел в парки, в места общественного отдыха, слонялся под мостами Сены, точно какой-нибудь бездомный. ОН ПРОКУТИЛ СВОИ ДЕНЬГИ С ЖЕНЩИНАМИ. Так это могло бы быть.

Домыслы, не более того. Сейчас он свободен, свободен как птица, но рядом с ним нет никакой обнаженной, это уж точно. Людей этого сорта вообще никуда не впускают. Такой человек, как путник, лишен не только женского общества, он принципиально одинок. Отверженный. Вернется ли он когда-нибудь к себе? И где то место, куда он мог бы вернуться?

Надо выбросить путника из головы, иначе у меня не получится мое каприччо, мой каприз. Иногда, когда я сижу над вставленным в пишущую машинку листом бумаги или брожу по городу, мелькает какой-то след. Как плавник рыбы, прорезывающий воду, всплывает на мгновение или, лучше сказать, возникает. Меня будто толкает что-то. Я во власти порыва. Чувствую, что *это* совсем близко, стоит только протянуть руку — и вот оно, на долю секунды я сливаюсь с ним. Чудо, счастье. Закрыв глаза, я наслаждаюсь его отзвуком, думаю, вот сейчас оно появится на внутреннем экране, тогда я его и поймаю. Я бегаю по комнате, ищу первое слово, которое намекнет, наведет на мысль, главное, не хватать раньше времени. Слова бывают слишком громкими, слишком поспешными, и увиденная рыба нырнет и исчезнет в глубине.

Возможно, навсегда. Я бегаю по комнате, чувствуя на губах этот привкус, наконец встаю на цыпочки, мне хочется стать невидимкой, чтобы не спугнуть, не прогнать этот порыв. Я хочу поймать существо живым, не один только скелет. Снова усаживаюсь за стол. О рыбе ни слуху ни духу. Вместо нее в голове проплывают какие-то легкомысленные лодки, нежелательные образы, толкотня, хаос. И потом — пустота. Все, сдаюсь. Иногда хочется убежать. И сразу — в ближайший бар. Не думать, только ни о чем не думать, дружище. Только не это.

Солдаты

На днях я снова увидел тех парней, что чистят канализацию, ассенизаторов. Они брели, точно пьяные, шаркая резиновыми сапогами со спущенными почти до самой земли голенищами. Им приходится шлепать по скользкой жиже, кишащей крысами, по ковру из крыс, погружаться по пояс в клокочущие нечистоты, блуждать в мерцающем свете шахтерской лампочки; пять часов длится смена.

Странное волнение охватывает меня, когда я вижу их, этих неприкасаемых. Или лучше сказать — солдат невидимого фронта. Это их основная работа, они этим живут.

Откуда это волнение? И почему на днях — или это было уже давно? — во мне родилось это сравнение с солдатами, я ведь равнодушен к армии, ко всем, кто носит форму, это не для меня, откуда взялось это сравнение? Я люблю тех, кто бодрствует, люблю ночных сторожей. В молодости я в своей мансарде целые ночи проводил без сна, лежал с открытыми глазами или сидел, прислушиваясь к тишине, к страху в себе, борясь с дремотой. Я словно очищался изнутри, становился насквозь проницаемым, просветленным, я как бы горел в каком-то огне.

Солдаты. Недавно я так ответил на вопрос, работаю ли я.

— Работаю ли я? Я и сейчас работаю, — сказал я, удивляясь своим словам, — представь себе одинокого солдата на тайном фронте, на границе с Маньчжурией, на горизонте совершеннейшая пустота, ничего, абсолютно ничего не происходит, даже муха не пролетит или оса, в воздухе и не пахнет войной, тишина. Солдата послали сюда и забыли, он роет окоп под палящим солнцем или под дождем, на ветру, день за днем, один как перст, давно уже не знает, зачем он это делает, и знать не хочет, просто роет и роет...

Мой собеседник громко рассмеялся.

— Потрясающе, — говорит он. — Общий план: желтый пейзаж без конца и края, кое-где зелень, коричневые крапинки на белесой желтизне — как на брюшке у лягушки. Камера наезжает. В кадр попадают летящие вверх комья земли, монотонная работа. Потом крупный план: покрытое потом лицо солдата.

"Что вы здесь делаете?" — спрашивает репортер и протягивает солдату микрофон. "Рою окоп", — отвечает солдат. "Зачем?" — "Таков приказ".

Солдат смущенно бормочет что-то о защите границы, ожидании нападения и необходимости выполнять свой долг.

Моего собеседника трясет от смеха. Я давно не видел его. Теперь он носит небольшие тонкие усики, они ему очень даже идут, особенно к его

узким глазам. Когда он смеется, сходство с монголом только усиливается. Он только что вернулся из Австралии. Когда мы виделись в последний раз, несколько лет тому назад, он производил жалкое впечатление — развод! Теперь он, судя по всему, снова на коне.

— Но вернемся к вопросу о работе, — говорю я с важным видом. — Я все еще нахожусь в состоянии позиционной войны. Осаждаю крепость. Зондирую почву. Уже много чего накопал. Набралась *вот такая* куча материалов, — я показываю рукой, какой высоты стопка бумаги, и при этом явно преувеличиваю. А про себя думаю: черт бы побрал, черт бы побрал эту нелепую профессию. Мой собеседник, Том, ростом он под два метра и явно не знает, куда девать ноги, особенно в барах с мебелью, рассчитанной на нормальных людей прежних времен, говорит, приглушив голос до доверительного шепота и широким жестом приглашая меня прислушаться к его словам, что где-то там, в Австралии, он встретил человека, въедливого, разумеется, читателя, который если не вообще, то именно сейчас считает меня самым значительным писателем. Том — прирожденный льстец и к тому же комедиант.

— Великолепно, — говорю я и едва заметно поворачиваюсь в сторону, прижимая к себе комплимент, точно плюшевого медвежонка.

Что случилось? Что значат эти слова? Не сплю ли я? Временами я и впрямь впадаю в дремоту на своем рабочем месте, когда мне никто не мешает.

Пока мы разговаривали, я наблюдал за юной парочкой. Два подростка, он и она, тискали друг друга, рты на почти детских лицах казались слишком широкими, по крайней мере у паренька. Сплетя ноги, они сидели в глубине вытянутого, как кишка, кафе, над длинной стойкой которого витиевато извивалась розовая неоновая трубка, излучая бледное свечение, напоминающее ореол святого или расплывшиеся кольца дыма; тесно прижавшись, они сидели, сгорая от ненасытного желания, и до изнеможения впивались губами друг в друга, а потом, очнувшись от поцелуя, тяжело дышали и смущенно, с залитыми краской лицами, оглядывались, а руки их уже снова тянулись друг к другу, пальцы сплетались, и все начиналось сначала: им неудержимо хотелось слиться, стать единым стволом. Я чувствовал их неутоленную жажду и неудовлетворенность, что нельзя позволить себе большего, — ведь не в кафе же, не среди людей. Когда они не целовались, головы на алчущих телах, казалось, принадлежали не им, а смущенным зрителям; это в первую очередь касалось паренька. В паузах между поцелуями головы напоминали ненужный реквизит, приготовленные для выставки экспонаты. Но вот он снова обвил ее руками и прижал к себе ее бедра, а она сверлящими движениями маленькой головы стала впиваться ему в ямку на шее.

Я снова подумал о забытом солдате на заброшенном фронте. По обе стороны начатого окопа расстилается равнина, работе конца не видно, он один-одинешенек, врагов нет и в помине, можно не торопиться, вокруг никого, но бросить пост нельзя, разве что без промедления уйти в вечность, но к этому он пока не готов. Быть может, мысль о бегстве и приходила ему раньше в голову, быть может, он уже пускался в путь, но после безрадостных вылазок на разведку возвращался обескураженный. Вылазки, длившиеся по нескольку дней, не приносили ощутимых результатов, никаких перспектив, на горизонте ничего нового, одно и то же, насколько хватает глаз. Да и особого куража он в

себе не обнаруживал, желания что-то предпринять. Куда бежать? В своем окопе он чувствует себя как дома. И работы у него невпроворот, дела хватит надолго. Есть ли у него надежда? На то, что его сменят? Что начнется война? Что он выдержит испытание? Не думать об этом. Продолжать работу. Иногда он прикладывает руку к глазам и смотрит на то, что сделал. Иногда спит. Спать — все равно что ехать в поезде. Ему снятся сны. О том о сем. Недавно ему приснилось, что его собираются казнить. Сверхсовременное квадратное помещение из синтетического материала, высоченное, без окон и выступов, стены и пол гладкие и скользкие. Он стоит спиной к стене, перед ним группа мужчин в плащах, похожи на бизнесменов, но он знает: это его судьи. Он представления не имеет, в чем его обвиняют; ему ничего не говорят, не бросают в его сторону угрожающих взглядов, лица мужчин ничего, кроме равнодушия, не выражают. Наконец один из них отделяется от группы и нажимает на стене какую-то кнопку. Обвиняемый чувствует под ногами вибрацию, часть пола приходит в движение, отделяется и толкает его вверх. На маленькой площадке он поднимается вдоль гладкой стены, сначала медленно, потом быстрее, наконец летит с бешеной скоростью; на этом голом пятачке у него кружится голова; но не успевает он закричать от страха, как площадка останавливается; весь в поту, он прижимается к холодной стене, открывает рот, чтобы позвать на помощь, но в это время все тот же господин снова нажимает на кнопку. Он чувствует, как узкая площадка под его ногами снова начинает дрожать и медленно вползает в стену, исчезая в ней. У него ускользает опора из-под ног, и когда это происходит, когда он падает в пустоту и его охватывает ужас, уже на лету, в смертельном полете в голове его мелькают две мысли, последние мысли: гениальное изобретение, первый по-настоящему стерильный способ казни, надо запомнить и немедленно запатентовать, думает он; однако что они станут делать с мертвым телом, с останками человека?

Это их проблема, бормочет он, просыпаясь, его слегка передергивает, он трет глаза, точно хочет прогнать сон, поднимается и, поплевав на руки... На руки? Разве не приснился ему на днях сон о руках? У вас довольно красивые руки, сказал ему кто-то, когда он стоял в группе весело болтающих людей. Что правда, то правда. И вот он смотрит на руки этих веселых, хорошо одетых молодых женщин и мужчин и обнаруживает на их мягкой белой коже странные надрезы, кажется, кожа их покрыта струпьями, жутковатая штука, первая стадия проказы? Он рассматривает свои руки, о которых любит говорить, что они если и не красивые, то все же выразительные и гибкие, руки, точно созданные для того, чтобы хватать, он всматривается в них и обнаруживает темноватые струпья, похожие на трещины в коже или на мозоли. Да это же ходы, проделанные червями, он ничего не понимает, прячет населенные червями руки в карманы, потом разберемся, должно быть, тут какая-то ошибка, в конце концов руки нужны ему для работы. Или он уже начал превращаться в труп? В живой труп, который сам роет себе могилу. На границе с Маньчжурией.

Он просыпается. Соскакивает с поезда сна. Спать — все равно что ехать в поезде. Я уже говорил об этом.

Вчера я сел не за работу, а в восемьдесят пятый автобус, что идет в Клиньянкур. Когда автобус рывком тронулся с места, я задел ногу пожилого человека, извинился и занял место рядом с ним.

— Не стоит извинения, — сказал сосед, старый, очень тщательно одетый и потому производивший впечатление какой-то лихости господин, — ничего страшного, я как раз возвращаюсь от специалиста по уходу за ногами, удалил себе мозоль и чувствую огромное облегчение, кстати, зашел и в банк, небольшие прогулки, надо ведь двигаться, извините меня за назойливость, в моем возрасте люди становятся немного болтливыми, недавно мне стукнуло девяносто семь.

— А мне показалось, вам лет эдак шестьдесят пять, — удивился я.

— Аушвиц[1], — выдохнул он, причем произнес это слово с какой-то лукавой миной, точно этим все объяснялось, в том числе и секрет его долголетия. — Надеюсь, я не очень докучаю вам такими подробностями, — тихо добавил он.

— Вовсе нет, о чем вы говорите! — пристыженно воскликнул я.

Он слегка сжал мою руку.

— Я сразу понял: вы парень что надо, — засмеялся он и добавил, что в молодости был танцором, а потом учителем танцев. Он вытащил бумажник и показал фотографию той поры, потрясающая фигура танцора. Должно быть, снято в самом начале века, прикинул я. Кайзер, Гитлер, Аушвиц, Хиросима. Дальше вспоминать не хотелось; все это было при его жизни. Свидетель века. Живой атлас истории. Сидит рядом с тобой и доволен, что избавился от своей мозоли.

Он начал рассказывать о своем сыне, судя по всему, замечательный ученый, у него десять секретарш. Я взглянул еще и на фото ученого, потом мой новый знакомый вышел, нет, не скажу, что танцующей походкой, но как-то удивительно легко.

Надо уметь быть счастливым. Раньше это чувство било во мне ключом, я был переполнен счастьем, оно заливало меня всего, вплоть до самого источника жизни, так что возбуждалось и напрягалось мое мужское достоинство.

Не выходя из автобуса, я проехал площадь Жюля Жофрена. Для этой поездки я придумал предлог — купить кофе у моего прежнего торговца колониальными товарами; в новом районе, где я теперь живу, этот сорт мне не попадался. Я доехал почти до Клиньянкура, на бульваре Орнано был рынок, пахло овощами, сплошное благоухание. Как и раньше, я остановился около торговца яйцами, он выставляет в деревянной клетке кур на продажу, иногда среди них попадается утка, реже кролик, сидит на ящике, прядет своими красивыми ушами и что-то вынюхивает. Живую домашнюю птицу и кроликов покупают арабы, они убивают живность дома. Только что один покупатель вытащил из клетки двух кур, взял их за основание крыльев, подождал своей очереди и передал торговцу, тот положил кур на весы, предварительно связав им крылья, то есть засунув одно крыло под другое. Куры не квохтали, вообще не издавали ни звука, лежали, как парализованные, должно быть, во власти смертельного страха. Я думаю, сердца у них колотились как бешеные. Я с ужасом наблюдал за ними, раньше я тоже часто так делал, следил за движениями рук, за этим приготовлением к последнему часу, за жестами, несущими смерть. Только в руках людей животные становятся бессловесными ТВАРЯМИ, такими кажутся они наблюдателю в этот момент, только в ту самую секунду, когда человек поднимает на них руку.

1. Аушвиц — немецкое название польского города Освенцима, где располагался фашистский лагерь смерти. (*Прим. перев.*)

Должно быть, я надеялся на что-то, предпринимая вылазку в свое парижское прошлое; во всяком случае, купив кофе, я прямиком, точно дело это уже давно решенное, направился в столовку, куда я, оказавшись в Париже, при случае заглядывал первое время: убогое заведение.

И в самом деле: более чем неприглядная, неопрятная и унылая забегаловка. Грубая бежевая штукатурка напоминала высохшую кожу, кажется, раньше стены были покрыты соломенными циновками, точно не помню, но хозяина за скудно оборудованной стойкой я узнал сразу, стройный парень неопределенного возраста все в том же костюме в узкую полоску, рябое от оспы лицо, блуждающий взгляд. Я сделал заказ и принялся есть; глядя на хозяина и пошлую обстановку, я снова ощутил тогдашнее чувство потерянности, которое заставляло меня искать прибежище в таких вот местах и за такими столами, но оно же, особенно после нескольких рюмок вина, одурманивало меня, пропитывая наркотиком чужбины и переполняя мужеством отчаяния. Помнится, именно в этом заведении играл когда-то аккордеонист, потом к нему присоединилась певица — не знаю, пришла ли она с ним или была одной из посетительниц, да это и не важно, — нахальная такая особа в облегающем, с высоким боковым разрезом платье из красной, чертовски красной материи. Косые лучи предвечернего солнца ощупью пробрались в заведение и внезапно, точно прожектором, осветили обоих; звуки аккордеона и полный страсти голос женщины, хрипловатый, заводной, будораживший душу, застывшая в чувственном экстазе маска лица — и все это в обычно полупустой забегаловке. Неужто я зашел сюда, чтобы если не взбодрить себя, то хотя бы утешиться, вспомнить о тогдашней своей потерянности, в которой сегодня мне видится нечто героическое? Я ведь давно уже онемел, точно наткнулся на какое-то препятствие. И умолк. Вот бы опять обрести свой прежний голос, обличительный, трубный, сметающий все на своем пути голос, чтобы он вырвал меня из спячки!

Я завязал разговор с соседом по столу, ничем не примечательным папашей, которому не подошел бы даже титул Président des maris fidèles, "председатель Союза верных мужей" (как в шутку называл себя хозяин другого такого же заведения, толстяк по прозвищу "чугунок"). Мы говорили о курении и о попытках избавиться от этой вредной привычки. А началось все с того, что каждый из нас попеременно предлагал другому прикурить. При этом мой собеседник высказывался о касавшемся нас обоих предмете не просто умно, а со знанием дела и так толково, что я был посрамлен и сразу почувствовал к нему искреннюю симпатию.

Настроение мое поднялось, и я окинул взглядом заведение. Звучала монотонная музыка, нечто восточное, под такую музыку заклинают змей, за стойкой бара сидела пожилая блондинка и время от времени с отсутствующим видом сбрасывала на пол маленького пуделька, который упорно пытался забраться к ней на колени. Официант обслуживал двух рабочих, единственных, кроме меня и моего соседа, посетителей; по-моему, это были водители грузовиков. Они заказали себе кускус и жевали, широко, точно собирались зевнуть, разевая рты; ножи они держали в кулаке лезвием вверх. Уж эти-то ребята литровую бутыль вина опустошат в один миг. Я прямо-таки физически ощущал, как работают их челюсти, пережевывая и заглатывая пищу, и втайне завидовал их раскованным манерам, их бесцеремонности. За едой они обстоятельно, с очень серьезным видом рассуждали о квартирной плате, о прожиточном минимуме и о том, что плату за такие вот обеды в забегаловках можно было бы, ес-

ли не выбрасывать счета, вычитать из налогообложения; один из них крайне заинтересовался этой возможностью. Несоответствие между физической силой, несокрушимой уверенностью в себе и мелочами домашнего хозяйства, вокруг которых вращались их мысли, было таким разительным, что вызывало смех. В каждом из этих великанов таился скупердяй-бухгалтеришка в пиджачке с нарукавниками или налоговый консультант, эдакий укротитель цифири в обличье покорителя природы. Тем временем я достиг того приятного состояния, когда образы хватают тебя за руку и зовут прогуляться, когда ты, как маленький ребенок, забываешь обо всем на свете; *такое* состояние у меня может длиться бесконечно. Нет, только не это. Только не вскакивать на ходу в *этот* поезд, не то поглотит тебя тьма кромешная и ты затеешь возню со словами, пытаясь выбить искру из камня.

Ловишь слова, чтобы выразить впечатления, смутные ощущения, выплески чувства, мысли. Слова, в свою очередь, склевывают подробности, рассыпанные в мешанине чужой жизни, и наспех лепят из них себе пристанище. И в этом кое-как сложенном из слов жилище поселяюсь я. Ненадолго. Ощупываю, удивляюсь, даю названия, пытаюсь по слогам разобрать запечатленную в них реальность, в конечном счете это обреченная на неудачу, безнадежная попытка что-то выяснить, высветить, как если бы ты в огромном, как Вселенная, подвале зажег огарок свечи; и тогда в освещенном этим огарком пространстве возникает "мир". Такое "чтение по слогам" и привязанность к предмету своих мыслей есть хотя и, в общем, элементарная, но все же нужная, первопроходческая работа. Что угодно, только бы не мчаться в пломбированном вагоне сквозь непроницаемый мрак навстречу смерти... Эту мысль я занес недавно в свою записную книжку.

Проклятая привычка делать заметки. Делаю я это для того, чтобы увеличить запас жизненных наблюдений или просто чтобы окуклиться, забаррикадироваться, окопаться, а то и, чего доброго, зарыться в землю? Вот вопрос. Все это, должно быть, связано с одиночеством, с миром разноречивых чувств всеми забытого часового.

А кстати, как справляется забытый солдат с отсутствием женщин? Как вообще он может такое вынести? Он что, совсем забыл, что такое секс? У него корешок отсох, что ли? Или он занимается онанизмом? Воображение рисует картину: онанирующий солдат на маньчжурской границе. На днях ему приснилось, будто он находится в военном лагере. Должно быть, лагерь разбит невдалеке от города, портового города, но ни гавани, ни домов, ни моря не видно. Холодно, с серого неба моросит дождик. Не понять, то ли еще только вечереет, то ли уже наступил вечер: в здешних местах всегда так, настоящий день так и не приходит, вечный вечер, серое однообразие, именно такая погода и подходит обитателям лагеря в этом необжитом краю. Но сейчас все пришло в движение, лагерь ликвидируют, бараки стоят пустые, те, кто в них жил, отправляются на север. Наш солдат уйдет последним, ему приказано уничтожить лагерь и догнать экспедицию. Сегодня он последний раз заночует в покинутом лагере. Он бесцельно и праздно бродит по своему убежищу, испытывая приятное волнение. И есть отчего: только что к нему заглянула совершенно незнакомая особа женского пола, не столько одетая, сколько закутанная с ног до головы в подобие непромокаемого плаща, трудно разобрать, что скрывается под этим плащом, выглянувшее из-под капюшона лицо кажется молодым. На заданный равнодуш-

ным тоном вопрос, можно ли у него переночевать, он отвечает утвердительно, ее вопрос вызывает в нем дрожь и приводит в замешательство. Он означает, что женщина хочет разделить с ним постель, так как другой возможности устроиться на ночь в убежище нет. Он воображает, как будет лежать нагишом под одеялом и ждать, нет, не ждать, а с замиранием сердца надеяться на чудо, как проскользнет к нему его гостья. Невероятно. Я притворюсь спящим, думает он и чувствует, как стучит его сердце; чуть приоткрыв глаза, буду наблюдать за тем, как она раздевается. Любопытно, как она будет это делать — торопливо и бездумно, разбрасывая одежду и белье по полу, или же отвернувшись, сдержанно и незаметно? А может, с подчеркнутой деловитостью, аккуратно снимая с себя одну одежку за другой и тщательно складывая рядом, будто находится наедине с собой? Женщины умеют как-то по-особому напрягать свои формы, вызывающе и при этом с высокомерно-равнодушным видом, как будто их вовсе не интересует то, что за этим последует. Тем временем он закроет глаза или отведет взгляд в сторону, так как не хочет верить своим глазам. Он весь замрет, как мышка, затаит дыхание, притворится мертвым, когда она, отвернув краешек одеяла, нырнет к нему в постель, его бросит в озноб от холодного воздуха и в дрожь от прикосновения чужого тела. Придвинется ли она, прижмется ли к нему или просто останется лежать рядом? Что-то скажет? Шепнет? Коснется рукой его лица? Он выдумывает все новые и новые уловки и паузы, чтобы оттянуть и задержать — что? Миг сладострастия. О господи, думает он во сне и сглатывает слюну, как подрагивают и колышутся ее груди, точно поросята в мешке, написал как-то один писатель. Будет ли на ней ночная рубашка, нижнее белье? Какая разница. Он набросится на попавшую в его сети, трепыхающуюся добычу, прижмет к себе и грубо овладеет ею. Нет, он не станет этого делать, он начнет осторожно обхаживать эту незнакомку из плоти и крови, оказавшуюся в его постели, этот холм из молчания, дыхания и запаха, надо сделать так, чтобы она перестала бояться. Он начнет подкрадываться к своей добыче, разведает окрестности, обложит ее со всех сторон, растревожит, разогреет, пока и в ней что-то не проснется и не возбудится, пока она не повернется к нему, не ответит на его ласки, не задрожит и не проявит желания. И только тогда — поцелуй, впиться губами в ее губы, оторваться, сглотнуть огненный ком и снова впиваться до тех пор, пока рука девушки не отправится странствовать по его телу, не доберется до бедер, кружа вокруг давно уже жадно напрягшегося члена, и не ухватится за него, тогда он ляжет на нее и ощупает ее лоно, а она будет делать с ним то же самое, и он возьмет ее, да, возьмет, говорят же, возьми меня, он возьмет эту упирающуюся рыбину в оборот и будет возиться с ней до тех пор, пока кровать и простыня не станут липкими от их пота и его семени, потом они погрузятся в дрему и вскоре снова проснутся в испуге, какой же это чудесный испуг — ощутить во сне рядом с собой чужое тело. И все начнется сначала. Так грезит он, направляя свои грезы в определенное русло, отматывая их, как пленку, назад и снова запуская. Он и грезит-то не совсем, а скорее жадно мечтает о сокровенном. Только бы не проснуться окончательно, только бы не выпустить из рук это счастье, не лишиться его. Такие вот у солдата грезы. Я сказал счастье? Счастье насущное даждь нам днесь, пробормотал я, пробуждаясь от короткого послеобеденного сна и обводя глазами свою каморку: скошенная под углом стена, в слуховом окошке клочок неба. Как раз в этот момент сквозь окошко прорвался

сноп света — выглянуло солнце и согрело, словно поцелуем. Я быстро закрыл глаза и увидел себя лежащим, вытянувшись, на стене, не себя сегодняшнего, а в далекой юности, на каменной ограде сада или на портовом молу, поблизости густая зелень садов, в разреженном воздухе стоит нежный запах живой изгороди; и полыхающая светом белизна, море света. Увидел себя лежащим там и вдыхающим рассеянный повсюду свет. Я впитываю его сквозь закрытые веки. В расслабленном теле дремлют шаги. Что-то доносит ветер. Корабли в ожидании покачиваются на волнах.

Счастье насущное даждь нам днесь, вздыхаю я и встаю. Под счастьем я понимаю не что-то определенное, а всего лишь беспричинный прилив — радости? Оно может вдруг ни с того ни с сего наполнить человека до краев. Может выплеснуться из тебя фонтаном, так что больно станет. Могло. Это как опьянение. Откуда оно берется — счастье? Где взять дневную норму счастья, чтобы промыть себе глаза?

Я хочу написать о счастье, нет, об осенней листве: по дороге сюда я разметал носком ботинка кучу листвы, чтобы услышать ее шелест, и подумал при этом, что счастье прячется в куче осенней листвы и его можно взвихрить пинком. Горьковато-пряный запах бьет тебе в нос, кристалл горечи, и органы чувств распахиваются перед ним, словно перед восхитительной тайной. И сухой шелест, обворожительный звук, в нем рассеивание, и распыление, и легкое потрескивание, крошение, и разламывание, и поскрипывание; и горсть золота, краски — пламенеющей краски, высушенный свет, остатки солнца, солнечная пыль... Я подумал, как вдыхал все это тогда и как вдыхаю теперь, и спросил себя, могу ли я по-прежнему воспринимать осень как откровение, как внезапную вспышку иного мира, притаившегося за нашим?

Пусть земля тебе будет пухом, гласит пословица; отличный образ, если представить себе, что земля легка, как пух, или как пыль в куче листвы, она еще там и уже как бы сгорела и превратилась в пыль небесную, небесный — вот, наверное, то слово, которое я ищу, прыжок, оттолкнуться от тяжести земного бытия, свалиться с жирного пласта земли и опрокинуться в небо, в воздух, стать игрушкой ветра, который распахивает перед тобой даль, неведомый завтрашний день. Не таким ли было состояние растянувшегося на стене юноши, когда он чувствовал себя легким, как листок, как голубиное перышко, парящее в лучах извечного света, когда его укачивало и вздымало будущее? Этот лежащий на стене молодой человек был весь как ушная раковина, вбирающая в себя свет, как парус, поднятый в сияние света. И неизведанное пространство пусть отливает победными красками, потому что еще не было в жизни промахов; разочарование еще не запустило в нее свои зубы. Под закрытыми веками зрячие глаза грезы. Жизнь — еще только замысел, предчувствие, предвосхищение, блаженство незнания. Греза соединяет с другой половиной мира. И корабли в ожидании покачиваются на волнах.

Вместе с остатками дремоты я выкинул из головы растянувшегося на стене лентяя и сел за работу. Стол, стул, кушетка и полка с книгами расставлены в крохотной мансарде размером в шесть квадратных метров так, что я, сев за стол, оказывался зажатым, точно в тисках. Или как в часах с кукушкой, бормочу я. В сравнении с этим "рабочим кабинетом" комнаты, которые снимал святой Роберт, покровитель чердачных поэтов, показались бы верхом комфорта. Кажется, сегодня мы совсем уж погасили крохотный проблеск надежды, должно быть, это от погоды.

Или от прожитых лет. Один знакомый как-то сказал мне, что теперь он привыкает смотреть на мир боковым зрением, то, что впереди, он видит, только прищурив глаза, широко открывать их для него уже не имеет смысла. Меняется положение горизонта, сказал он, это возрастное. Ему скоро на пенсию. Да-да, ответил я. И подумал, что в молодости тоже может наваливаться мрак, мрак отчаяния, нечто вроде тюремного сумрака. Тогда свое отчаяние можно было прогнать готовностью умереть, кандидат в смертники на словах готов был пожертвовать жизнью, это происходило от изобилия, от переизбытка жизненных сил. От переизбытка будущего, которое убаюкивающе плескалось в тебе, можно было броситься в него, как в омут, грохнуться перед ним на землю. Ничего еще не предначертано заранее, все двери раскрыты настежь и стучат на ветру, иногда ураганном. Ты двигаешься без цели. Только бы не дать себя поймать, захватить, поставить на место, растоптать. Должно быть, ты бежал тогда за своей грезой.

Странный клошар появился в нашем квартале, все время куда-то идет, за спиной у него ранец. На нем два толстых серых плаща, надетых один на другой, оба в довольно приличном состоянии, тот, что снизу, немного длиннее верхнего, они — его жилище. Свое имущество он носит, аккуратно сложенное и как следует увязанное, в похожем на ранец рюкзаке с металлической подставкой. Иногда он снимает его, прислоняется к колонне под аркадами на улице Пирамид, на углу улицы Сент-Оноре, и смотрит, как надвигается вечер. Лицо у него очень бледное, грязновато-бледное, но не заросшее, чаще он довольно сносно причесан, молодой еще человек. Я ни разу не видел его с бутылкой в руках, этим он отличается от других бродяг, клошаров, он не пьет, он куда-то идет; кстати, всегда один. Лицо кажется маленьким и круглым, есть в нем что-то старческое, что-то хитровато-лукавое и в то же время что-то от человеческой фигуры, украшающей сточный желоб на кафедральном соборе: оно такое же пористое и как бы затянутое илом. Иногда, столкнувшись с ним на улице, я замечаю мелькнувшую в его глазах хитринку, должно быть, рефлекс узнавания. Он не бредет, он шагает, его фигура бросается в глаза именно из-за подчеркнутой, в данном случае кажущейся совершенно абсурдной целеустремленности. Он идет быстрым шагом, засунув за пояс большие пальцы рук, вытянув шею, точно лошадь из хомута, и прокладывая себе дорогу в толпе; проходит мимо красиво оформленных дорогих вещей в витринах, иногда быстро, украдкой бросает взгляд на одну из витрин, и тогда кажется, что он совершил какой-то проступок. Мимо. Потом останавливается, снимает ранец, пусть отдохнет спина. Однажды я видел, как он ест, стоя. В руке он держал консервную банку, паштет из гусиной печени, под мышкой зажат надломленный батон. Ножом он ковырял в банке и отправлял в рот одну порцию за другой. Жуя, он взирал на людей, как человек, который взобрался после долгого перехода на вершину холма и наслаждается заслуженным привалом. Видимо, у него есть какой-то доход. Иначе как объяснить, что на нем добротные ботинки, и потом: он сменяет брюки, манжеты на них всегда в приличном состоянии. Он бреется. И подстригает волосы.

Другие клошары напоминают совершенно иной вид человека, они, как правило, такими и рождаются, другая раса. Все они выпивохи, роются в мусорных ящиках, чаще всего спят или дремлют, в холодную пору на вентиляционных решетках метро или на картоне. Валяются в лохмотьях, без стеснения опорожняют мочевой пузырь, пристают к прохожим,

берут брошенные им монетки, точно таможенную пошлину взимают. С какого-то момента их сознание засыпает и больше не пробуждается. Отбросы общества, полагают циники; свободные люди, считают другие. С ними путник не имеет ничего общего. Одиночка, отбившийся от коллектива, пришедший издалека, возвратившийся на родину, но так и не нашедший своего дома? Демобилизованный солдат. Боюсь, он так и не найдет дороги домой. Что-то заставляет его искать окольные пути, откладывать возвращение. Видимо, цель его — возвращение, но он боится прийти домой. Прийти домой — значит разочароваться или отказаться от своей мечты. Похоже, он чем-то угнетен, как человек, несущий хоронить свою мечту.

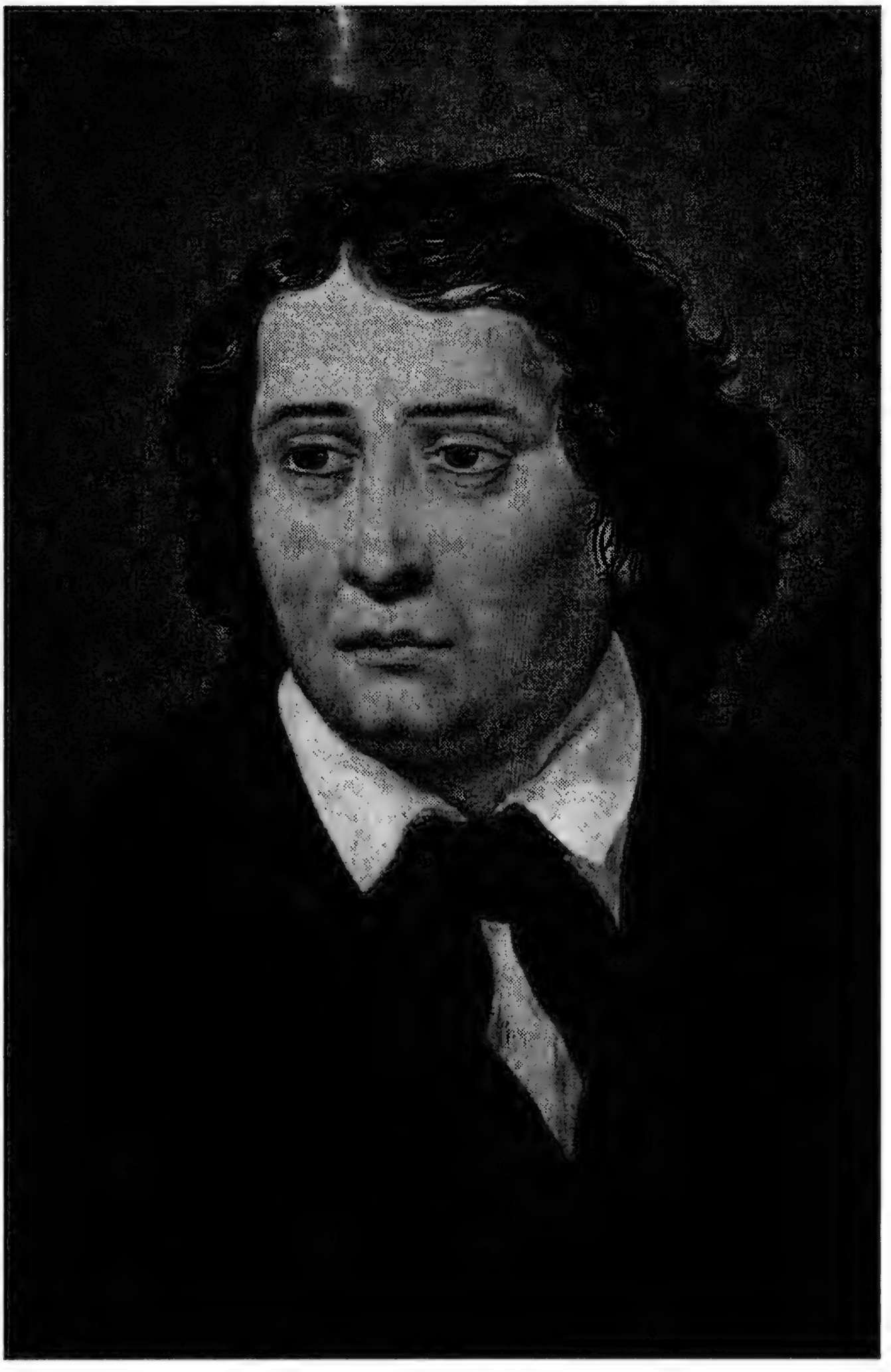
Забавный солдат. Вцепился в свою мечту, как парашютист в парашют. Ему нужно раз за разом бросаться в пустоту, чтобы парашют раскрылся и держал его. Или не парашют — мечта. При этом возникает чувство опасности. Иной полагает, что падение пойдет ему на пользу. Наконец-то он попадет на почву фактов. Но что потом?

Мне это знакомо. От грезы невозможно отказаться, невозможно вернуться в реальность. Греза становится Молохом, жестокой, ненасытной силой. Иногда я чувствую, что мои грезы меня совершенно опустошают, иногда чувствую себя в них защищенным, как в брюхе кита, и плаваю по дальним морям. Иногда парусом мне служит то, что осталось от сна, потому что этими ошметками жаждут полакомиться все акулы и собаки. Только и ждут момента. Мне приходится каждый раз заново латать свои сны, чтобы полететь. Или надуть щеки. Тогда я превращаюсь в певчую птицу, которая пыжится и пыжится, пока не станет похожей на круглую ноту. Я начинаю насвистывать, оснащая свист напевными рапсодиями и печальными признаниями. Я насвистываю до тех пор, пока не почувствую себя опустошенным и измочаленным, как трубочист или как выходящий из воды длинношерстный тощий, как жердь, мокрый пес, тонконогое убожество. Потом долго молчу. Как клошар, которого я назвал отслужившим свой срок солдатом, но он, конечно же, никакой не солдат, а, скорее всего, некогда донельзя заносчивый рыцарь удачи, а теперь кающийся грешник.

Франце Прешерн
Сонет. Газель

Со словенского

К 100-летию выхода в свет первой книги Ф. Прешерна на русском языке



Портрет Ф. Прешерна работы Франца Курца. 1850 год

Первая треть XIX века подарила народам Европы целую плеяду выдающихся национальных поэтов романтического склада: англичанам — Байрона и Шелли, немцам — Новалиса и Гейне, итальянцам — Леопарди, русским — Пушкина, полякам — Мицкевича, словенцам — Прешерна. По глубине поставленных философских вопросов, по лиризму мироощущения, по выразительности и отточенности формы поэзия Прешерна не только сопоставима с творчеством блистательных европейских романтиков, но и имеет огромное значение для самого факта существования словенской литературы. Литература маленького славянского народа, не десятилетия — века, — боровшегося против национальной дискриминации, за свой язык, школу, книгу и одержавшего победу.

Прешерн оказался в буквальном смысле первопроходцем, ибо штурмовал высоты художественного слова, не имея за плечами не только прочной литературной традиции, но даже сложившегося литературного языка. Соединив высокий слог европейского романтизма и родной для него гореньский диалект, он создал разностороннюю лирику широчайшего диапазона: от веселого амфибрахия анакреонтических стихов до таких изысканных форм мировой поэзии, как сонет и газель, освоил жанр эпической поэмы, первым в Словении начал отстаивать право на свободу творчества. И одним из первых не только заговорил о необходимости создания национальной литературы, соответствующей мировым образцам, но и воплотил эти идеи в жизнь.

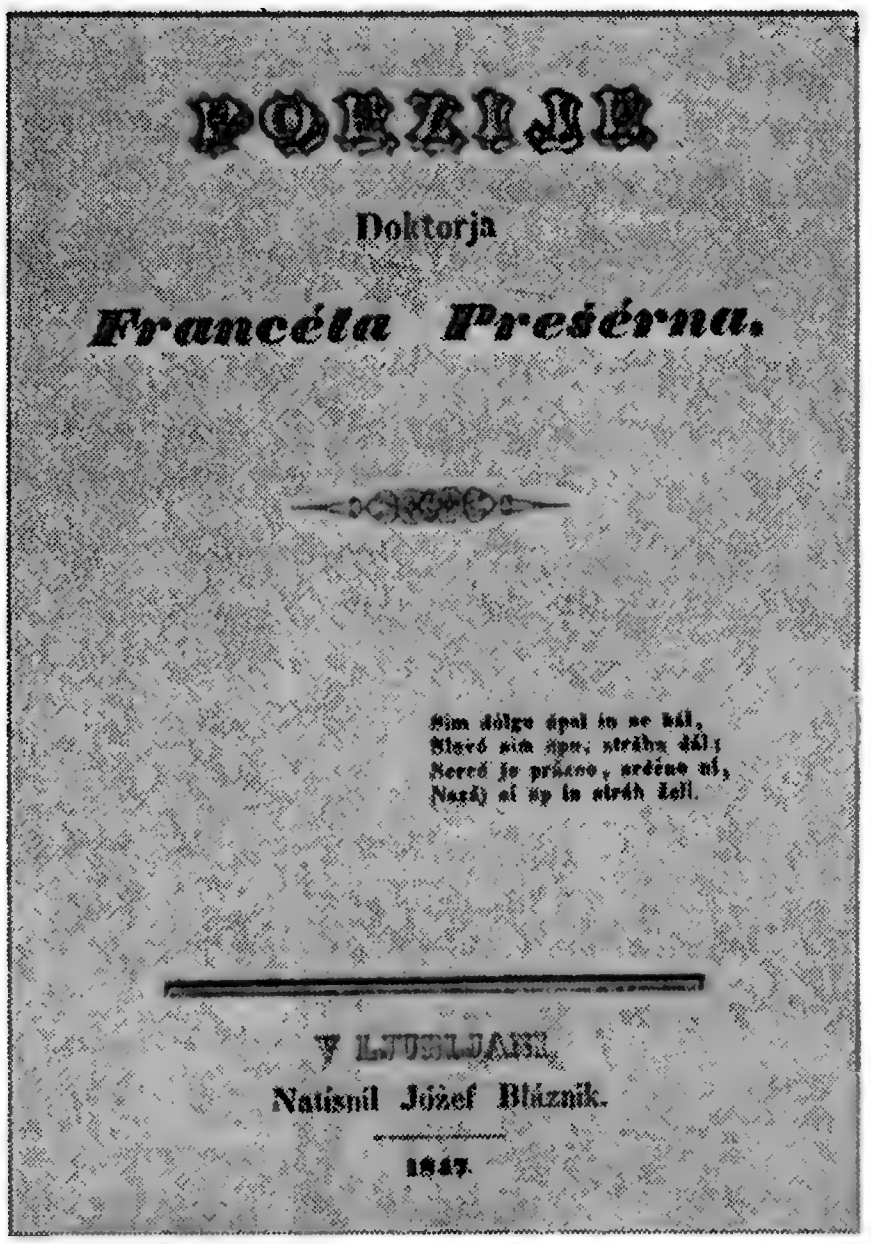
Прешерн полагал, что духовная состоятельность и самосознание нации определяются уровнем ее культуры, в том числе литературного языка и художественной словесности. "Задача нашей поэзии, всего нашего творчества в том, чтобы возродить наш родной язык", — писал он своему коллеге и оппоненту поэту Станко Вразу в 1837 году. Подражая Данте и Петрарке, Прешерн смело начал использовать итальянский одиннадцатисложник, южнороманский сонетный стихотворный метр, применив его к системе ударений родного наречия. Он нашел себя во всех "вечных" темах мировой лирики: любовь, творчество, родина, природа, смерть.

Даже самые общие факты биографии Прешерна свидетельствуют о силе его характера и одновременно о чрезвычайной неблагосклонности к нему жизненных обстоятельств. Его натуре очень соответствовала сама фамилия: "prešeren" по-словенски значит "необузданно веселый", "дерзкий". Крестьянский мальчик, родившийся 3 декабря 1800 года среди величественных гор в самом сердце Крайны, он начал изучать родное наречие еще в гимназии, когда на словенских и хорватских территориях, в период 1809—1813 годов отошедших к Франции и получивших статус провинций, названных Иллирийскими, Наполеон разрешил начальное образование на языке коренного населения. Юному Прешерну повезло: он учился под руководством и по учебнику первого словенского поэта Валентина Водника. Однако либеральные времена быстро закончились, и доучиваться пришлось по-немецки — Словения вновь стала частью империи Габсбургов. Продолжать образование в столицу империи Вену молодой человек приезжает уже с вирусом национального вольнодумия в крови. В двадцать один год, отказавшись вопреки родительской воле от прочимой ему сутаны, он поступает в Венский университет и заканчивает его доктором права в 1828 году. Почти двадцать лет потребовалось доктору Прешерну, чтобы добиться разрешения на частную адвокатскую практику. Положительный ответ неблагонадежный соискатель, чьи, по мнению властей, бунтарские, да еще написанные на неведомом языке стихи под-

© Н. Старикова. Вступление, 2001

рывали нравственные устои монархии, получил лишь в 1846 году, когда здоровье его было расшатано и жить ему оставалось меньше трех лет.

Начав сочинять по-немецки еще в гимназические годы, Прешерн сравнительно поздно — в 1827 году — опубликовал свои стихи. К тридцати годам он становится известен на родине как виртуоз словенского стиха, ведущий автор первого альманаха романтической поэзии на словенском языке "Краинская пчелка" (1830—1832, 1834, 1848), где публикуются его лучшие сочинения. Он знакомится с деятелем чешского национального возрождения Ф. Л. Челаковским, переводит А. Мицкевича, вместе с другом и единомышленником Матией Чопом участвует в так называемой "азбучной войне" — полемике по поводу нового словенского алфавита. В тридцать четыре его поэтическая слава из-за сражений с цензурой, вызывающего поведения и издания "Венка сонетов" (с посвящением-акростихом влюбленного автора барышне Юлии Примиц, которое моралисты и католическое духовенство сочли непристойным) становится скандальной. В канун сорокашестилетия выходит в свет первый и единственный прижизненный сборник стихов Прешерна "Стихотворения" ("Poezije"), содержащий все лучшее, что было им написано: стихотворения, баллады и романсы, газели, сонеты и сонетные циклы, "Венок сонетов", поэму "Крещение у Савицы". Через два года одинокий и всеми покинутый поэт умер в маленьком городке Крань. Незадолго до смерти он сочинил себе эпитафию: "Здесь лежит доктор Прешерн, безбожный и неугомонный". Архив "нечестивца" его набожная сестра уничтожит по требованию церкви сразу после смерти поэта 8 февраля 1849 года. Словенцам понадобится более полутора десятков лет, чтобы заново "открыть" гениального поэта. В 1866 году с переиздания "Стихотворений" начинается его новый путь к читателю.


POEZIJE
Doktorja
Franceta Prešérna.
V LJUBLJANI.
Natisnil Józef Blaznik.
1847.

Титульный лист сборника Ф. Прешерна "Стихотворения", 1843 г

В России имя Прешерна впервые упоминается в одном из писем русского филолога-слависта и этнографа И. И. Срезневского, познакомившегося с поэтом в Любляне в 1841 году во время путешествия по землям австрийских славян. Прешерн даже посвятил русскому ученому стихотворение, впоследствии включенное в изданный в Словении к 100-летию со дня рождения поэта "Альбом Прешерна". Первое знакомство с "песнями" словенского лирика в России состоялось в 60-е годы XIX века. Антология М. П. Петровского "Отголоски славянской поэзии" (1861) содержит переводы романса "Розамунда" и элегии "Поминки юности" (более поздний перевод названия — "Прощание с юностью"), вошедшие впоследствии в антологию "Поэзия славян" (1871) под редакцией Н. В. Гербеля.

В конце 80-х годов XIX века поэзия Прешерна начинает звучать по-русски в полную силу. В этом огромная заслуга выдающегося русского филолога Федора Евгеньевича Корша (1843—1915), известного не только своими переводами Ка-

тулла, Горация и Данте, но и глубоким изучением поэзии славян. Более двадцати лет он посвятил работе над переводами стихов Прешерна. В 1889 году "Русская мысль" публикует его перевод "Венка сонетов", ставшего согласно "Поэтическому словарю" А. Квятковского первым на русском языке произведением этой сложнейшей стихотворной формы, к которой впоследствии обращались Вяч. Иванов, В. Брюсов, М. Волошин. В 1901 году вышел в свет сборник переводов Ф. Корша "Стихотворения Франца Преширна со словенского и немецкого подлинников", снабженный предисловием и подробнейшими комментариями. "Сын плодотворной романтической эпохи, — подчеркивает Корш, — он в своих стихах сумел также передать дух славянского возрождения — дух свободолюбия и национальной гордости".

В советские времена имя Прешерна не было забыто. В 1950—1980-е годы Прешерна переводили прекрасные поэты и переводчики Н. Тихонов, В. Луговской, Л. Мартынов, М. Светлов, С. Шервинский, Д. Самойлов, В. Корчагин, А. Найман, Н. Стефанович и многие другие.

Известный поэт и переводчик с восточных языков Александр Гитович перевел "Сонеты несчастья", трагическую исповедь Прешерна, лучший из его сонетных циклов.

Газели Прешерна были блестяще переведены на русский язык Марией Петровых. Вслед за немецкими романтиками Прешерн стремился утвердиться и в этой, одной из виртуозных форм восточной поэзии. Его цикл из семи газелей стал первым в словенской поэзии романтическим любовным посланием.

Республика Словения, отмечающая в этом году десятилетие своей независимости, в память о великом поэте празднует День словенской культуры 8 февраля. Его стихотворение "Здравица" стало государственным гимном страны. Его поэзия переведена на многие языки, 200-летие со дня рождения Прешерна широко отмечается не только на родине, но и в других странах.

Предлагаем вниманию читателя два стихотворения Прешерна: пятый сонет из цикла "Сонеты несчастья" и вторую газель из цикла "Газели" в нескольких русских версиях.

Н. Старикова

Почтовая марка, выпущенная в Словении к 200-летию Ф. Прешерна

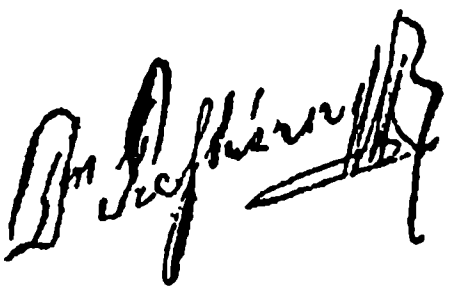
Sonet

Življênje jéča, čàs v nji rábelj húdi,
Skerb vsákdan mu pomlájena nevésta,
Terpljenje in obúp mu hlápca zvésta,
In kàs čuváj, ki se nikdar ne vtrúdi.

Perjázna smèrt! predólgo se ne múdi:
Ti kljúč, ti vráta, tí si sréčna césta,
Ki pélje nàs iz bolečine mésta,
Tje, kjèr trohljívost vse veríge zgrúdi;

Tje, kámor móč pregánjovcov ne séže,
Tje, kámor njìh krivic ne bó za námi,
Tje, kjèr znebí se člôvek vsáke téže,

Tje v pósteljo postláno v čèrni jámi,
V katéri spi, kdor ványo spát se vléže,
De glásni hrúp nadlóg ga ne predrámi.



Сонет

Жизнь есть тюрьма, в ней время — злой палач,
С ним юная всегда жена — тревога,
Скорбь — неусыпный сторож у порога,
Мучители — отчаянье и плач.

О друг наш смерть, скорей свой срок назначь!
Ты ключ, ты дверь, ты чающим дорога
С земли, что так печальна и убога,
Туда, где тленье — всем недугам врач,

Где неприязнь когтей нам не покажет,
Где мы обид не слышим за собой,
Где смертный узы все свои развяжет, —
Туда, в постель под черною землей,
Где спит так крепко, кто в нее приляжет,
Что сна прервать не может бедствий вой.

Перевод Федора Корша
(В кн.: Стихотворения Франца Преширна со словенского и немецкого подлинников. М., 1901.)

Франце Прешерн. Сонет. Газель.

Тюрьма — твой дом, и время — твой палач,
грусть и отчаянье — твои подруги,
печаль и горе — преданные слуги,
а сторож-скорбь не устает, хоть плачь.

Проси же смерть не медлить на пороге:
лишь у нее заветные ключи
от камеры твоей. Она в ночи
освободит — и, не свернув с дороги,

туда тебя, счастливец, поведет,
где не страшны тирана власть и гнет,
где рядом с безымянными друзьями
заснешь, как все, в объятьях темноты,
и полностью доволен будешь ты
постелью, постланною в черной яме.

Перевод Александра Гитовича
(В кн.: Ф. Прешерн. Лирика. М., 1987.)

В темнице жизни время — изверг лютый.
С рассветом молодеет вновь тревога,
Отчаянье и боль — ее подмога,
А совесть — страж, не спящий ни минуты.

Благая смерть! Избавь от тяжкой смуты:
Ты ключ, ты дверь, ты светлая дорога,
Ведущая от скорбного порога
Туда, где тленье разрушает путы,

Туда, где нет гонителей свободы,
Туда, где ложь не тяготит над нами,
Туда, где исчезают все невзгоды,

Туда — в постель в холодной черной яме,
Где спят, не слыша шума непогоды,
Не пробуждаясь и не мучась снами.

Перевод Натэллы Горской

© Н. Горская. Перевод, 2001

Жизнь — лишь острог, где время палачом,
Тревога — вечно юная невеста,
Тоска и страх — пособники ареста
И совесть — страж, бряцающий мечом.

Не медли, смерть! Открой врата ключом.
Позволь вступить на путь, ведущий вместо
Страданий в то безоблачное место,
Где звон кандальный тленью обречен,

За грань, куда не властны заступать
Гонители, где бремени несчастий
Спадает груз. Покой и благодать

В той яме черноты, отверстой настежь,
Где застлана постель, и тот, кто спать
В нее прилег, не слышит шум ненастий.

Перевод Виктора Куллэ

Жизнь — заточенье, время — неустанный
Палач, навек повенчанный с бедой.
Его прислужницы — тоска и боль
И сожаленье — сторож недреманный.

Приди же, смерть! Ты стала мне желанна:
Ты — ключ, ты — дверь, ты путь счастливый мой
Туда, где лишь блаженство и покой,
Где цепь спадет, где исцелятся раны,

Где от гонителей нас ждет спасенье,
Где их неправдам нас не очернить,
Где станет тьма приветливой постелью,

Где, невесом, сумеет воспарить
Тот, кто предался тишине и тленью,
Тот, кто решил все горести избыть.

Перевод Жанны Гилёвой

© В. Куллэ. Перевод, 2001
© Ж. Гилёва. Перевод, 2001

Палач наш — время, наша жизнь — острог,
Тревога — девственница в час свиданья,
И наши слуги — горечь и страданье,
И совесть — страж, который нас стерег.

О смерть! Приди и заверши наш срок,
Ты знак подашь — прервется ожиданье,
Бесплодное по улицам блужданье:
Отбросив цепи, ступим за порог.

Гонители нас там не тронут,
Обидчики не проползут ужом.
Под грузом бед собратья там не стонут.
Там человек, завороженный сном,
В глубинах черных саваном спеленут,
Уже не слышит дальний бури гром.

Перевод Святослава Свяцкого

О время, злой палач в земной юдоли,
Где каждый день я обручен с тревогой,
Где совесть — недреманный страж острога
С подручными — отчаяньем и болью.

О смерть любезная! Не медли доле.
Ты ключ от врат, ты райская дорога
От муки городов к тому порогу,
Где через тлен мы обретаем волю.

Где больше не настигнут нас невзгоды,
Где властвовать не будут злые силы,
Где обретем от всех цепей свободу.

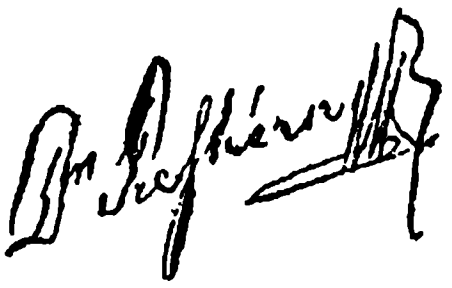
Где ложе ждет нас в темноте могилы,
И вечный сон дарует нам природа,
И не разбудит шум судьбы постылый.

Перевод Ольги Воздвиженской

© С. Свяцкий. Перевод, 2001
© О. Воздвиженская. Перевод, 2001

Gazela

Oči sim vèčkrat prášal, áli smém
Ljubíti te; odgóvora ne zvém.
Prevzétno víhaš nós, ko mémo grém.
Ak v têbe so obèrnjeni poglédi,
Odtégneš prêcej svój obràz očém;
Od déleč glédaš, drága! me perjázno;
Al, ak dekléta drúge ogledújem,
Zakríti jéze ni ti móč ljudém.
Takó, al ljúbiš me, al sovrážiš,
Kak bi ti vstrégel, siromàk, ne vém.



Газель

В глазах твоих прочесть хотел не раз
благоволение или отказ.
Издалека глаза твои блеснут мне,
а подойду, и блеск уже угас.
Когда тобой невольно залюбуюсь,
ты отойдешь, не поднимая глаз,
но стоит мельком глянуть на другую –
при всех ты сердишься не напоказ.
Так любишь ты меня иль ненавидишь,
я, хоть убей, не знаю посейчас.

Перевод Марии Петровых
(В кн.: Ф. Прешерн. Лирика. М., 1987.)

Любить тебя? Взять чувства под запрет?
В глазах твоих найти бы мне ответ.
Ты холодна, как лед, когда я рядом,
Уйду — ты с нежностью глядишь вослед.
Меня ты словно бы не замечаешь,
Когда любуюсь я тобой, мой свет.
Но стоит посмотреть мне на другую —
И гневу твоему предела нет.
Что ж — любишь ты меня иль ненавидишь?
Как угодить тебе, открой секрет.

Перевод Натэллы Горской

Я столько раз искал в глазах ответ,
Могу ль любить тебя, ответа нет.
Издалека приветливо, мой свет,
Ты смотришь, но, встречая взгляд открытый,
Надменно взор отводишь. Что за бред!
Ты задираешь нос, лишь я приближусь,
Но стоит мне взглянуть другой вослед,
Твой гневный взор сулит немало бед.
Решай же, любишь или ненавидишь,
Что делать мне, открой скорей секрет.

Перевод Виктора Куллэ

Очей моих услада, не любить
Тебя не в силах я, но как мне быть?
Когда я рядом, ты меня не видишь,
А издали стараешься прельстить.
Тобой любуюсь — гордо смотришь мимо.
Но стоит мне другую одарить
Случайным взглядом — гнева и обиды
Ты от людей не можешь утаить.
Признайся, мил тебе я иль противен,
И как тебе, капризной, угодить.

Перевод Жанны Гилёвой

© Н. Горская. Первод, 2001
© В. Куллэ. Перевод, 2001
© Ж. Гилёва. Перевод, 2001

У глаз твоих вымаливал ответ,
Могу ль тебя любить? Ответа нет.
Иду я мимо — ты глядишь мне вслед.
Но если устремлюсь к тебе с надеждой,
Отводишь взгляд — моих источник бед.
Издалека меня к себе ты манишь,
Но стоит мне другой послать привет —
Что в гневе ты, узнает целый свет.
И — любишь ты меня иль ненавидишь —
Как угодить тебе, кто даст совет?

Перевод Ольги Воздвиженской

© О. Воздвиженская. Перевод, 2001

Маргерит Юрсенар

С *открытыми глазами*

Беседы с Матьё Гале

Главы из книги

Перевод с французского Ю. Яхниной

Стихи и планы

Матьё Гале. Несмотря на культуру, которую скорее можно назвать философской, вы, как, впрочем, многие романисты, начали свой путь в литературе со стихов. В 1922 году вы опубликовали небольшое произведение – немногие могут похвастаться, что читали его. Называлось оно "Сад химер". Что это такое?

Маргерит Юрсенар. Ничто... Я написала его в 1919 году, мне было тогда шестнадцать лет; это небольшая поэма, "очень претенциозная, очень растянутая и очень скучная" – я цитирую, по-моему, дословно рецензию, которую написал на нее достойный и учтивый человек, немного вычурный, но изящный и очень модный в ту пору писатель, Жан-Луи Водуайе. Он не ошибся в оценке. Это небольшая поэма об Икаре, который рассматривается в ней не как предтеча авиаторов, но как символ стремления к абсолюту. Замысел, как видите, довольно амбициозный. В строе поэмы очень заметно влияние Виктора Гюго, заметно настолько, что можно говорить едва ли не о плагиате; лучшим в этом маленьком томике был эпиграф – две прекрасные строки Депорта[1]:

> Он к небу был влеком, он погребен был в море,
> Нет лучше жребия, гробницы лучше нет.

То, что шестнадцатилетняя девушка выбрала эти строки, достойно похвалы. Все остальное ничего не стоит: это мечтания Икара. Впрочем, одна сцена недурна и довольно трогательна – сцена, в которой Дедал беседует со смертью; это первый у меня портрет старика.

М. Г. Что побудило вас выбрать именно этот сюжет?

М. Ю. Может быть, "Икар" Брейгеля, хотя в ту пору я вряд ли так уж хорошо была знакома с этой картиной; знаю только, что воображала Икара своим ровесником, не влюбленным в авиацию, но ошалевшим от обожания Солнца, к которому он хотел приблизиться. Мой отец щедро

© Ю. Яхнина. Перевод, 2001
Полностью книга будет опубликована в издательстве "Независимая газета".
1. Филипп Депорт (1546–1606) – французский поэт, предтеча классицизма. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)

заплатил три тысячи тогдашних франков, чтобы опубликовать этот томик в издательстве "Перрен". За счет автора. Вслед за этой книгой появилась другая – "Боги не умерли", маленький сборник поэм, еще более слабых, потому что написанных еще раньше, – воистину школярское подражательство.

В этой книге можно обнаружить понемногу от каждого из поэтов конца XIX века. Конечно, ремеслу надо учиться, но музыкант играет гаммы у себя дома, досаждая этим только своей семье, а молодой писатель, увы, иногда спешит опубликоваться... Думаю, было бы лучше, если бы я выбросила свои первые произведения в мусорную корзину. Оговорившись это, должна сказать, что часто возвращалась к прежним своим сюжетам, и многие поэмы в сборнике "Великодушие Алкиппы", который появился в 1956 году, основаны на тех же темах. Стало быть, эти темы меня интересовали. Здесь уже фигурировала "Вилла Адриана", но все это было плохо и наивно "литературно", как почти все скороспелые опыты юнцов, слишком торопящихся писать.

М. Г. Каким в эту пору вы представляли себе свое будущее?

М. Ю. Я никак его не представляла, но у меня было ощущение, что я являю собой нечто важное, потому что я *существую*. Помню, когда мне было, наверно, лет восемь – я пытаюсь восстановить дату по воспоминаниям об одежде, об обстановке, меня окружавшей, – я посмотрела в зеркало и сказала себе: "Это я, я *существую*, я – нечто важное, а эти люди об этом не подозревают". Под "этими людьми" я подразумевала всех, все мое окружение. Странная уверенность, ведь ребенком я была скорее робкой, робкой от природы, такой, каким я описала Алексиса; и от этой уверенности, по-моему, что-то осталось и по сей день: уверенность, что я *представляю собой нечто*. Ну и, конечно, была смутная мечта о славе в духе XVII века. Но даже опубликовав два упомянутых томика, я не представляла себе, что это будет за "слава" и какими путями я ее добьюсь. Да это и не имело для меня большого значения.

Почти все писатели начинают или начинали со стихов. Это естественно, потому что ритм и поддерживает, и оказывает сопротивление. В стихах есть элемент пения. Есть элемент игры, повтора, это облегчает сочинительство. Проза – это океан, в котором очень легко утонуть.

М. Г. Вы именно тогда и придумали себе литературный псевдоним?

М. Ю. Это была наша с отцом игра. Мы забавлялись, примеривая, что можно сочинить с помощью нескольких букв нашей фамилии. Поскольку именно отец сделал мне своеобразный рождественский подарок, дав возможность опубликовать поэму об Икаре, он меня и спросил: "Может, ты предпочитаешь напечатать ее под псевдонимом?" Я ответила: "Да, конечно". Во-первых, псевдоним отдаляет тебя от семейной традиции, если таковая имеется, или, во всяком случае, избавляет от семейных пут – ты свободен. Само собой, отец был совершенно со мной согласен. И вот мы стали искать, мы развлекались, составляя анаграммы из фамилии Креянкур, и, проведя очень приятный вечер за этим занятием – переставлением на листке бумаги слов и букв, набрели на фамилию Юрсенар. Я очень люблю игрек, это прекрасная буква[1]. Луи Повель и Юлиус Эвола скажут вам, что для скандинавов или кельтов в ней за-

1. По-французски фамилия Креянкур пишется Crayencour, а фамилия Юрсенар начинается с "Y" – Yourcenar.

ключено множество понятий, это, например, перекресток дорог или дерево, потому что буква "Y" прежде всего похожа на дерево с раскинутыми ветвями. Вот мы и сказали себе: "Что ж, отлично. Пусть будет Юрсенар". И этот псевдоним я в конце концов сохранила, пронеся его через множество превратностей судьбы. Он даже стал моим официальным гражданским именем. Видите, как велик во всем этом элемент игры!

М. Г. А поменять имя вы не собирались?

М. Ю. Нет, потому что имя это слишком — *я сама*. Не знаю почему, но человеку очень трудно представить себя с другим именем. Может быть потому, что в детстве он слишком часто слышал именно это имя. А фамилию в общем начинаешь писать, только достигнув возраста чеков и официальных бумаг.

Имя Маргерит мне нравится; это название цветка, и заимствовано оно через греков из староперсидского, на котором оно означает "жемчужина". Это мистическое имя. Но мне его дали, как я об этом рассказала в книге воспоминаний "Блаженной памяти", потому что старую немку-гувернантку моей матери звали Гретхен, Маргарита. Так что своим именем я обязана этой старой женщине, весьма добродетельной и довольно несносной. Мне оно нравится, потому что не принадлежит никакой эпохе и никакому классу. Так звали королев, но и крестьянок. Мне было бы досадно, если бы меня звали, например, Шанталь; это имя святой, но в то же время от него слишком веет Шестнадцатым округом .

М. Г. Но каков бы ни был ваш псевдоним, я вижу, что мифы и античность интересовали вас с самого начала.

М. Ю. Я встретилась с ними с той минуты, как стала изучать латынь и греческий. И к тому же мне выпала удача очень рано начать путешествовать и открыть античность на ее земле... В восемнадцать лет... нет, раньше, в шестнадцать, я увидела римские развалины Прованса, поскольку мы жили на юге, увидела, в частности, арены Фрежюса, Арль, Алискáны. А с восемнадцати лет Италию.

М. Г. Это стало для вас шоком?

М. Ю. Шоком? Нет. Но мне показалось, что это прекрасно, и я знаю, что́ именно показалось мне прекрасным — прежде всего развалины, ощущение времени, которое прошло и которое позволяет оценивать события прошлого, в какой-то мере дав им отстояться. Я очень рано и очень остро почувствовала, что каждый период, каждый образ времени похож на своего рода облако, которое возникает, принимает различные очертания, образует некие скопления, а они вытягиваются, распадаются, и их больше уже никогда не увидеть. В следующий раз скопления будут другими, не похожими на предыдущие. Я часто задавала себе вопрос: как бы мы воспринимали Парфенон, если бы увидели его таким, каким его знали греки, в блеске красок и золота? И разве не был бы великолепен собор Святого Петра в развалинах, тогда как теперь в своем золоченом величии собор просто подавляет? Да, мне все это показалось прекрасным. А шока не было, нет.

М. Г. И все же, казалось бы, тот, кто приехал с Севера, из совершенно другой страны, мог пережить шок.

М. Ю. Да, но, наверное, все уже было заложено в моих генах, а может, произошло какое-то взаимодействие, сказалось какое-то унаследованное от предков знакомство с античностью, а может, все дело в гуманистической традиции. Во всяком случае, в минувшие века очень

многие северяне ездили в Италию. Туда всегда стремились музыканты, такие, как Ролан де Ласюс[1], многие фламандские и голландские художники, например Рубенс и Ван Дейк. Но в ту пору я ничего о них не знала. Все определил случай. С таким же успехом я могла поехать в Испанию. И едва не оказалась в Индии, потому что мой злополучный "Сад химер", мой Икар, как ни странно, понравился писателю, которым я восхищалась. То ли я сама, то ли кто-то еще послал поэму Рабиндранату Тагору, и Тагор прислал мне прекрасное дружеское письмо, приглашая приехать в Индию в его университет Сантиникетан. Но в ту пору семнадцатилетняя девушка не могла, оставив семью, одна уехать в Индию. И еще не настало время автобусов с хиппи, катящими в Непал. Однако я всегда очень глубоко ощущаю, что каждый, даже самый ничтожный поступок, открывает и закрывает какую-либо дверь, так что я порой сожалела о несостоявшейся поездке. Произошли бы другие события, мне выпало бы жить среди других людей. Пришла бы я к тому же самому итогу или к другому? Кто знает...

М. Г. Но так или иначе, именно в это время вы задумали то, что вы называете вашими "планами, рожденными на двадцатом году".

М. Ю. Был уже "Адриан"; и в том, что я назвала "Водоворот", был "Философский камень". Я лелеяла честолюбивые замыслы — создавать большие произведения. Я написала несколько законченных вариантов "Адриана" — одни в стиле исторических романов, другие были своего рода диалогами в духе Гобино[2]. К счастью, все это ушло в мусорную корзину. Что касается "Водоворота", здесь я пошла дальше, доведя текст почти до публикации, то есть я написала длинные наброски романа, который должен был охватить многие эпохи. Роман стал бы одновременно "Северными архивами" и "Философским камнем", значительную роль в нем должны были играть многочисленные вымышленные персонажи, в которых я хотела представить вершинные возможности человечества. Но когда в двадцать восемь лет я перечитала этот набросок, я поняла, что он никуда не годится, в нем огромные лакуны, а я не могу их заполнить. Для этого я недостаточно хорошо знала историю. Тогда, искромсав текст, я вычленила из него три новеллы, которые появились в 1934 году, — это был сборник "Упряжкой правит смерть".

Первый текст — "В манере Дюрера" (каждой новелле я дала свое название) — и в самом деле стал отправной точкой для "Философского камня". В первых страницах романа еще угадывается старая новелла: здесь есть бунт рабочих, а из двух последних страниц новеллы проросли триста последних страниц романа. Остались еще три текста, которые я недавно переработала.

М. Г. Под какими названиями они появятся?

М. Ю. Первый текст назывался "В манере Греко" — это история инцеста, которая теперь будет называться "Anna Soror". В ней я изменила немногое, да и менять было невозможно — тема слишком проста. Я только добавила несколько подробностей и смягчила сухость некоторых диалогов. Вот и все. Что касается второго текста, то, когда я просмотрела

1. Ролан де Ласюс (1532–1594) — композитор валлонского происхождения, прославившийся в Италии под именем Орландо Лассо.
2. Жозеф Артюр де Гобино (1816–1882) — французский дипломат и писатель. Автор многочисленных произведений, в том числе романов и "Азиатских новелл". Его "Опыт о неравенстве человеческих рас" использовали национал-социалисты.

вариант 1934 года, он показался мне слишком расплывчатым, плоским, невнятным, бледным. И я решила, что надо написать новый рассказ на тот же сюжет. Я переделала текст, сейчас я завершаю работу. Мне осталось дописать несколько страниц. Теперь новелла называется "Как текучая вода", потому что жизнь проходит и герой новеллы, бедняк, человек почти совсем необразованный, но с тонкой душой, который никогда не соблазняется мнимостями и общими местами, предоставляет жизни идти своим чередом. Как и в первом моем раннем наброске, мой герой — голландский рабочий, но теперь я лучше знаю и жизнь голландских рабочих, и Голландию, и жизнь вообще. Вся книга будет называться теперь "Как текучая вода". Завершит сборник маленькая, всего несколько страниц, визионерская новелла "Прекрасное утро", в которой ребенку грезится его будущая жизнь.

М. Г. В какое именно время строили вы эти грандиозные юношеские планы и что побудило вас отказаться от намерения довести их до конца?

М. Ю. Теперь я уже не очень хорошо это помню. Любопытно вот что (это я могу сказать, никто меня не опровергнет, потому что тексты, о которых идет речь, читала я одна): диалоги первой версии романа об Адриане в стиле Гобино были вовсе недурны; погруженные в эпоху, они в то же время как бы смотрели на нее со стороны. Из этого могла получиться книга. Почему я выбросила черновики, не знаю. Наверное, чувствовала, что далека от правды фактов, что Адриан — это нечто иное, что есть границы правдоподобия, которые не следует переступать.

Почему? В самом деле, в чем тут причина — просто совестно за наш ум, — но ведь стоит удалиться от определенной реальности, хотя бы вот от того факта, что на этом столе стоит стакан, и у тебя может измениться весь строй твоих представлений и даже сам характер взгляда. Это чувствовали некоторые художники. Да, тесная связь с реальностью — это нечто такое, что я считаю безоговорочно, почти мистически существенным. В каком-то почти психологическом смысле правда, насколько мы можем к ней приблизиться, зависит от того, остались ли мы верны реальности, — так Ницше говорил о том, что нужно оставаться верным земле. Мне необходимо было долго изучать Адриана, чтобы знать, при каких обстоятельствах он посетил Испанию, какие юридические решения принимал, какими болезнями болел, кто были его любимые поэты. Из всего этого и возникает призрак.

Видите ли, о ком бы ни шла речь — о людях, нас окружающих, реальных людях, живших в прошлом, или о вымышленных персонажах, все происходит так, как если бы мы подлежали контролю не только наших мыслей и наших чувств, как и сами те реальные или вымышленные лица, но еще и контролю своего рода симпатической системы, какого-то сродства, которое погружает нас в область чувственных ощущений или, вернее, создает контакт.

Я понимаю, что затрагиваю необъяснимое, когда утверждаю: реальность, понятие само по себе столь зыбкое, и максимально возможное знание описываемых людей — вот наша точка соприкосновения, наш подъездной путь к тому, что выходит за рамки реальности. Когда мы отступаем от некоторых простейших реалий, мы впадаем в риторику или в мертвый интеллектуализм.

В ранней юности я не могла это отчетливо сознавать, но в общем я это предощущала. А кроме того, наверно, был ряд событий в моей лич-

ной жизни, перемена мест, перемена обстоятельств, что и привело к тому, что я отказалась от своих первых больших литературных замыслов, в которые еще не умела вложить достаточно реального.

М. Г. Но эта реальность, так ли уж она важна для романистки?

М. Ю. Невероятно важна — как для автора трагедий и для эпического поэта, так и для романиста, который всего лишь их современный наследник. Ему нужно верить в то, что он пишет. Во всяком случае, важнейшие открытия, которые я сделала в отношении своих персонажей, возникли благодаря некоторым реальным подробностям, некоторым контактам, некоторым происшествиям, некоторым предметам.

Например, в отношении Адриана это были какие-то малоизвестные сведения, почерпнутые из почти совсем не изученных документов, где точно указывалось, что Адриан в такой-то день в шесть часов утра находился в таком-то месте в Египте. И на этой основе возникал целый день из жизни императора.

М. Г. Но зачем было сжигать все эти первые варианты?

М. Ю. Самый верный способ избавиться от чего-то неудавшегося — это его уничтожить. Первый "Адриан" тяготел к мистической, ритуальной Греции. В маленьком сборнике моих поэм "Великодушие Алкиппы", как и в моих переводах греческих поэтов, есть фрагменты стихов, которые я ввела в эти тексты, чтобы создать мгновения ритмизованных пауз. Так, например, в "Короне и лире" есть поэма, которую я в молодые годы вкладывала в уста Антиноя или старика Хабриаса, приобщившего Антиноя к орфическим таинствам. Это "Поэма, найденная в гробнице участника орфических мистерий " — "К порогу черных врат"... Я поняла, что первый вариант романа, отчасти соответствуя действительности, потому что Адриан посещал философов более или менее мистического толка и своих современников-ясновидцев, оказался скорее поэтическим, нежели историческим, и от меня ускользнули целые пласты образа Адриана. Например, Адриан — правитель. И я отступилась от своего замысла.

В отношении другой книги, "Зенона", я тоже почувствовала, что мне не хватает зрелости, что я слишком многого не знаю. Вехи были расставлены, но в моем знании истории и в моем знании жизни были огромные пробелы. Когда речь идет о книге, надо уметь ждать.

М. Г. Вы написали где-то, что в наше время всегда попадаешь "в колею романа" и что этого нельзя избежать. Почему? Почему надо писать роман, а не трактат и не историческое исследование?

М. Ю. Потому что я хотела представить определенный угол зрения, определенный образ мира, некую картину удела человеческого, которую можно дать только через человека или через людей. На мой взгляд, История дарует нам огромную свободу, показывая нашим современникам, что то, что представляется им уникальным, свойственно ритму удела человеческого, а решения, которые они принимают или не принимают, можно сопоставить с другими решениями, которые принимались другими в других местах.

В то же время я с недоверием отношусь к исторической науке, которая систематизирует, которая становится личной интерпретацией, либо не признаваясь в этом, либо, наоборот, агрессивно выпячивая какую-нибудь теорию, объявляемую истиной, хотя и сама истина преходяща. Историк скрывает от нас свои исходные позиции, как личные, так и

идеологические, которые маскируют друг друга. Они, однако, у него есть: вот этот историк – буржуа XIX века, а этот – немецкий милитарист, которого восхищает римский империализм; а этот марксист, который в прошлом повсюду видит либо коммунизм, либо его отсутствие. Историком властвуют теории, хотя сам он подчас этого не замечает. Но когда ты предоставляешь говорить персонажу от его собственного имени, как в случае Адриана, или когда ты говоришь за Зенона в форме косвенной речи более или менее в духе времени, а на самом деле это монолог в третьем лице единственного числа, – ты ставишь себя на место того человека, которого воскрешаешь, и тогда оказываешься перед лицом единственной реальности – реальности этого человека, в это мгновение, в этом месте. И таким обходным путем лучше всего выражаешь и человеческое, и универсальное.

М. Г. Ваши повествования часто замкнуты в определенную рамку: письма, монолога – прием очень редкий в современном романе. Почему вы к нему прибегаете?

М. Ю. Потому что рамка продиктована самим произведением, потому что сюжет не держится вне этой рамки. Я говорила об этом в связи с "Последним выстрелом", но это касается всего. "Воспоминания Адриана" могли быть написаны только в совершенно определенный исторический момент, когда дела шли уже относительно плохо, когда что-то уже износилось – износ античного мира очень ощутим в этом романе – и в то же время когда еще можно было надеяться, что существование этого мира продлится. На пятьдесят лет позже было бы уже слишком поздно, на пятьдесят лет раньше – слишком рано: в хрупкости этого мира себе не отдавали бы отчета. И снова, именно в силу этих точных данных, мы можем извлечь из определенного периода прошлого полезные для нас уроки, хотя персонаж романа в этом письме или в этом монологе говорит как будто только от собственного имени.

"Алексис"

Матьё Гале. Вы начали свою карьеру писательницы, или скажем прозаика, произведением историческим, тем самым "Пиндаром", которого вы сегодня отвергаете.

Маргерит Юрсенар. Назовем "Пиндара" скорее литературной биографией; произведение это было исключительно и наивно коммерческим. В ту пору многие писали романизированные биографии. Я подумала: "Я знаю греческий, почему бы не написать о греческом поэте?" Моду ввел Андре Моруа, который преуспел в этом литературном жанре, причем с возрастом писал все лучше и лучше, все меньше романизируя биографические факты. Мне очень нравятся его последние произведения, в частности "Бальзак", но мне было далеко до подобных высот. Я выбрала сюжетом Пиндара, не задумываясь о том, что мне понадобилось бы двадцать лет размышлений и исследований, чтобы понять, каким мог быть образ мира в представлении такого человека, как Пиндар.

М. Г. Но как после этого исторического зигзага вы пришли к написанию "Алексиса"?

М. Ю. А как вы можете задавать подобный вопрос? Мне было двадцать четыре года; я уже начала настолько познавать то, что называют

"жизнью", чтобы заинтересоваться современным бытием. Алексис — это был человек, которого я знала и любила, но я хотела описать его, слегка отстранив, и для этого поместила его в немного иную эпоху, на двадцать лет назад, в эпоху, отделенную от нас рвом войны 1914 года. Это было необходимо, чтобы лучше увидеть, чтобы оторвать его от слишком живых, недавних впечатлений. И еще потому, что сиюминутное мгновение всегда так ограниченно, это мгновение, в котором мы сейчас находимся, вы и я, беседующие в этой комнате, — вот и все. Это уже не то мгновение, когда вы сегодня утром пришли сюда. И вот это сиюминутное мгновение, такое короткое, в то же время необычайно емко и богато координатами, которые от нас ускользают, и только отстраненность позволяет нам определить некоторые из них.

Мне кажется, я это сознавала всегда. Я всегда очень недоверчиво относилась ко всему, что актуально — в литературе, в искусстве, в жизни. Во всяком случае, к тому, что считается актуальным и что очень часто оказывается всего лишь самым поверхностным слоем явлений.

М. Г. Вообще это довольно распространенный в классической литературе прием — отодвигать повествование во времени.

М. Ю. Во времени, а также в пространстве — перенести его "в отдаленье", как говорил Расин по поводу "Баязета". Чтобы лучше видеть, чтобы поместить объектив туда, откуда открывается наилучший обзор.

М. Г. Но парадоксальным образом из всех ваших сочинений этот роман, быть может, более всего привязан ко времени своего создания. На нем "печать эпохи". В нем чувствуется дух Андре Жида.

М. Ю. В гораздо меньшей степени, чем это считали. Скорее дух Рильке; к этому я еще вернусь. В романе рассказывалась история молодого человека, который, прожив два года с женой и покидая ее, объясняет ей причины своего ухода. Эта "интимная" книга была как бы реакцией на мои предшествующие грандиозные замыслы. И кроме того, контрастировала с "Пиндаром", который прямолинейно отвечал духу времени, почти укладываясь в жанр романизированной биографии. Я впервые попыталась сосредоточиться на повествовании, ограниченном очень тесными рамками, но при этом углубиться, насколько могла, в психологию героя. Да, конечно, Жида вспоминали из-за сюжета, из-за того, что герой — гомосексуалист (если настаивать на этом слове), который любит свою жену, но, несмотря на это, уходит от нее. О гомосексуальности (я считаю этот термин крайне неудачным) с тех пор написано очень много; и все же я и теперь довольна тем, как разработала сюжет, потому что он полностью соответствует строю чувств этого персонажа. Причем персонажа не только в его тогдашней разновидности; это подтверждает огромное количество полученных мной писем, в том числе анонимных. Конечно, можно было сказать еще многое, и сказать откровеннее, но тогда это говорил бы не Алексис.

М. Г. На мысль об Андре Жиде наводило и название "Алексис, или Рассуждение о тщетной борьбе", которое напоминает "Рассуждение о тщете желаний".

М. Ю. Да, это шло от Андре Жида, так называлось раннее, довольно слабое произведение Жида, но название поразило мое воображение. Однако в действительности на мой роман гораздо больше повлиял другой автор — Рильке, которого я открыла для себя в эти годы. То был Рильке "Мальте Лауридса Бригге", но еще не совсем Рильке "Дуинских

элегий", хотя отчасти чувствовался уже и он. Сама интонация Алексиса, его угрызения не по какому-то конкретному поводу, а вообще; религиозность Алексиса, своеобразная любовь ко всему живому и к неодушевленным предметам, все это куда ближе именно Рильке. Весь этот период я чувствовала огромную близость к Рильке. Но к Жиду меня безусловно приближало повествование "во французском духе" — в ту пору такого рода повествование для нас олицетворял Жид. В подобных случаях всегда думали о нем. На мой взгляд, Жид показал молодым писателям того времени, что эту форму (а она казалась устаревшей, относящейся к эпохе "Адольфа" и даже "Принцессы Клевской"[1]) можно использовать и она еще способна что-то дать, — в этом большая заслуга Жида.

М. Г. Может быть, это сознание давало вам определенную уверенность, в частности, при выборе стиля, отполированного, холодного.

М. Ю. Я не считаю стиль "Алексиса" холодным — он трепетный. Несколько месяцев тому назад я прочла объемистую диссертацию одного ученого профессора, который исследует вот это сбивчивое движение в стиле "Алексиса". Своим анализом профессор доказывает, что стиль романа состоит из постоянных колебаний, готовности отступить, это почти что бормотанье; такой стиль появляется вновь в другом моем небольшом и значительно менее известном тексте "Диалог в трясине". Обманутый муж говорит точно так же: "Я ревную, я ревновал или почти ревновал, во всяком случае, мне кажется, я помню, что ревновал". Здесь чувствуется манера осваивать происходящее ощупью.

М. Г. Но почему вы выбрали для литературного дебюта тему, которую сами назвали "запретной"?

М. Ю. А вот это мне было совершенно безразлично.

М. Г. Однако в связи с "Алексисом" вы написали, что "мир плотской реальности огражден запретами, из которых самые опасные — это, пожалуй, запреты языковые". Что вы хотели этим сказать?

М. Ю. Я и вправду написала это, но спустя двадцать лет, в ту пору, когда я глубже обдумала те взгляды, которые на этот счет имеют или полагают, что имеют, другие. Обратите внимание, когда мы говорим о сексуальных проблемах, мы пользуемся теперь фрейдистским или постфрейдистским жаргоном. То есть опять придаем реальности заданное направление, отводим ее в русло слов, которые считаем необходимым употреблять, потому что их употребляет наше окружение. Но в какой мере они соответствуют реальности, не искажают ли они ее, не скрывают ли? Мы даже не задаем себе такого вопроса.

Мне кажется, что я, хоть и не задумывалась над этим, справилась с проблемой языка двадцатичетырехлетнего Алексиса. Благодаря ряду неслыханных удач я нашла решения не скажу легкие, но правдоподобные. Этот трепетный, колеблющийся язык оправдывала психологическая неустойчивость героя; к тому же повествование кончается, когда Алексису всего двадцать четыре года; проблемы, которые перед ним встают, на самом деле — лишь начатки проблем. Что произошло бы с ним в сорок лет? В мою задачу не входило дать ответ на этот вопрос; будущее Алексиса меня не занимало, и я не обязана была принимать во внимание изменения, какие могли с ним произойти. Впрочем, я и не за-

1. "Адольф" — роман французского писателя Бенжамена Констана (1767—1830); "Принцесса Клевская" — роман французской писательницы Мари-Мадлен де Лафайет (1634—1693).

думывалась над этим — ведь мне было столько же лет, сколько ему. Я смутно различала, а вероятно, и вовсе не различала, что может ждать моего героя в будущем.

М. Г. А не хотелось ли вам встать на точку зрения жены Алексиса Моники?

М. Ю. Мне очень часто хотелось это сделать, но я была связана избранными мной рамками. Для того чтобы история Моники ввела новый элемент, а не растворилась в истории Алексиса со свойственной любви готовностью все принять, надо было показать более поздний период их жизни, скажем, десять или даже двадцать лет спустя, то время, когда, по-прежнему любя его, Моника начинает его судить, а может быть, судить и самое себя. Но история Алексиса была отнесена мной ко времени уже минувшему, а то, что пережила я сама, произошло в 1928 году. Романной Монике в 1930 году было бы сорок лет, она была бы гораздо старше меня; мы оказались между двумя эпохами. Мне часто хотелось написать роман "Моника", порой хочется и сейчас, но проблема сместилась бы настолько, что книга уже не была бы "парной" "Алексису".

Прежде всего проблема чувственности не занимала бы уже такого важного места. С "Алексисом", по-моему, происходит то, что происходит всегда с книгами, которые живут долго. Вот, например, недавно я прочла "Дневник" Сефериса, греческого поэта, который отмечает, что в стихах одного из властителей дум его поколения, Кавафиса, именно чувственная сторона восхищала или возмущала всех в эпоху, когда эти стихи появились. Это отчасти верно, как я теперь вижу, и в отношении первых переводов Кавафиса, которые были сделаны мной и другими переводчиками и начали теперь находить читателей во Франции. Люди обращают внимание именно на эту проблему. В то время как в Греции, по словам Сефериса, о ней теперь уже и речи нет. Это немного напоминает то, что было с Бодлером; когда он опубликовал "Цветы зла", все толковали о процессе, о "запрещенных стихах". Сегодня тот, кто вздумал бы заострять внимание на этих подробностях, выглядел бы глупцом; теперь все чувствуют гениальность Бодлера — и только. Таким же дураком выглядел бы тот, кто, подобно судьям и адвокатам XIX века, стал бы рассматривать "Госпожу Бовари" только под углом зрения того, как в ней изображен адюльтер.

Нечто подобное должно было бы произойти и с "Алексисом": проблема, которая осталась бы, — это проблема рождения музыканта или поэта, существа, которое использует всё, что в нем заложено, все присущие именно ему чувственные основы, и отвергает, хотя бы на короткое время, то, что ему чуждо, чтобы подняться до уровня своей художнической судьбы. Это могло бы стать также поэмой о череде уходов и возвращений, периодов, когда Алексис вновь соединяется с Моникой и снова от нее уходит.

М. Г. Это, кстати, одна из редких книг, которую вы никогда не пытались переписать.

М. Ю. Потому что "Алексис" казался мне самодостаточным. Я переписывала только те произведения, которые считала по тем или иным причинам неудавшимися или неполными. "Воспоминания Адриана" я переписала, потому что была недовольна первыми набросками. Я переписала начало книги "Упряжкой правит смерть", использовав ее впоследствии как фермент для будущего "Философского камня", потому что

видела: у меня не получилось ничего стоящего. Я переписала "Динарий мечты", потому что сочла свой протест против описанного в этом произведении периода итальянской истории не столько глубоким, сколько формальным. Ужас не сразу проник в глубину моей души. В общем, вот и все, что я переписала, не считая двух новелл, о которых я упоминала и которые переделала по тем же причинам.

Но очень многие книги, такие, как "Алексис", "Последний выстрел", "Огни", я не перерабатывала никогда, потому что считала: в них мне удалось сказать все, что должно было быть сказано. Дальше идти я не могу. Я думала также о том, чтобы написать продолжение "Последнего выстрела" – речь в нем шла бы о жизни постаревшего Эрика, точно так же как в романе "Моника" речь шла бы о дальнейшей жизни Алексиса. Но в обоих этих случаях, а также в некоторых других "продолжениях", которые я мысленно рисовала для "Динария мечты", это так тесно переплелось бы с другими проблемами нашего времени, что стало бы чем-то совершенно иным, не имеющим отношения к первым книгам. Это означало взвалить себе на плечи целый мир. Впрочем, если буду жива, может, я это однажды сделаю.

М. Г. Но откуда у вас была уверенность, что в книгах, которые вы не перерабатывали, вам удалось "сказать все, что должно было быть сказано"?

М. Ю. Я все больше и больше отдавала себе отчет в том, что лучший способ познать человека это опять-таки вслушаться в его голос, понять песнь, из которой он сотворен. Есть голос Адриана, есть голос Зенона, спутать их невозможно. Речь идет об определенном тоне, определенной манере выражаться, устанавливать связь того, кто говорит, с тем, к кому он обращается. Так Зенон говорит с Анри-Максимилианом или с приором или Адриан обращается к нам через века.

Надо постараться услышать, заставить умолкнуть в самой себе все, чтобы услышать, что мог в тех или иных обстоятельствах сказать Адриан или Зенон. Никогда не вкладывать в них ничего от себя самой, разве только неосознанно, питая эти существа своей субстанцией, как если бы ты питала их своей плотью, но это совсем не то же самое, что питать их своей ничтожной личностью, маниями, из которых состоим все мы.

Алексиса я услышала без труда. Помню, что писала роман в тяжелых для меня обстоятельствах, но при этом перо или, вернее, пишущая машинка влекла меня за собой, и я писала, ничего не исправляя, в каком-то гостиничном номере, в те редкие минуты, когда мне удавалось урвать время для самой себя. Впрочем, я и теперь работаю только тогда, когда у меня есть свободное время. Вы видели дом, в котором я живу, – дверь в него всегда открыта. Я описываю смерть Зенона, а в это время приходит садовник или слесарь и говорит: "Мне бы хотелось посоветоваться с вами о том или о сем", – и я отвечаю: "Что ж, отлично, заходите, пропустим по стаканчику". Или: "Ну и стужа сегодня на дворе..." Потом он уходит, а я вновь возвращаюсь к смерти Зенона. Но все это время Зенон продолжал умирать.

М. Г. Написав "Алексиса", почувствовали ли вы, что это начало вашего писательского творчества, что вы нашли свой путь и свой голос?

М. Ю. Не думаю. И уж конечно, не "мой голос" во всем его диапазоне. А только голос Алексиса. Закончив рукопись, я сказала себе: "Надо ее опубликовать". Но в ту пору как раз умер мой отец, и, понятное дело, у

меня провал в памяти, других подробностей я не помню. Впрочем, отец успел прочитать рукопись. Он ничего мне не сказал, но потом я нашла маленькую записку, вложенную в последнюю книгу, которую он читал перед кончиной, — то была переписка Алена-Фурнье с Жаком Ривьером[1]. На маленьком клочке бумаги отец написал: "Я никогда не читал ничего более прозрачного, чем "Алексис". Вы сами понимаете, как я была счастлива! В этих последних словах сказалась вся наша дружба с отцом, все наше взаимопонимание.

Но вот после этого провал; больше я ничего не помню, помню только, что почти сразу послала "Алексиса" издателю. Сначала тому (имен называть не будем), который отверг рукопись, потом другим, которых я ценила, потому что они основали новое, молодое издательство "Сан-Парей", опубликовавшее несколько книг, которые меня заинтересовали; это были Рене Ильсом и Мартен Шоффье. Они сразу приняли рукопись — это было ее второе странствие.

М. Г. Вы очень обрадовались?

М. Ю. Да, конечно, я испытала прилив огромного личного удовлетворения. Дело было осенью, осенью 1929 года, тревожного для меня и для всего мира, прекрасным холодным днем в Париже. Я вышла от издателей с громадной суммой: сотня или даже полторы франков (в ту пору это еще были деньги) — ну и потом, в конце-то концов, это была моя первая книга, и издатели поступили щедро, выплатив мне аванс. Я прошла пешком, если не ошибаюсь, от улицы Фруавдево до Вандомской площади, наслаждаясь Парижем, говоря себе: "Это всего лишь маленькая книга, никто не знает, какая судьба ее ждет, но все-таки я вступила в круг французских писателей, теперь вокруг меня их целая толпа". Я была довольна. Я вошла в магазин "Лалик" — он тогда еще существовал — и купила как раз за сто пятьдесят франков прекрасную вазу. Вазу молочно-голубого цвета, как тот зимний день... Она сохранилась у меня и поныне.

О *любви*

Матьё Гале. В "Алексисе" затрагивается тема, по-моему, очень важная, потому что она часто потом появляется и в других ваших произведениях, — я имею в виду различие, которое вы, или, вернее, ваш герой, делаете между наслаждением и любовью.

Маргерит Юрсенар. Да, действительно. Она появляется и в "Воспоминаниях Адриана", хотя в Адриане побеждает судьба любовника. Это человек с громадным опытом плотских утех, которого на склоне лет поразил солнечный удар любви. Это не такой уж редкий случай, можно сказать, что подобное встречается во многих биографиях. Но не забудем о том, что я называю "неосвещенными периодами жизни", которые, на мой взгляд, неизбежны во всяком длинном романе. Адриан — юноша, Адриан в армии (я думаю о друге, о котором он говорит, что тот "волочился на окровавленных ногах") безусловно любил. Любил или, во всяком случае, испытывал весьма пылкую склонность к молодым женщинам, которые были его любовницами между двадцатью и тридцатью его

1. Анри Ален-Фурнье (1886—1914) — французский писатель, автор романа "Большой Мольн"; Жак Ривьер (1886—1925) — французский писатель, один из основателей журнала "Нувель ревю франсез".

годами. Он сам в этом признается. Но говорит, что потом или забыл эти любовные связи, или стал смотреть на них скептически... Однако когда постаревший Адриан – ему сорок семь лет – встречает Антиноя, у него очень скоро возникает (при всех паузах в этом чувстве или снижении его накала, которое признает сам Адриан) ощущение уникальности этой встречи, которое позднее скрепляет смерть, хотя следует помнить, что и в скорби императора бывали минуты усталости, когда Адриан чувствовал себя словно бы "околдованным" воспоминанием об Антиное и страдал от этого. В данном случае только по скудости нашего языка мы делаем разницу между наслаждением и любовью. Тут несомненно сплав обоих.

Но то, что в "Алексисе" я провела между ними грань, думаю, прежде всего было вызвано моим бурным протестом против той избитой французской формулы любви, которая для меня и звучала, и звучит фальшиво. Французы в каком-то смысле стилизовали любовь, создали определенный стиль, определенную форму любви и, уверовав в нее, принудили себя переживать любовь определенным способом, хотя, не будь за ними всей этой литературной традиции, они переживали бы ее совсем по-иному. Только во Франции могли быть сказаны слова Ларошфуко о том, что "многие люди никогда не изведали бы любви, если бы не слышали разговоров о ней". Думаю, что ни в здешней стране, ни, вероятно, во многих других странах мира такую фразу никто бы не понял. Иное дело Франция, потому что здесь и впрямь все становятся жертвой литературного представления о любви: чувство, чувственность, ревность, тщеславие, иначе говоря, желание добиться успеха у женщины; словом, любовь на французский манер, начиная с "Андромахи" и кончая "Воспитанием чувств". В ней очень много условностей.

Алексис пытается не смешивать разнородные чувства. Но прежде всего надо понять, что́ мы подразумеваем под словом "любовь". Если под этим словом мы понимаем обожествление какого-то существа, уверенность в том, что двое созданы друг для друга, что они соответствуют друг другу своими в каком-то смысле уникальными свойствами, то это такая иллюзия, что любой человек, наделенный толикой здравого смысла, неизбежно скажет себе: "Нет, я лишен этих выдающихся достоинств, и она (или он), вероятно, тоже; оценим же те свойства, какими мы обладаем, и полюбим то, что есть". Я назвала бы это любовью-симпатией, любовью почти что в евангельском смысле слова, и хотя в ней, конечно, играет роль чувственность, в нее уже, однако, входит большая доля самоотречения. Но разве это называют любовью во Франции? По-моему, нет.

М. Г. А что это такое любовь-симпатия?

М. Ю. Ну, скажем, это глубокое чувство нежности к существу, каково бы оно ни было, которое делит с нами превратности и случайности судьбы. Мне такое чувство очень понятно, но это не совсем то, что люди зовут любовью в романах и на театральных подмостках. Кстати, я говорю вовсе не о том, что так неудачно называют "платонической любовью", отнюдь; речь идет о связи, плотской или нет, но все равно чувственной, в которой, однако, симпатия преобладает над страстью. Я должна сказать также, что во французском, а может, и вообще в европейском понимании любви было нечто всегда меня смущавшее – отсутствие сакрального, то, что благодаря нашему христианскому или, лучше скажем,

постхристианскому воспитанию, благодаря психологии, которая ведет нас за собой вот уже полторы тысячи лет, мы потеряли ощущение, что любовь... или, проще говоря, чувственные узы и даже повседневные отношения священны. Они священны, эти чувственные отношения, потому что они — один из величайших феноменов вселенской жизни вообще. В противоположность индийской супруге, которая на какое-то мгновение ощущает себя Ситой[1], соединившейся с Рамой, большинство любовников далеки от подобных ощущений; наоборот, если случайно у одного из них возникнет чувство сакрального, сомнительно, что другой испытает его в то же мгновение. Тут куда большую роль играет то глубинное сознание, которым чувственность воспринимается как нечто грубое. Сакральность почти всегда отсутствует, ее заменяет либо ханжество, либо фривольность.

М. Г. И что же, христианская цивилизация никогда не знала чувства сакральности?

М. Ю. По-моему, никогда. Может быть, его не знала даже брачная церемония. Не знала во всей его полноте. Всегда оставалось некое отторжение, враждебность, сомнение, неодобрение по отношению к плоти. А вот у греков, возможно, было это чувство сакральности. У них очень рано возникло почитание брака. К чему это приводило в практической жизни? Прежде всего, не забудем, что греческий брак — я сейчас скажу нечто с виду скандальное — это почти педофилия. Девочке четырнадцать, мужу тридцать, возрастная разница почти в целое поколение, отчего мужчина подчиняет себе женщину и в чувственной сфере, и во всех других; дело тут не в приниженности женщины, а только в возрасте, как почти во всех формах любви у греков.

Наиболее совершенная форма любви (но в какой мере она была распространена в повседневной жизни?) — это индуистская майтхуна[2]. Любовник привыкает к присутствию любимой женщины, которая, впрочем, как правило, была профессионалкой, проводит с ней ночь в одной комнате, одевает ее и раздевает, достигая таким образом все большей и большей и все более священной интимности, прежде чем произойдет полное соитие. Но все это очень сложно, это произведение искусства. Это божественный союз через личность человека.

Наряду с этим существует то, что я назвала бы любовью-милосердием, когда можно полюбить почти всякого, потому что ты говоришь себе: "Это несчастное, подобное мне создание, которому ведомы те же унижения, те же опасности, обреченное на такой же конец". И эта любовь мне понятнее всего, но я не знаю ее примеров в литературе, кроме принца Гэндзи в романе Мурасаки Сикибу[3]: этот Дон Жуан, избалованный любовью женщин, дарит своими милостями красноносую уродину-принцессу. Такая любовь, по естественным физиологическим причинам, очень редко встречается у мужчин.

М. Г. Но разве не возвращается в нашу эпоху, так заметно утратившую христианскую веру, своего рода культ наслаждения?

М. Ю. Возвращается, но как некая самоцель, а не как орудие познания или орудие симпатии. А всякая самоцель никакой цели не достига-

1. Сита — в древнеиндийском эпосе "Рамаяна" супруга главного героя Рамы.
2. Майтхуна — физическое и духовное соитие (*санскр.*).
3. Мурасаки Сикибу (ок. 978—ок. 1016) — японская писательница, автор знаменитого "Сказания о принце Гэндзи" (1001—1006).

ет. Следовало бы восстановить представление о том, что любовь открывает путь к познанию, или к Богу, если кто-то желает воспользоваться этим термином, или к другому существу во всей его божественной нищете. Я убеждена, что это возможно, хотя европейские поэты и романисты не только не воплотили такого представления о любви, но и не ощущали ее. Быть может, к подобному представлению о любви отчасти приближаются русские. Но я убеждена, что такая любовь бывает и что ее иногда переживали совсем простые люди. Такое чувство отчасти присутствует в столь презираемом, но на свой лад трогательном персонаже Флобера — господине Шарле Бовари.

Это уводит нас очень далеко от любви в духе французского романа, любви наподобие той, которую, по мнению Феликса де Ванденеса, он испытывает к мадам де Морсоф[1] и которая есть не что иное, как искусственная форма поклонения. В лучшем случае, это любовь к Богу, которая ошиблась адресом или которая проходит сквозь череду отражающих романтических зеркал.

М. Г. Но любовь во французском романе — всегда несчастная любовь.

М. Ю. Конечно, иначе и быть не может, и прежде всего потому, что это почти всегда любовь тщеславная. И такая любовь продолжает существовать даже в нашу феминистскую эпоху. Некоторое время тому назад женский журнал "Ж. Журнал" — эта буква с точкой всегда приводит мне на ум не слово "Женщина", а нечто иное, — но не будем об этом! — перепечатал одну из моих восточных новелл, взятых из одноименного сборника: "Последняя любовь принца Гэндзи". Я, естественно, отправила дружеское письмо мадам Серван-Шрайбер, в котором писала: "Я немного удивлена, что вы представили вашим читательницам эту женщину, такую преданную, нежную, смиренную. Это, вероятно, их покоробило". И получила логичный на свой лад ответ, в котором меня заверяли, что, наоборот, то был прекрасный урок: "Не будьте слишком преданными! Видите, что бывает, когда женщина слишком предана мужчине!" Я же, напротив, считаю героиню новеллы "Последняя любовь принца Гэндзи", госпожу из селения Осыпающихся Цветов, идеальной героиней. Правда, она страдает, поняв, что принц на смертном одре забыл их давнюю любовь. И, конечно, это горько. Но ведь она пришла к нему, потерявшему зрение, она ухаживала за ним, заботилась о нем, помогла ему встретить смерть. Стало быть, она в совершенстве исполнила роль возлюбленной, для которой была создана, и так и должно было быть. А вспомнил он или нет их давнюю любовь, значения не имеет...

М. Г. Если бы вам пришлось писать "Алексиса" сегодня, роман, без сомнения, приобрел бы совершенно иную форму. Как, по-вашему, существует ли в наши дни проблема, которую он затрагивает?

М. Ю. Проблема нашла бы иное выражение, но она осталась бы. Она, быть может, была бы искажена видимостью свободы, не столько подлинной, сколько мнимой, потому что, как правило, эта свобода касается в меньшей степени реальной жизни, а больше моды или общественных нравов. На мой взгляд, если присмотреться внимательней, так называемое освобождение, пожалуй, не слишком изменило практическую сторону проблемы. Разве только в определенной среде, но это не окру-

1. Феликс де Ванденес и мадам де Морсоф — персонажи романа О. де Бальзака "Лилия долины".

жение Алексиса, и, конечно, оно не изменило ее для тех, кому свойственна совестливость Алексиса. Если бы я написала "Монику", я несомненно показала бы в этом романе, как Алексис в течение жизни то воссоединяется с женой, то вновь теряет ее, чувствуя себя в этой избранной им жизни то счастливым, то несчастным, потому что совершенства нет и ничто не имеет конца. Но, по сути дела, меня уже давно перестала интересовать судьба этой пары.

О *деньгах*

Матьё Гале. В пору, когда вы писали "Динарий мечты", вы чаще всего жили в Италии?

Маргерит Юрсенар. Нет, я ездила туда часто, но ездила не только в Италию. Я часто бывала в Швейцарии, в Австрии и еще в Греции. Я повторю слова Зенона: "Можно ли быть таким безумцем, чтобы не попытаться перед смертью хотя бы обойти свою тюрьму?"

М. Г. Наверное, тут сказалась отцовская традиция. Ваш отец, кажется, тоже вел кочевой образ жизни.

М. Ю. Он в самом деле постоянно переезжал с места на место, но он был совсем не из тех, кто старается передать кому-нибудь какую-либо традицию. Вот одна из его любимых аксиом: "Где может быть лучше, чем в лоне семьи? Где угодно". А также: "Хорошо там, где нас нет". Конечно, он и думать не думал передавать мне какую-то традицию, если даже допустить, что он придерживался ее сам.

М. Г. А как вы жили? У вас были материальные проблемы?

М. Ю. Никаких. Я рассказала об этом в "Северных архивах". Тема довольно трудная; говорить о деньгах всегда трудно. Отец не оставил мне ничего. Должна заметить, что состоянием моей матери очень плохо управляли — впрочем, управлял им не отец, а другой человек. Так вот, об оставшихся деньгах я просто сказала себе: "Будем тратить. А там посмотрим". Материальных проблем у меня не было. Я легко тратила деньги, иногда оставаясь на мели, иногда нет, и я поздравляю себя с этим. На мой взгляд, мне повезло, что таким образом в течение какого-то времени я была совершенно свободна. Все это могло плохо кончиться, если бы продолжалось слишком долго, потому что тогда отвыкаешь от усилий. Но поскольку эту жизнь прервала война, безбедное существование пошло мне на пользу, то был опыт, изведанный раз и навсегда.

Такая свобода — привилегия, но ее можно приобрести, даже не имея большого состояния. Я часто наблюдаю это в среде тех, кого принято называть народом. Желание обеспечить гарантиями свое будущее типично для буржуа. Во-первых, гарантировать вообще ничего нельзя, никто не знает, что нас ждет в будущем. Не так давно мне пришлось наблюдать одну скромную семью, над которой нависла угроза все потерять из-за ипотечных и прочих долгов, по которым они не могли заплатить проценты; ну так вот, я была поражена тем, насколько эти люди, супруги с детьми, готовы были взяться за любую работу. "Пойду официанткой в ресторан", — говорила она. А он: "Я стану садовником, а не удастся садовником, то маляром. И если мы не сможем остаться здесь, переедем в другое место". Это тоже одна из форм свободы. Я восхищалась этими людьми, они были свободны.

М. Г. А работа — тоже одна из форм свободы?

М. Ю. Да, если ты принимаешь ее с такой же простотой. А вот своего рода рабством я считаю судьбу несчастного, будь то директор, получающий сто пятьдесят тысяч долларов, или служащий, получающий десять тысяч, которые дрожат при мысли о том, что им придется покинуть свою фабрику, хотя атмосфера в ней отравлена вредными выбросами производства или она выпускает опасную или бесполезную продукцию, но они боятся лишиться своих доходов и своей пенсии. Это я называю рабством, потому что человек не решается протестовать, что бы ни случилось. Он не станет выражать протест и по причинам политическим или социальным, не имеющим отношения к нему лично. Он раб "ситуации".

Что до меня, когда приходилось выбирать между обеспеченностью и свободой, я всегда выбирала свободу. И потом во мне очень сильно отвращение к собственничеству, к приобретательству, к жадности, к сознанию, что успех состоит в накоплении денег. В первые годы моего пребывания в Соединенных Штатах — у каждого бывают минуты наивности — я говорила себе: "Все-таки нужно иметь какой-то финансовый запас на черный день". И на те небольшие деньги, что я не истратила, купила немного акций, а потом в один прекрасный день увидела в газете фотографию фабрики, изрыгающей клубы черного дыма; я приклеила фотографию к моей книжице акций — не могло быть и речи о том, чтобы продолжать их покупать.

Заметьте, мы всегда оказываемся в проигрыше — ведь положив деньги в банк и получая процент по сберегательной книжке, мы предоставляем банку распоряжаться нашими деньгами и вкладывать их в предприятия, в которых мы вовсе не хотели бы участвовать. Но тут все-таки от этих дел нас отделяют три-четыре посредника, и поэтому ощущение, что мы в них замешаны и нас на это толкнула жадность, притупляется.

М. Г. Вы, однако, занимаете по отношению к деньгам весьма аристократическую позицию.

М. Ю. Если вы называете ее аристократической, что ж, браво, аристократия! Но я не уверена, что вы правы, потому что аристократ, нуждавшийся в деньгах и влезавший в долги, зависел от "презренного металла" точно так же, как если бы он копил его подобно нынешнему капиталисту. Аристократическую позицию, да, в том случае, если аристократ способен, завернувшись в свой старый плащ и подхватив свой чемодан, удалиться со словами: "Что ж, займемся чем-нибудь другим, будем продавать газеты". Но если речь идет об аристократе, который задолжал денег своему портному и угодничеством пытается выхлопотать себе в Версале пенсию, такой аристократ так же жаден и раболепен...

О *сновидениях и наркотиках*

Матьё Гале. Что побудило вас написать такое эссе, как "Сны и судьбы"?

Маргерит Юрсенар. Это был этюд об эстетике сна. Почему каждый сон строится так, а не иначе? В качестве примеров я привела целый ряд снов, стараясь передать все подробности, а не просто сообщить: "Сегодня утром мне снилось, что я гуляю по городу", — это ни о чем не гово-

рит, а я пыталась описать, на что были похожи этот город и эта прогулка. Если мне будет отпущено время, я попробую продолжить свой этюд новой серией снов, которые мне снились недавно. Достоинство книги "Сны и судьбы" в том, что я не подпала под влияние ни одной из теорий, популярных в ту пору, в 1938 году. Все они казались мне неубедительными, да кажутся такими и сейчас.

М. Г. Значит, у вас были собственные теории сновидений?

М. Ю. Нет, строить теории почти всегда бывает еще слишком рано. Я предпочла воздержаться от теорий. Я вернулась к этой теме в "Философском камне". Если я переиздам "Сны и судьбы", в ней важное место займет страница, где Адриан рассказывает сны (записанные автором хроник), которые снились ему на склоне лет, при этом сознавая, что в самой жизни есть что-то от зыбкости сна. Я включу в нее также страницу, где Зенон, брошенный в тюрьму, говорит себе, что, прежде чем создавать теории сновидений, следовало бы проанализировать элементы, из которых состоит сон. Зенон перечисляет их: "Занимаясь ремеслом врача, он часто выслушивал рассказы больных об их сновидениях. Сны снились и ему самому. Обыкновенно в этих грезах усматривали различные предвестья, которые зачастую оправдывались, ибо сны выдают тайны спящего. Но он считал, что эта игра ума, предоставленного самому себе, прежде всего помогает нам узнать, как воспринимает мир душа. Он перебирал в памяти свойства увиденного во сне: легкость, неосязаемость, полная свобода от времени, подвижность форм, отчего каждый является во сне во многих лицах и многие воплощены в одном, почти платоновское ощущение воспоминания, почти болезненное чувство необходимости. Эти призрачные категории очень напоминали то, что, по утверждениям философов-герметистов, им было известно о загробном существовании, как если бы для души царство смерти было продолжением царства ночи".

У меня была почти такая же программа, как у Зенона, но я ее не осуществила и ограничилась тем, что в 1938 году рассказала некоторые сны, перемежая их некоторыми своими соображениями.

М. Г. Не вызвало ли это у вас интереса к средствам общения с "царством смерти", к попыткам применить их на практике?

М. Ю. Все известные мне попытки этого общения грубы. Например, те, к каким прибегают спириты. У нас нет никаких доказательств, что их результаты вполне достоверны. Я наблюдала их достаточно близко. И каждый раз возникало сомнение. Каждый раз была минута, когда ты задавал себе вопрос, не само ли то лицо, которое призвано получить послание, воссоздает исчезнувшую индивидуальность, нет ли тут какого-то взаимодействия воспоминаний, воображения и даже, если хотите, каких-то неизвестных субстанций.

Следовательно, тут мы оказываемся в мире, который не поддается нашему контролю. Так что можно сделать только осторожную попытку в нем разобраться. Я часто говорила себе, что было бы интересно попробовать с помощью спиритических приемов вызвать дух Адриана, а потом вспомнила, что слово "дух" может иногда быть синонимом слова "призрак" (мы говорим "я видела дух" в смысле "призрак", но говорим и о силе духа и о духе как об интеллекте). Так вот, если наш дух пытается всеми более или менее подвластными контролю способами вызвать другой дух, почему бы не вызвать еще и призрак? Спешу добавить, что, на

мой взгляд, пусть даже некоторые опыты могут завести очень далеко (хотелось бы только знать — *куда?*), бессмысленно пытаться установить общение в смерти, когда мы так неумело общаемся в жизни.

Конечно, все мои усилия направлены на то, чтобы, подавив мою собственную личность, стерев ее, услышать моего героя, подчиниться его воле, и в этом, я признаю, есть нечто медиумическое. И я понимаю, что это возможно, только если между моим героем и мной установились некие отношения. В противном случае я не выбрала бы и не стала бы вызывать к жизни этого совершенно чужого мне человека. Или, если вы не прочь отдать дань мистике, эта личность не выбрала бы меня.

И все же дистанция сохраняется. Я показывала вам листок бумаги, на котором раз двенадцать пыталась изобразить подпись Зенона. Иначе говоря, представить себе этот угловатый, готический, загадочный, напряженный почерк, своеобразное молниеносное движение человека, который отличается редкой стремительностью и с неслыханной энергией мчится по своему жизненному пути. Это не мой почерк. И вы также видели страницы, где на греческом языке, от которого, наверное, содрогнулись бы пуристы, я попыталась набросать главные пункты исповеди, которую должен был нам поведать Адриан. "В конце концов, — говорила я себе, — Адриан писал по-гречески. Попробуем подойти к нему с этой стороны". На самом деле, это не греческий, не латынь и никакой другой язык, это визионерское бормотанье, первая попытка приблизиться к человеческой личности.

Однажды я поставила забавный и простой опыт. Некий профессор (по-моему, из Тулузского университета) прислал мне задание, которое он предложил выполнить своим студентам (воображаю, как в этот день они, несчастные, меня ненавидели): речь шла о том, чтобы, выбрав страницу "Воспоминаний Адриана", перевести ее обратно на греческий. Прелестно. Я сказала себе: "Что ж, поступим, как эти студенты. За дело". И сразу же заметила, что некоторые написанные по-французски фразы прекрасно ложились на греческий, но были одна или две, которые сопротивлялись, потому что были моими, а не Адриановыми.

М. Г. Почему вы хотите переписать "Сны и судьбы"?

М. Ю. Я вовсе не собираюсь их переписывать, я хочу их дополнить. Я оставлю книгу такой, какая она есть, вместе с предисловием тридцать восьмого года, но хочу добавить к ней еще одно предисловие с дополнительными пояснениями. Предисловие 1938 года относится к эпохе, когда я считала, что всякая проза, даже пояснительная, должна отличаться некой поэтической красотой, переходить в песню. На сей раз я постараюсь более подробно рассказать, когда именно и в каких обстоятельствах мне приснились эти сны. Я добавлю к прежним снам, ну, скажем, еще десяток более поздних. Интересно будет увидеть разницу, хотя сущность феномена, естественно, останется прежней.

Я отобрала те мои сны, которые казались мне самыми удивительными, только те, которые иногда вспоминаются всю жизнь, в то время как сны ничем не примечательные почти всегда забываются через четверть часа. Это были сны, более или менее повторяющиеся с некоторыми вариантами. Их забыть невозможно. Так, например, две или три ночи я просыпалась после сновидения, которое кажется мне ослепительным, я расскажу о нем в своей книге. Такие сны редко бывают тревожными. Чаще всего это неслыханной красоты пейзажи. Иногда в них участвуют ка-

кие-то люди, но они менее важны, чем пейзажи. Специалисты утверждают, что сны чаще всего бывают черно-белыми. Я провела собственный опрос и выяснила: многие, наоборот, как и я сама, видят сны в очень ярких красках.

М. Г. Влияют ли эти сны на то, что вы пишете?

М. Ю. Скорее, эти два плана существуют параллельно. Тебе снятся сны приблизительно в том же стиле, в каком ты пишешь. Но, во всяком случае если верить моему собственному опыту и опыту людей, мной опрошенных, никто не видит во сне того, о чем пишет или что рисует. Сны идут параллельно с творчеством. Судя по всему, очень немногие видят во сне людей, которых любили, скажем родителей, сразу после их смерти. Те появляются в сновидениях двадцать или сорок лет спустя. Возможно, эти знаки на что-то указывают. Я полагаю, что прежде чем строить теории, надо умножить опросы, касающиеся снов.

Например, я вижу Адриана во сне не чаще, чем лучших моих друзей, живых и умерших, которые, кстати, снятся мне очень редко. Интересно: то, что все время присутствует в твоих мыслях и в твоей душе, когда ты бодрствуешь, отступает во сне. Во сне мы видим, без сомнения, то, что Юнг назвал бы архетипами, но это архетипы чего?

М. Г. Каков смысл слова "судьбы" в названии этой книги?

М. Ю. Участь. Судьбы в смысле "жребий", жребий какого-то существа, таков этимологический смысл слова "судьба". Жребий, который тебе выпал. Без сомнения, существует связь между судьбой человека и его сновидениями. В снах есть нечто магическое, если под магическим понимать необъясненные ассоциации. В слове "судьба" есть также злотворный смысл. В народном языке этот смысл за ним закрепился, потому что люди всегда стараются закрепить за словом определенный смысл, как, например, случилось со словом "шанс", которое само по себе не означает ничего ни благоприятного, ни неблагоприятного. Когда в "Северных архивах" я говорила о "chance de n'être pas", то есть о возможности не появиться на свет, все вообразили, будто я считаю счастьем вообще не родиться. Не будем обсуждать здесь этот вопрос, к тому же плохо сформулированный; ну а с точки зрения лингвистики "шанс" сам по себе не означает счастья или несчастья. Однако разговорный язык стремится утвердить за словом единственный смысл[1].

М. Г. Почему вы опубликовали "Сны и судьбы" в 1938 году?

М. Ю. Просто потому, что я их написала. У этой книги есть достоинства, но ей не хватает пояснений. Так, например, я не рассказываю ни об условиях, в которых мне приснился тот или иной сон, ни каким образом я его записала. Читатель может подумать, что я переработала свои сны в некие поэмы в прозе, а это не так. Но если хочешь передать краски сновидения, недостаточно написать простую фразу: я прогуливалась по саду. Надо описать сад во всех тех красках, в каких он явился тебе во сне; именно из-за неспособности оживить все детали сновидения рассказанные сны почти всегда неинтересны. Конечно, и сами сны бывают заурядными, но бывают сны прекрасные, они сродни видениям. Есть сны глупые, по-дурацки литературные, в которых спящий рассказывает себе историю на уровне детективного чтива; человеку, допустим, снится, что он потерял паспорт; но он встречает любезного господина, кото-

1. Слово "chance" означает по-французски и "случай, случайность", и "вероятность", и "удачу".

рый одалживает ему свой; выясняется, что надо поменять на паспорте официальные печати или фотографию; где найти фотографа? Фотограф по совместительству оказывается ветеринаром или сапожником, впрочем, в конце концов обнаруживается, что потерян не паспорт, а каталог выставки...

Такого рода сны изобилуют словами, ты слышишь, как ты сам говоришь и даже просто болтаешь. В снах магического типа ты себя не слышишь, ты что-то видишь. Таков, например, сон Дюрера, некий сон, который Дюрер нам описал и по пробуждении в ночь с 7 на 8 июня 1525 года сделал по памяти набросок. Конечно, это сон художника. Но это сон в движении. Дюрер увидел не скажу конец света, потому что таким образом я уже сгущаю краски, но он увидел гибель того места, где он находился, гибель, вызванную водопадами. Он увидел потоки воды, которые, низвергаясь, разрушали пейзаж, и взял на себя труд нарисовать этот пейзаж. Пейзаж очень напоминает ломбардскую долину – Дюрер должен был ее знать, потому что часто бывал в Италии. Примечательны детали: художник пытается измерить расстояние от того места, где он находился, до места бедствия. Так интересно следить за тем, как работает ум наблюдательного человека во сне. Во сне, который настолько поразил его воображение, что он описал его нам и зарисовал.

Есть сны Леонардо да Винчи – но тут нет уверенности, не сны ли это наяву. И не столько сны, сколько повторяющиеся мифы, мечтания.

М. Г. Это наводит на мысль о людях, которые, чтобы вызвать сны, принимают определенные наркотики.

М. Ю. Пожалуй. Но в таком случае речь идет уже о подделке. Все, что вызвано преднамеренно и сознательно, отчасти фальшиво. И конечно, вызванные преднамеренно или нет, эти сны произрастают из своей собственной субстанции, но притом в чахлом или, наоборот, коварно пышном облике, свойственном некоторым растениям, рост которых обеспечен искусственными средствами. Я сказала бы, что такие сновидцы, вообще-то говоря, не созданы для подобного рода снов. Но есть одно странное обстоятельство, я это признаю: в сновидениях, вызванных мескалином, мы находим большую часть элементов магического сна, который не спровоцирован искусственным образом. Например, необычайную усложненность архитектурных и пейзажных лабиринтов. Почему мозг уснувшего человека создает эти невероятные построения?..

М. Г. Что вы думаете о людях, которые принимают наркотики, чтобы "путешествовать"?

М. Ю. Я противница всего искусственного. Я считаю, что дух должен действовать, подчиняясь собственным законам, без подпорок и уж во всяком случае без ходулей.

У мексиканцев искусственно вызванный сон – это, безусловно, своего рода аскеза, потому что вызывают его в собраниях религиозного типа с соблюдением определенных ритуалов. Это до известной степени защищает человека. Но когда этим занимаются у себя дома, в своей комнате, в одиночестве или в компании невежественных сообщников, процедура внушает мне большое недоверие. И опыты эти не всегда убедительны. Так, например, на основе опыта с мескалином, который он проделал однажды в жизни, Хаксли написал "Врата восприятия", произведение очень умное, как все, что вышло из-под пера этого писателя.

Поразительно, что Хаксли, при очень остром, изощренном уме, не был одарен воображением — это чувствуется отчасти в его романах. Но на сей раз, приняв мескалин, он обрел воображение: он ощутил мир эмоционально. Он вдруг увидел яркие краски цветов, воспринял музыку так глубоко, как обычно не воспринимал. Все это на три четверти часа сделало его поэтом. После чего он снова стал Олдосом Хаксли, восхитительным эссеистом, тем более восхитительным, что он мудро заинтересовался удивительным миром, в который не был вхож от рождения. Но Хаксли не мог весь остаток своей жизни оставаться под воздействием мескалина.

М. Г. Однако в нас сохраняется воспоминание о том, что мы видели.

М. Ю. Конечно, какие-то воспоминания об ослепительных или будоражащих снах, а может, ослепительных и будоражащих одновременно, живут в каждом из нас как потаенное сокровище. Но помимо того, что они возвращаются к нам с перебоями и время разъедает и их тоже, само сознание, что они могли быть вызваны искусственно, отравило бы их тенью сомнения. Нет, все должно приходить само собой, рождаться из нашего нутра без помощи уловок. Все знатоки духовной, внутренней жизни — очень трудно обозначить эти явления, для них не найдено точных слов — предостерегают своих учеников против чудодейственного дара, который индусы называют *сиддхи*[1]. Надо научиться смотреть на него как на нечто совершенно обыденное и не имеющее значения. Изощряться в умении искусственно вызывать великие сны — это идти в направлении, противоположном тому, какой указывают мудрые заветы индийцев.

Остров в Америке

Маргерит Юрсенар. Я всегда любила острова. Любила Эвбею, любила Эгину, любила Капри — когда живешь в одном из его глухих уголков, убеждаешься, что Капри вовсе не так наводнен туристами, как это принято считать. Каждый остров — это маленький отдельный мирок, вселенная в миниатюре. Обратите внимание, насколько хорошо люди здесь знают друг друга. Живи я в нью-йоркской квартире, я не знала бы и десятой части тех, кого знаю здесь, на этом острове штата Мэн. И к тому же все-таки море очищает. У тебя рождается чувство, что ты на границе между вселенной и миром людей.

В этих американских пейзажах ты долго остаешься чужаком, пришельцем. Вообще говоря, этот пейзаж не слишком радушно принимает человека. Здесь много разрушают. Человек с деньгами строит роскошный дом, потом, если его наследники не могут сговориться между собой или отказываются платить налоги, дом сносят. Год спустя идешь на прогулку: "А где же дом, который здесь стоял?" Все уже заросло мхом, кустарниками, никаких следов. Это производит сильное впечатление.

Деревянные дома недолговечны; они сгорают или ветшают, в каком-то смысле пожираемые временем. И их без конца перестраивают, как японцы каждые двадцать пять лет перестраивают свои синтоистские храмы.

1. Сиддхи — дар совершенства (*санскр.*).

Матьё Гале. Как это не похоже на наши представления о домах, незыблемых, укорененных.

М. Ю. Да. Конечно, дом повсюду — убежище, для этого дома и строят, это геометрическая точка на поверхности мира, в ней ты находишься. Но здесь и речи нет об обладании — эти дома обходятся без нас, как мы обходимся без них, и умирают, как умираем мы сами. Если бы на острове Маунт-Дезерт произошла катастрофа, практически через некоторое время тут не осталось бы и следа человека.

М. Г. Когда вы приехали на этот остров?

М. Ю. Кажется, в 1942 году. Как и все остальные, я со дня на день ожидала в Нью-Йорке возможности вернуться в Европу. Но поскольку отъезд затягивался, один из американских друзей, снявший большое, кое-как обставленное жилье в деревне неподалеку отсюда, пригласил нас с Грейс Фрик[1] провести несколько недель летом в Мэне, на этом острове, который я совсем не знала.

В сравнении с нью-йоркским адом место показалось нам таким прекрасным, что мы стали искать себе дом. Грейс, отличная наездница, проводила каникулы в седле. Я — наездница весьма посредственная, но все же и у меня сохранились незабываемые воспоминания о некоторых прогулках верхом в этих краях. Надо сказать, что в ту пору за отсутствием бензина здесь не было другого сообщения, и Грейс стала известна в деревне как "всадница, которая ищет дом для покупки". В конце концов, в 1949 году мы такой дом нашли, но по-настоящему переселились в него позднее. И однако именно здесь я закончила "Воспоминания Адриана".

М. Г. Что вас так пленило в этой деревне?

М. Ю. Прекрасная природа, которая была еще прекрасней в те годы. И потом — жизнь. Здесь видишь жизнь в ее самом обнаженном виде, в форме, наиболее очищенной от литературы. Здесь, как и в других местах, люди убивают друг друга — иногда это случается часто (я припоминаю по меньшей мере шесть или семь убийств или покушений на убийство); они уводят друг у друга жен; вандалы иногда опустошают сады; специалисты-взломщики похищают произведения искусства из больших "летних вилл"; как и повсюду в других местах, деревенские жители получают удовольствие от крупных и мелких скандалов, и во всей округе осенью начинается разгул невыносимой охотничьей жестокости (за "несчастными случаями" на охоте часто скрывается сведение счетов между людьми). Но наш остров — святилище, куда охотникам вход запрещен, хотя, увы, существуют браконьеры, и во время охотничьего сезона я отказываюсь уезжать на материк. Но, к счастью, здесь есть также люди на редкость славные, честные и притом совершенно лишенные всякого рода идеологии.

М. Г. А кто вы в глазах этих людей?

М. Ю. О, просто... Просто нездешняя уроженка, даже после тридцати с лишним лет. Мы здесь — "Down East", мы находимся, как они говорят, на самом крайнем Востоке, вернее, на самой дальней северо-восточной окраине Соединенных Штатов, поскольку от нас до канадской границы каких-нибудь сто тридцать километров. Это очень старинный край во всем, что касается взглядов и обычаев. Он мало изменился с XIX

1. Грейс Фрик — американская подруга и переводчица М. Юрсенар, спутница второй половины ее жизни.

века. Очень провинциальный край, живущий в симбиозе, зачастую враждебном, с "летними приезжими", которые приносят деньги, но которых недолюбливают. Однако меня, по-моему, стали считать своей. Впрочем, надо сказать, что в последнее время какую-то роль здесь сыграл успех, в глазах местных жителей его символизируют пресса и другие средства массовой информации.

М. Г. В какой мере это окружение оказало влияние на ваше творчество?

М. Ю. Думаю, что если бы я осталась в Европе и даже если бы в сороковом году вернулась в Грецию, для меня все большую роль играли бы вопросы литературной формы, потому что среда, в которой я жила, была выраженно литературной, и я оставалась бы больше связанной с прошлым, потому что и тамошние города все тоже связаны с легендой античности. Приехав сюда, я оказалась перед лицом совершенно иной реальности, полновесной и в каком-то смысле аморфной, и, думаю, эта перемена стала для меня очень благотворной. В данном случае я говорю не о реальности психологической, не о личных переживаниях и страстях, а именно о реальности, о весомой реальности в ее первозданном виде. Декарт считал, что ему хорошо думается на набережных Амстердама, среди людей, катящих бочки. Не знаю, помог ли бы мне грохот катящихся бочек; здесь, напротив, я нашла естественную тишину, а иногда крики ночных птиц да гудок каботажного пароходика, пристающего к берегу в тумане. В предисловии к "Русалочке" я писала, что эта коротенькая пьеса характеризует период, когда геология взяла в моей жизни верх над историей. И это касается очень глубинных вещей. Именно здесь я начала все больше интересоваться природной средой, деревьями, животными.

Возможно, я развивалась бы в том же направлении, если бы жила в другом месте. А впрочем, кто знает? Я чрезвычайно почитаю случай. Я верю в то, что надо принимать вещи, которые тебе даются, принимать жизнь, которая тебе дается, такой, какая она есть. Писатель, которого большинство людей откажутся назвать философом, потому что речь не о ком ином, как о Казанове, часто говорил об этой покорности судьбе, об *amor fati*[1]. Он не употреблял этой формулы, которую впоследствии прославил Ницше. Он выразился гораздо удачнее: *sequere deum* – следовать богу, повиноваться богу. Ну так скажем, что в Америку меня привел "бог". Я говорю "бог" с маленькой буквы, потому что не очень хорошо знаю, какой именно. Христианин сказал бы "благодать"; индиец – "моя карма". И потом, это может меняться. Бог, один только "бог" знает, где ты будешь через десять лет, если вообще еще будешь...

М. Г. Это не мешает вам любить ваш дом. Раньше здесь была ферма?

М. Ю. Когда точно его построили, неизвестно. Без сомнения, около 1866 года, что довольно давно для этого острова, где до середины XIX века было очень немного жилых строений. Вначале, вероятно, это был крохотный домишко, потом к нему пристроили ту часть, где теперь находится кухня. Кажется, стройматериал, то есть дерево, добывали на горе в пятнадцати-двадцати километрах отсюда; деревья рубили, а потом сплавляли по своего рода ледниковому фьорду, который делит этот ост-

1. Покорность року (*лат.*).

ров почти пополам. Бревна выгружали на берег, и первый хозяин наверняка должен был сам строить свое жилье.

У меня есть маленькая фотография, снятая, вероятно, около 1870 года, которая представляет дом таким, каким он был в ту пору. На фотографии еще виден амбар, к сожалению потом исчезнувший — он то ли сгорел, то ли обвалился. И еще видно то, что здесь называют "летней кухней": это своего рода большая пристройка, где люди заготавливали консервы или варили варенье, где в теплые месяцы они позволяли себе роскошь большего пространства.

Обратите внимание: все комнаты в доме маленькие — это сохраняет тепло. Во время очень сильных холодов некоторые комнаты закрывают. Всего их восемь или десять, расположенных как придется; в каждой комнате своя печка — теперь их осталось только три, но вначале, вероятно, было больше. Может, и я добавлю печек, если будет не хватать мазута. Но я не люблю покупать дрова для топки, я собираю валежник или использую деревья, которые все равно надо срубить. Я экономлю на покупке дров, потому что надо экономить лес. Идеальным вариантом была бы маленькая пристройка с солнечным отоплением, но этому мешают клены, которые затеняли бы ее с юга.

Что касается обстановки, то она сборная, в ней всего понемногу: то, что пережило две войны и многочисленные путешествия, и то, что принесла сюда моя подруга, с которой мы вместе купили дом.

Что до окрестностей, они были не такими, какими мы видим их сейчас, то есть перемежающиеся лугами леса с преобладанием берез, елей и кленов, — здесь были ланды. Шотландские переселенцы, прибыв на остров, принялись вырубать деревья без всякого разбора, пытаясь жить плодами этой каменистой почвы. Потом деревья выросли снова. Некоторые у меня на глазах.

Вообще, я считаю, что дом заслуживает похвалы. Он скромен, мал, он скромно-практичен. К нему можно было бы пристроить еще комнату — у многих владельцев деревянных домов возникает такое искушение, ведь эти дома так легко расширить, сломав перегородку, — но я-то как раз не хочу этого делать. Не хочу вырвать ни одной травинки. Хочу создать ощущение, что это привал на краю дороги. Я не люблю иметь слишком много собственности. Ее и так всегда слишком много. Небольшого участка земли, окружающего дом (в нем, по-моему, три четверти гектара), вполне достаточно, летом здесь можно заблудиться, как в уголке девственного леса.

Но если бы я была моложе, если бы у меня было больше энергии для осуществления планов материального характера, мне, без сомнения, захотелось бы иметь громадную ферму, чтобы ее окружали по-настоящему дикие места, чтобы я жила и впрямь среди лесов и пастбищ. Я построила бы маленький дом, где поселилась бы группа моих друзей, это была бы своего рода "коммуна". Я думала об этом задолго до того, как приехала в Америку. И часто говорила об этом с моими голландскими друзьями, у меня в голове целый список людей, вместе с которыми я охотно проделала бы этот опыт. Они съехались бы почти из всех уголков мира!

М. Г. Словом, некоторая дань "хиппи" до появления хиппи?

М. Ю. Наверное, да. Отчасти. Я очень уважаю хиппи. Они пытаются отбросить многое из того фальшивого и вредного, что им навязали,

например, страстную веру в то, что ты существуешь, потому что у тебя есть собственность. Покупать, покупать, покупать...

Я создала себе философию, если можно употребить здесь это торжественное слово, согласно которой не покупаю ничего, не спросив себя прежде, а не могу ли я, собственно, без этого обойтись? Зачем захламлять и без того захламленный мир? Впрочем, я могла бы легко распроститься со всем, что здесь есть. Я сожалела бы о птицах, о белке по имени Жозеф — вот и все. Где бы ты ни умер, ты умираешь на планете.

М. Г. Однако в названии острова есть маленькая мистификация, в которой вы неповинны, — судя по нему, можно вообразить, что вы живете в пустынной местности.

М. Ю. Это ошибка Шамплена[1], который так окрестил остров. Впрочем, он к нему никогда не причаливал; он увидел остров Маунт-Дезерт со своего корабля, когда возвращался из Новой Шотландии, и первым зарисовал его очертания. И очень хорошо описал — в XVII веке и говорили и писали на прекрасном языке — плоский остров с семью или восемью горами, и поскольку он никого на нем не увидел и похоже было, что на берегу нет индейских поселений, он и назвал его остров Monts-Deserts — остров Пустынных гор. Désert по-французски означает пустынный, безлюдный. Если верить сведущему американскому историку Морисону, не исключено, что Шамплен даже напоролся на один из здешних рифов и в течение нескольких дней ремонтировал свой корабль. Но лишь лет десять спустя маленькая группа французских иезуитов попыталась обосноваться на острове. Они тоже потерпели здесь крушение по дороге в Новую Шотландию и были разогнаны или убиты пиратом, служившим английскому королю. Эта история войдет коротким эпизодом в повесть, которую я сейчас пишу.

Потом, в эпоху Людовика Четырнадцатого, когда губернатором этих мест был маркиз де Кадийяк, на острове появились несколько французских поселенцев. В начале XIX веке потомки Кадийяка еще владели здесь фермой, но, состарившись и обеднев, эти люди мало-помалу продали свои огромные угодья. Они доживали свой век в пансионе у одного шотландского фермера. В середине XIX века местные крестьяне, в основном шотландского происхождения, получали почти все товары, производившиеся в Бостоне, морским путем. Эти люди спокойно жили здесь тем, что приносили им их маленькие участки каменистой земли и водяные мельницы.

А потом, примерно в 1880 году, когда остров открыли несколько известных художников, это место стало модным. Множество щеголей из Филадельфии и Бостона возвели здесь себе огромные бараки (то была печальная эпоха для архитектуры), куда приезжали каждый с двадцатью пятью чемоданами, дюжиной слуг и с лошадьми. Великолепная кавалькада! Они оставались здесь на три-четыре месяца. То было время, когда отдыхали подолгу, каждый год в одном и том же месте, но сухопутной дороги еще не проложили, и эти люди приезжали из Бостона морем.

Этот период уже предвосхищает Прекрасную эпоху, когда устраивались праздники, когда выезжали в шарабанах нарядные дамы в батистовых платьях с оборками, а мужчины в цилиндрах. Кружевные скатерти

1. Самюэль Шамплен (1567–1635) — французский путешественник, картограф, первый губернатор Канады, исследователь Северной Америки.

привозили из Италии, а столовое серебро из Англии. Дворецкие в белых перчатках сервировали на берегу озера или на вершине горы изысканные пикники, напоминавшие картины XVIII века. То был мир молодой Эдит Уортон и молодого Генри Джеймса. К сожалению, от этого осталось только воспоминание. Да притом почти стершееся.

М. Г. Но кто были эти отдыхающие Прекрасной эпохи?

М. Ю. Я уже сказала вам, щеголи из Бостона, Филадельфии или Нью-Йорка, и каждый из этих трех городов держался особняком. Приезжал сюда, в частности, старик Рокфеллер, основатель династии, но это был суровый баптист, который, по-моему, никогда в полной мере не принадлежал к этой среде. Он владел на острове огромным домом, одним из тех, которые снесли, потому что слишком дорого обходилось его содержать. Рокфеллер очень любил Маунт-Дезерт и часто сюда приезжал. Он любил лошадей и проложил много великолепных кавалерийских дорожек, которыми пользуются до сих пор. Во время Великой депрессии он начал строить мосты и горные дороги, чтобы занять безработных, но это не принесло ему особой популярности. Он казался сухим и жестким человеком. Умер он в пятидесятых годах в возрасте восьмидесяти пяти лет. Я его несколько раз видела. Желающие могли наблюдать его в церкви Сиэл Харбор, в которой в те годы яблоку негде было упасть, потому что он и был в ней главной приманкой.

М. Г. Словом, почти феодальная жизнь, как когда-то в Европе, где некоторые семьи властовали над деревнями и даже над целыми провинциями.

М. Ю. Но только, по-моему, здесь не было той симпатии, которая в моей деревне связывала то, что называли замком, с тем, что называли деревней: здесь деревня и летние приезжие не братались друг с другом. Последние так и оставались всего лишь "летними приезжими".

М. Г. А вы уверены, что в Европе такая симпатия существовала?

М. Ю. Если верить некоторым свидетелям, которых опрашивали для радиорепортажа из Мон-Нуара[1], иногда существовала. Все старики предавались удивительно добрым воспоминаниям: вспоминали, как полдничали со мной в замке, поскольку Мон-Нуар был чем-то вроде замка; вспоминали, как лакомились яблоками в саду; вспоминали, как наша семья ходила по воскресеньям в церковь и как на площади появился первый автомобиль и все высыпали на улицу, позабыв о кюре. Тепло вспоминали эти люди и моего отца. Удивительно и даже трогательно видеть, как человеческая симпатия выражает себя после стольких лет, ведь я считаю, что мы не так много делали для них. Можно было, нужно было делать куда больше!

М. Г. Это легче сказать о замке, чем о хижинах.

М. Ю. Конечно, я имею в виду замок, когда со стесненным сердцем, с сожалением думаю о том, что мы не искали большего сближения. Как много упущенных возможностей... Но здесь в Америке, во всяком случае, я не уверена, так ли уж завидовали люди Рокфеллеру, — не думаю, чтобы завидовали. Они уважали богатство, но богатых не всегда. Впоследствии общение упростилось: дети из когда-то знаменитых семей работали на стройках вместе с местными плотниками. Впрочем, это одна

1. Мон-Нуар — замок и поместье в Северной Франции, где прошло детство Маргерит Юрсенар.

из очень хороших сторон Америки, у которой есть и много особенностей, вызывающих раздражение; например, тебя упорно желают звать только по имени — такая же условность, как и прочие... Впрочем, меня не раздражает, что здесь меня часто зовут просто Маргерит. В конце концов, в этом уголке ты существуешь как некая личность, как индивидуум, которого знают и иногда ценят. Вот, например, рыбак Аллан — вы когда-то видели этого человека в высоких резиновых сапогах; он каждую неделю навещает меня, и я совершенно определенно чувствую — он считает меня своим другом. Нравится мне и дружеская фамильярность деревенских женщин, здесь почти не чувствуются классовые и культурные различия.

М. Г. А богатые люди еще приезжают сюда?

М. Ю. Приезжают, но остаются не надолго. У губернатора Нью-Йорка Нелсона Рокфеллера был здесь очень красивый дом, но хозяин наведывался сюда очень редко — был слишком занят своими обязанностями. На одном из холмов живет семья Фордов, да есть и многие другие.

Но здешние жители небогаты. Многим живется просто трудно. Зимы здесь долгие. Мне кажется, здесь, как в Бретани, как во всех краях, куда летом приезжают туристы, бывает краткий период, когда местное население зарабатывает деньги, а потом наступают долгие месяцы на грани нужды. Здесь это почти традиция. Когда первые французские иезуиты поселились на острове, у них установились очень хорошие отношения с индейцами, они описывали их обычаи, их язык; так, например, иезуиты отмечали, что февраль индейцы называют голодным месяцем. Таким голодным месяцем для многих местных жителей февраль остается по сей день.

В этих краях мне дороги красота пейзажа и простые люди, с которыми я могу говорить. Самому дому я особенного значения не придаю, но все же это убежище, келья самопознания, по слову Екатерины Сиенской. Я представляю себе, что какой-нибудь мудрец, вроде древних даосистов, мог бы много раз обойти мир, не выходя за пределы своего дома, не покидая своей кельи. Это был бы истинный мудрец.

М. Г. За пределы кельи его выводила бы мечта.

М. Ю. За ее пределы его выводила бы мысль — это существеннее.

Ремесло

Матьё Гале. А вы уверены, что читатели поймут ваш прием?

Маргерит Юрсенар. Уверена, что нет. Бывают читатели, которые в прочитанном ищут самих себя и ничего, кроме себя, не видят; все, к чему они прикасаются, превращается не в золото, как у царя Мидаса, но в их собственную субстанцию. Другие исходят из представления, которое заранее составили о писателе, а это зачастую еще хуже. Критику, имени которого я не назову, отнюдь не лишенному поэтического чувства, но начисто лишенному здравого смысла, пригрезилось, будто я изобразила себя в образе Электры из "Сорванных масок" и в образе Марты из "Философского камня". Между тем Электра и Марта — чудовища: Электра — плод застарелой ненависти, которая принимает себя за любовь к справедливости; Марта, женщина внешне сильная, на самом деле разъедаема почти патологической трусостью: она не способна ухаживать за кузи-

ной, заболевшей чумой, не способна спасти единоутробного брата Зенона, которого ждет костер, она отрекается от своих родителей, поскольку они плохо кончили, отрекается от своей веры, потому что приверженность к ней грозит опасностью. Тот же самый критик в одной из глав "Философского камня" узрел прославление архитектуры Ренессанса, в то время как эта глава, "Богатые хоромы", — едкая сатира: роскошные дома, возведенные ради самоутверждения, укрывают под своими расписанными на мифологические сюжеты потолками людей, лишенных мужества и доброты. Такие толкования удручают, иногда даже приводят в ужас. Но с другой стороны, есть католический священник, который написал мне, что хотел бы умереть смертью приора миноритов; есть многочисленные анонимные корреспонденты, которые уверяют меня, что "Воспоминания Адриана" помогли им жить. Впрочем, я считаю, что число тех, кто понимает, мало-помалу растет. Но может быть, писателя по-настоящему узнают, только когда у него выходит полное собрание сочинений.

М. Г. Разве такая перспектива не навевает некоторого уныния?

М. Ю. Можно было бы совсем пасть духом, если бы ты стремился к известности. Но ведь писатель прежде всего повинуется некой совершенно таинственной потребности высказаться. Почему человек испытывает эту потребность, не знаю, но бывают такие обстоятельства, такие мысли, которые необъяснимым образом требуют, чтобы их записали, чтобы о них сказали.

М. Г. Что такое писать — это усилие, страдание?

М. Ю. Нет, это работа, но также почти игра, и радость, потому что самое главное не в процессе писания, а в ви́дении. Я всегда писала свои книги мысленно, прежде чем перенести их на бумагу, бывало даже, что я их забывала на десять лет, прежде чем придать им письменную форму. Например, сцену между Зеноном и каноником я увидела, могу даже сказать, мысленно написала, слушая музыку Баха, кажется, у кого-то из друзей, во второй половине дня что-то около 1954 года. И я вышла из этого дома, говоря себе: "Сейчас у меня нет ни времени, ни возможности это записать, и, без сомнения, не будет еще несколько месяцев, а может быть и лет. Возможно, я эту сцену запомню, а может, забуду — посмотрим". И потом через много лет она всплыла у меня в памяти...

В 1957 году — дату я помню точно, потому что она связана с путешествием, которое закрепило ее в моей памяти, — я отправилась читать лекции в Канаду, мне нездоровилось, а сесть в поезд надо было на каком-то захолустном вокзальчике в Соединенных Штатах. Поезд отходил в три часа утра, и в ожидании его я сняла маленький номер в неком заведении вроде гостиницы. Помню, было холодно, и я легла на застеленную кровать. В течение этих трех часов я мысленно целиком написала новеллу "Упряжкой правит смерть", которой потом дала другое название — "Как текучая вода" — и которую я в настоящее время заканчиваю. Происходило это в 1957 году, а вновь я вернулась к былому замыслу только в прошлом году. Я помнила эту новеллу как историю, кем-то мне рассказанную, — словно поток замерз на двадцать лет, а потом начал вдруг струиться вновь.

М. Г. С вами всегда так бывает?

М. Ю. Со мной это случается довольно часто в обстоятельствах, чем-то отличающихся от обычных. Может, это происходит, когда я как бы

освобождаюсь от привычек, ломаю рутину. Но при всем сказанном, привычки тоже помогают литературному творчеству, потому что в привычке есть ритуал. Встать утром, спуститься вниз, чтобы зажечь огонь в кухне, покормить птиц, полюбоваться солнцем с террасы — все это ритуалы, которые в конце концов становятся совершенно безличными.

М. Г. Бывают также писатели, которые каждое утро спускаются в свой кабинет, чтобы в определенный час сесть за письменный стол в надежде, что их посетит вдохновение. Вам это не свойственно?

М. Ю. Когда я сажусь за письменный стол, я точно знаю, что буду делать, потому что я все уже написала мысленно. Конечно, процесс писания образует выступы и впадины, заставляет увидеть ошибки или предлагает новые находки, но факты, идеи уже есть. Когда пишешь критическое эссе, прием совсем другой. Иногда можно полгода сидеть за рабочим столом.Так было, когда я писала предисловие к "Короне и лире" или этюд о Томасе Манне, потому что в этом случае необходимо проверять и перепроверять; ты читаешь тексты, ты их перечитывешь: "Не ошиблась ли я? А если да, то почему? В чем?" Это другая работа, работа, состоящая в непрестанной проверке. Но в области художественного сочинительства, когда ты начинаешь писать — ты уже близок к концу работы.

М. Г. И все же писатель не пишет под диктовку?

М. Ю. Профессия писателя — искусство или, скорее, ремесло, и метод отчасти зависит от обстоятельств. Иногда я беру блокнот и набрасываю текст таким почерком, который четыре-пять дней спустя, к сожалению, разобрать уже невозможно, в каком-то смысле он вянет как цветок. Но бывает и так, что я направляюсь прямо к моей пишущей машинке и печатаю на ней первый вариант. В обоих случаях я использую для каждой фразы все свои варианты, потом начинаю вычеркивать и оставляю тот, которому отдаю предпочтение. Работаю я также с клеем и ножницами, но не всегда. А если вас интересуют маленькие авторские мании, то вот вам одна: при третьем или четвертом редактировании, вооружившись карандашом, я перечитываю текст, уже почти чистый, и вычеркиваю все, что может быть вычеркнуто, все, что кажется мне лишним. И вот тут я торжествую. Я пишу в конце страницы: "Убрала семь слов", "Убрала десять слов". И ликую: я убрала лишнее.

М. Г. В какую минуту вы считаете вариант окончательным?

М. Ю. Когда я чувствую, что сказала все, что должна была сказать, и сказала это настолько хорошо, насколько могу. В эту минуту у меня возникает чувство, что работа завершена. Это как с хлебом: в какую-то минуту чувствуешь, что тесто месить больше не надо. В такие минуты испытываешь восторг (впрочем, я испытываю его не только по отношению к книгам), удовлетворение и удивление, что тебе удалось это сделать, справиться, довести дело до конца. Думаю, такое чувство испытывает спортсмен, когда он достигает цели. Ведь он не был уверен, что у него получится.

М. Г. Но разве метод работы не зависит от самих книг, их сюжета, избранной формы?

М. Ю. Конечно, он каждый раз меняется, поскольку каждый раз приходится решать другую задачу. То же самое говорят живописцы; каждый портрет ставит новую проблему. Сам Рембрандт наверняка колебался, когда ему предстояло писать новую модель. И модель возникала на

холсте одновременно в качестве индивидуума и в качестве человека вообще, это был буржуа XVII века, неповторимый вплоть до своих бородавок, и в то же время — обобщенный образ человечества. Это не мешало Рембрандту всякий раз оставаться Рембрандтом, потому что у него был свой собственный стиль.

М. Г. Это можно сказать и о вас.

М. Ю. Речь идет о форме, которая рождается помимо твоего сознания. Я поняла это, только когда перечитала свои первые книги: я писала очень плохо. Вяло и витиевато. Временами чувствуются неоправданные колебания. Когда я совсем недавно отредактировала мою новеллу "Anna Soror", не переписывая ее наново, а только завинчивая болты, я увидела, в чем ее изъяны: неудачные пассажи были или слишком расплывчаты, или слишком жестки. Закручивать, откручивать — это работа механика. Но мне помогало то, что в "Алексисе" я подчинила себя дисциплине французского "повествования".

М. Г. Но словарь тем не менее остается неизменным.

М. Ю. Нет, потому что опять-таки это зависит от темы. Слово, устное и письменное, это "текучая вода". Словарь, выражающий, например, мысль совсем простого, необразованного рабочего, будет отличаться от словаря Адриана. То же самое с Зеноном. Отличается все: страна, человеческая сущность, темперамент, способности, возможности языка.

М. Г. Но автор остается.

М. Ю. Он зависит от своей темы, от своих персонажей. Это одна из причин, почему я всегда с большим недоверием относилась к ученым эрудитам. Сравнивая какую-нибудь поэму с другими известными текстами Феокрита или Феогнита, они утверждают: "Эта поэма не могла быть написана ни тем, ни другим". Но если эта поэма написана на иную тему или если автор написал ее, когда был на десять лет старше, критерии ученых мало что доказывают. В почерке, в стиле существует своего рода фундамент, который свойствен природе данного автора. И все же я не уверена и в этом: окончательная форма произведения зависит от темы и от времени его создания.

М. Г. У вас отмечают довольно характерную для вас крепость построения фразы.

М. Ю. Я стараюсь убирать все несущественное, не поддаваться украшательству, каким грешила в молодости. В ту пору я считала, что надо закруглять фразу. Теперь я скорее стремлюсь к максимально четким фразам, к максимально простым образам, не стараясь во что бы то ни стало быть оригинальной. Впрочем, я вообще не стараюсь, это выходит само собой.

М. Г. Часто говорят, что вы работаете в мраморе или в бронзе.

М. Ю. Отполированности мрамора у меня нет совсем, разве что в "Адриане", где эта полировка присуща эпохе, в какую жил император, и глянцу, который время наводит на минувшие века. В "Философском камне" скорее пришлось работать в граните, а в "Северных архивах", мне казалось, я месила очень густое тесто. Но его густота в моих глазах не изъян, это плотность действительности, той среды. А я ведь знаю, что такое тесто, — не забудьте: я сама выпекаю свой хлеб.

М. Г. Хлеб выпекают по разным рецептам.

М. Ю. Рецептов никто не перечитывает. Только плохие стряпухи каждые пять минут сверяются со своими кулинарными книгами. Надо

варьировать рецепты, вносить изменения в зависимости от настроения, менять правила в зависимости от ингредиентов, которые у вас под рукой. Хлеб никогда не бывает одинаковым. Случаются и неудачи. Например, зимой здесь слишком холодно и очень трудно добиться, чтобы опара поднялась, разве что ты разогреешь кухню как печь. Никогда нельзя быть уверенной, что у тебя получится. Некоторые стадии выпечки в точности напоминают стадии сочинительства. Сначала это что-то бесформенное, что липнет к пальцам, какая-то каша. Потом каша становится все гуще и гуще. Потом наступает мгновение, когда она приобретает эластичность. И, наконец, приходит минута, когда ты чувствуешь: дрожжи взялись за работу, тесто ожило. И теперь ему надо просто дать отдохнуть. Но когда речь идет о книге, эта работа может растянуться на целое десятилетие.

М. Г. В течение этого десятилетия вы живете со своими персонажами. Они все время находятся рядом с вами?

М. Ю. Они все находятся рядом, как рядом находятся все люди, которых я люблю или которые мне интересны, живые или умершие. Я знакома с вами очень мало, но когда вы уйдете отсюда, вы останетесь рядом. Мне кажется, я никогда не отказываюсь от тех, кого я знала, и безусловно не отказываюсь от моих персонажей. Я их вижу, я их слышу с такой отчетливостью, какую назвала бы галлюцинаторной, но галлюцинация — это совсем другое, это обладание невольное, даже тебе навязанное, которое, судя по всему, окружено ореолом страха. Наверняка мои современники плохо поймут меня, если я скажу, что присутствие этих персонажей для меня равнозначно тому, чем бывает (или может быть) для христианина присутствие ангелов или привычных святых, а для буддистов присутствие Бодхисатвы[1] — присутствие привычных великих образов, видимых нами, отчасти порожденных нами и в то же время явившихся откуда-то из более дальних мест, чем мы... Персонаж, созданный нами, не умирает, в том же смысле, в каком не умирают наши покойные друзья.

Когда ты проводишь многие часы с существом, созданным твоим воображением или когда-то жившим на земле, его творит уже не только твой ум, в игру вступают чувство, привязанность. Речь идет о долгой аскезе, ты заставляешь умолкнуть собственную мысль; ты вслушиваешься в этот голос: что этот индивидуум может мне сказать, чему меня научить? И когда ты хорошо расслышишь его голос, он тебя больше не покинет. Это присутствие почти материально; в общем, речь идет о своеобразном "явлении". Удивительное дело, иногда этот персонаж является тебе в первый раз, когда ты еще почти с ним незнаком, хотя потом он станет для тебя таким важным. Иногда он заявляет о себе посредством определенной атмосферы, как если бы, сама того не зная, ты уже была готова его принять. Так однажды воскресным днем в Зальцбурге во францисканской церкви я "увидела" приора миноритов, который до этой минуты был всего лишь незаметным статистом в начатой книге (до тех пор я представляла его себе только как человека, который предложил Зенону место в наемной карете, направлявшейся в Брюгге), а стал одним из ее главных персонажей. В

1. Бодхисатва — в буддийской мифологии человек (или какое-нибудь другое существо), который принял решение стать Буддой.

другом случае книга бывает закончена, а персонаж продолжает жить, и о нем можно написать вторую книгу: вот почему я добавила страницу под названием "Гражданское состояние" в конце пьесы "Кесарю кесарево", обозначив для каждого из оставшихся в живых персонажей место и время смерти — читатель волен сам заполнить оставшийся пробел. Случается, особенно это часто случалось со мной прежде, что я слишком быстро завладеваю своими персонажами, еще до того, как они мне успели рассказать о себе все, и тогда книга не удается, но в один прекрасный день я вновь берусь за работу. Я написала — целиком — один или два варианта "Воспоминаний Адриана", которые бросила в корзину. О! Причины этой неудачи были просты: я прочла слишком мало текстов, ему посвященных, повидала слишком мало пейзажей, среди которых проходила его жизнь; слишком мало размышляла о некоторых предметах, чтобы вызвать его на разговор о них. А потом в один прекрасный день этот персонаж, Адриан, вернулся ко мне, и, должна заметить, я с несказанной радостью вновь взялась за работу.

М. Г. Так вот почему вы так часто перерабатывали ваши книги.

М. Ю. Я перерабатывала их только в том случае, если чувствовала, что меня постигла неудача. Ни "Алексис", ни "Последний выстрел", ни "Огни", ни пьесы[1] переработаны не были. "Восточные новеллы" были переработаны частично, потому что стиль первого варианта показался мне слишком орнаментальным, а "Динарий мечты" — полностью, потому что в 1933 году я взялась за проблему, и стилистически и психологически слишком для меня сложную: эта первая попытка ухватить на лету персонажей сиюминутной действительности потерпела неудачу из-за чрезмерной торопливости; я была еще слишком близка к изображаемому. А поставив последнюю точку в окончательном варианте "Воспоминаний Адриана" или "Философского камня", я сразу почувствовала, что не могу ни изменить, ни прибавить ни слова к произведению, наконец завершенному. Так повариха замечает, что пора снимать овощи с огня.

М. Г. Но, если воспользоваться вашей метафорой, в ту пору, когда вы подавали некоторые блюда, вам казалось, что вы уже довели их до готовности?

М. Ю. Я заблуждалась: молодой писатель часто заблуждается в оценке своей работы; то, что я публиковала, было всего лишь набросками — больше ничем. Я одобряю Руо[2], который скупал, чтобы сжечь, те свои полотна, которые считал неудачными. Если, на беду, набросок книги был слишком рано опубликован, я, по крайней мере, вольна, пока длятся мои авторские права, помешать переиздавать эту ничтожную работу и однажды переработать ее, поскольку персонажи продолжают существовать и на данный момент я тоже.

М. Г. Словом, это они тянут вас за рукав.

М. Ю. В известной мере да. В каком-то смысле они более реальны, чем я сама, — я меняюсь, двигаюсь, преображаюсь, тогда как с созданными нами персонажами очень скоро происходит то, что свойственно ма-

1. Не считая первой короткой версии "У кого нет своего Минотавра?" в 1934 году. (*Прим. автора*).
2. Жорж Руо (1871—1958) — французский художник.

терии, лишенной пластичности; они приобрели форму, которую больше не позволяют нам менять.

М. Г. Не создают ли они своего рода ширму между вами и действительностью?

М. Ю. Наоборот, они умножают число путей, которыми я проникаю в действительность. Благодаря им я жила параллельными жизнями. То же самое касается моих друзей во плоти и крови. Я никогда не была страстным коллекционером картин, но мой друг Эверетт Остин был им. Мне никогда не приходилось с утра до вечера трудиться, чтобы содержать своих престарелых родителей, но моей приятельнице Эрике Фольгер, швейцарской модельерше, которой выпало поселиться в Гарлеме, пришлось. Я никогда не была (да и не мечтала быть) молодой женщиной, чьей красотой и элегантностью все восторгаются, но моя приятельница Л. К. была. Наши опыты смешиваются, подтверждают друг друга. Всякая симпатия и всякое понимание, которое мы дарим живым существам, будь то люди, жившие вчера, или наши современники, будь они творения нашего ума, спутники всей нашей жизни или те, кто ненадолго повстречались нам на пути, — все умножают наши связи с действительностью.

В минуты усталости мне случается думать, что я держусь за руку Зенона. По-моему, во время нашего первого знакомства в офисе "Экспресс", где происходило ритуальное мероприятие под названием "Экспресс продолжает свой путь", мне пришла в голову фраза, которую я с тех пор часто повторяла: "Что бы ни случилось, я уверена, когда я буду умирать, у моей постели окажутся врач и священник, Зенон и приор миноритов".

М. Г. А где будет Адриан?

М. Ю. Как всегда рядом или хотя бы поблизости, но человека, который двадцать лет старался "вернуть земле твердость", не беспокоят по поводу частных неприятностей. По-моему, все, что я пыталась выразить в связи с Адрианом, в каком-то смысле отразилось на мне. Его проницательность укрепляет некоторую долю проницательности, какой обладаю я. В периоды кризисов я вспоминаю, что и ему пришлось их пережить и он их преодолел; его disciplina augusta[1], его virtus augusta[2] меня поддерживают, и в особенности мне подходит девиз, которым он руководствовался во время своей последней болезни: Patientia[3]. Несмотря на все свои страсти, интересы и любовь к наслаждениям, несмотря на свой угрюмый брак, свои коллекции и сады, Адриан до конца остается тем, чем он был — великим правителем; точно так же мне было интересно показать, что Зенон, погруженный в свои метафизические и алхимические размышления, до конца остается врачом, пользующим бедных. Оба они, столь непохожие друг на друга, "хотят приносить пользу". Зенон, который пытается бежать в Англию, остающуюся его единственной надеждой на спасение, отказывается от своего намерения при мысли о том, что там, как и в других местах, жизнь будет полна компромиссов и лжи. Потом он проводит летнюю ночь на берегу моря и на заре погружается в волны; он думает о шуме моря, который длится от начала мира, и смиряется со смертью — пере-

1. Божественно-царственное знание (*лат.*).
2. Божественно-царственная доблесть (*лат.*).
3. Терпение (*лат.*).

ходом, который не выведет его за пределы Вселенной. Это – умиротворение через созерцание. Но у него остается только кусок хлеба и немного воды во фляге; он сознает, что до конца будет зависеть от людей, от колодца фермера, от арендатора, от булочника, который продаст ему хлеб, и ему придется принимать их услуги и служить им. Для меня это два совершенно идентичных явления: человек пребывает в мире, и остальное человечество пребывает там же.

Быть одиноким, чтобы приносить пользу

Матьё Гале. Даже если писателя всю жизнь сопровождают его персонажи, он по природе своей в принципе одинок. Вы одиноки?

Маргерит Юрсенар. Мы все одиноки, одиноки в рождении (каким одиноким должен чувствовать себя рождающийся ребенок!), одиноки в смерти, одиноки в болезни, даже если за нами хороший уход; одиноки в работе, потому что даже в группе, подобно скованным цепью каторжникам или рабочим на конвейере, каждый работает в одиночку. Но, по-моему, писатель не более одинок, чем другие. Посмотрите на этот маленький дом, здесь почти все время люди – они приходят, уходят. Это как дыхание. Только в очень редкие периоды жизни я чувствовала себя одинокой, да и то не совсем. Я одинока, когда я работаю, если быть в окружении идей и существ, рожденных твоей мыслью, означает быть одинокой; я одинока ранним утром, когда любуюсь восходом из моего окна или с террасы; одинока по вечерам, когда запираю дверь дома, любуясь звездами. По сути дела, это означает, что я не одинока.

Ну а в повседневной жизни опять-таки мы зависим от других и они зависят от нас. У меня много друзей в деревне; люди, которые меня обслуживают и без которых мне было бы трудно существовать в этом доме, в общем довольно изолированном (ведь у меня самой нет ни времени, ни физических сил, чтобы выполнять всю работу по дому и в саду), – это мои друзья; иначе их бы здесь не было. Я не понимаю, как можно воображать, что ты рассчитался с человеком, потому что дал ему (или принял от него) жалованье; точно так же в городе, если ты получил у него что-то (например, газеты) в обмен на мелочь или продукты в обмен на бумажную купюру. (Это, между прочим, основная идея "Динария мечты": монета переходит из рук в руки, но ее последовательные владельцы одиноки.) Вот почему я люблю жизнь в маленьких городах или в деревнях. Продавец съестного, когда он доставляет мне свой товар, распивает со мной, если у него есть время, стаканчик вина или сидра. Болезнь кого-то из членов семьи моей секретарши волнует меня, как если бы речь шла о ком-то из моих родственников, хотя я никогда этого человека не видела; я уважаю и почитаю женщину, которая ведет мое хозяйство, как сестру. Летом ребятишки из детского сада время от времени приходят поиграть у меня в саду; садовник из дома напротив – это друг, который в холодное время года приходит выпить со мной чашку кофе или чая. Конечно, и за пределами деревни есть люди, дружба с которыми основана на общих вкусах (к определенной

музыке, живописи, книгам), на общих взглядах или чувствах, но дружба, независимо от других мотивов, по-моему, прежде всего рождается из внезапной или постепенно возникающей симпатии к человеческому существу, такому же, как мы, и из привычки оказывать друг другу услуги. Когда принимаешь многих людей, никогда не бываешь тем, что называют одиноким. Класс (отвратительное слово, которое мне хотелось бы упразднить, как и слово "каста") тут роли не играет; культура, по существу, играет роль незначительную; я говорю это, разумеется, не для того, чтобы умалить значение культуры. Конечно, я не отрицаю того, что принято называть "классами", но люди непрестанно прорывают их границы.

Я вовсе не хочу сказать, будто здесь не существует равнодушия, недоверия, враждебности — будь это так, здешний остров и в самом деле был бы "Раем сердца", на что он претендовать не может. Но эти дурные свойства проявляются здесь, без сомнения, в несколько меньшей мере, чем в Нью-Йорке или Париже. Приведу только один пример: в последние годы жизни моя подруга, которая недавно скончалась, относительно мало бывала на людях, но мы заранее уговорились пойти вдвоем на рождественский обед к друзьям, жителям здешнего острова, супружеской чете, людям очень состоятельным (я вынуждена отметить это обстоятельство, чтобы было понятнее то, о чем я собираюсь рассказать), хотя их нельзя назвать несметно богатыми, — на берегу моря они владеют прекрасным лесом, изобилующим дикими зверями и птицами, которых они подкармливают в холодные снежные дни. Чтобы уточнить их образ, скажу, что они ирландцы и католики. Два года тому назад (для моей покойной подруги это должно было стать последним в ее жизни Рождеством) было решено, что мы пообедаем вчетвером, а других гостей не будет, чтобы не утомлять больную. Рождественским утром я услышала в телефонной трубке голос миссис Дж.: "Сегодня утром я встретила в деревне мусорщика. Вы знаете, что на днях от него ушла жена, оставив его с четырнадцатилетним сыном. Я пригласила их обоих к обеду. Надеюсь, вы не возражаете и они не слишком утомят Г." Разумеется, мы не возражали, мы вшестером провели этот вечер у камина за чудесным рождественским обедом, и каждый чувствовал себя среди друзей. Мне почти неловко подчеркивать то, что должно было бы быть само собой разумеющимся.

М. Г. И все же в нашем обществе число одиноких людей огромно.

М. Ю. По многим причинам, которые ведут к распылению человеческих сообществ, искусственно возводят барьеры между индивидуумами, между различными кругами, классами; из-за всяческих условностей, в которые не будем сейчас углубляться, из-за пагубной роли больших организаций. Очень многие медицинские сестры уверяли меня, что чувствуют себя более одинокими в громадных больницах, чем в больницах средней величины. Этот род навязанного одиночества принадлежит, на мой взгляд, к числу наших самых больших преступлений, как и его оборотная сторона — вынужденная скученность, постоянное пребывание на людях: так, например, педагоги стараются не дать ребенку возможности побыть наедине с самим собой. Каждый из нас должен быть всегда готов протянуть другому руку и в то же время никогда ничего не навязывать другим. Но возможно, чтобы не оказаться одиноким, надо любить одиночество. Весной птицы потому и возвращаются к "своему дереву",

что оно пережило то, что мы, быть может, ошибочно называем зимним одиночеством[1].

М. Г. А что такое одиночество, вызванное отсутствием, уходом человеческого существа?

М. Ю. Это каждый раз катастрофа не только эмоциональная, но и метафизическая: как *понять* слово "уход", слово "отсутствие"? Это в самом деле чувство, в котором утешиться нельзя, хотя всевластная жизнь часто почти чудом создает замену. Я не могу утешиться в смерти моих собак, у меня теперь другая собака, я люблю ее вместо них и отчасти из-за них.

М. Г. А если речь идет о людях?

М. Ю. Разница не так уж велика. Всякая жизнь размечена смертями и уходами, и каждая смерть, каждый уход причиняет страдания, которые лучше претерпеть, чем никогда не знать ушедших при их жизни. Каждый раз наш мир восстанавливается сам собой, но мы знаем, что и он не вечен. В этом случае можно сказать, что наша жизнь и наша смерть решительно и нежно берут нас за руку.

М. Г. Однако можно было бы ждать, что человек замкнется в себе, скажем, полностью уйдет в работу.

М. Ю. Это означало бы превратить свое "я" в тюрьму. Не думаю, что в подобных условиях работа будет плодотворной. Я не верю писателям, которые говорят: "Все свое время я посвящаю работе". Вероятно, они немало времени посвящают болтовне, курению, расслабляясь в гостиной или за чашечкой кофе. Концентрация ума во время работы настолько интенсивна, а стало быть, так изнурительна, что я не представляю себе, как они могут поддерживать ее в себе не только в течение суток, но даже в течение двенадцати часов. И потом, это означало бы лишить себя резервов, необходимого духовного обогащения, точно так же как не видеть солнца, не смотреть на деревья означало бы лишить себя естественной среды. Есть также человеческая среда, и она нам необходима, даже если мы не во всех случаях высоко ее ценим.

М. Г. Стало быть, вы никогда не работаете по двадцать четыре часа в сутки?

М. Ю. Нет, но мысль о работе сопровождает меня всегда, что не мешает мне заниматься другими делами, практическими, материальными, которые ее не прерывают. В религиозных тибетских учениях послушник надолго, иногда на целый год, удалялся в свою келью, чтобы учиться мысленно мало-помалу создавать божественный образ своего покровителя. Потом он выходил из кельи, и нужно было, чтобы его покровитель неотступно следовал за ним, и он сам тоже не терял его из виду, несмотря на мирские развлечения. Потом он должен был снова вернуться в келью и мало-помалу освободиться от образа, который со-

1. Я сознаю, что вокруг моего так называемого одиночества создалась легенда, вызванная не названием этого острова, а тем, что всегда, даже в годы молодости, когда дело касалось отношений, кратких или длительных, постоянных или прерывистых, которые и в самом деле что-то для меня значили, я старалась, чтобы они оставались в тени, так соответствующей всему сущностному. Вот почему стоит кому-нибудь заинтересоваться моей особой, как рождается легенда или, скорее, легенды. Ко мне являлись возбужденные посетители, воображавшие, что остров Маунт-Дезерт это Капрея; потом ко мне являлись другие, инквизиторским взглядом обшаривавшие бокалы на моей кухне и пытавшиеся учуять в них запах алхимии или магии. И мужчины, которые... И дамы, которые... Впрочем, от этих фантазеров есть известная польза: они учат писателя-историка не доверять историческим сплетням. (*Прим. автора.*)

здал, и вернуться к абсолюту, лишенному формы. Это полезно для всех нас. Полезно и для романиста. Я уже говорила вам, как в этой самой комнате студеным зимним вечером 1950 года описала смерть Адриана в Байе в июле 138 года. Я только не сказала, что в это время в соседней комнате полдюжины рабочих что-то ремонтировали и красили и я время от времени отрывалась от работы, чтобы поговорить с ними.

М. Г. В пресловутой анкете Марселя Пруста, которую вы, по-моему, недолюбливаете, потому что ее составил Жан-Луи Водуайе, первый критик, враждебно встретивший ваши произведения, вы на какой-то вопрос ответили, что хотели бы быть полезной. В чем писатель может быть полезен?

М. Ю. Всякий писатель или полезен, или вреден — одно из двух. Он вреден, если пишет вздор, если ради эффекта или скандального успеха он искажает или фальсифицирует правду (пусть даже неосознанно); если он без внутреннего убеждения подстраивается к мнениям, которые не разделяет. Он полезен, если способствует трезвости читательского взгляда, избавляет читателя от его робости и предрассудков, дает ему возможность увидеть и почувствовать то, что читатель без него не увидел бы и не почувствовал. Если мои книги читаются и задели хотя бы одного человека, хотя бы одного, и в чем-то ему помогли, пусть даже на короткое время, я считаю себя полезной. И так как я верю в бесконечную протяженность всех импульсов, и так как все продолжается и проявляется вновь в других формах, эта польза может оказаться достаточно длительной. Книга может дремать пятьдесят лет или два тысячелетия в уголке какой-нибудь библиотеки, и вдруг я открываю ее и обнаруживаю в ней чудеса или бездны, строчку, которая, как мне представляется, была написана для меня одной. В этом отношении писатель не отличается от других людей: все, что мы говорим, все, что мы делаем, оказывает большее или меньшее действие. Надо стараться оставить после себя мир, который стал немного чище, немного лучше, чем он был, пусть даже этот мир — всего лишь задний двор или кухня. Если абзац в "Блаженной памяти", где говорится об истреблении слонов, отбил хотя бы у одного богатого бездельника охоту поехать в Африку убивать слонов или хотя бы у одной женщины охоту покупать безделушки из слоновой кости, я буду считать, что не зря написала "Блаженной памяти".

Ольга Вайнштейн

Грамматика ароматов

Одеколон и "Шанель № 5"

Lecteur as-tu quelqefois respiré
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d'incens qui remplit une église
Ou d'un sachet le musc inveteré!

Ch. Baudelaire[1]

НЕРЕДКО образы прошлого нам кажутся плоскими, сухими и скучными — слишком много тонких и нежных нюансов безвозвратно разрушается со временем. Исчезают объем и дыхание, динамика живого жеста, лучшие книжки по истории костюма не могут передать сопутствующую одежде звуковую гамму: так пропадает загадочный шелест юбки фру-фру, столь волновавший людей конца XIX века. Шорох шелковой оборки тогда воспринимался как сигнал и секрет женского очарования — теперь это ощущение восстановить, наверное, невозможно.

Очень часто такой утраченной культурной ассоциацией оказывается запах. Знаковый эффект аромата — самый мощный и одновременно самый хрупкий компонент, составляющий — и в буквальном, и в переносном смысле — атмосферу эпохи. Именно в этом потерянном измерении скрыты мегабайты значимой информации, поскольку именно запахи интимно связаны с человеческим телом, с работой интуиции, памяти и воображения. Запах — испаряющаяся аура тела и вещи, её вибрирующий контур, первый подвижный пограничный слой между оболочкой и внешней средой. Наслаждение ароматом — метафора владения материальным миром в его самой эфемерной, летучей субстанции, на грани перехода в небытие.

Не оттого ли самые изощренные писатели всегда старались найти верные слова, чтобы хоть как-то уловить дразнящую прелесть запахов? Бальзак, Бодлер, Гюисманс[2], Оскар Уайльд, наш современник Патрик Зюскинд посвятили благовониям прочувствованные страницы, а в романе "Наоборот" появляется образ денди-парфюмера Дез Эссента, который сам синтезирует запахи, экспериментируя с ароматическими веществами как вольный художник.

Исторические смыслы парфюмерии очень подвижны. Если спросить, существуют ли приятные и неприятные запахи сами по себе, то ответ культуролога будет отрицательным: эмоциональная аура запаха целиком

1. Случалось ли, мой друг читатель, вам
Блаженствовать и томно длить
мгновенья,
Безумно, долго, до самозабвенья
Вдыхая мускус или фимиам.

Ш. Бодлер. *Цветы зла.*
Сонет XXXVIII (2).
Перев. В. Левика

2. Жорис Карл Гюисманс (1848—1907) — французский писатель-символист, автор романа "Наоборот" (1884).

© О. Вайнштейн, 2001

зависит от момента и контекста, нет и не может быть "объективной" оценки запаха. При том, что обоняние физиологично, "расшифровка" запаха регулируется культурными установками.

Знаменитый парфюмер Эдмон Рудницка[1] писал: "Запах, или собственно обонятельное (ольфакторное) впечатление, — это феномен сознания, вызванный действием определенного материала (натуральной эссенции или синтетического продукта)". Эта схема предполагает несколько этапов: действие пахучего вещества — возбуждение обонятельных рецепторов — выработка "ольфакторного послания" — обонятельное впечатление. Из них для нас наиболее интересна стадия оформления "послания", поскольку именно в этот момент активно подключается смысловое поле культуры: "возбуждение, чтобы вызвать общую реакцию, сначала переводится и кодируется", а затем уже передается через нервные импульсы в головной мозг, где этот сигнал соотносится с другой информацией, то есть попадает в знаковое поле и расшифровывается как приятный или неприятный, опасный или, может быть, расслабляющий. Далее уже следует реакция на уровне поведения и социальных императивов — таков самый условный алгоритм обонятельного впечатления: это траектория, ведущая от природы к культуре.

Грамматика ароматов редко становится объектом рефлексии, но ее законы исполнены смысла: интересно изучать историю запахов как особую часть культуры. Попробуем для начала разобраться в исторической символике запахов на одном конкретном примере.

Современному человеку вряд ли понравится запах пачулей, скромного растения из семейства мятных, — он скорее воспринимается как резкий и малоприятный. "Пачули, не знавшие себе равных по едкости затхлого и ржавого запаха в необработаном виде..." — писал о них Гюисманс[1]. А вот в эпоху наполеоновской империи пачули были в моде, и ни одна красавица не мыслила выхода в свет без их теплого смолистого аромата. Причина популярности пачулей скрывалась в индийских шалях: дамы носили неоклассические туники и, чтобы не замерзнуть, кутались в индийские кашемировые шали. А на Востоке кашемировые шали издавна прокладывали сухими пачулями, чтобы уберечь ткань от моли. Так землисто-древесный запах пачулей стал прочно ассоциироваться с красивыми шалями и превратился в символ модной экзотики. Дамы так обожали его, что парфюмерам пришлось срочно выпускать духи, настоянные на пачулях. Если представить себе женские образы на полотнах Энгра и Давида, то от этих дам должно веять пачулями.

К середине XIX века пачули, однако, уже утратили свою магнетическую привлекательность — прошла мода на Восток, и ориентализм временно отступил на задний план. Пачули стали неуместны в обонятельном пейзаже второй половины XIX века и воспринимались как символ дурного вкуса. Реабилитировала пачули только в 1937 году модельер-сюрреалистка Эльза Скьяпарелли, придумав духи "Shocking". А еще позднее, в шестидесятые годы, пачулями увлеклись хиппи, проповедовавшие восточную мудрость и flower power[2]: на волне возрождения ориентализма к нам вернулись и пачули.

Итак, история с пачулями подтверждает, что "прочтение" запаха целиком зависит от культурного контекста. Но как складывается тот или иной контекст? Это не просто механический срез исторических обстоятельств, текущей ситуации в искусстве и в науке. Порой все решают

1. Эдмон Рудницка — автор духов "Femme" Роша, "L'Eau d'Hermes" Гермес, "L'Eau Sauvage" Диор. См. E. Roudnitska. L'Univers du parfum. — В кн:. Les Odeurs. P., 1987 (Ed. J. Blanc-Mouchet, M. Perrot).

1. Ж. К. Гюисманс. Наоборот. Перев. Е. Л. Кассировой. Под ред. В. М. Толмачева. Здесь и далее цит. по кн.: Наоборот: три символистских романа. М., 1995.
2. Власть цветов (*англ.*) — лозунг хиппи, призывавших преобразовать общество через братскую любовь и духовное очищение, символом которых являются цветы.

почти незаметные тонкие условности вкуса и этикета: в свое время они были аксиомами, настолько очевидными, что их даже было не принято обсуждать, а сейчас они уже непонятны. И конечно, отношение к аромату во многом задает парфюмерная мода, а ее движущие силы — новизна и престиж.

Приглядимся — или принюхаемся — к истории всем знакомого одеколона. Родословная "Кёльнской воды" связана с итальянским семейством Феминис, владевшим старинным монастырским рецептом Aqua Admirabilis, куда входили бергамот, лаванда, розмарин, настоянные на виноградном спирту. Точные пропорции держались, разумеется, в тайне от посторонних. В 1709 году глава рода Жан Паоло Феминис переехал в Кёльн и вызвал туда на помощь племянника Джованни Мария Фарину, который обнаружил незаурядные способности, как мы бы сейчас сказали, менеджера и очень удачно стал продвигать продукт на рынке.

В период Семилетней войны 1756–1763 годов французские солдаты, побывав в Кёльне, привезли оттуда одеколон. Это была удивительная новинка, немедленно породившая спрос в Париже; тогда же возникло французское название "Eau de Cologne" — "Кёльнская вода". Новизна и редкость одеколона обусловили его дороговизну в Европе. Очевидно, что изначальный престиж одеколона был также связан с его недоступностью, иностранным происхождением и тайной аромата. Самые известные личности стали увлекаться одеколоном: большой любительницей одеколона была мадам Дюбарри[1].

Император Наполеон даже во время военных кампаний всегда имел при себе бутылочку с "Кёльнской водой", причем для него изготовили флакон специальной формы в виде валика, который можно было носить за отворотом сапога. Наполеон расходовал до двух флаконов в день[1], причем он не только душился одеколоном, но и капал его на сахар, в воду для ванны, для полоскания, считая, что одеколон в принципе полезен и стимулирует работу мозга.

Любовь императора к одеколону служила мощной дополнительной рекламой: каждый любитель одеколона чувствовал себя причастным к вкусам наполеоновского двора. Одеколон в то время уже продавался в Париже, где в 1806 году был открыт парфюмерный магазин Фарины. Три декады XIX столетия одеколон пользовался успехом и слыл элитарным запахом, однако его репутации роковым образом повредил... технический прогресс в парфюмерии.

В 1830 году был изобретен метод экстракции растворителями, позволяющий выделять душистости из эфирных масел. Так был получен ментол из мятного масла и гераниол из цитронеллового масла. Это позволило удешевить производство некоторых марок духов. Если раньше настоящие духи все-таки были предметом роскоши, то теперь ряд ароматов стал доступен по ценам для широкой публики и, соответственно, утратил оттенок престижности.

Эта судьба постигла и одеколон. Массовое производство спровоцировало полную утрату элитарности самой известной туалетной водой. Одеколон стал окончательно считаться дешевым запахом после того, как его полюбили младшие клерки. Средний класс в то же время начал пользоваться одеколоном исключительно в гигиенических целях. Благодаря снижению цен одеколон довольно быстро превратился в популярную и дешевую марку, и в 1863 году в Кёльне насчитывалось уже 63 парфюмерных

1. Графиня Дюбарри (1743–1793) — фаворитка короля Людовика XV.

1. Столь высокое потребление одеколона свидетельствует о высоких гигиенических стандартах императора: известно, что во время военных кампаний он возил с собой складную ванну. Правда, для любовных утех допускались исключения — из похода он писал супруге: "Жозефина, прекращай мыться. Я спешу и через восемь дней буду у твоих ног", — очевидно, запах немытого женского тела стимулировал его эротическое воображение.

магазина, торгующих одеколоном, причем все владельцы претендовали на родство с семейством Феминис-Фарина.

Случай с одеколоном показывает, как безжалостно губит престиж аромата downward mobility – способность спускаться вниз по социальной лестнице. Нельзя сказать, впрочем, что никто не пытался вернуть одеколону утраченную элитарность и имперскую ауру. В 1860 году парфюмер Пьер Франсуа Паскаль Герлен создал марку "Императорский одеколон" специально для императрицы Евгении, супруги Наполеона III. В оформлении флакона использовался орнаментальный мотив пчел и сот – деталь герба Наполеона. Эти соты, кстати сказать, украшают и флакон самых последних духов Дома Герлен "Aqua Allegoria".

Как видно из истории одеколона, на протяжении XIX века одеколоном пользовались как дамы, так и кавалеры – разделения духов на мужские и женские еще не существовало. Принц Уэльский, будущий Георг IV[1], как-то раз "унюхал" приятный запах одной дамы на балу и с тех пор пользовался этими духами. Наполеоновское пристрастие к одеколону разделяли его придворные обоего пола. Перемены в сфере мужских и женских запахов пока еще только зрели.

В целом эпоха Директории и Первой империи была ориентирована на интенсивную чувственность. Желая получить наслаждение от жизни, в средствах не стеснялись. Легендарная мадам Тальен[2] принимала ванны из молока, ароматизированного малиновым и клубничным маслами. В парфюмерии то же стремление выражалось в пристрастии к животным ароматам и интенсивным цветочным запахам типа пачулей и роз.

Супруга Наполеона Жозефина тоже в свое время отдала дань моде на пачули. Но ее любимыми запахами были розы (в дворцовых садах Мальмэзона цвели все виды роз) и мускус[1]. В начале XIX столетия ароматы, в которых доминировали животные элементы – мускус, амбра, цибетин, – пользовались небывалым спросом, и про Жозефину говорили: "Без ума от мускуса". Наполеон же, напротив, мускуса не переносил. Когда брак Жозефины с Наполеоном был расторгнут, она в отместку бывшему супругу надушила дворцовые апартаменты мускусом. Этот запах не выветривался, по свидетельству мемуаристов, десятилетиями и чувствовался еще в конце века.

Однако в тридцатые годы положение меняется. Период Реставрации завершается окончательным переходом от животных ароматов к легким цветочным[2]. Мускус, амбра, цибетин вытесняются лавандой, розмарином, флердоранжем, акацией, фиалкой и туберозой. Теперь считается, что резкие животные запахи могут послужить причиной неврозов, меланхолии и даже – истерии у женщин. Ароматы животного происхождения остаются на долю куртизанок, а благопристойным буржуазным дамам рекомендуется палитра из легких цветочных запахов. Это соответствует новой риторике любовного кокетства: надо уметь возбудить желание, не нарушая внешних канонов скромности, вскружить голову кавалеру, не делая недвусмысленных авансов.

Женщине предписывается слабость, утонченность, деликатность чувств и поэтичность натуры. Поэтому оптимальная метафорика женского образа – флоральная: женщина ассоциируется с цветком, невинным, слабым и прекрасным. Отсюда мода украшать наряд цветами, увлечение

1. Георг IV (1762–1830) – король Англии с 1820 по 1830 год. Был принцем-регентом с 1811 по 1820 год.
2. Мадам Тальен (1773–1835) – светская дама эпохи Директории.

1. Мускус – пахучий секрет, получаемый из желез самца мускусной кабарги. В парфюмерии мускус используется в виде настоя, придает духам чувственную ноту; серая амбра – выделения кашалота, применяется в виде спиртового настоя в качестве "запаха морского побережья" и для фиксации композиции; цибетин – сильно пахнущее вещество, добываемое из желез виверры, используется в парфюмерных смесях.
2. Подробнее см.: А. Корбен. Ароматы частной жизни. Новое литературное обозрение, 2000, № 43, с. 60–86.

оранжереями и зимними садами. Светские героини из романа "Парижские тайны" Эжена Сю устраивают у себя дома роскошные зимние сады и украшают свои бальные наряды живыми цветами: "В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали, наподобие капель росы, полускрытые в ней бриллианты; венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб"[1].

Изменяются и правила использования косметики: отброшены пудра, румяна и белила, столь популярные в XVIII веке. Отныне врачи говорят, что кожа должна дышать, поры должны быть открыты, поэтому следует больше применять очищающие лосьоны, ополаскивать лицо мыльным раствором и увлажнять миндальным кремом. Хотя для вечерних выходов по-прежнему используется пудра, позволяющая достичь эффекта "жемчужной кожи", и черная подводка для глаз, в целом потребление косметики и духов сокращается.

Новые манеры требуют иного обращения с духами: теперь духи нельзя наносить прямо на кожу, как раньше. Полагается душить отдельные предметы туалета: носовые платки, веер, перчатки и митенки, кружева, окаймляющие бальный букетик цветов. Белье в доме должно благоухать свежим запахом лаванды.

За этими меняющимися канонами парфюмерного этикета стоят крупные сдвиги в жизни общества и прежде всего оформление среднего класса как активной социальной силы. Новый класс хочет маркировать свой статус через особое отношение к телу, чему весьма способствует развернувшаяся как раз в этот период санитарная реформа. Забота о гигиене позволяет прежде всего отделить себя от "грязной" бедноты, выдвигая идеал стерильного буржуазного уклада. Но другим полюсом противопоставления является прежняя аристократия, употреблявшая раньше слишком тяжелые животные ароматы. В поисках своего гигиенического стандарта средний класс снижает потребление духов, поскольку теперь уже не надо заглушать духами запах немытого тела, и открывает для себя преимущества частых купаний. Духи, напротив, начинают рассматриваться как нечто вредное, забивающее поры чистой кожи.

Описанный сдвиг в смысловой символике парфюмерии аналогичен происходившей в то же время революции в мужском костюме. Из мужского костюма уходит цвет: взамен ярких синих, зеленых, коричневых оттенков воцаряется унылый черный. Черный фрак и сюртук становятся универсальной мужской униформой: столетие предпочитает облачиться в траур, как говорит Бодлер.

Еще один признак из той же серии подспудных перемен — изменения в диете. Блюда с большим количеством пряностей в тридцатые годы становятся немодными. Они ждут своего часа до новой волны увлечения Востоком ближе к концу века. Пока же средний класс опасается экзотики. По сходной логике буржуа — завоеватель колоний относит экзотические ароматы к признакам "низшей" колониальной культуры. Это лишний раз показывает, что в культуре все взаимосвязано и существенные изменения срабатывают комплексно, в нескольких сферах сразу.

В то же время изменяется отношение к сексу, что особенно заметно в Англии: пресловутая викторианская чопорность диктует подчеркнутую скромность, а животные ароматы читаются как "нескромные". Буржуазная стыдливость подразумевает повышенную бдительность в отношении женского тела: мода на кринолины в середине века окончательно скрывает естественные очертания женской фигуры. Все, что связано с телесным низом — сексуальные удовольствия, менструации, роды, — становится абсолютным табу в обществе.

Неслучайно именно в этот период происходит решающая перемена в нормативных представлениях о женских и мужских запахах в парфюмерии: появляется потребность провести четкую символическую границу,

1. Э. Сю. Парижские тайны. Перев. О. Моисеенко и Ф. Мендельсона. М., 1989.

чтобы исключить любые недоразумения. Счастливые заимствования понравившихся запахов (как в случае с принцем Уэльским) или универсальность одеколона теперь уже отнюдь не приветствуются.

С тридцатых годов традиция унисексных духов полностью отступает и духи начинают отчетливо подразделяться на мужские и женские. В Англии, а потом и в других странах мужчины перестают пользоваться животными и цветочными ароматами. На их долю остаются "лесные" запахи — сосна, кедр, дубовый мох, отражающие метафорику охоты, потом к ним добавляется запах кожи, на что позднее делает ставку фирма "Гермес". Другие допустимые мужские запахи — аромат благородных сигар и табака, запах чистого тела и виски. Основные парфюмерные дома середины XIX века — Убиган, Любен, Пивер — практически не выпускают специальных духов для мужчин. Отсутствие искусственного запаха у мужчин маркируется как новая культурная норма, символическая проекция честности, прямодушия, порядочности.

Эта ситуация начнет потихоньку меняться только к концу XIX века, когда эстетика европейского декаданса санкционировала в образе идеального мужчины толику женственности или, по крайней мере, утонченной чувствительности. В 1889 году Эме Герлен выпустил духи "Jicky", в которых цибетин, лаванда и бергамот сочетались с синтетическими кумарином, ванилином и линалолом. "Jicky" считается первым образцом современной парфюмерии. Этот сложный аромат изначально предназначался для дам, но некоторые завзятые франты "перехватили" его и ввели в моду среди мужчин. Был даже зафиксирован случай отравления духами "Jicky", причем жертвой оказался никому не известный юный денди.

Сделав правильные выводы из истории с "Jicky", Герлен в 1904 году выпускает специальные мужские духи с программным названием "Mouchoir de Monsieur"[1] — для модников, любителей душить носовой платок. Затем уже другая фирма выступила с духами для мужчин "Chevalier D'Orsay", и далее это стало обычным: табу было снято. Но оформление флакона мужских духов принципиально отличалось от женских своими прямоугольными очертаниями и сравнительной простотой украшений.

(Небольшое отступление на эту же тему: семидесятые годы XX века отмечены расцветом феминизма — на сцене появляется энергичная, самостоятельная женщина. Как реагирует рынок парфюмерии? В 1973 году компания "Ревлон" запускает духи "Charlie", пользующиеся феноменальным успехом. Реклама "Charlie" акцентировала образ идеальной активной клиентки, которая носит брючный костюм в офисе, делает карьеру и сама приглашает мужчин на танец в клубах. Через десять лет сходную стратегию применила фирма "Jockey", специализировавшаяся на мужском белье. Они предложили линию женского белья "Jockey for Her" из хлопка, без традиционных кружев и сразу побили все рекорды продаж, ориентируясь на уже выявленную категорию потребителей — деловых дам.)

Но вернемся к культурным переменам в середине XIX века. Царство тонких цветочных ароматов теперь привилегия слабого пола. Развитое обоняние начинает ассоциироваться с такими женскими способностями, как интуиция, чувствительность, аккуратность. Напротив, чисто "мужской" орган восприятия — зрение, осмысляемое как умозрение, теоретическое познание, ведущее к практическому освоению нового пространства, — взгляд исследователя и завоевателя. "С одной стороны — географические карты, микроскопы и деньги; с другой — сосуды для благовоний, еда и духи"[1].

После утверждения нового стандарта буржуазной мужской нейтральности запах начинает восприниматься как отклонение от нормы, признак Другого. Носители запахов маркируются в общественном сознании как

1. "Мужской носовой платок" (*франц.*).

1. C. Classen, D. Howes, A. Synnott. Aroma. The cultural history of smell. L., 1994, p. 84.

маргиналы. Среди представителей маргинальных категорий — дикарь, "savage" (Другой с имперской точки зрения); бедняк ("грязные" нищие, рабочие), ребенок; куртизанка, использующая резкие запахи-афродизиаки; лица нетрадиционной сексуальной ориентации (Другие в рамках официальной морали) и, наконец, богема, вольные художники без определенных занятий.

Вытеснение на идеологическую периферию определенных запахов — восточных благовоний, тяжелых животных ароматов, запаха человеческого тела — означало, что они получают явную негативную маркировку в культуре. А там, где есть табу, есть и возможность эффектно его нарушить, чем не преминули воспользоваться хитроумные литераторы. Описание неприемлемых запахов развернулось в подробные "обонятельные" пейзажи у романистов и поэтов: Бальзак, Виктор Гюго, Бодлер, Малларме, Эмиль Золя использовали запах как прием для выражения оппозиционных настроений, для шокирования благонамеренной публики. Именно поэтому позднее у Оскара Уайльда, Гюисманса, Рильке и Мачадо запах с такой легкостью приобрел коннотации греха, соблазна, чувственного вызова.

В 1855 году Бодлер пишет свой знаменитый сонет "Соответствия" (четвертый в сборнике "Цветы зла"). В нем запахи предстают ключевым символом вселенской гармонии ("Соответствия" были навеяны чтением Сведенборга):

Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад,
Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен.
Другие — царственны, в них роскошь и разврат,
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен,
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам[1].

1. Ш. Бодлер. Цветы зла. Перев. В. Левика.

Царство запахов для поэта — территория эстетизма, тайный код сенсуальных наслаждений. Но такие воззрения в тот период были далеко не общеприняты. Как известно, сборник "Цветы зла" вскоре после публикации был осужден цензурой. Бодлер все время играл на соединении двух табуированных мотивов: эротическое тело и интенсивный запах. Вряд ли можно считать случайностью, что тексты наиболее выразительных и откровенных стихотворений сборника изобилуют упоминаниями экзотических и телесных ароматов — тут и "острый запах" нагого тела, ассоциирующийся с восточными благовониями, и "душистые юбки" возлюбленной, и аромат ее волос, "отягченный волною истомы"...

Вероятно, оттого Бодлер и спрашивал читателя, случалось ли ему блаженствовать, вдыхая мускус и фимиам, — эти два полярных запаха, животный и растительный, аромат страсти и аромат святости, обозначали для него символический диапазон обоняния, к которому должен быть подключен идеальный читатель. По поэзии Бодлера и впрямь можно изучать чуть ли не весь ассортимент запахов эпохи, причем границы ольфакторного пейзажа как раз тогда были существенно расширены.

Во-первых, на волне увлечения колониальными товарами в европейских странах на рынках понемногу появились восточные благовония. Ими стала увлекаться артистическая богема, создавшая моду на ориентализм. Во-вторых, на помощь эстетам пришла технологическая революция в парфюмерии.

Самый значительный прорыв произошел в 1868 году, когда английский химик Уильям Перкин создал первый синтетический запах: кумарин, душистое вещество ячменника, был получен из салициловой кислоты. Далее были синтезированы мускус (1888), ваниль (1890), фиалка (1893) и камфора (1896). Кумарин, имеющий запах свежескошенного сена, был использован в 1882 году в духах Поля Парке из Дома Убиган, а затем в знаменитом "Jicky" (1889)

Герлена, открывающем эру модернизма в парфюмерии.

Синтетические ароматы окончательно придали парфюмерии статус особого ремесла — наполовину науки, наполовину искусства. В 1867 году на Всемирной выставке был предусмотрен особый отдел для лекарств, мыла и духов. Многие парфюмеры, однако, отказались участвовать в этом мероприятии, потому что Наполеон III, патронирующий выставку, потребовал, чтобы парфюмеры писали на этикетке формулу духов, как аптекари — перечень ингредиентов в составе лекарства. Но раскрыть формулу для парфюмеров означало поделиться с посторонними своими драгоценными секретами, чего они испокон веков избегали. Сопротивление новейшему коммерческому духу подчеркнуло эзотеризм, присущий парфюмерному ремеслу.

С середины века происходит профессионализация парфюмерного дела, выделение его из смежных специальностей. Так, фирма "Герлен" была создана в 1828 году, и вначале в ее каталоге числились и жир канадского медведя, и восточная пудра для полировки ногтей, и нюхательные соли, и белила для кожи[1]. Лишь позднее, в 1840 году Пьер Франсуа Паскаль Герлен открыл бутик на рю де ла Пэ и стал специализироваться на духах. Он составил туалетную воду персонально для Оноре де Бальзака, а в 1860 году — для императрицы Евгении, благодаря чему получил звание императорского поставщика. В дальнейшем фирма "Герлен" сохранила свою уникальность: она до сих пор остается семейным делом и специализируется только на парфюмерии. Сейчас фирму возглавляет Жан-Поль Герлен. Это стоит специально оговорить, поскольку чисто парфюмерных дома теперь осталось лишь два: Герлен и Ланком.

Итак, перечислим еще раз, какие главные обстоятельства определяли ольфакторную цивилизацию в середине XIX века: профессионализация ремесла парфюмера и вытекающий отсюда эзотеризм; утверждение нейтральной нормы буржуазных мужских запахов; альтернативная эстетика чувственных запахов в литературе.

Все эти факторы привели к возникновению особого феномена: *"парфюмерного дендизма"*. Это был новый вариант эстетизма, характерный для второй половины века. Денди стали культивировать занятия парфюмерией как особую разновидность эстетского досуга. Они коллекционировали духи, размышляли о философии обоняния, соревновались в исследовании редких и экзотических ароматов. Это было эзотерическое братство ценителей запахов, разработавшее свои теории и ритуалы. Адепты считали парфюмерию высшим искусством, наподобие алхимии или — позднее — "игры в бисер" у Гессе. Напомним, что в романтической культуре самым символически насыщенным кодом считалась музыка. Как метаискусство музыка давала метафорический язык для описания других сфер. След этого влияния — такие музыкальные термины в парфюмерии, как "нота запаха".

Эстетские парфюмерные увлечения воспринимались добропорядочной филистерской публикой весьма подозрительно: это нарушало базовую "нейтральную" норму среднего класса. Но дело заключалось еще и в том, что настоящие хорошие духи были дороги. Постоянные траты на парфюмерию вызывали моральное неодобрение буржуа — для них это значило в буквальном смысле "пускать деньги на ветер", проявлять легкомыслие и фривольность. Эфемерность запахов слишком контрастировала с буржуазными пристрастиями ко всему солидному, тяжелому, основательному. Даже покупка дорогих женских духов с целью "потребления напоказ" могла быть оценена по достоинству не наверняка, а только если попадался просвещенный любитель с развитым чувством обоняния.

Кто же реально может претендовать на звание денди-парфюмера? Прежде всего профессиональные парфюмеры, которым был не чужд дендистский стиль. Достаточно по-

1. Подробнее см.: Ф. Павья. Чарующий мир духов. М., 1997.

смотреть на фотографии знаменитых парфюмеров – и Эме Герлену, и Эрнесту Бо, и Эдмону Рудницка, и Жану Керлео свойственна особая сдержанная элегантность, старомодная щеголеватость. Кажется, будто они представляют особую касту эстетов-алхимиков.

Самый яркий образ денди-парфюмера в литературе был создан Гюисмансом в романе "Наоборот". "Парфюмерному дендизму" в романе посвящена отдельная глава, где подробно описывается увлечение героя запахами: "Дез Эссент уже долгие годы целенаправленно занимался наукой запахов. Обоняние, как ему казалось, могло приносить ничуть не меньшее наслаждение, чем слух и зрение, – все эти чувства, в зависимости от образованности и способностей человека, могли рождать новые впечатления, умножать их, комбинировать между собой и слагать в то целое, которое, как правило, именуют произведением искусства. И почему бы, собственно, не существовать искусству, которое берет начало от запахов?"

Обратим внимание, что для настоящих занятий этим искусством требуется "образованность" или, как сказано дальше, "выучка": тут дело не сводится к чувственному различению запахов – автора скорее занимают профессиональные аспекты парфюмерного ремесла. Напомним: роман был написан после того, как Перкин получил кумарин, и уже были известны мирбан (искусственное миндальное масло, нитробензол), грушевая, яблочная и ананасовая эссенции. Вскоре после 1884 года были открыты синтетические мускус, ваниль и фиалка. Видимо, Гюисманс был серьезно увлечен новейшими тенденциями в парфюмерии: недаром в тексте вскоре возникает искусственный аромат свежескошенного сена – это как раз запах кумарина. И далее Дез Эссент рассуждает о том, что "Любое благоухание... может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей".

В технологических процессах парфюмерии – экстракции растворителями, мацерации, анфлераже и химическом синтезе – он усматривает таинство абстракции, сравнимое со свободой художника, вольно изменяющего природные формы. Для него самое ценное – несходство изначальных элементов с окончательной композицией: "В парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень". Эта логика приводит к нарочито заостренному парадоксу: "В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала Дез Эссента больше всего". "Неестественность" парфюмерии, таким образом, становится аналогом символического искусства, отказывающегося от простого воспроизведения жизненных фактов. Эстетика декаданса, провозгласившая апологию культуры в противовес природе, довела этот тезис до логического предела.

Кроме того, предпочтение "неестественности" приводит к отказу от установки исключительно на "красивые" ароматы в парфюмерии: эстет ценит современные – и необязательно приятные – запахи. Он синтезирует "запах фабричной краски, одновременно и нездоровый и чем-то возбуждающий. Опыты Дез Эссента этим не ограничились. Теперь он мял в пальцах шарик стиракса[1], и в комнате возник очень странный запах, сочетавший тонкое благоухание дикого нарцисса с вонью гуттаперчи и угольного масла". Так возникает объемная, расположенная в пространстве картина индустриальной окраины.

Этот обонятельный пейзаж – плод современной городской культуры, уже сформировавшей к концу XIX века особое умонастроение в стиле "модерн". Оно подразумевает, в числе прочего, два элемента. Во-первых, апофеоз техницизма, преклонение перед индустриальными чудесами (синтетические ароматы,

1. Стиракс – сиамская бензойная смола, которую добывают из дерева Styrax Tonkinensis в Лаосе и во Вьетнаме. Из нее экстракцией растворителями получают резиноид, используемый парфюмерами для округления запаха композиции.

косметика, грядущий переход от газа к электрическому освещению и культ автомобиля в начале XX века). Во-вторых, удовольствие от ощущений, традиционно считавшихся неприятными – дурных запахов, боли, зрелища разложения ("Цветы зла" Бодлера, "Венера в мехах" Л. фон Захер-Мазоха). "Нездоровый" запах фабричной краски объединяет оба элемента.

Через восемь лет после написания "Наоборот" Гюисманс становится католиком-траппистом. В предисловии к изданию 1903 года он делает обзор романа уже с религиозных позиций и, в частности, опять обращается к теме запахов. Довольно забавно читать, как поздний Гюисманс упрекает Дез Эссента за то, что он был занят лишь мирской стороной запахов – духами, парфюмерными комбинациями. "Он мог бы взяться за церковные благовония – ладан, миро и тот таинственный фимиам, который упоминается в Библии..." – благочестиво сокрушается Гюисманс, но тут в нем все же пробуждается денди-парфюмер времен его молодости и он на всякий случай подсказывает своему герою рецепт фимиама из Книги Исхода. Правда, есть закавыка – в состав его входит хрящик, закрывающий раковину таинственного моллюска. Отсюда печальный вывод: "Нелегко, если не сказать невозможно, – ввиду неточного описания моллюска и мест его обитания – приготовить настоящий фимиам". Задача оказывается сколь возвышенной, столь и неисполнимой, и в итоге хрящик мифологического моллюска становится залогом мировой гармонии – торжествует романтическая ирония.

Роман Гюисманса оказал огромное влияние на Оскара Уайльда. Он называл его "Кораном декаданса", и неслучайно в "Портрете Дориана Грея" главный герой увлеченно читает "желтую книгу", которую дарит ему лорд Генри, – это и есть "Наоборот". Эстетические теории Уайльда частично восходят к Гюисмансу. Идея неестественности культурного восприятия, высказанная в "Наоборот", была подробно развита Уайльдом в статьях "Упадок лжи", "Критик как художник".

Уайльдовский Дориан Грей во многом подражает эстетическим вкусам Дез Эссента и тоже отдает дань парфюмерному дендизму. Даже описание его увлечения парфюмерией строится по аналогичной схеме: "Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак[1] развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении[2], от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии"[3].

Мотивы рассуждения, как легко заметить, примерно те же: мифология и символика запахов, связь физического и духовного; однако заметны и некоторые новые акценты. Ведь в этом пассаже, по сути, Уайльд развивает свою теорию "нового гедонизма", предписывающую расширять сферу чувственных наслаждений. Герою не терпится доискаться до сути психологического воздействия запа-

1. Чампак (michelia champaca) – дерево из семейства магнолиевых, встречающееся в Восточной Индии; из цветов чампака изготавливается ароматическое масло.
2. Ховения (hovenia dulcis), также японское, или медовое дерево, – небольшое дерево с гладкими блестящими листьями и желтыми душистыми цветами; встречается в Китае, Непале, Индии и Японии, отличается редкой красотой.
3. О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. Перев. М. Абкиной. – В кн.: О. Уайльд. Избранное. М., 1986.

ха. Но его вариант "парфюмерного дендизма" больше ориентирован на научно-позитивистский подход. В своих экспериментах Дориан Грей руководствуется позитивистской философией конца века. Его привлекают материалистические концепции Фохта и Бюхнера[1], которые пытались привить на немецкой почве учение Дарвина.

Очень скоро, в 1899 году, через восемь лет после публикации романа Уайльда, этот же путь мысли в британской культуре будет развернуто представлен у Хэвлока Эллиса[2]. В своем известном труде "Психология секса" он размышлял, почему неврастеники болезненно чувствительны к ароматам, как возникает иллюзия "запаха святости", отчего бывают обонятельные галлюцинации. Эти же проблемы занимали в то время и известного французского врача Шарко[3]. Он ставил опыты, пытаясь понять воздействие запахов на пациентов под гипнозом. А его ученик Фрейд вообще считал, что чувствительность к запахам — атавизм, симптом заторможенности в психическом развитии. Логическое завершение эти идеи получили у Макса Нордау[4], усматривавшего в увлечении запахами признак дегенерации.

Перечисляя эти концепции, мы не имеем в виду, что Уайльд буквально следовал тем или иным теориям, тем более что многие были сформулированы уже после выхода романа в свет. Скорее эти концепции составляли общую атмосферу эпохи, которую Уайльд превосходно ощущал. В этой атмосфере символизм теснейшим образом переплетался с натурализмом, поиск материалистических основ эмоций — с самыми запредельными мистическими переживаниями.

Квинтэссенция этих настроений — драма "Саломея", написанная Уайльдом по-французски в 1893 году. История библейской героини — популярный во второй половине XIX столетия сюжет: его использовал Флобер в "Саламбо" и Малларме в "Иродиаде"; о Саломее философствует Дез Эссент в романе Гюисманса. Уайльдовский текст был переведен на английский лордом Альфредом Дугласом, и в том же году в Лондоне должна была состояться премьера. На роль Саломеи была приглашена Сара Бернар, которой в тот момент было сорок восемь лет, но это ничуть не смущало автора: он доверял артистическому таланту "этой змеи древнего Нила". Сара Бернар хотела сама исполнять Танец семи покрывал и была так увлечена идеей, что существенным образом субсидировала постановку.

В оформлении спектакля все строилось на запахах. Представление замысливалось как синкретическое зрелище, где вместо музыки использовались ароматы. В оркестровой яме планировалось установить гигантские курильницы, испускающие по ходу представления различные благовония. Каждое действие и каждый герой имели свой ароматический камертон. Экзотические запахи должны были даже заменить занавес, отмечая начало и конец каждого акта. Саломея носила серьги в виде миниатюрных фиалов с благовониями, капающими ей на плечи. И разумеется, ароматическая кульминация приходилась на Танец семи покрывал, которым соответствовали семь слоев запаха.

Подобная оркестровка запахами, помимо всего прочего, была призвана установить особый контакт между залом и сценой: после представления насквозь пропитанная благовониями публика, выходя на улицу, оказывалась рекламным сообщником режиссера. Уайльд задумывал коллективный перформанс, в котором через запахи публика вовлекалась в своеобразный ароматический заговор, по-

1. Карл Фохт (1817–1895) — немецкий философ, сторонник естественно-научного материализма; Людвиг Бюхнер (1824–1899) — немецкий философ-позитивист, врач и естествоиспытатель.
2. Хэвлок Эллис (1859–1939) — английский врач и писатель, автор семитомного труда "Психология секса" (1897–1928).
3. Жан Мартен Шарко (1825–1893) — французский врач, организовал первую неврологическую клинику в госпитале Сальпетриер в Париже. Учитель Фрейда.
4. Макс Нордау (1849–1923) — немецкий писатель, философ, автор теории дегенерации в культуре.

неволе превращаясь в массовку. Нечто похожее уже было проделано за год до этого на премьере пьесы "Веер леди Уиндермир", когда сам автор и его друзья явились в театр с зеленой гвоздикой в петлице.

К сожалению, этому великолепному замыслу не было суждено осуществиться. Сначала сопротивлялась дирекция театра из противопожарных соображений, а потом постановка "Саломеи" была и вовсе запрещена цензурой, усмотревшей в пьесе непристойные мотивы. Только в 1896 году "Саломею" поставили в Париже, но Уайльд уже не смог насладиться этим зрелищем, поскольку отбывал срок заключения.

Под конец скажем немного о самых знаменитых духах XX столетия — "Шанель № 5". Габриель Шанель не любила традиционные цветочные запахи, считая их приметой буржуазного стиля. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. Неумеренное потребление духов было во многом вынужденным, поскольку большинство ароматов было нестойким и быстро выдыхалось.

Новаторское мышление Шанель нашло опору в последних научных разработках того времени. К 1920 году в парфюмерии уже применялся синтетический мускус в качестве фиксаторов композиции. Использование фиксаторов позволило дозировать потребление: сильно душиться стало попросту ненужным.

Но главной технологической новинкой, использованной Шанель, были альдегиды — синтетические вещества, полученные в результате восстановления жирных кислот. Работать с ними было трудно и непривычно: они отпугивали парфюмеров своим резким и неприятным запахом и вдобавок эти летучие соединения было трудно закрепить. Воспользоваться этими еще неапробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо, до этого работавший в фирме "Ралле".

Творческая смелость Эрнеста Бо позволила совершить полный переворот в парфюмерии: альдегиды придавали композиции абстрактный характер. Духи с узнаваемым запахом были заменены на сложный, неопределенный аромат, в котором самый опытный "нос" не мог вычленить главные компоненты. При первой пробе обычно чувствуются роза и жасмин, иланг-иланг[1], но все перекрывают альдегиды. На самом деле верхнюю ноту композиции составляли альдегиды и бергамот, среднюю — ландыш и жасмин, а нижнюю — ветивер[2] и сандаловое дерево.

Абстрактный оттенок аромата можно сравнить по эстетическому эффекту с абстракционизмом в искусстве. Отказ от принципов фигуративности в живописи В. Кандинского и П. Мондриана, К. Малевича и Ж. Миро сопоставим с отказом от узнаваемых запахов в композиции духов. Это был сугубо современный подход. Ставка на новые технологии, в данном случае — использование альдегидов, повлекла за собой авангардную эстетику "Шанель № 5". Суть ее заключалась в отказе от мимесиса, подражания природе, а "антиприродность", в свою очередь, делала необязательным узнавание.

Существует легенда, что, экспериментируя с неустойчивыми альдегидами, Эрнест Бо, сам того не желая, немного нарушил пропорцию и окончательный вариант был получен в результате счастливого случая. Но этой легенде противоречит документально засвидетельствованная история о том, как Эрнест Бо предоставил Шанель несколько проб и она выбрала одну, считая пятый номер для себя благоприятным. Как видим, "счастливый случай" был, во-первых, одной из двадцати четырех разработок парфюмера и, во-вторых, был со-

1. Иланг-иланг (cananga odorata forma genuina) — тропическое дерево, произрастающее на Мадагаскаре и на Каморских островах. В парфюмерии используется ароматическое масло, добываемое из желтых цветов иланг-иланга.
2. Ветивер, или кус-кус — корень растения Vetiveria zizanioides. Ветивер собирали в Восточной Индии, и он составлял основу духов "муслин". Ткань "индийский муслин" ароматизировали этим корнем.

знательно отобран на последнем этапе самой Шанель.

Сухое цифровое название первых духов Шанель и простой квадратный флакон идеально отвечали духу конструктивизма, влиятельного течения в первые декады XX века. Конструктивизм выводит на первый план *функциональную геометрию формы.* Представители конструктивизма — архитекторы Ле Корбюзье, К. Мельников, художники Р. Делоне, К. Малевич, Эль Лисицкий — стремились к простой суровой выразительности чистой целесообразности, избавляясь от декоративных элементов[1].

Из всех вариантов европейского конструктивизма, вероятно, Шанель был наиболее близок французский. Во Франции в 1918—1925 годах был популярен "пуризм"[2]. Духи "Шанель № 5" появились в 1921 году и во многом отражали пуристские и конструктивистские идеи, витавшие в атмосфере того времени. Влияние конструктивизма ощутимо не только в цифровом названии, но и в форме флакона. Это один из первых образцов классики XX века, и не случайно сейчас флакон "Шанель № 5" выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Отсутствие декоративных элементов, лаконичный прямоугольный контур стеклянного флакона, строгая белая этикетка, удлиненная прозрачная крышка — все выражало любовь к геометрии и функциональности. Флакон как бы растворялся в световых лучах, указывая на содержимое — драгоценную ароматическую жидкость.

Очистив флакон от лишних украшений, Шанель нарушила весьма существенные условности в сложившейся эстетике духов. По замыслу дизайнеров, прямоугольный контур флакона содержал скрытую аллюзию на прямоугольные очертания знаменитой Вандомской площади в Париже[1]. Но для современников подобная строгая форма флакона для дамских духов была непривычной, поскольку строгий прямоугольник однозначно ассоциировался с мужскими одеколонами: женские флакончики традиционно делались в более фантазийном стиле.

Однако Шанель было не впервой нарушать гендерные условности: она одна из первых женщин начала носить в публичных местах брюки; шокировала всех, появившись в оперном театре с короткой стрижкой (чему потом все бросились подражать). "Узурпация" мужской формы флакона шла в полном соответствии с другими ее дизайнерскими разработками: платьями из джерси, смоделированными по английским мужским пуловерам, удобными комплектами из трикотажа в спортивном стиле. Можно без особых натяжек сказать, что "Шанель № 5" — парфюмерный аналог "маленького черного платья": тот же универсальный минимализм и чистый контур, обеспечивающие постоянную востребованность стиля.

Сейчас духи "Шанель № 5" по-прежнему имеют много поклонниц, в основном среди пожилых богатых дам, которые помнят еще эпоху расцвета Дома Шанель и саму великую Мадемуазель. Но нынешние любители изысканных ароматов, ориентирующиеся, допустим, на духи Йоджи Ямамото, считают "Шанель № 5" архаикой, и их логику можно понять. Для них этот аромат не может конку-

1. Это отмечают авторы сайта Дома Шанель в Интернете: www.chanel.com.

1. Модификации конструктивизма — минимализм и абстракционизм в искусстве. Как раз в 1921 году в России была организована "Первая рабочая группа конструктивистов", куда входили А. Ган, К. Иогансон, К. Медунецкий, А. Родченко, братья Стенберги. В Германии в 1919—1925 годах работала конструктивистская архитектурно-художественная школа Баухаус, в которой принимали участие В. Гропиус, П. Клее, Л. Мохой-Надь и другие мастера.
2. Основатели пуризма — художники А. Озонфан и Э. Жаннере, архитектор Ле Корбюзье — в 1918 году выпустили манифест "После кубизма", в котором утверждали, что кубизм превратился в чисто декоративное искусство и на смену ему должен прийти функциональный "пластический символ", отражающий инструментальное назначение каждого предмета. Чистота ("пуризм") конструкции требовала очистить форму от всех лишних деталей, превращая ее в схему, тип. Некоторое влияние пуризма ощутимо в работах Ф. Леже, отражающих культ машин и техники. Наиболее полно принципы пуризма воплотились в архитектуре Ле Корбюзье.

рировать с современными духами, в которых преобладают озоновые или фруктовые ноты, он законсервирован в своей почетной исторической рубрике.

Однако совсем недавно была сделана попытка изменить имидж "Шанель № 5", чтобы сломать подобную инерцию восприятия. Осенью 2000 года был выпущен спрей "Шанель № 5" с запасными блоками в новом дизайнерском оформлении. Основная идея рекламы — легкость использования, портативность нового спрея. Миниатюрный флакон упакован в прозрачную пластиковую сумку с цифрой "5": именно такие прозрачные сумки стали атрибутом молодежной моды 2000 года. Переливающиеся розово-желтые блики создают ощущение игры света, динамизма и энергии. "Шанель № 5" как спутник молодой девушки — еще недавно подобная идея мало кому могла прийти в голову.

Совершенно ясно, что эта рекламная кампания и новая упаковка — отчаянная попытка уйти от стереотипных представлений о старомодности Дома Шанель и омолодить аудиторию поклонников классических духов, избавившись от тяжеловесной благопристойности имиджа. Пояснительные тексты, вывешенные в Интернете, создают именно молодежный настрой: "молодость и витальность", "чувственность и соблазн", "современность и женственность", "свобода действий и дерзость" — таковы лейтмотивы нового образа "Шанель № 5" по замыслу дизайнеров.

Как видим, запах как предельно эластичная культурная модель каждый раз получает новое символическое наполнение в зависимости от требований момента. Запах с легкостью воплощает наше желание быть другими, меняться и играть. Это идеальный знак, столь же чувственно-конкретный по форме, сколь и прозрачный, абсолютно пустой по содержанию. Парадокс? Но только на парадоксах, наверное, и может держаться эфемерная грамматика ароматов.

Алексей Зверев
Стоцветная лента

Есть книги, которые пишутся десятилетиями. Всю жизнь. Попробовав то и это, пишущий еще в юности находит свой главный сюжет, свою единственную тему, и ей он уже не изменит, даже если случится заплатить дань мимолетным увлечениям или преходящим неотложностям. Не задумываясь ни о признании, ни о наградах, игнорируя меняющиеся моды и вкусы, он делает то главное дело, для которого пришел в литературу. И когда оно доведено до конца, открывается реальное значение созданного — где-то на периферии, незаметно и скромно.

На моей памяти было несколько случаев, когда такие книги становились, без всяких оговорок, литературными событиями. Назову только два: "Дальнее дерево" — единственную прижизненную поэтическую книгу Марии Петровых, изданную хлопотами ее армянских друзей в 1968 году, и посмертно вышедший том поэзии Аркадия Штейнберга. И Петровых, и Штейнберга знали (причем очень немногие) исключительно как переводчиков. Выяснилось, что их собственные стихи — явление в русской поэзии ушедшего века.

Было много сожалений из-за того, что столько времени и сил оба отдали переводу. Уверенно говорилось об уродливом времени, когда талант высокой пробы приходилось растрачивать чуть ли не попусту: для Петровых ли биться над переложениями болгар и кабардинцев? Но сама она думала по-другому, написав о своих переводах: "Значительная для меня и очень увлекавшая работа". Не зря написав. По крайней мере, книга Атанаса Далчева, которую Петровых перевела уже после "Дальнего дерева", — тоже факт нашей литературной истории, и пожалуй, столь же весомый, как написанное ею самой.

Теперь в этот ряд встанет двухтомник "Польские поэты XX века" (СПб., "Алетейя"), труд жизни Натальи Астафьевой и Владимира Британишского. Им, конечно, и не мечталось, что когда-нибудь судьба подарит шанс собрать под переплет все лучшее из сделанного за сорок с лишним лет служения польской музе. В советские годы даже маленькая книжка переводчика была редкостью из редкостей (а двухтомник издал, кажется, один только Вильгельм Левик, признанный классик). Сейчас вряд ли стало легче. Поэзия не востребована рынком, переводная — тем более. Однако бывают чудеса, которым помогают свершиться люди, не выучившиеся отождествлять словесность с коммерцией. Счастье, что они еще есть.

Один польский рецензент этой антологии заметил, что у переводчика особая судьба: он тоже формирует эпоху, однако исподволь, неощутимо, точно ему как литератору предназначено существовать в шапке-невидимке. Для любящих в литературе себя (а не наоборот) это слишком невыигрышная ситуация, однако Н. Астафьева и В. Британишский принадлежат к другому племени. Они бы, несомненно, переводили даже в том случае, если бы это занятие на долгое время не стало для них, как еще для многих из их поколения, практически единственной возможностью как-то существовать в печатающейся поэзии.

Оба начинали как поэты на исходе обманной хрущевской оттепели, оба смогли выпустить свои лучшие

сборники только в апогей горбачевской перестройки. А между этими двумя точками — дистанция в тридцать лет — польские стихи. Подборки в журналах, преимущественно в "ИЛ". Книги, иногда сделанные ими почти целиком — Ивашкевич, Ружевич, Павликовская-Ясножевская. Открытия, которые были замечены даже теми, кто читает поэзию только от случая к случаю. Всего несколько имен, но таких, что говорят сами за себя: Леопольд Стафф, Збигнев Херберт, Анна Свирщиньская, Халина Посвятовская.

Во втором томе антологии есть список предшествующих публикаций, их только в "ИЛ" свыше тридцати, примерно по одной каждый год. Получалась мозаика с несколькими явно выделяющимися фрагментами: Казимира Иллакович, о которой в 1974 году у нас никто ничего не знал, хотя для польской поэзии она примерно то же, что Ахматова для русской, Свирщиньская, особенно ее стихи о Варшавском восстании, Чеслав Милош. В узких кругах переводы И. Бродского из Милоша, конечно, были известны вопреки запретам. Однако первым настоящим знакомством оказались все-таки два цикла переводов ровно десять лет назад в "Новом мире" и в "ИЛ", где соседствовали Бродский и Британишский. По-разному прочитав Милоша, они смогли достичь главного: с тех пор и русскому ценителю стал виден масштаб этого явления.

Многое угадывалось уже по этим подборкам, но антология — это не просто количественно больше, это совсем другое качество. В ней даже давно знакомые стихи читаются как новые, потому что возникает то перекличка, то диалог, то спор с созданным другими поэтами (а порой — и тем же самым, только заново узнаваемым, потому что он стал иначе чувствовать и писать). Антология создает контекст, в ней есть своя система, архитектоника, продуманная до мелочей. Случайных текстов тут не встретить. Все подчинено основной задаче.

О том, какая это задача, ясно говорит уже оглавление, где проставлены даты. Девяносто поэтов от Стаффа до Яцека Подсядло, родившегося в 1964-м, через семь лет после смерти "классика неклассического века", как В. Британишский назвал свою статью о Стаффе, написанную, когда это имя знали одни полонисты. Стихотворение, открывающее двухтомник, — "Кузнец" Стаффа — напечатано в 1901-м, стихи, завершающие книгу, — "Разбросанность" Подсядло — появились в 1999-м. Панорама, смотр, историческая хроника. Обзор, стремящийся быть полным и беспристрастным, целостная картина. Но все-таки это не самые точные слова.

Скорее двухтомник Н. Астафьевой и В. Британишского стоило бы сравнить с "Моим столетием" Гюнтера Грасса[1], неформальной летописью ушедшего века, который показан и в своих трагических кульминациях, и — еще чаще — как движение истории, дающее себя почувствовать в обыденной жизни тех, кому выпало прожить и вынести это время. У Грасса тот же композиционный принцип: маленькие новеллы, эпизоды, идущие в хронологическом порядке от 1900 года до 1999-го, неочевидные, но прочные внутренние сцепления, ассоциативные мостки. Впрочем, есть и существенное различие, оно в тональности. Грасс чаще всего ироничен, стихия этого писателя — смех от бурлеска до трагифарса. Иронисты есть и в польской антологии: Лец, мастер краткой формы, требующей обязательного парадоксального завершения, — поляки называют ее фрашкой — или Галчиньский, любимый автор варшавских сатирических журналов. Но преобладающий звук польской лиры иной: проникновенный и печальный. Ей редко свойственны пронзительный лиризм, исступленье, "половодье чувств", даже на катастрофы она отзывается сдержанно, стараясь сохранить самообладание. И все-таки в этой стоцветной ленте основной цвет — пепельный, напоминающий о страданиях и утратах.

1. "ИЛ", 2000, № 1.

Стоцветная лента — образ из стихотворения Иллакович, которое невнимательному читателю может показаться даже радостным, потому что в нем говорится о том, что Польша неистребима. Она неистребима, как бурьян, втоптанный в чернозем и давший соки терновнику, груше: кто бы вспомнил, что в этих соках есть птенчик, мертвым брошенный в яму, над которой разрослась дикая трава. Вот так и поляки:

... бит, колочен, молочен стократно,
народ, проигранный вождями, как в
карты,
устлавший трупами райские страны, —
музыкой, словом, цветом воспрянул
и кружит в жилах целого света
стоцветной лентой — музыкой, словом,
цветом.

У Иллакович было моральное право написать такие стихи, ее судьба — типичная польская судьба в наше столетие. Уроженка Вильно, сестра милосердия в русской армии в Первую мировую, она была обласкана при Пилсудском и пережила опалу при социализме, когда одно время ей разрешали, как Ахматовой в ту же пору, печатать только переводы. Ее ранние книги выходили в Петербурге, в 1939-м после оккупации она бежала в румынский, затем венгерский и снова румынский Клуж.

Вернуться ей помог Юлиан Тувим, которого война забросила еще дальше, в Бразилию; поэт снискал себе расположение новых властей — режим старался привлечь на свою сторону людей с именами, а он в изгнании начал патриотическую поэму "Цветы Польши" (и так ее и не окончил из-за душевного кризиса послевоенных лет). Но лучшие стихотворения Иллакович долгое время лежали у нее в ящике стола. Стихотворение "Матерь Божья Катынская" — оно в антологии идет рядом со стихами о мертвом птенце — было написано по горячему следу, в 1943-м, а напечатано только через сорок шесть лет, уже после "бархатной революции". Это стихи о кровавом песке, собираемом, чтобы забрать его на небо: "Исцелит он мир неправый. / Любовь погибла в Катынских рвах — / Великой Реликвией будет прах". Ни гнева, ни имен расстрелянных, ни цифр. Никакой публицистики, лишь месяц над лесом и серебро полыни под ногами Той, что сошла на землю. Безыскусность, сдержанность, простота, которая синоним поэтической правды.

Поколению Иллакович близки такие мотивы, потому что все это — разгром, новый раздел страны, оккупация, лагеря, казни, изгнание или подполье — и было его жизнью. История прокатилась по этому поколению тяжелым колесом: бездомье и тюрьмы для него — самый типичный биографический сюжет. Если речь идет о родившихся на рубеже веков (часто в тогдашней России: Киеве, Вильно, Херсоне, Львове, Двинске), факты легко предугадываемы, когда читаешь предпосланную каждой подборке краткую статью об авторе. Владислав Броневский: солдат польских легионов, сражавшихся на стороне австрийцев против Российской империи, в 30-е энтузиаст "советского эксперимента", посаженный за свои левые взгляды, в 40-е узник львовской тюрьмы НКВД, а потом солдат армии Андерса, воевавший в Палестине. Беата Обертыньская: сидела во Львове одновременно с Броневским и Александром Ватом, дальше была ссылка, колхоз под Бухарой, Палестина, а затем до конца жизни — чужбина. Ват покончил с собой во Франции, Ян Лехонь выбросился из окна в Нью-Йорке. Все они могли бы отнести к самим себе строки Броневского, написанные в Иерусалиме на Via Dolorosa: "Я знаю: одна дорога / в Польшу — / дорога Голгофы".

Поэты следующего поколения знали это так же безошибочно, добыв свое знание не из чужих стихов, а из собственного горького опыта. Кшиштоф Камиль Бачиньский окончил школу подхорунжих и погиб в первые дни Варшавского восстания, ему было всего двадцать три года. "Отмени наш век увечный... — молил он за год до смерти, — / смой с волос пыль битвы смертной, / этих лет немилосердных / пыль и кровь". Но увечный век не отпускал, даже когда

кошмар оккупации закончился и над варшавскими руинами опять заполоскался красно-белый флаг. Тадеуш Боровский после Освенцима учился в университете, писал стихи и прозу, ставшую уникальным человеческим документом, приобрел европейскую известность. Было увлечение доктриной коммунизма и потом разочарование в ней. А страшные воспоминания преследовали, и в 1951-м он решил уйти из жизни.

В послевоенной Польше не приветствовались связанные с оккупацией темы и замалчивались эти имена. Броневского за его былую политическую левизну возвели чуть ли не в ранг официально канонизированного поэта, но лучшие стихи — львовские, палестинские — напечатали только через много лет после его смерти. Все повторялось: гонения, изгнание. Милоша, который в подполье собрал и издал антологию "Непокоренная песнь" и создал знаменитые стихотворения о восстании в гетто, вынудили остаться на Западе; многие стихи, которые принадлежат к лучшему, что написано по-польски в XX веке, он написал в Калифорнии. Виктор Ворошильский, аспирант московского Литературного института, поссорился с властью после своих репортажей из восставшего Будапешта осенью 1956 года, а когда возникла "Солидарность" и объявили военное положение, был интернирован. В публикуемую литературу он пришел из самиздата. Теперь его наследие собрано, подобающим образом опубликовано, и стало очевидным, что это одно из первых имен в польской поэзии своего времени. У него есть стихи памяти Броневского, памяти Бачиньского, стихи о том,

что в этом мире
каждый поэт
каждый
с желтой нашивкой на сердце...

— стихи о судьбе, уготованной и старшим, и младшим поэтическим поколениям и принятой ими всеми без малодушия и жалоб. Как непреложность.

Судьба в ее пересечениях с историей была для составителей и переводчиков антологии самым важным критерием отбора. Составителей и переводчиков больше всего привлекают стихи, ясно сказавшие о времени и о личности поэта. Схожесть таких свидетельств, родство биографий выстраивают внутренний сюжет большой книги. Это не помеха для объективности и целостности картины: есть преобладающий тон, но сохранено и стоцветье. Не пропущено ни одно из крупных явлений, ни одной значительной школы. Они были пестрыми, часто враждовали, как и поэты, которые определили их программу и установки. Милош и Херберт — явные антагонисты, но в антологии дань уважения и признания принесена им обоим. Между поэтической Варшавой и Краковом никогда не было согласия, однако в книге на равных правах представлены обе литературные столицы и провинция тоже. После войны, особенно в последние годы, первое слово зачастую принадлежит именно провинции, и вряд ли случайность, что Тадеуш Ружевич, знаковая фигура этого времени, живет во Вроцлаве.

Авангард занял в антологии то место, которое определено ему историей литературы: достойное, но не главное. Сегодня дискредитация авангарда в польской критике такое же привычное дело, как в нашей, но составители не стали считаться с нынешней шкалой престижа. И были абсолютно правы. Никто не зачеркнет стихов молодого Тувима, которые ему самому, возможно, не хотелось перечитывать под конец пути, стихов с клятвами смести с лица земли Вавилон, где обретаются "слепые". Никто, сохраняя добросовестность, не станет принижать Анатоля Стерна за его футуризм, а Вата за сюрреализм, которым он был увлечен в юности. Стихотворение Ружевича "Уцелевший" — манифест тех, кто выжил, пройдя войну и Сопротивление, но вернулся к жизни, слишком достоверно зная, что "все понятия — это только фразы". Можно воспринять эти стихи и как программу авангарда, реализованную сполна, до предела: ни рифм, ни метафор, "писание чистым спиртом"

(Пастернак), короткая строка, которой выражен отказ от всех иллюзий, от всякой веры. Но написанное Ружевичем дало имя целому поколению. Оно, "поколение уцелевших", создало послевоенную польскую литературу, послевоенное польское кино — явления мировой значимости.

Те, кого В. Британишский в предисловии назвал "умеренными новаторами", наверное, сделали для поэзии все-таки больше, и симпатии составителей нескрываемо отданы именно им: Стаффу, Юлиану Пшибосю, Ивашкевичу, Павликовской, Милошу. Все они так или иначе соприкоснулись с авангардом, но оказались не очень последовательными его сторонниками. Пшибось в 20-е годы начинал как приверженец свободного стиха, казавшегося тогда экстравагантным, считал, что в поэзии должно быть "как можно меньше слов", и был яростным урбанистом — лишь годы спустя в его творчестве возобладала прозрачность языка и образность, навеянная природой, землей, родным Предкарпатьем. Стафф смолоду тяготел к импрессионизму — неоклассицистом, как вслед ему Ивашкевич, он стал, уже достигши в поэзии положения бесспорного лидера, но это положение не помешало ему под самый конец обратиться к верлибру. О начинающем Милоше говорили: "мрамор и пламень". Теперь хотят видеть только мрамор, однако пламень, унаследованный от экспрессионистов, не погас и в его поздней лирике.

"Согласую в себе этот мир несогласный" — строка из стихотворения Стаффа, быть может, могла бы стать эпиграфом ко всей антологии. В ней действительно отражено несогласие — и мира, и поэтов, на него отозвавшихся, — но достигнута и какая-то высшая гармония конфликтующих начал, обретено слияние разнородных голосов. По этому двухтомнику будут изучать поэзию, своим богатством и своеобразием поражающую каждого, кто ее для себя открывает, и больше того — с него для кого-то начнется любовь, которая почти всегда становится пожизненной. Закрывая книгу, многие вспомнят строку Казимиры Иллакович, потому что точнее сказать невозможно: "Оплела меня польская нежность и уже никогда не отпустит!"

Австралия

Маркиз де Сад из Мельбурна

Когда голливудскому режиссеру Филипу Кауфману и сценаристу Дугу Райту понадобился человек, который смог бы воплотить на экране образ знаменитого маркиза де Сада, они нашли его не в Америке и даже не в Европе, а в далекой Австралии. 49-летний Джефри Раш, театральный актер из Мельбурна, весьма популярный и модный в последнее время, особенно после премии Оскар за лучшую мужскую роль в фильме "Сияние" (1997), начал сниматься в кино относительно недавно. О широте его творческого диапазона можно судить по тому, что в недавнем спектакле мельбурнского театра он играл... пятилетнего ребенка. Австралийского актера мало заботит портретное сходство с персонажем, главное — понять и передать все тонкости его характера. Так было и в случае де Сада, о последнем периоде жизни которого повествует фильм "Перья": Раш высок и худощав, в то время как маркиз в конце жизни располнел, да и роста был небольшого. Легендарный французский писатель, философ, эротоман и бонвиван показан в доме для умалишенных в Шарантоне, куда его упекли, дабы изолировать от общества. Однако он и в этой полутюрьме живет неплохо: у него прекрасная камера, отличные вина и, самое главное, — бумага и перья. Он продолжает писать, а очарованная им молодая прачка помогает переправлять рукописи на волю, где их публикуют к великому гневу властей. Психологическая дуэль с новым деспотичным доктором-охранником дополняет портрет маркиза — умного, гордого, чудаковатого, обольстительного, вспыльчивого, испорченного и жестокого. Сложность этого персонажа — настоящее раздолье для актера, и Джефри Раш так отзывается о своем герое: "Ключ ко многим сценам — показать пробуждение вулкана под внешним обаянием". Непредсказуемость и тонкость — вот на чем построил свою игру актер, который отнюдь не считает себя пасынком британской театральной традиции и подчеркивает свою любовь как к европейским, так и к американским мастерам. Игру Джефри Раша без преувеличения можно считать главным достоинством фильма, который дает более чем вольную интерпретацию фактов жизни маркиза и весьма неточно следует реальным событиям. Тем не менее в Америке, где многие восприняли картину как еще одно произведение в защиту свободы слова, Гильдия кинокритиков назвала "Перья" лучшим фильмом года.

Кадр из фильма "Перья"

Индия

Первопроходец из Бангалора

Вслед за Сальманом Рушди Запад открыл для себя имена многих индийских литераторов, пишущих на английском языке. Единственным среди них драматургом, привлекшим внимание западных критиков и зрителей, стал 42-летний Махеш Даттани. Он — лауреат премии Сахитья академи, высшей литературной награды Индии, владелец театра в Бангалоре, пишет радиопьесы для Би-би-си, преподает в Орегоне, а спектакли по двум его пьесам — "Танцуй как мужчина" и "Дождливой ночью в Мумбаи" — с успехом идут в Нью-Йорке.

Махеш Даттани начинал свою профессиональную деятельность как актер и танцовщик (классический балет и национальный индийский танец). Затем он начал писать пьесы, посвященные, главным образом, проблемам современной индийской жизни. В Бангалоре (на юге страны), где живет драматург, государст-

венным является язык каннада, однако семья Даттани происходит из западного штата Гуджарат, где говорят на совершенно ином языке — гуджарати; может быть, именно поэтому, не желая "предавать" ни один из этих языков, Махеш Даттани стал писать по-английски, тем более что образование он получил на этом языке. До него в Индии не было англоязычных пьес о современных проблемах. Так Махеш Даттани стал первопроходцем в этой области. Материалом для его пьес нередко служит личный опыт, хотя их

Новая звезда индийской культуры Махеш Даттани

нельзя назвать автобиографическими в полном смысле слова: например, герой одной из его пьес женится, дабы скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию (сам автор не женат). Проблемы взаимоотношений полов вообще широко представлены в творчестве М. Даттани, и он выступает против замалчивания их в индийской культуре.

Махеша Даттани можно назвать первопроходцем и в современном индийском кино: его фильм "Отдельный сезон" впервые затрагивает тему СПИДа. При этом акцент сделан не на группах риска — в Индии это прежде всего водители грузовиков дальних перевозок, сезонные рабочие и проститутки, — а на превратностях судьбы, подстерегающих любого человека. В Индии почти не ведется пропаганда безопасного секса, ибо половая жизнь рассматривается главным образом как средство продолжения рода. Поэтому история, рассказанная в фильме, достаточно типична: героиня фильма заражается от собственного мужа.

В творческом багаже Махеша Даттани имеется также серия популярных радиопьес для Би-би-си, главная героиня которых — решительная молодая дама, частный детектив Ума Рао, успешно расследующая запутанные дела вопреки насмешкам со стороны мужа-полицейского. К 600-летию со дня смерти Чосера английское радио заказало драматургу пьесу в чосеровском духе: в современном Лондоне произошла катастрофа, дороги закрыты, электричества нет, сотовые телефоны не работают, и несколько человек, вынужденно застряв в придорожном кабачке, рассказывают каждый свою историю. К сотрудничеству с Би-би-си Махеша Даттани привлек директор Английской национальной оперы Майкл Уоллинг после совместной работы в театре М. Даттани в Бангалоре над шекспировской "Бурей". Постановка поражала своей необычностью: Ариэль предстал в образе Кришны, Просперо — брамина, а Калибана — обитателя трущоб. О своем театре Махеш Даттани в недавнем интервью сказал так: "Наша цель — поддержать новые голоса, помочь начинающим драматургам поставить свои пьесы, дать возможность актерам поработать со свежими текстами и представить их публике".

Италия

Русская классика в Италии

Не ослабевает интерес итальянцев к русской классической литературе. Об этом свидетельствует, в частности, публикация издательством "Эйнауди" сборника стихотворений Евгения Баратынского (1800–1843). Поскольку его произведения впервые выходят на итальянском языке, издатели сочли необходимым поместить в книге обширное предисловие Микеле Колуччи, представившего творчество Баратынского в контексте его развития как интеллектуала и поэта, а также широкую панораму тогдашней русской культуры. В сборник вошло около трети не слишком обширного, но

разнообразного по темам и жанрам творческого наследия Баратынского: доромантические элегии, размышления о судьбе и предназначении поэта, о "бесполезности" искусства, немногочисленные эпиграммы и конечно же философская поэзия. Итальянские переводчики под руководством Микеле Колуччи мастерски передали всю тонкость и богатство лирики русского поэта первой половины XIX века.

Не менее примечательно исследование, которое предлагает итальянским читателям Симонетта Сильвестрони, преподаватель русского языка и литературы в университете города Кальяри (Сардиния). Задачу своей книги "Достоевский и Библия" (издательство "Кикайон") автор сформулировала так: "Прежде всего, восстановить систему прямых и косвенных библейских цитат, используемых Достоевским, и затем определить ту роль, которую они играют в контексте его романов". Симонетта Сильвестрони изучила такие романы, как "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы", и пришла к выводу, что "библейские тексты, рассматриваемые в контексте учения отцов православной церкви, старцев и богатого личного опыта писателя, представляют собой ключ к пониманию самого глубокого смысла произведений Достоевского".

Китай—США

"Город на реке"

Недавно изданная в Америке книга Питера Хеслера "Город на реке. Два года на Янцзы" удостоилась самого пристального внимания критиков. Это не только интересный репортаж о крохотном китайском городке Фулине, но, возможно, и единственный документ, из которого будущие поколения смогут что-то узнать о "новой Атлантиде".

Хеслер приехал в Фулин в 1996 году в составе группы добровольцев — преподавать английский язык и литературу в местном колледже. Его впечатления от двух лет пребывания в Фулине, от общения с жителями этого города, от работы со студентами легли в основу книги — очень живой, непосредственной и информативной.

Фулин расположен в китайской провинции Сычуань и практически полностью изолирован от внешнего мира. Туристы до него не добираются, от крупных городов он находится слишком далеко. Молодежь сразу по окончании учебы отправляется на поиски счастья в большие города на юге страны.

В центре Фулина — гряда из песчаника, сплошь покрытая узором надписей, многим из которых уже более тысячи лет. Бесконечные стихи, изящные рисунки переплетаются друг с другом, образуя сложнейший палимпсест. Некоторые надписи имеют практический смысл — например, из них можно узнать, что уровень воды в Янцзы сейчас ровно на два дюйма (5 см) выше по сравнению с 763 годом. Судьба Фулина трагична: через несколько лет ему суждено исчезнуть под водой. Грандиозная плотина, которую планируется возвести недалеко от города, вызовет повышение уровня Янцзы на 100 футов (30 с половиной метров) — и ни Фулина, ни песчаной гряды больше не будет.

А пока что Фулин — неказистый городок: грязь, пыль, поникшие цветы, следы вандализма. Даже местному жителю, по мнению Хеслера, здесь любить нечего.

Настоящим потрясением было для Хеслера знакомство со студентами и представителями профсоюза учителей — ярыми коммунистами. На их фоне "тираны" Принстона и Оксфорда выглядят кроткими ягнятами. За иностранцами сразу был установлен жесткий контроль, их корреспонденция проверялась, письма приходили вскрытыми, все "политически некорректные" высказывания оперативно доводились до сведения властей. Студентам и местным преподавателям было запрещено всякое общение с чужаками за пределами аудиторий. Однако, несмотря на столь мощный прессинг, Хеслеру не только удалось познакомить студентов с Диккенсом, Шекспиром, "Беовульфом" и Фолкнером, но, как ни странно, рассказать им немало интересного и об их собственной национальной культуре.

В своей книге Хеслер с юмором описал то впечатление, которое произвел он, иностранец, на горожан, весь кругозор которых ограничивается Фулином. По прибытии в Китай он почувствовал себя Гулливером в стране лилипутов: местные жители удивлялись, глядя на него, показывали пальцами, смеялись над "странным" цветом его кожи. Стоило Хеслеру появиться в магазине, вокруг сразу собиралась толпа — все хотели поглядеть на заморское чудо. Студенты в одном из своих журналов написали,

что глаза у него голубые, хотя всю жизнь они были карими. Просто фулинцы считали, что у всех иностранцев голубые глаза — и ничто не могло их разубедить в этом.

"Город на реке" — книга, продолжающая традицию "путешествий", она соединила в себе лучшие черты жанра — увлекательность и живописность. Наряду с красочными зарисовками местных традиций и нравов, в книге приводятся забавные подробности из бесед Хеслера со студентами, отрывки из их сочинений на тему: "Что делал бы Робин Гуд, окажись он в Китае?".

Покидая Фулин, Хеслер обернулся и подумал о том, доведется ли ему увидеть этот городок еще раз. И отчетливо понял, что на сей раз его банальный вопрос был вовсе не риторическим.

США

Оден и Шекспир

В 1946—1947 учебном году знаменитый англо-американский поэт Уистен Хью Оден прочел курс лекций о Шекспире студентам Нью-Йоркской новой школы социальных исследований. Оден в то время только что переехал в Нью-Йорк и отчаянно нуждался в деньгах, потому работа в школе пришлась как нельзя кстати. Преподавание Оден рассматривал только как источник заработка и не слишком обременял себя подготовкой к занятиям. Он не писал заранее тексты лекций, а ограничивался разрозненными записями, которые впоследствии уничтожил за ненадобностью. В его планы, естественно, не входило издавать их отдельной книгой.

Несмотря на это, литературовед Артур Кирш решился опубликовать лекции Одена о Шекспире. Книга, вышедшая недавно в Великобритании, — свод конспектов четырех студентов, полвека назад слушавших Одена. Но конспекты — источник крайне ненадежный: студент то недослышал, то ослышался, то не совсем понял, то отвлекся, а то и вовсе забыл прийти на занятие. Самыми основательными оказались записи Элен Энсен, ставшей позднее секретарем Одена. Однако, увы, и она пропустила несколько лекций, так что составителю пришлось обратиться к конспектам Ховарда Гриффина (он тоже был секретарем поэта) и двух их соучеников, у которых сохранились тетрадки с того весеннего семестра.

В книге собраны высказывания Одена о Шекспире, но, впрочем, не только о нем. Читатели найдут здесь массу неожиданного: так, Оден-лектор порой противоречит Одену-критику. Шекспировского персонажа Яго в своих критических работах он определяет как расчетливого негодяя, а в лекциях — чуть ли не как святого. "Гамлет", "Макбет" и "Кориолан" получили у Одена необычайно низкую оценку. Он считал, что Шекспир наверняка остался недоволен "Гамлетом", особенно монологами, выпадающими из пьесы, а сама пьеса была написана только ради того, чтобы позлить актеров. Из шекспировского наследия Оден больше всего ценил "Генриха IV" за блистательный образ сэра Джона Фальстафа, "Антония и Клеопатру" — за гениальное изображение любви великих людей, любви как способа спастись от страшного будущего, старости и смерти. Вместо того чтобы анализировать стиль Шекспира, Оден нередко просто читал студентам огромные отрывки из текстов великого драматурга — слушатели должны были сами почувствовать всю мощь шекспировского гения. Лишь изредка отдельные фразы удостаивались оденовского комментария.

У Одена-преподавателя была одна слабость: он обожал всякого рода классификации и схемы. Нередко он начинал свою речь так: "Мы должны отличать разные значения понятия *природа*", а дальше следовал длинный монолог о том, как объясняли это понятие китайские классики, в каком смысле его употребляют современные европейские писатели и т. д. Попутно он мог заметить: то, как природа проявляется в нью-йоркском климате, его решительно не устраивает. В "Макбете" Оден находил "три типа преступлений" и "три вида общественного строя". Гении, по мнению Одена, делятся на два типа. Одни все время пытаются создать что-то новое и не слишком огорчаются, когда им это не удается. К этой группе Оден отнес Шекспира, Пикассо и Вагнера. Другие готовы всю жизнь совершенствовать одно-единственное произведение — до тех пор, пока оно не станет истинным шедевром. Огромным терпением, присущим этому типу гениальности, обладали, как полагал Оден, Данте и Пруст.

Порой лекции Одена больше напоминали проповеди — настолько пламенными были речи поэта, находившегося под сильным влиянием философии Августина,

Паскаля, Бубера и особенно Кьеркегора. Религиозные проблемы всегда интересовали Одена: он был последователем своеобразного христианского экзистенциализма, суть которого неоднократно излагал в своих лекциях. Какое-то время Оден обдумывал возможность обращения в иудаизм — эта религия также всегда его занимала. При этом поэт был человеком увлекающимся, и размышления о религии, философии, любви, назначении художника порой заводили его так далеко, что на разбор самих пьес Шекспира времени не оставалось.

Как ни странно, подчеркнуто непрофессиональная манера преподавания лишь подогревала интерес слушателей (их было обычно около пятисот человек). Кто-то заметил, что даже если бы лекции читал сам Шекспир, публика не отнеслась бы к ним с бóльшим энтузиазмом.

По материалам газеты "Стампа-Туттолибри" (Италия), журналов "Магазин литтерер" (Франция), "Ньюсуик" (США), еженедельника "Нью-Йорк таймс бук ревью" (США).

Хроника московских событий

Мексиканское кино на московском экране

В апреле в московском Музее кино при содействии посольства Мексики прошла Неделя мексиканских фильмов. Это событие напомнило о прерванной традиции знакомства наших зрителей с современным кинематографом страны, представленной в последние годы исключительно на российском телевидении бесконечными "мыльными операми".

Шесть художественных полнометражных и шесть короткометражных картин производства 90–х годов, составившие программу ретроспективы, дают определенный срез происходящего в сегодняшнем мексиканском кино. Авторы этих лент в большинстве своем молодые режиссеры, многим из них оказывает поддержку государственная организация — Мексиканский институт кинематографии. Благодаря этой поддержке были сняты все короткометражные ленты начинающих кинематографистов, отобранные для ретроспективы. Они, кстати, уже завоевали ряд премий на национальных и международных фестивалях. Коротенькие (на 10—15 минут) киноистории с разными сюжетами отличает общее качество: юмор — от легкой иронии "Не падай духом" Антонио Уррутиа до мрачного сарказма в "Проколе" Алехандры Мойи.

Открывал Неделю фильм "Кроваво-красный" Артуро Рипстейна, режиссера, чье имя хорошо известно не только в Мексике, но и за ее пределами. А. Рипстейн, автор таких картин, как "Время умирать" (по сценарию Г. Гарсиа Маркеса), "Империя фортуны" (по рассказу Х. Рульфо "Золотой петух"), "Начало и конец", принадлежит к старшему поколению мексиканских режиссеров. Он — один из представителей так называемого "нового кино" 60-х годов. "Кроваво-красный", награжденный на Международном кинофестивале в Венеции в 1996 г. призами за лучший сценарий, сценографию и музыку, может вызвать у зрителя противоречивые чувства, ведь его герои — пара преступников, немолодой жиголо и его любовница, убивающие доверчивых вдовушек. История, положенная в основу сценария, имела место в действительности. Главным для режиссера было показать безумную и отчаянную любовь, сметающую все на своем пути и неизбежно ведущую к смерти. Начавшись в классическом для мексиканского кино жанре мелодрамы, "Кроваво-красный" быстро набирает трагические обороты, все больше напоминая фильм ужасов, освещенный, правда, проблесками черного юмора.

Работы более молодых и пока еще мало известных коллег мексиканского мэтра демонстрируют разнообразную жанровую палитру, и при этом они сняты на хорошем профессиональном уровне. Герои комедийной ленты Пабло Вильясеньора "Если я тебя больше не увижу" — старенькие музыканты-любители, сбежавшие из дома престарелых, чтобы осуществить свою мечту: выступить на публике.

Психологическая драма "С чистой совестью", лишенная легковесной сентиментальности "мыльных опер", — кинематографический дебют тетрального режиссера Марселя Сисниеги. Автор сталкивает понятия традиционных семейных ценностей, основанных на религии и культе матери, и взгляды нового поколения, явленные в образе старшего сына вдовы, обладающего замашками анархиста и бунтаря-бездельника, который в конце концов разрушает жизнь млад-

шего брата, стремящегося во всем подражать своему кумиру.

Детективная интрига лежит в основе двух фильмов панорамы: "Ночные огни" режиссера Серхио Муньоса, любовной истории, разворачивающейся в основном в ретроспекциях, и "Оптическое волокно" Франсиско Атие. Фильм интересен не только поворотами сюжета, но и манерой съемки, подчеркивающей тревожно-динамичную атмосферу происходящего.

Своеобразная художественная манера отличает "Предел времени" — дебют в игровом полнометражном кино Карлоса Боладо. Фильм, поначалу задуманный как документальный рассказ об огромных, практически никому не известных наскальных изображениях, сделанных индейцами и обнаруженных в Сьерре, снимался затем как художественная игровая лента. И получилась история о человеке, который, переживая душевную драму, стремится убежать от реальности в далекое прошлое, запечатленное в этих рисунках. Фильм завораживает неземной красотой неведомых пейзажей пустынного прибрежного пространства, фантастических гор, поросших кактусами и скрывающих в своих пещерах рисунки, которые воспринимаются как органическая часть самой природы.

Т. Ветрова

Дни чешской культуры в Москве

С 2 по 7 апреля в посольстве Чешской республики в РФ под патронажем Чрезвычайного и Полномочного посла Ярослава Башты проходили Дни чешской культуры. Они проводились уже в пятый раз, и в этом году их темой была еврейская литература в Чехии и холокост.

Дни литературы начались с открытия выставки рисунков детей из концлагеря Терезин, через который за годы войны прошли люди со всей Европы. Среди попавших туда евреев была художница Фридл Дикер-Брандейсова. Она учила детей через творчество осмысливать и проживать свой страшный опыт, преодолевать страх. Большинство юных авторов рисунков погибли в Освенциме и других лагерях смерти.

Еврейская литература в Чехии развивалась и на немецком, и на чешском языках. Всемирное признание получил Франц Кафка. О непростом процессе освоения его творчества рассказал в своей лекции Йозеф Чермак, литературовед и редактор, один из учредителей Центра Кафки в Праге. В течение XX века на смену друг другу приходили сюрреалистическая, вульгарно-социологическая, экспрессионистская, экзистенциалистская интерпретации наследия писателя. Лекция литературоведа и критика Владимира Новотного была посвящена еврейской литературе на чешском языке. Среди рассматриваемых авторов не только известные российскому читателю Карел Полачек, Людвик Ашкенази, но и незнакомые Иржи Ортен, Эгон Гостовски, Иржи Вайль (отрывок из его романа "Москва — граница" был в этом году предложен на конкурс студенческих переводов) и др.

Состоялась ретроспектива фильмов той же тематики. Киновед из Карлова университета Галина Копанева рассказала о том, как чешские кинематографисты разрабатывали тему войны, геноцида, героизма и предательства, судьбы и выбора, свободы и несвободы в традициях экспрессионизма, сюрреализма, "новой волны" и постмодерна.

Традиционно в рамках Дней чешской литературы проводятся выставки, рассказывающие о постановках выдающихся русских драматургов на чешской сцене. В этом году Хелена Альбертова из Театрального института в Праге подготовила замечательную экспозицию "Чехов в Чехии". Чехова успешно переводили и ставили в стране еще при жизни автора, а в 60-е годы событиями общеевропейского масштаба стали постановки Отомара Крейчи в театре "За браноу" и Яна Качера в театре "Чиногерни клуб". В последние годы много споров вызвали спектакли, которые ставил в театре "На забрадли" рано ушедший из жизни П. Лебл. О его экспериментальных работах, где подтекст выходит на первый план при бережном сохранении текста, рассказала Власта Смолакова, бывший завлит этого театра, а ныне советник по культуре чешского посольства в Москве.

Н. Фальковская

Романы, занимающие первые 5 мест в списке бестселлеров сетевого журнала www.internetbookshop.it от 27 июня 2001 г. (данные для Италии)

1. MILAN KUNDERA.
   L'ignoranza.

2. JOHN GRISHAM.
   La casa dipinta.

3. NAOMI KLEIN.
   No logo. Economia globale e nuova contestazione.

4. ALAN BENNETT.
   Nudi e crudi.

5. LUCIANA LITTIZZETTO.
   Sola come un gambo di sedano.

Романы, занимающие первые 5 мест в списке бестселлеров сетевого журнала amazon.co.uk от 27 июня 2001 г. (данные для Великобритании)

1. PETE MCCARTHY.
   McCarthy's Bar.

2. LOUIS DE BERNIERES.
   Captain Corelli's Mandolin.

3. NIGELLA LAWSON.
   Nigella Bites.

4. ZADIE SMITH.
   White Teeth.

5. JILL MANSELL.
   Good at Games.

Пол Остер
Paul Auster
[р. 1947]. Американский поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премии Американской академии и Института искусств и литературы [1990].

Автор ряда сборников стихов и эссе, романов *Стеклянный город* [*City of Glass*, 1985], *Призраки* [*Ghosts*, 1986], *Запертая комната* [*Locked Room*, 1987], составивших *Нью-йоркскую трилогию*, *Мистер Вертиго* [*Mr. Vertigo*, 1994] и др., сборника эссе и интервью *Красная тетрадь* [*The Red Notebook*, 1995]. В *ИЛ* были напечатаны его эссе *Зачем писать* [1996, № 10] и роман *Стеклянный город* [1997, № 6].
Перевод романа *Тимбукту* выполнен по изданию *Timbuktu* [London, Faber & Faber, 1999].

Оливер Фриджиери
Oliver Friggieri
[р. 1947]. Мальтийский поэт, прозаик, переводчик, драматург, критик. Лауреат ряда престижных премий, в т. ч. Международной премии стран Средиземноморья [Палермо, 1988]. Профессор кафедры мальтийского языка и литературы университета Мальты.

Автор романов *Ложь* [*The Lie*, 1977], *Оборот колеса* [*A Turn of the Wheel*, 1980], *Цветы не растут в парламенте* [*Flowers Don't Grow in Parliament*, 1986], стихотворных сборников *Зов барабанов* [*Call of the Drums*, 1971], *Смятенный пилигрим* [*A Distraught Pilgrim*, 1991], поэтической драмы *Мятеж* [*Rebellion*, 1990], многочисленных рассказов; составитель антологии послевоенной мальтийской поэзии *Встречные ветры* [*Cross Winds: An Anthology of Post-War Maltese Poetry*, 1980], а также *Словаря литературных терминов мальтийского языка* [1996].
Публикуемые произведения взяты из сборника О. Фриджиери. *Стихи* [Oliver Friggieri. *Poems*. Malta, Mireva Publications, 1996].

Пауль Низон
Paul Nizon
[р. 1929]. Швейцарский немецкоязычный писатель. Лауреат литературных премий Швейцарии и Германии.

Автор книги лирической прозы *Canto* [1957], повести *Погружение. Протокол одной поездки* [*Untertauchen. Protokoll einer Reise*, 1972], романов *В доме кончаются истории* [*Im Hause enden die Geschichten*, 1971], *Штольц* [*Stolz*, 1975], *Год любви* [*Das Jahr der Liebe*, 1981, премия немецких критиков за 1982 г.], книги автобиографической прозы *Собака. Исповедь в полдень* [*Hund. Berichte am Mittag*, 1998].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *В брюхе кита* [*Im Bauch des Wals*. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1999], который полностью будет выпущен в свет издательством "Прогресс-Традиция".

Франце Прешерн
France Prešern
[1800—1849]. Словенский поэт.

Автор сонетов, газелей, романтических баллад *Розамунда Турьяшская* [*Turjaška Rosamunda*], *Лекарство от любви* [*Zdravilo ljubezni*], *Дважды погребенный* [*Prekop*], *Венок сонетов* [*Sonetni venec*] и др.
Оригинальные тексты приводятся по изданию *Poezije doktorja Franceta Prešerna* [Prešernova druzba v Ljubljani, 1974].

Надежда Николаевна Старикова
Литературовед, кандидат филологических наук, специалист по словенской литературе.

Автор предисловий к стихам Т. Шаломуна и А. Ихана, публиковавшихся в *ИЛ*. Один из авторов *Истории литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы после 1945 года*, т. 2 [2001].

Маргерит Юрсенар
Marguerite Yourcenar
[1903–1987]. Французская писательница франко-бельгийского происхождения, член Бельгийской королевской академии [1971], первая женщина, избранная во Французскую академию [1980], лауреат многих литературных премий.

Автор многочисленных романов, в т. ч. *Алексис, или Трактат о тщетном противоборстве* [*Alexis ou le Traité du Vain Combat*, 1929; рус. перев. 2000], *Последняя милость* [*Le Coup de Grâce*, 1939], *Воспоминания Адриана* [*Mémoires d'Hadrien*, 1951, рус. перев. 1984], *Философский камень* [*L'oeuvre au Noir*, 1968, премия Fémina, рус. перев. 1984] и др., многочисленных рассказов, эссе, стихотворений, автобиографической трилогии, драм, переводов. На русском языке были изданы две книги из мемуарной трилогии *Блаженной памяти* и *Северные архивы*, сборник новелл *Восточные новеллы*. В *ИЛ* [1991, № 7] был напечатан перевод новеллы *Последняя любовь принца Гэндзи*.
Перевод публикуемой книги выполнен по изданию *Les yeux ouverts. Entretiens avec Mattier Galley* [Paris, Le Livre de Poche, 1990].

Ольга Борисовна Вайнштейн
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ.

Автор книги *Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фр. Шлегеля* [1994]. Ее статьи и рецензии неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Алексей Матвеевич Зверев
[р. 1939]. Доктор филологических наук, литературный критик.

Автор книг *Джек Лондон* [1975], *Модернизм в литературе США* [1979], *Американский роман 20–30-х годов* [1982], *Грустный, солнечный мир Сарояна* [1982], *Мир Марка Твена* [1985], *Дворец на острие иглы* [1989] и многочисленных статей, публиковавшихся в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ*.

Переводчики

Илья Валерьевич Кормильцев
[р. 1959]. Поэт, переводчик с английского и итальянского языков.

В его переводе издавались "малая проза" Дж. Р. Р. Толкиена, рассказы Р. Дала, Ф. Макдональда, Дж. Балларда и др. Статьи и переводы И. Кормильцева неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Анна Борисовна Шульгат
Театровед, переводчица с английского.

Переводила пьесы эпохи Реставрации [*Верная супружеская чета* и *Любовь и бутылка* Дж. Фаркера], стихи английских поэтов XVI в. Дж.Тербервилла, лорда Во, Б. Гуджа, а также стихи английских и американских поэтов в романе К. Воннегута *Галапагос* [2000].

Владимир Денисович Седельник
[р. 1935]. Литературовед, доктор филологических наук, переводчик с немецкого. Лауреат литературной премии им. А. Карельского [1997].

Автор книг *Герман Гессе и швейцарская литература* [1970], *Швейцарские варианты* [1990, в соавторстве с Н. Павловой], многих статей по немецкоязычной, преимущественно швейцарской литературе. В его переводе изданы произведения Г. Гессе, У. Тимма, Ф. Глаузера, Ф. Дюрренматта, К. Шпиттелера, Х. Лёгера и др. Автор ряда статей в *ИЛ*.

Юлиана Яковлевна Яхнина
Переводчица с французского и скандинавских языков, лауреат премии *ИЛ* [1989], премии им. М. Ваксмахера [1997], премии Шведской академии [1999].

Переводила произведения французских писателей XX века Ж.-П. Сартра, Ф. Саган, М. Юрсенар, Веркора, Ф. Соллерса, М. Рио и др., скандинавских писателей Ю. Боргена, К. Гамсуна, Я. Сёдерберга, Э. Юнсона, Я. Бергмана и др. Ее переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Уильяма Вегмана [р. 1943]
Золушка
[1994].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://novosti.online.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 4.07.2001
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 497.
Тираж 11 700 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ ТОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ

ерея открыта для посетителей
едварительным заявкам с 12 до 20 ч.

9] 2001

РОМАН ОРХАНА ПАМУКА "МЕНЯ ЗОВУТ КРАСНЫЙ" / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ЛУИ-ФЕРДИНАНД СЕЛИН, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ОТЧАЯНИЯ": ИНТЕРВЬЮ, ФРАГМЕНТЫ РОМАНА "GUIGNOL'S BAND, ИЛИ ПАЯЦЫ", "ЖИЗНЬ СЕЛИНА" ФРЕДЕРИКА ВИТУ / СТИХИ ЯЦЕКА ПОДСЯДЛО / НОВЫЙ РОМАН ПИТЕРА АКРОЙДА "ПОВЕСТЬ О ПЛАТОНЕ"

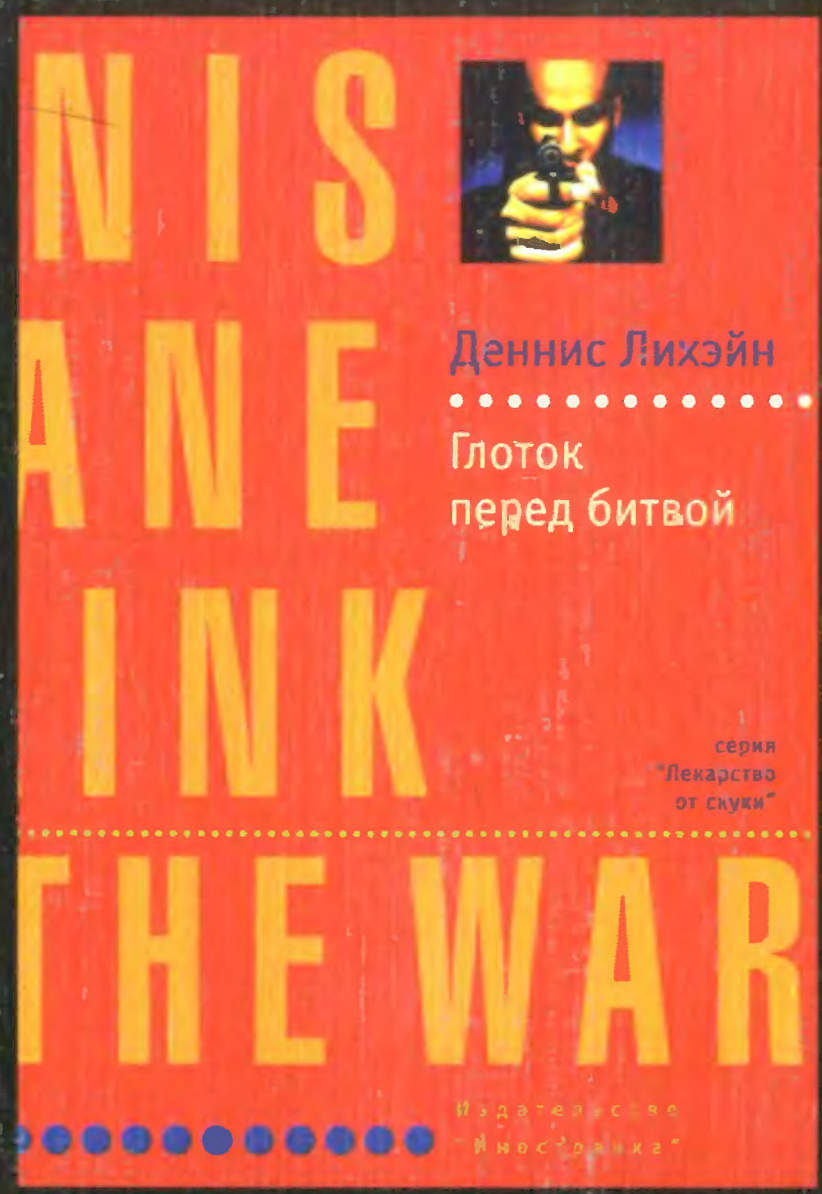
ИНДЕКС 70394

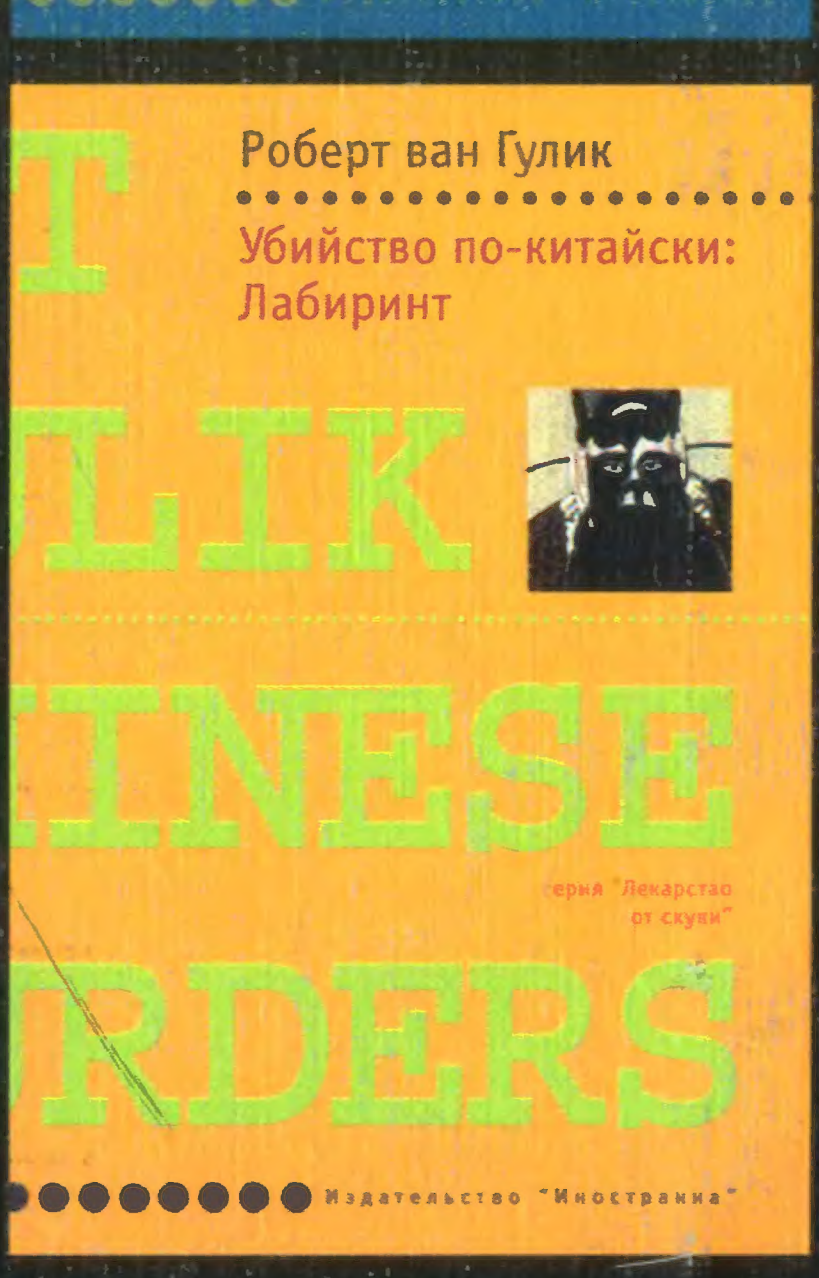
Новая серия издательства "Иностранка"

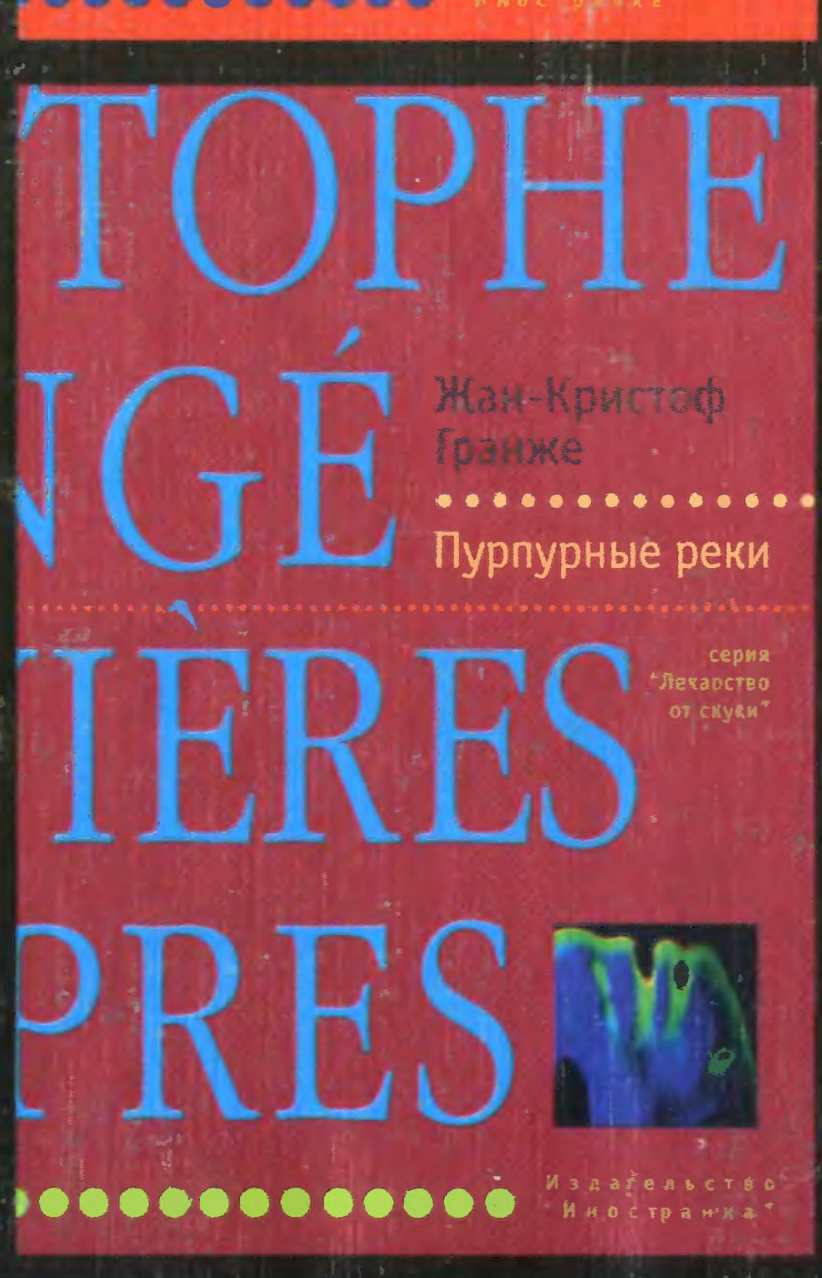
"Лекарство от скуки"

составитель Б.Акунин

Серьезный подход к несерьезному жанру







По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2001, №8, 1-288